

Владимир Борода

ЗАБОРНЫЙ

РОМАН

(Записки пассажира)



СКИФИЯ
Санкт-Петербург
2010

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 882
Б-83

Б-83 Владимир Борода. Заборный роман (записки пассажира). —
СПб.: Скифия, 2010. — 336 с.

Движение хиппи в семидесятых-восемидесятых в Советском Союзе — малоизвестный культурный феномен. Предвзятое отношение исследователей, замкнутость субкультуры, разрозненность информации — причин можно перечислить много. Но хиппи, как часть сопротивления режиму, существовали и существуют. Книга, которую вы держите в руках — о том, как система прокручивает героя «Заборного романа» через свои винты и решетки из-за распространения «Декларации прав человека» — резкий и точный отпечаток жизни целого поколения и, одновременно, свидетельство о преступлениях режима.

ISBN 978-5-903463-30-5

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 882

Корректura, верстка — Л. Васильева.

Подписано в печать 07.01.2010. Формат 84 × 108^{1/32}.

Усл. печ. л. 10,5. Гарнитура Miniature.

Тираж 200 экз. Заказ №

Отпечатано в типографии ООО «Скифия-принт».

Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 4

<http://hippy.ru>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошу людей, читающих эту книгу, не рассматривать ее как лягание мертвого льва, в связи с событиями, произошедшими в стране, ранее называемой СССР, после 1985 года. НЕТ, НЕТ, НЕТ!!!

Лев не умер! Я считаю — лев притворился. Я считаю — коммунизм жив! Он просто научился притворяться, он просто поумнел.

И хотя эти слова сказал коммунист Фучик и по другому адресу, но я не побоюсь обвинений в плагиате, потому что правильной не скажешь. Люди, будьте бдительны! Прошное не должно повториться!

Это главная цель моей книги. Главная. Прошное не должно повториться...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы уже заканчивали печатать. За окном была теплая майская ночь. Глаза чесались и слезились, скулы ломило от постоянного зевания... Хотелось зверски спать, как из пушки...

Мы закончили печатать и, уложив плотные пачки листовок в сумки, погасили свет... Я открыл дверь в ярко освещенный коридор...

По глазам ударил яркий слепящий свет, по ушам — яростный крик:

— Руки вверх! —

и я отлетел от мощного толчка к стене. А по ушам все так же бил яростный крик, пронизывающий до последней клетки мозга:

— Не двигаться! В случае сопротивления открываем огонь!

В голове все спуталось и разлетелось в никуда. Сильные руки схватили меня за плечи и запястья, и резко, со страшной болью, до хруста, вывернули их назад. Я ткнулся с размаху лицом в крашеную стену, очки больно врезались в переносицу, в голове мелькнуло: ОЧКИ, но куда-то сразу улетело. Щелкнуло за спиной, холодок обжег запястья — наручники, и торопливые руки бесцеремонно зашарили по телу. Подмышки, бока, живот, поясница, пах, спина, ягодицы, ниже... Руки были грубые и быстрые, кто-то больно сжимал шею и вдавливал мое лицо в стену, все сильнее, сильнее...

Над моей головой, внезапно, оглушающе загремело:

— Мой пуст, оружия нет, документов тоже.

Откуда-то со стороны прилетело спокойно-равнодушное:

— Увести.

Сильные грубые руки подхватили меня под локти и поволокли по коридору, по лестнице, во двор. Я мельком успел разглядеть своих конвоиров — огромные, рукастые, толстые дядьки, с сердитыми мордами, вспотевшие и взъерошенные. Я только изредка успевал переставлять ноги, глаза слезились, пот от страха и неожиданности всего произошедшего заливал лицо, струился по всему телу.

Холодок ночной летне-майской прохлады обдул меня, и я оказался перед автобусом с неосвещенным салоном. Огромные дядьки запихнули меня в двери и крикнули:

— Принимай еще одного волосатика!

Руки ломило от наручников, в голове кружилось...

Меня подхватили заботливые люди и, протаскив по салону автобуса, швырнули на сиденье, ткнув кулаком в бок так, что меня пере-
косило:

— Не разговаривать! Головой не вертеть! Смотреть вперед!

Через некоторое время автобус был полон огромными дядьками и моими друзьями — Сурком, Шлангом, Кораблем.

— Трогай, —

раздался все тот же спокойный равнодушный голос и автобус по-
катил в неизвестность. За окном мелькал серый от предрассветных су-
мерек город...

Металлические ворота серого цвета, с лязгом откатились в сторо-
ну, пропуская автобус с нами и дядьками в небольшой внутренний
дворик. Вновь заботливо подхваченный заботливо под локти, я мель-
ком увидел высокие, трех или четырех этажные стены серого цвета с
многочисленными окнами. Несмотря на раннее время, во многих ок-
нах горел свет — по-видимому, нас ждали...

Узкая железная дверь, здоровенная фигура в незнакомой, ранее не
виданной серо-голубой форме, вторая дверь, ярко освещенный кори-
дор, большой зал с рядом стеклянных дверей ...

У дальней стены стол, за ним другая здоровенная фигура все в той
же форме, толчок в спину, я влетаю в камеру, битком набитую друзь-
ями-хиппами...

Здесь были все: и из дома Миши-Мишани, и мы, схваченные в ин-
ституте. Лязгнула дверь, запястья ныли от тугих наручников, слезился
правый глаз и чесался нос...

— Слушай братва! Во всем признаемся, но заявляем — мол, не зна-
ли, что нельзя, — не успел Сурок закончить мысль, как вновь лязгнули
двери и меня вновь схватили под локти, поволокли. Стоял страшный
крик и мат, но не в наш адрес, а в адрес идиота, посадившего нас вместе.

Спустя время все успокоилось и, по-видимому, вошло в норму.
С меня сняли надоевшие наручники, еще раз тщательно обыскали,
вывернув все карманы, а затем запихнули в какой-то шкаф. Даже не
спрашивая фамилии. Дверь с лязгом захлопнулась, оглушив меня. По-
видимому они в этих стенах по-другому не закрываются...

В шкафу было темно, только несколько дырок в двери пропускали
немного света. «Видимо, вентиляция», — мелькнула и ушла в никуда
мысль. В голове было пусто до звона. Пусто до звона, — так неожидан-
но все произошло, так все внезапно свалилось на голову. «Вот уж не
думал», — вновь мелькнуло и погасло...

Я начал осваивать свой шкаф. Слева и справа локти упирались в
крашенные бетонные стены. Впереди деревянная дверь с дырками. Че-
рез которые ничего нельзя было рассмотреть. Сзади прямо под колени

упиралась деревянная скамейка, такая узкая, что сидеть на ней было нельзя. Ну, если только упереться лбом в дверь, а задом примоститься на этой скамейке. Позже я приловчился спать на полу сидя, поперек шкафа. Одно неудобство — колени в уши упираются и когда открывают двери, не сразу встаешь, и идти не сразу можешь...

...Мы печатали листовки... Не призывающие куда-либо или к чему-либо...

...Мы печатали такие маленькие листочки... Разъясняли «Декларацию прав человека»... Мы не шли против... Мы, хиппи... Я и друзья... Может, кто-нибудь выдал... Что же теперь будет... Неужели тюрьма... Тюрьма. Тюрьма?... Тюрьма!

Через час, а может через два, а может — вечность, чувство времени потеряно, время исчезло, дверь (конечно, с лягом) открылась. Прищурившись, я подслеповато моргал и пытался разглядеть того, кто меня размуровал.

— Прошу следовать впереди меня. Руки держите за спиной, — раздался нормальный голос, и я с удивлением уставился на говорившего. Это был нормальных размеров человек во все той же неизвестной мне форме, но на этот раз я разглядел на погонах буквы «ГБ».

Человек не тащил меня, не хватал, не кричал. Что это значило, я не знал. К добру или наоборот?

Мы пошли по коридору, пустынному и гулкому, вначале он был похож на коридор КПЗ (камера предварительного заключения) или спецприемника. Затем коридор незаметно перешел в коридор обыкновенного учреждения. Двери нам открывали и закрывали прапорщики с буквами «ГБ» на погонах, стены из окрашенных стали обиты-ми деревянными панелями, и мой конвойр негромко скомандовал:

— Стойте, — и я замер перед дверью, обитой черной кожей, с номером «47». Конвойр нажал кнопку на косяке. Дверь приоткрылась, и оттуда донеслось такое же негромкое:

— Привел?

— Так точно, арестованный номер 9 доставлен!

Двери распахнулись, и я оказался в маленьком коридоре. Следующая дверь, и я в кабинете. А встретил меня тип в штатском, лет сорока, с усталой мордой. «Наверно тоже не спал всю ночь», — злорадно подумал я и прошел мимо.

Кроме этого типа с усталой мордой встречает встретил меня еще молодой и здоровый битюг, одетый по молодежному: польские джинсы, тенниска с коротким рукавом, кеды. Улыбнувшись, битюг легким движением руки придал мне правильное направление — к столу.

— Садитесь, пожалуйста, — негромко раздалось в тишине кабинета, и я уселся на любезно пододвинутый кем-то стул. Все это так от-

личалось от произошедшего ночью, что не укладывалось в голове, казалось, что или это сон и он окончится, или ночью приснился кошмар, но наступило утро, и он закончился.

За окном кабинета сияло яркое майское солнце, голубело небо. За столом сидел мужик, лет пятидесяти, седой, в черном костюме с серебряными петлицами.

«Прокурор», — подсказал мне опыт моей мелкоуголовной юности.

— Я прокурор Первомайского района г. Ростова-на-Дону Воронцов. Нахожусь здесь в связи со следующим: в отношении вас, гражданин Иванов, с учетом материала, предоставленного оперативно-дознательской группой КГБ г. Ростова-на-Дону, выдвинуто обвинение по статьям 70, 198, 209 УК РСФСР. Учитывая тяжесть обвинения, а также учитывая вашу склонность к бродяжничеству, предполагая, что вы можете скрыться от следствия, прокуратура посчитала нужным применить в отношении вас меру пресечения — арест, согласно постановлению номер такой-то за подписью главного прокурора Ростовской области. В чем Что вам и объявлено. Все понятно?

— Да, ... в общем ... все понятно, — память услужливо подсказала: 198 — нарушение паспортного режима, 209 — тунеядство, бродяжничество, попрошайничество, а 70 ...

— А 70 — что это?

— Антисоветская агитация и пропаганда. Срок от трех лет и до конца. Так-то, молодой человек. Ознакомьтесь и распишитесь, что ознакомлены, и поставьте дату. Сегодня 26 мая 1978 года.

Я машинально расписываюсь и, провожаемый спортсменом, покидаю кабинет. Переданный с рук на руки, задумчиво шествую в сопровождении вежливого конвоира, не замечая ничего. В реальный мир меня вернул голос:

— Сюда, прошу вас, ваш завтрак.

Я тупо уставился на предложенное мне. Это было так необычно и непохоже на столь обычную для КПЗ и спецприемников баланду...

Передо мной на столе, за которым еще ночью — под утро, сидел мордастый прапорщик, на обыкновенном алюминиевом подносе, стояло следующее: квадрат омлета на тарелке, два бутерброда на другой, с маслом и сыром, в стакане какао... Дополняли сервировку вилка и бумажная салфетка...

Я взглянул на конвоира — не шутит ли он? Но тот был серьезен и терпеливо ждал, когда я приду в себя и соизволю приступить к трапезе. Я вспомнил — последний раз ел вечность назад, до ареста, и с жадностью проглотил почти мгновенно предложенное мне. Допив какао, во-

просительно взглянул на конвоира — повторить бы, но тот истолковал мой взгляд по-своему:

— В туалет прошу, — и указал рукой направление. Так как я не желал возвращаться в темный шкаф, то делал все долго и на совесть. Но конвоир был терпелив и, в конечном итоге, я вновь оказался в тесной темноте.

В Ростове-на-Дону мы жили у Мишани... Адрес нам подбросили хипы в Баку, мы приехали толпой восемнадцать человек, но за обещание достроить второй этаж (а обещание мы выполнили) нас вписали на всю зиму... Мы печатали листовки... Надо же такому случиться — Мишаня работал сторожем в институте водного транспорта... А там был множительный аппарат... Ну а мимо такой удачи проходить было грех... А Мишаня имел «Декларацию»...

В КГБ я провел двое суток. Двое суток в темном шкафу, который, оказывается, называется бокс, боксик. Двое суток в темном боксе. С какой целью меня содержали в темноте — непонятно. Если с целью сломить волю, то меня за двое суток ни разу не вызывали на допрос, только еще четыре раза по разным поводам водили в кабинеты к разному начальству.

И еще. Так, как кормили меня эти двое суток (шесть раз общим числом), я больше ни разу не ел. Только на свободе. Кормили очень хорошо, можно сказать, на совесть. А вежливое обращение наводило на легкую задумчивость — с чего бы это?..

Одним словом, это все осталось для меня загадкой. Ау, Ростовское КГБ, ростовские кагэбэшники. Вы меня удивили и оставили неизгладимый след в моей душе. Особенно арестом...

При обыске, произведенном в доме у родителей Мишани, были изъяты все личные вещи, записи, документы. Наши стихи, рассказы, песни, рисунки. Записные книжки с адресами по всему Союзу — явки. Схемы — как проехать или пройти, если трудно найти адрес — тайники. Изъяли все, что смогли...

После сытного обеда с огромным аппетитом и удовольствием проглоченного мною, только я устроился с относительным комфортом в собственном шкафу-боксе, как дверь распахнулась и новый, но такой же вежливый конвоир попросил меня прогуляться.

Аппетит вернулся вместе с терпимым настроением, я здраво рассудил, что за бумажки-листовки расстрелять не должны, да и сажать вроде бы не за что. Попугать только надумали...

Попросил конвоир меня прогуляться неизвестно куда. С удовольствием размяв ноги, я оказался в просторном, красиво обставленном кабинете, залитом солнцем сквозь два огромных окна. За огромным

полированным столом, развалился в креслах по обе стороны стола, попивали кофе два представительных седых мужика. При моем появлении с интересом уставились на меня.

— Арестованный номер 9 доставлен, — сообщил мой конвоир.

— Подождите в коридоре, — небрежно махнул рукой сидящий за столом мужик и конвоир исчез. Я остался с ними наедине.

— Где ваш паспорт? — спросил главный и прихлебнул с шумом кофе. Я слегка ошизел и с растерянностью ответил:

— Паспорт? Был в доме у Миши. В рюкзаке...

За спиной появился конвоир, и я понял — кофе меня не угостят.

Водворенный в ставший уже родным бокс, я задумался — причем тут мой паспорт, что бы это значило и т. д.

В туалет водили из бокса по первому требованию, кормили отлучно, один раз водили показать какому-то большому начальству, еще раз привели в какой-то кабинет, и неприятный тип сообщил при мне другому начальству, что я негодяй с детства — был на учете в детской комнате милиции, двенадцать раз имел приводы в милицию, трижды был в спецприемниках, из них дважды под фамилиями своих знакомых.

— Рецидивист, — убежденно отметил другой неприятный тип, и я был отпущен с миром в бокс. В темный. В сопровождении вежливого конвоира.

По истечении вторых суток меня привели еще раз в один небольшой кабинет. Там сидело человек пять-семь. «Бить будут» — мелькнуло в голове, но оказалось, я ошибся.

— Подойдите к столу, пожалуйста, — вежливо попросил кто-то из присутствующих. Я с опаской приблизился. На столе лежал нарисованный на бумаге какой-то план.

— Это план второго этажа дома, где вы проживали со своими сообщниками, — «Началось», — подумал я,

— Отметьте кружком место, где лежал ваш рюкзак, — продолжил сидящий за столом, по-видимому, начальник. Все присутствующие с явным нетерпением уставились на меня.. Что-то происходило в кабинете, я был главным лицом этого представления, но смысл происходящего до меня не доходил. Я взял предложенный красный карандаш под названием «Салют». Им я, приглядевшись, и отметил место, где оставил свой рюкзак. Сделать это было нетрудно — на плане были помечены не только комнаты и мебель, но и даже вещи, отдельно лежащие на полу, схематично, но понятно: гитара, сумка, флейта...

Видимо, план рисовал специалист своего дела и с большою любовью. Только я закончил выводить кружок на плане, как все выдохнули разом и посмотрели, нет, не на меня, а на одного молодого мужика, скромно сидящего в углу стола. Посмотрели разом, а он развел руками...

Вновь водворенный в бокс и оставленный в покое до утра, я понял смысл этого представления. Они искали виновного, утерявшего мой паспорт. Ведь он лежал в рюкзаке... Это было так смешно, что я расхохотался, несмотря на несильно смешную обстановку и обстоятельства, расхохотался во весь голос.

— Что-нибудь случилось? — вежливо спросил меня конвоир.

— Ничего, это я во сне, — булькая, отозвался я.

— Соблюдайте тишину, прошу вас, — сказал конвоир и отошел от моего бокса..

Я уткнулся лицом в колени и уснул. Крепко-крепко, как только можно уснуть крепко. В таком темном боксе. Утром я не мог идти и меня повели под руки. Как Брежнева. Только повезли в другое место.

* * *

Каждое учреждение в СССР пронизано бюрократическим контролем снизу вверх и наоборот, по горизонтали, диагонали, внахлест и т. д. и т. п. Еще великий Ленин указывал на контроль...

КГБ по своей сути социалистическое предприятие по производству преступников. Можно с этой формулировкой спорить и с жаром и пафосом утверждать, что, мол, КГБ лишь борется с преступностью, а не производит ее. Но если исключить социалистический подход, а просто включить логику, то если бы не было КГБ, если бы не было в УК РСФСР и УК других союзных республик статей об ответственности за мнение и высказывание его вслух, то не было бы и преступников. Но конечно не было бы и Союза, советской власти и всей этой галиматии. Ну и хрен с нею, лучше было бы. Но так как все это есть, и КГБ арестовывает за мнение (если оно не совпадает с изложенным в советской газете), то, с точки зрения логики, КГБ производит преступников, изготавливает изделия.

Изготовив очередное изделие, КГБ по инструкции (закону) должно передать его (изделие-преступника-жертву) на склад. То есть следственный изолятор, СИЗО, в простонаречье — тюрьма. Принимается изделие на склад при наличии соответствующей документации: постановления на арест, удостоверения личности (паспорта), тюремного формуляра-дела и т. д. Склад-тюрьма принимает изделие не сразу, а после прохождения изделием накопителя-КПЗ (камера предварительного заключения). Основная цель накопителя — приведение в порядок соответствующей документации. Ведь некоторые изделия так быстро изготавливаются КГБ, что не все бумажки успевают заполнить. Жизнь есть жизнь. Но иногда бывают и вовсе смешные случаи-казусы, хоть стой, хоть падай!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Утром, не знаю во сколько, меня повели под руки. Как Брежнева. Два прапорщика в серо-голубой форме. Подведя к столу, передали из рук в руки двум милиционерам. В придачу отдали тонкий, но большого размера, конверт. Старший мент расписался в получении и изделие, имевшее раньше N 9, отбыло.

Запахнули меня опять в бокс, но расположенный в автомашине, любовно и со знанием дела прозванной в народе «Луноход». Бокс имелся «стакан», видимо — за размеры. Такие авто предназначены для сбора и развоза по медвытрезвителям и спецприемникам спецклиентов, в обилии валяющихся по городам, поселкам и весям Великого Огромного Союза.

По этой машине я понял — везут не в КПЗ и не в тюрьму. Интересно...

Ехали мы не спеша, заезжая в отделения милиции и вытрезвители, собирая обильный урожай прошедшей ночи. Помятые, потрепанные жизнью морды, неопрятная одежда и собственный жизненный опыт подсказали — везут в спецприемник. Непонятно только почему, зачем...

Все эти алкаши, бомжи во всю глазели на стакан, заполненный мною и отделенный от общего пространства помещения глухой стенкой, но имеющий решетчатую дверцу.

— Слышь, командир, за шо волосатика отдельно запахнули? Мы не кусаемся! — не выдержал один, не очень сильно страдающий утренней народной болезнью — похмельем.

— Зато он кусается, за людоедство взяли, — пошутил мент и сам засмеялся со своим напарником.

— Не, серьезно, а, командир? — нудно тянул любопытный.

— Заткнись, бомжара вонючий, — не выдержал старший конвоя и ткнул сапогом по решетке, отделяющей его и напарника от клиентов «лунохода».

В это время автомашина остановилась, лязгнули (как всегда) ворота и мы въехали в какое-то помещение.

— Выходи по одному, граждане бомжи, — загремел зычный голос и дверь «лунохода» распахнулась. Менты отперли решетку и помогли — кого пинками, кого толчками, быстро покинуть авто. Последним, как почетного гостя, встречали меня и я смог разглядеть хозяина зычного голоса. Это был толстый, веселый майор милиции, явно любитель пошутить и выпить. Уставившись на меня, он заорал на все приемное отделение, где кроме него и меня был еще молодой мент, записывающий что-то в бумаги:

— Это тебе Советская власть не нравится, блядина?! Погань волосатая, да я тебя собственными руками наголо обхерачу, ну морз!

Не успел я что-либо придумать в защиту и спасения шевелюры, как мне на помощь кинулся мент-писарь:

— Товарищ майор! Нельзя! Следствие, опознание, мало ли что, а следственный эксперимент!

И торжествующе уставился на начальника. Тот поперхнулся и развел руками:

— А ведь точно, сержант! Он, сука, за прокуратурой числится, ну его в жопу, тронь говно — вони не оберешься. Оформить падлу и в невыводную, к Орлу.

— Ясно, товарищ майор!

И началась знакомая по прежним спецприемникам карусель. Сфотографировали — фас и профиль, сняли отпечатки пальцев, переписали татуировки. Напоследок отдали капитану на расправу, женщине лет сорока, дознавателю. Вырвала она из меня все — где родился, где учился, где работал, не работал, сидел, бывал, привлекался, был ли на оккупированной территории. Напоследок загнали в душ и оставили в покое на целый час.

Вымытый, держа в одной руке кружку и ложку, другой независимо помахивая, в сопровождении сержанта, я прошел по темному коридору вдоль решетчатых дверей, из-за которых на меня таращились жильцы камер. Из-за одной, при виде меня, начали кричать и скакать, как обезьяны, женщины разного возраста и потрепанности:

— Командир, сажай волосатика к нам, мы его научим.

Я отшутился, проходя мимо:

— Я попозже приду и сам научу, но самую красивую.

Вслед закричали:

— Ты гляди, какой ученый, мать его так!..

Конвоир остановился перед очередной решеткой и, отперев ее, рявкнул:

— Всем отойти от двери!

Вот я и в камере. Квадратное помещение, метров десять-двенадцать по сторонам, вдоль двух стен сплошные деревянные двухъярусные нары, двухъярусные буквой «Г», голые, без матрасов. Рядом с дверью «параша» — металлический унитаз с краном над ним. Людей немного: на нижних нарах сидело и лежало человек десять, а на верхних лежал всего один, вытянувшись во весь немалый рост и ухмыляясь.

Я подошел к нарам и прыгнул наверх.

Хозяина верхних нар и, как оказалось, всей камеры звали Витька-Орел. И народу в камере было побольше, чем на первый взгляд я увидел. Вместе со мной тридцать девять человек. Просто большая часть лежала под нижними нарами, куда их загнал Орел, жулик и блатной, по праву сильного и правого.

Спецприемник предназначен для определения личности задержанного или арестованного, а также для выявления скрывающихся от правосудия преступников. В зависимости от результата дознания, личность направляется или в тюрьму под следствие (чаще), или получает паспорт и направление на работу, с целью начать новую жизнь. Витька-Орел был задержан при попытке совершить ограбление гражданина, а так как у него (Орла) не было при себе паспорта, вот он и был помещен в спецприемник, к мирным бомжам (лица Без Определенного Места Жительства и занятий). Вместо того, чтобы сразу отправить в тюрьму. Вдумайтесь в логику бюрократизма — по действующей инструкции **ДАЖЕ ТЮРЬМА НЕ ПРИНИМАЕТ БЕЗ ПАСПОРТА!** Повторяю — не принимает! По этой причине я и оказался здесь.

В одной камере с Витькой-Орлом я пробыл с полмесяца. И очень благодарен ему. Он от всей души решил мне помочь в моей дальнейшей судьбе. Так как он точно знал в каких условиях, с какими людьми, при каких обстоятельствах будет протекать моя дальнейшая жизнь в ближайшие годы. Чем я ему приглянулся — не знаю.

От него я почерпнул более глубокие познания о малоизвестном среди лингвистов языке. Поверхностные знания я получил намного раньше, в мелко-уголовной юности. Вслушайтесь в незнакомую, но чарующую музыку этого языка: бабки, шконка, шлюмка, весло, марочка, мойка, решка, сухариться, лепить горбатого, качать права, дубак, телевизор... И так далее, и тому подобное. И пусть вас не обманет кажущаяся простота и знакомость слов. Нет и нет. И не пытайтесь — если у вас нет познаний, самостоятельно их разгадать. Можете попасть пальцем в небо. Например: «дубак» — это не мороз и не холод, а коридорный в тюрьме. А «телевизор» — вовсе деревянный шкаф без дверей, висящий на стене в камере и предназначенный для кружек, ложек и продуктов. Так-то.

Хорошо, что у нас в стране после 1917 года неграмотных почти нет, и даже дети в школе могут «по фене ботать». Почти всеобщая грамотность населения в вопросах языкознания. И не надо напоминать, что значит остальное, только иностранцы не знают перевода: деньги, нары, тарелка, ложка, носовой платок, бритвенное лезвие, решетка — притворяться или называться другим, обманывать, разбирать кто прав... Велик и могуч! Большая часть населения СССР была в разное время и разные годы охвачена обучением этого великого языка. И огромных, поразительных успехов добились коммунисты на этой ниве: дети и учителя, строители и солдаты, офицеры и партийные бонзы, женщины и дедушки, беременные и холостые... Все могут немного говорить, все хоть немного понимают великий язык.

А ругательства! Куда прославленному мату, известному на весь мир. Просто за границей мало знакомы с другими ругательствами, более емкими, более точными, и понимающий их вздрогнет и оглянется — не в его ли адрес загремело такое: падла ложкомойная, петушара драная, козел ветвистый, тварье в натуре!.. Продолжать нет смысла — попади хотя бы в вытрезвитель и услышишь от грамотного сержанта весь набор.

Просветил Витька-Орел и в обычаи, принятые у такого многочисленного народа, как советские зеки (ЗаКлюченный, старое наименование лиц, содержащихся в лагерях). Много неописанных и неписанных обычаев, и горе тому, кто их нарушит — наказание неотвратимо, как приход коммунизма. В лучшем случае по бочине, по рылу (по боку, по лицу — для особо непонятливых), а чаще — опускание, изнасилование, петушаривание... Но в особых случаях (или грех страшен или администрация не сильна) — гуляет топор. То есть по старинке, в лучших традициях, режут все еще. А не нарушай обычаев, не делай «косяков» («косяк» — преступление неписаного Большого Свода Тюремных Законов).

Главный обычай — не контактировать с администрацией, то есть не работать на нее, не занимать никаких должностей в хозяйственной службе, не быть в активе (лица, помогающие администрации в наведении порядка), не участвовать ни в каких мероприятиях, исходящих от начальства. Второй главный обычай — не брать у опущенного (изнасилованного, гомосексуалиста пассивного, пидараса) того, что нельзя брать. В списке — продукты, сигареты без пачки, нельзя пользоваться его посудой. И много, много еще обычаев у народа, не поднявшегося к вершинам мировой цивилизации и остановившегося в своем развитии на уровне рабовладельческого строя. Но подробнее о социальной структуре — ниже.

Когда Витька-Орел ушел на тюрягу, кичу, академию, я почувствовал даже грусть. Мне был по-своему приятен этот грубый, но отзывчивый мужик, большую часть сознательной жизни проведенный в советских лагерях за кражи и грабежи. И не виню я в этом советскую власть, нет, нет, упаси боже! Ну и что, что отец у Витьки был расстрелян как враг народа, ну и что, что мать его отсидела, вернулась, отчалилась двенадцать лет по лагерям как «жена врага народа», ну и что, что отдали Витьку в детдом детей «врагов народа» с тюремным режимом! Ну и что! Но сбежал он оттуда сам и сам начал воровать (еду). И первый срок получил за ДВЕ БУЛКИ ХЛЕБА... Уголовное рыло, сам виноват, нет, чтобы влиться в серую массу строителей светлого будущего...

Уже после его ухода началось следующее. С Витькой-Орлом ушел и гнет. Из-под нар вылезли бомжи. По уровню интеллекта и интересам они были равны корове. И я понимал Орла, когда он загнал их под

нары. Но я этого делать не стал, и вскоре они освоились. И начали жить полноценной жизнью. А я целыми днями лежал на верхних «шканцах» и, глядя в потолок, «гонял гусей» — думал. Обо всем — о прошлом, о будущем...

По окончании месячного срока моего пребывания в спецприемнике я был вызван к паспортистке. Где и расписался за получение «ксивы». Но поддержать его мне так и не дали — быстро сунули в конверт, приклеенный на заднюю обложку с внутренней стороны моего заметно разбухшего личного дела,

А через два дня я опять поехал. На этот раз на КПЗ. Где провел всего два дня, двое суток. Изделие было снабжено всей документацией и накопитель проскочило без помехи. Конвейер работал по-прежнему.

О КПЗ осталось одно смешное и грустное воспоминание. Посадили меня в камеру к одному мужичку, по кличке Паша-Огонек. Лет пятидесяти с лишним, всю жизнь проведенный в тюрьмах и лагерях за кражу белья и тому подобное, маленького роста, щуплый и невзрачный, он попытался меня за что-нибудь «причесать», «пригреть» (обмануть, выманить что-либо). Я отвечал ему с улыбкой, но уверенно, как Витька-Орел. С применением терминологии, понятной Паше-Огоньку. И он, завяв, отстал. Напоследок, не надеясь на удачу, предложил махнутья штанами. Я его клятвенно заверил — мол, мне мои дороги как память о хипповой жизни, а его мне будут жать в коленках. Паша-Огонек, грустный и притихший, сраженный наповал неожиданной «феней» от «политика», прилег недалеко, и жизнь пошла своим чередом.

А еще через двое суток, как уже привык — утром, я поехал на тюрягу. Следственный изолятор — Сизо. Ой, держись, соколик.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вновь лязгнули ворота и автозак вкатился под темные своды. Поэтично до едрени фени...

Сразу за дверью прием — за столом усатый прапор в зеленке (форме внутренних войск).

- Фамилия?
- Иванов.
- Имя, отчество?
- Год, число, месяц рождения?
- 1958, 22 октября.
- Место рождения?
- Город Омск.

— Статья?

— 198, 209, 70...

— Меньшую вперед называть надо, политик хренов! Следующий.

Молодой, но здоровый сержант подхватил меня под локоть и увел за другую дверь. А там веселый подполковник, рукою по плечу:

— Ты чего грустный? Пострижем, помоем, на человека походить будешь. Чего украл?

— 70 статья у волосатика, товарищ подполковник.

— Ну, это ты зря, брат. Советская власть сильна и так по жопе даст тому, кто на нее замахнется... Раздевайся!

Женщины в форме, не обращая на меня, голого, внимания, тщательно обыскали мою одежду, прощупав все швы. А на последок заглянули в жопу — не прячу ли чего там.

Мордастый зек из хоз. службы, мордастый и плечистый, одним махом смахнул мою гриву на голые плечи и грязный пол. Прощай буйная юность, дальние дороги, хипповая романтика. Прощайте волосы, прощайте!

Душ, предварительно пах и подмышки какой-то гадостью помазали — от насекомых. Зуд и жжение нестерпимое. Нас десять человек, этапников из КПЗ, одним тупым лезвием скоблим морды, я тоже отодрал усы — меняться, так меняться (внешне). Шмотки, горячие после жарки, с полурасплавленными пуговицами, а карусель не останавливается.

— На пианино сыграем, молодой человек, — предлагает прокатать пальцы офицер с помятым лицом и в синем халате.

— Так играл уже, — пытаюсь отбрехаться, но:

— Ничего, молодой человек, Шубертом станете, а теперь другую руку, да кисть расслабьте, вода в углу, мыло на раковине. Следующий!

Родственников записали — мать да брата, сфотографировали — фас да в профиль, — и в камеру. В транзитную, тут же, на подвале. Не успел на край нар присесть и задуматься, как снова лязгнула дверь и среди прочих фамилий, слышу свою:

— Иванов!

— Владимир Николаевич...

— Дальше давай.

— 1958, 22 10, 70, 198 209, 26 мая 1978 года, подследственный, — говорю запинаясь.

— Ничего, чарвонец отсидишь — от зубов отлетать будет. Без вещей!

И снова карусель. Такой же мордастый, как парикмахер, зек из службы выдал матрац в серой матрасовке, серое одеяло, подушку, наволочку, кружку с ложкой, четверть куска мыла (хозяйственного) и:

— Распишись за все! Следующий!

Доктор:

— Венерическими болели, в псих. больнице лежали, хроническими болезнями страдаете?

Только начал перечислять, как:

— Санитар, пишите: близорукость, сколько? Минус 5, а остальное врет! Ты свое рыло в зеркало видел?

Это уже мне, а не зеку-санитару.

Снова та же камера-транзитка. Присел на нары, смотрю по сторонам — вокруг стриженные морды, у всех заботы, никто никого еще не напрягает.

Дверь распахнулась настежь, сержант с бумагой в руках:

— Кого назову, выходи с вещами на коридор и садись на матрас!

Остался один, как сирота, одинешенек. Хлеб кем-то оставленный на батарее, мой сахар на бумажке, матрас и остальное барахло... И я. Через час, примерно, пришли и за мной. Женщина-прапор.

— Сидишь?

— Сижу, гражданин начальник...

— И долго сидеть еще будешь.

Шутка. И на том спасибо. Все радость.

Пошли по коридору, решетка, а за нею дубак. Открыл и закрыл, дальше идем, снова решетка, а за нею... Правильно — дубак, но и лестница. Вверх. Первый этаж. Решетка в коридор. Мимо. Второй этаж. Решетка. Мимо. Третий этаж.

— Стой!

Стою. Женщина-прапор нажимает кнопку звонка. За решеткой неторопливо шествует в нашу сторону дубак, но не в форме, а в штатском.

— Кого привела, Зинка?

— Кого дали, того и привела! Открывай давай! Корпусной у себя?

— Так точно, товарищ генерал!

Мы вошли в ярко освещенный коридор. С обеих сторон железные двери, выкрашенные в зеленый, с глазками, кормушками (форточки в двери), номерами. Стены окрашены в темно-серый цвет. Тюряга...

— Стой!

Стою. Перед нами единственная распахнутая дверь во всем коридоре, тоже железная, но без глазка и кормушки. Мой прапор, некрасивая тетка лет тридцати, игриво повела задом:

— Товарищ майор, подследственный Иванов доставлен. Куда прикажете определить?

Корпусной, маленький мужик лат сорока и лысый, при виде нас заулыбался:

— Политический говоришь?

— Да, гражданин начальник.

Корпусной глянул в папку, лежащую уже перед ним:

— Спецприемники, сухарился, наколки имеются. Однако... В тридцать шестью сажай.

Сердце екнуло. Судьба определена, впереди камера, а там... Спасибо Витька-Орел, но одно дело теория, другое практика. Главное — не повестись (не показать испуга).

Прошли по коридору до конца, до глухой стены, где окну полагается быть.

— Стой! Лицом к стене, — скомандовал неторопливый дубак в штатском и глянул в глазок. Потарахтел ключами и распахнул дверь:

— Заходи, — и туда:

— Принимайте очкарика.

Дверь за моей спиной с лязгом захлопнулась.

Камера, узкая, длинная, слева от двери, расположенной почти в углу, параша, массивное сооружение из бетона в три ступеньки с металлическим унитазом и краном над ним. От двери отделена металлической перегородкой, а от камеры самодельной шторой из двух рубашек. Прямо — стол, на нем бачок и вдоль стола с обеих сторон скамейки, а на них люди, играли в домино, бросили, глаз не сводят с меня. В камере жарко, все в трусах, по мокрым татуированным телам пот бежит. На правой стене «телевизор» висит, на левой шконки стоят. Девять двухъярусных шконок. Пустая одна — рядом с «парашей», наверху. «Умру, но не лягу» — внезапно для себя решаю я. На шконках, вверху и внизу, люди и тоже смотрят на меня. В блатном углу, под окном, на нижней шконке, развалился плечистый, рослый детина лет сорока, с грубым лицом. Рылом. Ну, хватит, пауза затянулась, пора начинать представление.

Прохожу, кладу матрас на пол рядом со столом, улыбаясь во весь рот, сажусь на скамейку и:

— Всем привет! С транзитки. Основная 70. Плюс 198, 209, Но не бомж, просто много катался по стране. По делу с кентами, одиннадцать человек всего. По малолетке не тянул.

Рослый детина резко сел на шконке, опустив босые ноги на пол. Его плечи, грудь, руки и торчащие из синих, длинных трусов, ноги, были густо покрыты синевой — история всей его уголовной жизни в наколках. Уставившись на меня, спросил:

— Не разу ни чалился?

Я догадываюсь о смысле вопроса.

— Нет, первая ходка. А что?

— Так тут не общак, милок, а строгая (не первая судимость, а вторая и более)! А ты каким ветром?

Я настораживаюсь, все, что рассказывал Орел и что я подчерпнул в мелкоуголовой юности и детстве, сюда не подходило никаким боком:

— Ну... я знаю,.. начальству виднее, корпусной сказал сюда... что я брыкаться буду!

Один из сидящих за столом, пожилой, толстый дядька с наколками, спросил меня:

— Курить нету?

— Нет, я не курю.

— Так для братвы надо иметь...

Но снова встречается детина из своего блатного угла:

— Ну ты, Лысый, заткнись со своим куравом. Слышь, политик, дуи сюда, базар есть.

Я пересел на шконку к детине и нагло уставился на него. А лежащий на соседней шконке, уставился на меня. Первым начал блатяк:

— Меня звать Ганс-Гестапо. А тебя?

— Володька-Профессор (я вспомнил, и вовремя, свою старую, дворовую кликуху).

— Ты по фене ботаешь?

— Нет. Но и по помойкам не летаю. Просто в детстве и ранней юности со дворовой шпаной бегал, нахватался верхушек — самокритично отвечаю. Он продолжил:

— Расскажи о себе и кентах, они тут, на тюряге?

Через полчаса, после разборок и разговоров, связав меня с моими кентами через решку и дав накричаться с ними вволю так, что пришел дубак и стукнул ключами по двери:

— Кончай базарить! —

Ганс-Гестапо убедился — я не подсадной, не насадка (работающий на администрацию) и не внедрен под видом политика к нему в «хату», чтобы выведать все его уголовные секреты. Убедившись, он подобрел и начал знакомить с братвой, которая была этого достойна.

Напротив него лежал на шконке такой же рослый блатяк лет тридцати-тридцати пяти, по прозвищу «Капитан». Капитан и Ганс-Гестапо были грабители. Статья 145. Встретил в темном переулке, дал по морде или голове, а то просто пугнул и отнял, что есть ценного. И деру. Рвать когти. По фене грабитель — скокарь. Грабеж — скачок. Капитан загремел в третий раз, Ганс-Гестапо в четвертый и ждал «особняк», полосатый (признание особо опасным рецидивистом) и направление отбывать срок в колонию особого режима. А там — форма, роба полосатая, вот Ганс-Гестапо и шутил над собою:

— На курорт поеду, в пижаме буду ходить, не жизнь — малина! Только по ошибке курорт не в Крыму построили, а на Колыме! Видно перепутали — на одну букву начинается!

И хохотал.

Капитан был посерьезней и не так примитивен, но... и его лицо не было обезображено интеллектом, как написали в одной книге. Вдвоем Капитан и Ганс-Гестапо, и держали хату, как говорится на жаргоне. Были еще Лысый, Ворон, Матюха-Подуха, Шкряб. Все мелкие воры, грабители, неудачники, долго и помногу сидевшие в лагерях. Было и несколько человек по принятой терминологии — пассажиры. То есть случайные люди в уголовной среде. Я также относился к ним. Случайные в тюрьме. В камере строгого режима, на строгаче, они оказались, так как когда-то ранее, были судимы. Один дед пробыл на свободе аж 28 лет, но побил бабу, та сдуру в милицию, а те и рады стараться. И грозит деду в 69 лет до трех лет лишения свободы. Так он, дед, иногда даже плачет. А Ганс-Гестапо ржет:

— Не плачь, старый, найдем тебе новую бабу, с яйцами, но работающую! Ха-ха-ха!

Место мне определили над Капитаном, сдвинув весь верхний ряд в сторону параша. И даже приняли в семью. Семья в тюрьме и, как рассказывает братва, в зоне — это когда люди кентуются и хавают вместе. Помогают жить друг другу за счет других. Друзей в тюрьме нет. Ганс-Гестапо так сказал:

— В тюрьме кенты. Друзья на воле! Кто в тюрьме другом называется — тот дурень! Друга трахнуть — как дома побывать!

И снова лошадиный смех.

А над самим Гансом-Гестапо молодой мальчонка (на вид) спит. И вниз редко слазит. Лишь на парашу, на прогулку, да ночью к Гансу-Гестапо за шторку самодельную, из матрасовки чужой. Капитан брезгует, в камере не положено (Ганс-Гестапо так решил), вот он, Ганс-Гестапо, один и наслаждается. Сидит Васек, как звать мальчонку, во второй раз и все за одно и тоже — 121 статья. Мужеложство. То есть петух по воле, со свободы. Ну, это его личное дело. Место свое он знает и ни кому нет до него дела.

Просто в камере его никто не замечает. Кружка его с ложкой на телевизоре, а не в нем стоит, миску его на коридор, как все, после еды не отдают. Живет себе и живет, ну и бог с ним.

Начались суровые тюремные будни. Подъем в шесть часов, в двери дубак ключами стукнет:

— Подъем; — крикнет и дальше пойдет. Вот все и спят. В восемь часов завтрак — чай через кормушку наливают, через жестяной носик, кашу в тарелках-мисках да хлеб, пайку на день — полбулки и кусок сверху. Братва, рангом пониже хлеб да чай примет, кашу смолотит. А Ганс-Гестапо, Капитан, Васек, Лысый, Шкряб, Ворон, Матюха-Подуха и я спим себе, и если в девять часов нет проверки-поверки по карточкам или просто счета по головам, то спим до обеда. Так как на всей тюрьме

жизнь ночью кипит, а днем — так себе, еле-еле теплится. В обед — щи или еще какая баланда, приготовленная, как и в наихудшей столовой на воле не готовят, но жирно и горячо, а в камере тропики, пот прямо в миску капает-бежит, много баланды получается. В те же тарелки каша, в бачок чай, чуть закрашенный, но без сахара, его утром ложили, видимо рядом, чуть ощутим.

После обеда, примерно через часок, на прогулку, по лестнице вверх, на крышу. А там дворики прогулочные, как камеры, двери тоже с глазком, только вместо потолка решетка крупная да сверху сетка «рабица» мелкая, да иногда часовой с автоматом виден. Братва его попка зовет. Гуляет себе по мосткам над нашими головами и посматривает, чтоб не подтягивались за решетку и не переговаривались с другими двориками да записки-малевки-ксивы не передавали.

После прогулки — в камеру, ближе к вечеру ужин, домино, ленивая травля (рассказня), затем отбой. В 22 часа пройдет дубак по коридору, брякая ключами о двери, лениво покрывая:

— Отбой! Отбой!

И начинается — тюрьма оживает. Для начала кормушки распахи-ваются. Да по всему коридору. И дубак, заглядывая в камеру, весело вопрошает:

— Что есть на продажу, уголовнички? Ганс-Гестапо, что имеешь?

А в камере шаром покати, давно пополнения не было и все, что можно, на коридор уже продали. Но выручает Ганса-Гестапо опыт и смекалка, да под нами хата, общак и причесать их Гансу-Гестапо как плюнуть. Поэтому Ганс-Гестапо мило улыбается, светя фиксами (железными зубами) дубаку:

— Попозже загляни, мил-человек. Вот-вот подъедет.

— Но учти — фуфель не беру!

— Фуфель и не предлагаем! Как насчет штанов кримпленовых?

— А хоть новые?

— Муха не сидела! Ценник был, да потеряли и цвет самый мод-ный — какава с молоком!

— Посмотреть бы надо...

— Через часок подходи, и посмотришь, и пощупаешь:

Дубак отваливает к другой хате, а Ганс-Гестапо командует:

— Лысый, Шкряб, на решку, принимать будете и если оборвете — убью!

Лысый с обидой бубнит:

— Когда это мы обрывали, не гони, Гестапо, давай базарь лучше быстрее...

— Сам знаю, что делать!

И Ганс-Гестапо достает спрятанную в матрас деда-хулигана трубу длиной с метр, склеенную из газет зековским клеем. Под рык Капитана

мужичок-аварийщик, спящий рядом с парашей, тряпкой откачивает воду из чугунного унитаза и колена трубы, Ганс-Гестапо вставляет трубу в дырку. Тюремный телефон в действии.

Братва, сидящая в советских тюрьмах в силу обстоятельств и гнета так поднатаскалась в изобретениях и ухищрениях, что дубаки с корпусняками на коридоре уже и удивляться перестали. И только особо яркие, неординарные случаи могут потрясти их ленивое воображение.

— Два шесть, два шесть, спите что ли, черти полосатые, — это Ганс-Гестапо начинает телефонный разговор с хатой внизу. Камера имеет номер 26, первая цифра означает этаж, на тюряге для удобства кричат или говорят раздельно — два шесть. Снизу мгновенно отзываются:

— Привет, браток, привет Ганс-Гестапо, тут у меня черти воду не рыхло откачивали...

Это держащий нижнюю, общего режима, хату, отзывается. Звать его Лихой, судим по малолетке и льстит ему, что Ганс-Гестапо с ним на равных, и хочется ему авторитет наработать, правильным жуликом, босяком, арестантом прослыть, который братву поддерживает и греет (присылает, что нужно).

— Слышь, Лихой, как там штанцы, грек выпрыгнул на них?

— Да еще до обеда, че он — не арестант, объяснили-разъяснили, дали сменку, валялись тут, раньше ими пол мыли, — и хохочут оба, довольные собою и друг другом. В этой жизни они как рыбы в воде. Хищные. Своя среда.

— Ну что нового, Ганс-Гестапо?

— К нам политика кинули, молодой, да начитанный! В детстве со шпаной вязался — грамотный.

— Так запрягай его романы тискать (рассказывать книги).

— Не, не тот номер. Хороший пацан, сам все понимает. Не левый, хоть и пассажир. Главное — мнение свое имеет и правильное. А у тебя что нового?

— Черный ушел, венчаться (на суд). Семерик вмазали!

— Эх, как его повенчали, ну гады...

— Мы его одели, как фраера и сидор собрали.

— Правильно, о братве надо заботиться. Первое дело... Бабки есть?

— Нет!

— А то у нас на коридоре можно пластилином побаловаться.

— Да ну! Может два пять подгонит, они имеют.

— В натуре (точно)!

— Точно!

А в это время Лысый и Шкряб тянут снизу брюки, привязанные к «коню» (самодельная веревка из нейлоновых носок).

— Осторожно чертила, руки из сраки!

— За базаром следи, сам дергаешь, рыло!..

Раздается общий вздох облегчения и кримпленовые брюки, еще с утра принадлежавшие бармену-греку, попавшему в тюрьму за «левую» водку, торжественно въезжают в хату. Ганс-Гестапо встряхивает их и приценивается:

— «Кораблей» восемь, а Капитан?

Капитан заинтересовано отвечает:

— Может и десять, новые и модно...

Начинается торг с коридором. Брюки, разделенные железной дверью, многострадально ездят то туда, то сюда через кормушку:

— Да ты погляди — не на пуговицах, а на молнии. А тут тесемка белая, а тут, а тут буквы иностранные, ей, Профессор, читани...

— Сделано в Италии.

— О, да ты парень не промах, за итальяйские штанцы хотел мне пять кораблей всучить! Да за пять кораблей я сам в них на парашу ходить буду!

Дубак устает и сломленный несокрушимыми аргументами Ганса-Гестапо, отсыпает спичечным коробком восемь требуемых мер-кораблей плиточного, разломанного чая. Из большого пакета в подставленную газету.

Половина уезжает вниз и в хате начинается чифирование.

Варят чифир (крепкий-прекрепкий чай) на газетах, сворачивая их трубкой и держа вертикально под дном кружки. Пепел обрывают, помусолив пальцы.

Кружку укрепляют на ложке или просто ставят на край нижних нар. Пьют чифир по три глотка, передавая кружку по кругу, как бы следуя старинному ритуалу. От чифира слегка мутит, во рту вяжет, а сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Одним словом, тонус повышается и жить снова хочется.

Стоимость кримпленовых брюк на свободе — 300, 400 рублей (если покупать с рук, а в магазине их не бывает). Стоимость восьми кораблей чая (примерно 250 грамм плиточного чая) — 98 копеек в магазине на свободе. Стоимость кримпленовых брюк в тюрьме — 98 копеек. Брюки за 98 копеек! Большой бизнес — советская тюрьма!

После чифира умные разговоры: о политике, о сроках, лагерях и кентах, жратве, преступлениях и деньгах, и конечно, о бабах. О женщинах! О... не буду уточнять, как еще могут назвать женщин так истосковавшиеся по ним мужчины. Ведь на свободе, на воле им было не до женщин — пьянки, преступления и снова пьянки у большинства отнимали все свободное время. Но зато теперь! Глаза блестят, язык облизывает пересохшие губы и, перебивая друг друга, смакуя услышанные, выдуманые детали, взхлеб живописуют они — какие они, ну,

в общем! Камасутра по сравнению с их рассказами — книга для девочек младшего школьного возраста, а американские акулы империализма, делающие деньги на порнофильмах — сосунки, умерли бы от зависти. Вот фантазеры...

Ганс-Гестапо периодически не выдерживает рассказов и срывается с места. Сдернув сонного Ваську с верхней шконки вниз, долго и старательно вошкается с ним.

Братва посмеивается и позволяет себе легкие колкости:

— Ну, Ганс-Гестапо дает, третий раз Ваську будит!

— Так тому в радость...

— Не надорвался бы Гестапо...

— Ничего, привычный, глюкозы хапнет и по новой!..

Всеобщий смех. Простые нравы.

Немного погодя пришли бабки. И тоже на коне. Вся хата ложится спать — это одно из условий продажи пластилина-гашиша. Ганс-Гестапо долго шепчется с дубаком, клятвенно его заверяя:

— Бля буду, век свободы не видать, спят все! Да и нет наследок! Бля буду!

— На женском тоже одна хлялась, а потом спалили дубачку...

— Да ты че, равняешь меня с бабой, ну, командир, ты меня обижаешь!..

— Нет, не равняю, ну давай сделаем так...

И кричит на Ганса-Гестапо во весь голос:

— Ты что не спишь! В карцер захотел! Под молотки к корпусному!.. Мразь уголовная!

Ганс-Гестапо поддерживает его:

— Да ты сам мразь, дубак дранный, я на таких клал!

Шум и гам. Вмешивается голос корпусного:

— Что за шум, а драки нет? Кто тут снова хочет отгребстись? А!

— Товарищ майор! Ганс-Гестапо по новой бузит!

— Давай его на коридор, мы ему рога быстро обломаем!

Дубак в присутствии корпусного (так положено) открывает двери:

— Выходи, чертила!

— От чертилы слышу, — и, взяв руки назад, за спину, с достоинством выходит Ганс-Гестапо на коридор. Хлопает дверь, все давятся от смеха.

На коридоре слышно:

— Ты че не спишь, паскуда?

— Да голова болит, командир.

— Я тебе сейчас ее полечу!

Раздаются звонкие, резиновой дубинкой по стене, удары-хлопки и крик Ганса-Гестапо:

— Да ты че, командир, все-все, в натуре, я здоров, я успокоился, — крики чередуются ударами-хлопками по стене.

— То-то же, сажай его назад, еще в карцер опускать, напрягаться.

И улыбающийся Ганс-Гестапо входит в камеру, сжимая правую руку в кулак. Лишь дверь захлопнулась, как вся хата «проснулась». Капитан первый:

— Засвети цвет. Гестапо! О! Какой красивый кусман...

Лысый и Шкряб отгоняют часть вниз, часть вбок, соседям строгочу и начинается курение гашиша.

— Профессор... ты в Азии был... Средней...

— Был... два... раза..... и во ... всех.....столица...х...

— Ну, кайф...наверно анаша...там...анаши там...валом...

— Валом...

— Ну, держи пятакчу... держи косяк... а пятакчу назад... мне... У кайф... прибило ...

Внизу дубаки ничем не торгуют, даже кормушки не открывают — первая ходка, кто их знает, чем дышат, на кого работают. Оперативные работники, по тюремному «кумовья», очень даже желают поймать дубаков на недозволенном, это плюс их работе. А строгочу проще: хаты поменьше, народ друг друга, в основном, знает, а в особых случаях, когда не чай, а водка, одеколон, наркота, то такие представления разыгрываются. Театр, цирк, и только.

Поближе к утру заплетаются языки, слипаются глаза, веки сами закрываются. Братва по одному расползается по шконкам. Еще одна ночь позади, а сколько впереди — один бог да прокурор знает.

— Слышь, Капитан, как думаешь, сколько мне отвалят?

— Не переживай, Профессор, все твои.

— Ну, а в натуре?

— Я думаю, трояк получишь. Ну, я спать.

— Я посижу...

Камера спит. Ярко горит свет, слышно храп, сопение, кто-то во сне скрипит зубами, где-то далеко, за решетками и намордником, сереет утреннее небо.

Я сижу за столом и думаю. Обо всем и ни о чем... Тюрьма. Впереди зона. Сколько дадут — неизвестно. Как там на воле, лето все-таки. Как друзья.

Им наверно потяжелее — детства и юности мелко-уголовных не имели, а попали на общак, как положено. А там покруче будет... Пора спать.

— Подъем! — стучит по двери ключами сонный продавец пластика и скупщик шмоток. Еще один день на тюрьге. Спать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Так неторопливо проходят друг за другом долгие, долгие пятнадцать дней. Меня не вызывают к следователю, к следаку, меня никуда не вызывают. Может быть, я умер, но об этом не знаю?

— Слышь, Ганс-Гестапо, почему меня не дергают.

— На измор берут, Профессор. Чтоб ты извелся и был как шелковый, мягкий как воск. А ты не бери в голову, веселее будешь!

— Да не беру, просто непонятно — тянут кота за хвост, тянут.

Иногда бывает разнообразие. То библиотека пришла на коридор — все такой же мордастый зек из хоз.обслуги принес рваные книги, без начала и конца. Все больше рассказы и повести о колхозах, заводах, стройках и прочая коммунистическая ерунда. Есть немного о войне, чуток исторических. Бесит, что нет окончаний, да и в середине порядочно вырвано. Ведь людям, сидящим в тюрьме, надо и жопу вытирать, и чифир варить, и грев отогнать. Да мало ли на что нужна советскому зеку бумага. Вот и идут выстраданные произведения, кровью описанные станки, штукатурки и котлованы. Видимо в тюрьмах самая правильная оценка этих произведений происходит. Ну их, в жопу. Не буду читать.

То в баню повели да через женский коридор. То-то крику было! Лысый в глазок заглянул и прилип, Ганс-Гестапо кормушку отпер (их днем только на защелку закрывают) и любезничает с какой-то похожей на обезьяну зечкой, а Капитан отстал и за руку, и за зад дубачку пощупывает и на ухо известно что нашептывает... Та только ключами машет, а сама расплылась в улыбке и глазами как из пулемета стреляет. К ней, к пожилому крокодилу, на свободе даже ночью никто не пристаёт, а Капитан парень хоть куда, хоть туда...

Ну а в бане и вовсе смех: вода горячая кончилась, братва лаяться стала, а зечара, по бане главный, решил сдуру войти и отбрехаться!

Если б дубаки не отняли, быть греху. Ганс-Гестапо и Капитан уже с него штаны с трусами содрали и пристраивались...

А то еще пришел прокурор. Сел у корпусного в кабинете и давай весь корпус по одному дергать. И глупый вопрос задавать:

— Жалобы имеются?

— Имеются, гражданин начальник. Сижу в тюрьме, а хочу на волю!

Заглянул прокурор в список и в ответ:

— Против Советский власти плевать вздумали? За все платить надо! Суд разберется. По существу, по режиму содержания — жалобы есть?

Махнул я рукой:

— Нет, — и в камеру. А там гогот стоит. Ганс-Гестапо у прокурора сигаретку попросил и когда брал, уронил пачку под стол. Полез проку-

рор за нею, а Ганс-Гестапо со стола стакан с подстаканником и ложечкой чайной, раз — и стырил.

— Ну, Гестапо, ты теперь чай как граф пить будешь!

— А вы как думали, я такой!

Неторопливо, долго тянутся дни в тюрьме. Медленно, медленно течет время...

Но на шестнадцатый день после завтрака все изменилось. Стук по двери:

— Иванов!

— Есть, гражданин начальник!

— Без вещей, через десять минут!

— Так точно!

Радость пополам с тревогой. Наконец-то, а то я уж думал, может, позабыли и сидеть мне вечно без суда, в этой хате, в этой тюрьме.

— Готов?

— Готов!

— Выходи, руки за спину, не разговаривать, следовать впереди!

Идем. Ведет меня дубак не с коридора, а незнакомый конвоир, «выводной» по фене, как положено. Дубаки лишь охраняют.

Идем. Идем по коридорам и лестницам, дубаки открывают и закрывают двери и... Вот. Я на огромном, залитом солнцем, дворе. Где-то далеко видны макушки деревьев, где-то слышны звонки трамваев. Воля. Слезы навернулись на глаза, к горлу комок и ноги не идут... Конвоир молодой, чуть старше меня, сержант, взял за плечо и заглянул в глаза:

— Ты чего встал? Лето на дворе, а ты в тюрьме. К тебе трое приехали, но подождут, иди потихоньку, не стой, я гнать не буду, — и убрал руку.

Да, не все на собачьей службе псы поганные, может, просто молодой еще, не знаю. В нарушение инструкции заговорил со мною, про следков сказал, по двору не гнал.

Если ты, сержант читаешь эту книгу и помнишь (хотя вряд ли) стриженного очкарика по 70-й, с наглой мордой, то спасибо тебе. Не все собаки.

Вошли в следственный корпус, позвонив у решетки и предъявив бумажку. Поднялись на второй этаж, а народу здесь кишмя кишит. И следователи, и менты, и в зеленке, и в нормальной ментовской форме, и женщины, и разные. А вот, по-видимому, и мой кабинет.

— Стой, — сержант вновь строг и неприступен. Я понимаю сержанта и не подведу тебя, здесь начальства много, а тебя служба такая, собачья.

— Подследственный Иванов доставлен!

— Давай.

Вхожу. Небольшой кабинет с одним окном. Обшарпанный стол, напротив него в метре стул, привинченный к полу. За столом мужик в штатском, лет сорока, мордастый, с седым ежиком. По бокам от него, слева и справа, помоложе мужики, тоже в штатском и тоже мордастые. И все улыбаются. Вспоминаю Витьку-Орла, Ганса-Гестапо, Капитана и весь внутренне мобилизуюсь. Так, друга встретили после долгой разлуки, ну еще давайте пообнимаемся. И точно — один из пристяжных вскочил, руки в стороны развел и ко мне. А улыбка во всю сытую морду:

— Володя! А мы тебя уже потеряли — то ты месяц на спецприемнике, то уже в Сизо.

— Да, езжу потихоньку, сам катаюсь, другие на месте сидят.

Они расхохотались. Сажусь на предназначенный для меня стул, смотрю на веселых мужиков. Те, насмеявшись и вытерев слезы, закуривают и предлагают мне. Не отказываюсь, помня наставления Гестапо, беру две, кладу в карман:

— Я потом покурю.

— Да бери всю пачку, — делает барский жест главный за столом и синяя плотная пачка «Космоса» исчезает в моем кармане.

— Ну, Володя, давай знакомиться. Меня зовут Роман Иванович Приходько, старший следователь по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Ростовской области, — говорит мне седой мужик:

— Ясно?

— Да.

— Это мои помощники, Саша и Леша. Сейчас Леша нам чаек организует, а мы с тобою покалякаем. Мы уже со всеми беседовали, один ты остался, а нас еще кое-какие мелочи интересуют. Как ты насчет покалякать?

— Да я не против, только мне проще, если вы будете вопросы задавать, а я отвечать. Так мне удобнее, да и вам, я думаю.

— Ну смотри ты на него, Саша, как все он понимает! Я думаю — мы с ним сработаемся.

Я насчет «сработаемся» имею собственное мнение, но молчу. Толстый прапор, постучавшись, внес на подносе чай в стаканах. Леша, улыбаясь мне, как лучшему другу, спрашивает:

— Тебе с сахаром?

— Да, четыре пакетика, — решаю облаглеть. Пролезло.

Пьем горячий чай и смотрим друг на друга. Что они думают — не знаю, а я, что им нужно. Попили, они покурили, я понюхал и началось.

— Ты, Володя, до того как познакомился с этими хипами, шпаной был и если б не они, не сидел бы сейчас здесь...

«Верно, я сидел бы уже давно и в другом месте», — думаю я, но молчу.

— Я думаю, ты нам поможешь кое в чем разобраться. Нам практически известно все, ну а мелочи всякие... Например, кто предложил печатать листовки?

— Не помню.

— Не крути Володя, некрасиво, такой молодой и склероз!

— Так ведь, гражданин начальник, пока я не встретился с хипами, то пил почти каждый день, а начал с 13 с половиной лет. Убей бог — не помню. Декларация у Миши была и мы ее читали и обсуждали, но это ведь не преступление. Леонид Ильич Брежнев ее подписал.

— Мало ли что он там сдуру подписал, а вы-то что полезли, — открыв рот, смотрю во все глаза на отважного следака и на его помощников: неужели не боится, что заложат. Помощники делали вид, что не слышали. Дела...

— Ну ладно, не помнишь, кто предложил печатать — бог с тобою. Ну, а кто предложил множительное устройство использовать?

— Не помню. Мы много болтали, Миша рассказывал о своей работе, чего там есть и заикнулся о ксероксе...

— А, так Миша предложил его использовать?

— Нет, кто-то из ребят, его обсмеяли, а потом все стали кричать, что, мол, неплохая идея.

— Как все? Ты вот, например — кричал?

Я решаю прыгнуть с этого поезда:

— А я и не знал, что такое ксерокс, поэтому молчал.

— Как это не знал? Ты что — совсем дикий?

— Не совсем, наполовину. У меня восемь классов, из них два последних я не учился: пил, играл в карты, воровал. Ксерокс я увидел впервые на Мишиной работе...

Через два часа каляканья мы были на том же месте, откуда начали. Роман Иванович устал и, оттерев пот с умного лба, сказал мне:

— Ну, Володя, ты или дурак, или особо умный. Давай начнем сначала, попробуем по-новой.

— Давайте, гражданин начальник, я не против. Просто я не понимаю, не могу понять — я в сознанке, что помню — все как на духу рассказываю, но как я могу помнить, что со мной было полгода назад.

— Тогда все! На сегодня хватит. Оставим на следующий раз, но учти, Володя, у меня терпение не бесконечно. Понял?

— Да, гражданин начальник, понял.

Выхожу в сопровождении другого конвоира и иду в родную хату. Через летний теплый двор...

В хате радостный крик — все, как дети, радуются пачке «Космоса». Расспросы: что, как, чего. На столе остывший обед, позаботилась братва. Внимание трогает, вяло хлебаю остывшую баланду, пытаюсь разобраться в мыслях. Ганс-Гестапо трогает за плечо:

— Слышь, Профессор, снизу подогнали конфеты, «Батончики». Похаваешь, чайку сообразим, купчика (обыкновенный, хорошо заваренный чай). Умотали тебя, менты или ГБ приезжало?

Отвечаю нехотя, так как чувствую себя измочаленным, выжатым как лимон. Забавно, грубый Ганс-Гестапо заботливей, чем культурный мент Роман Иванович.

Похавав и хапнув купца с конфетами, заваливаюсь на шконку и почти мгновенно засыпаю. Последнее, что слышу — голос Капитана:

— Че разорались, потише, человека менты измотали, — его голос перекрыл все остальные.

Проснулся свежий и бодрый, сразу после отбоя. Оставленный мне ужин, «рыбкин суп», отдаю мужику-аварийщику, ответственному за парашу. Кстати, его тоже звать Володя. Но все его называют просто шофер. Это братве, по-видимому, очень смешно:

— Эй, шофер, рули сюда, наведи порядок!

— Эй, шофер, рули отсюда!

— Эй, шофер, че паранька грязная? Параньку любить надо, землячок!

Сижу на шконке, смотрю сверху на жизнь хаты. Несколько человек спят, Лысый и Шкряб играют самодельными картами в очко на носы. Карты склеены из газет. Клей сделан из хлеба: на кружку — наволочку и хлеб протирают сквозь нее, держит крепче эпоксидки. Краска — сажка от жженой резины, от каблука, водой разбавлена, а красная от серы со спичек. Края заточены об бетонный пол, поэтому и тусуют колоду не так как на воле — колоду пополам и одну половину в другую с легким треском. Ш-Ш-Ш. По тюремному карты — стирь.

— Себе не вам, говна не дам!

— Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз!

— Ой, мама, ходи прямо!

— Не ходи налево, тама королева!

— Туз не груз!

— Очко, пардон, ваш нос!

и с оттягом, от всей души, лупят друг друга в случае проигрыша.

Матюха-Полуха коллекцию разглядывает собственную, в коллекции той из газет, из случайных, неизвестно как попавших в хату журналов, женщины выдраны... И тусует их пятидесятипятiletний ценитель прекрасного, а глаза мечтательные. Ничего, что неяркая печать, ничего, что все одеты. Фантазия у Матюхи-Полуха богатая. Звать его Матвей, а прозвали так его вот за что: на одной командировке (лагере-

колонии), бригадиру в драке ножом пол-уха отрезал и получил за это три года довеска (добавка к сроку). Лихой дядя!

Ворон с одним из мужиков, мужичков, в крест играет. Игра такая, в домино. Пара мужиков, недалеко от меня, на верхних шканцах, о чем-то негромко беседует. У каждого свое. Вон спекулянт лежит, задумался, в потолок взгляд устремил.

А внизу возня. Васек спит, к стене морду отвернул, что же там такое происходит? Свесил голову и вижу, — Капитан Гансу-Гестапо очередной портак колет. То есть наносит татуировку. Надо же — нашел свободное место. Интересно, что он ему колет? Спрыгиваю на пол и присаживаюсь напротив, на шконку Капитана.

— Не помешаю?

— Нет, валяй смотри, может в очередь запишешься, — шутит Гестапо, лежащий на брюхе. А Капитан, изыскав на сплошь татуированной спине место, быстро, одной тонкой иглой, контур рисунка пробивает. Так, понятно — очередной собор. Венчание (суд) впереди и решил Ганс-Гестапо подготовиться к этому событию. То-то Капитан купола не пробивает, боится Гестапо сглазить, все зеки суеверны. А вот и тушь втирать начал. Тушь в тюрьме самодельная, сажа от все той же жженой резины, мочой разбавлена, мочой клиента. То есть Ганса-Гестапо, поэтому и очень редко бывает заражение.

Насчет татуировок-наколок-портак. Колются в советских тюрьмах и лагерях густо, много и от души — это давняя традиция и ее соблюдают. Кто хочет. Молодежь часто колет все подряд, без понятия и поэтому бывают казусы. И плачевные. Которые очень плохо кончаются. А люди уважаемые, авторитетные с арестантскими понятиями, босяки по жизни, жулики и блатняки, бродяги, колются, колют правильно, так как надо. Так как каждая наколка — это информация об ее хозяине. Как в армии погоны, петлицы, нашивки, эмблемы. Только глянул — и сразу видно: генерал танковых войск, капитан медицинской службы и так далее. Только глянул, и сразу видно: кто танкист, кто генерал, а кто петух.

Например собор. Собор означает венчание, то есть суд. Количество соборов означает сколько раз судим носящий с гордостью эти знаки. Количество куполов на соборе означает: сколько лет дал этот суд. Поэтому Ганс-Гестапо и не колет купола. Все впереди.

Роза на предплечье означает десять лет отбывтых лагерей, червонец. Роза и воткнутый в нее кинжал — десять лет за убийство. Оскаленная пасть рыси — неисправимый. Крест с обвитой змеей — умер отец. Сердце со стрелой — не забуду любовь, месяц за решеткой — был в заключении, Кот с бабочкой (галстуком) — карманник, кот без бабочки — вор какой-либо специальности, гусар или девушка в гусарском метлике — насильник, судим по малолетке.

На коленях и ключицах колют звезды; жулики — двенадцатикочечные, пассажиры — восьми. Первые звезды именуют воровскими, вторые — фраерскими. И много, много еще есть наколок, и сложных-пресложных, и простых, взглянув на них, опытный и бывалый человек сразу поймет — с кем имеет дело, что можно ожидать от хозяина данного портাকা. Например, акула. Значит, этот человек по зоне в лагере, грузчик, акула — убивает по приказу более авторитетного. И сколько у него за плечами трупов — один черт да бог знает. Например у Шкряба, длинного, костлявого, с угрюмым лошадиным лицом, мужика лет сорока-сорока пяти, над правым соском голова акулы выколота. И глаза Шкряба как у акулы пустые, водянистые, я по телевизору у акулы такие видел. Да и какой он мужик, это у меня по вольной привычке вырывалось. Шкряб блатняк, акула...

Но вдобавок к наколкам имеются еще и подписи, аббревиатуры: «Не забуду мать родную», БАРС, ЗЛО, ТУЗ, СЛОН. БАРС — бей активистов, режь сук. ЗЛО — за все лягавым отомщу. ТУЗ — тюрьма учит законам. СЛОН — смерть лягавым от ножа. И много, много, много других. Есть и с политической окраской. Например «Раб КПСС». Но редко. За такое жестоко бьют и варварски выжигают какой-то кислотой.

Для того, чтобы описать все, надо монографию в нескольких томах написать, а перед этим многолетние исследования-описания проводить. Бывают наколки и с юмором. То на ягодицах чертей или коцегаров выколуют, те уголь в топку подбрасывают, когда хозяин такой наколки идет. То вместо собора пассажиру за его же деньги на всю спину трактор выколуют, под общий смех жуликов. А то следующее: у одного мужика в нашей хате, на груди, от плеча до плеча, красивыми, крупными буквами: «Не забуду мать родную, брата Кешу, сестру Клаву и соседа Матвея». Но это что! Братва рассказывала, что многим пассажирам колют короче, проще и веселей: «Не забуду мать родную и родное МТС (машинно-тракторная станция)» Пассажир, он и в Африке пассажир! И свое место должен знать. А нет — укажут.

Поэтому я и отказался от заманчивого удовольствия занять портак. А вдруг...

Капитан закончил пытать Ганса-Гестапо и тот побежал мыться на парашу. Смывать тушь и кровь. А там, подстелив одеяло, лежит страдатель и в трубу, в телефон, в трубу канализационную, слова любовные выговаривает. Ошизеть можно! Через парашу, через телефон тюремный, через ... и с женским коридором можно поговорить, вот они, страдатели и крутят любовь. Часто ни разу не увидев друг друга, довольствуясь лишь описаниями, чаще всего неправдивыми, четко выговаривают почти через всю тюрьму по канализационной трубе то, что говорят друг другу наедине. Но с тюремными отклонениями.

— Слышь, Катя, котенок, подыши, как под мужиком дышишь, — просит немолодой, изрядно потрепанный жизнью и тюрьмой, влюбленный. В ответ кокетливое и скромное:

— Да у меня немного было мужиков, я почти в этом вопросе неграмотная.

Искренне верю, кто ж на нее, обезьяну, на воле внимание обратит. Если только по пьянке, хором на какой-нибудь малине (притоне) пропустят. Но это несильно развивает в вопросах любви. Но влюбленный настаивает:

— Ну подыши, радость, котенок мой, — но не успевает получить просимое через парашу, так как Ганс-Гестапо бесцеремонен, тем более не с семьянином, не с блатяком.

— Брысь с параша, ишь присосался к телефону, помыться надо, — и подкрепляет свои слова легким, но ощутимым пинком в оттопыренный зад.

Влюбленный торопливо кричит любимой:

— Я тебя Катя, позднее позову, здесь по важному делу параша потребовалась!

А Катя в ответ:

— Я позднее спать буду, с Нинкой, если ты такой!.. —

но в ответ на ее слова, прямо в телефон, льется струя мочи. Это неромантичный Ганс-Гестапо готовится к акту с Васькой. Смешно и грустно. Цирк, одним словом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Судьба и КГБ занесли меня в тюрьму. А я привык бродяжничать и мне скучно. И никуда не деться от этой скуки и тоски...

— Профессор, ты че такой грустный? Слазь со шканцев, тисни роман.

Это он просит роман какой-нибудь рассказать. Я славен, как сильный, много знающий книг, рассказчик. Но помню совет Витьки-Орла, что нельзя давать садиться на себя ни в чем, иначе будут ездить и тогда, когда у тебя нет настроения. Станешь штатным и просто будешь обязан. Иначе по бочине или по рылу. Никто тебя не заставлял, а назвался груздем — полезай в кузов. Закон тюрьги. Пока я держусь правильного курса и рассказываю, когда считаю нужным. Иногда рву на любом, понравившемся мне месте повествование и заявляю:

— Все! Кончился роман.

Иногда есть настрой тиснуть, а я не рассказываю. Иногда убиваю главного героя. Иногда смешиваю несколько разных книг. Иногда раз-

виваю неглавную сюжетную линию. Одним словом — первые литературные опыты. Первые шаги в деле писательства.

— Неохота, Гестапо, я сегодня грустный и печальный, — отвечаю я. Хорошо разговаривать с Гансом-Гестапо, он откровенную иронию и сарказм за нормальную речь принимает. Даже Капитан иногда улыбается, слушая мои изыски. А тому хоть бы что — кажется Гестапо, что все так разговаривают.

— А хошь, я тебе грусть развею? Как насчет жженки? Кровь забурлит и печаль убежит!

Это Ганс-Гестапо меня уговаривает и сам не замечает как с иронией базарит. Я держу стойку:

— Жженка? Ну если жженка поможет...

— Поможет, поможет! Слазь. Сейчас Лысый со Шкрябом и организуют.

Трещит чья-то матрасовка, отрывают от нее полосу шириной в две ладони. В кружку, на дно, сахара в палец. Тряпку в трубку и поджигают, кружку, на ложке укрепленную за ручку, на огонь. Запузырился сахар, пожелтел. Лысый кружку за ложку держит, а Шкряб огнем руководит, только прогорит ткань, как Шкряб послонявит и оторвет пепел. Ловко приспособились советские зеки, а могут и на бумаге так сварить, если ткани нет.

Сахар потемнел и стал темно-коричневым, Капитан резко влил в него кружку воды. Зашипело на всю хату, вкусно запахло жженкой, похожей на кофе. Зашевелились спящие, повели носами сидящие за столом и на шконках. Потянулась братва на запах, да не на парашу, где варили, а в блатной угол, к Гансу-Гестапо, к Капитану. В двери стукнул лениво дубак:

— Опять дымите?

В ответ веселое:

— Не мешай спать, отбой кому была, — и дружный общий смех. За окном ночь, спит страна, но не спит тюрьма.

Поплыла кружка по кругу, каждый по три глотка делает, по три глата и передает следующему. Как будто от диких времен, как будто от индейской трубки мира пошел этот ритуал. Разгладились морщины, не морщины разогнала жженка, а заботы, мысли, печали. Забурлила кровь и живой побежала, заблестели глаза и казалось, сам собою зашевелился язык:

— В одном царстве, в одном государстве, жил вор. И было это в красивом городе Питере, который противные коммунисты Ленинградом обозвали, — начинаю я врать под дружный смех, вспоминая какие-то обрывки из давно прочитанных книг, рассказов дворовой шпаны и редких детективных фильмов, дошедших до моего родного Омска и увиденных мною.

Все слушают с раскрытыми ртами, там где надо — смеются, там где надо — ахают, там где надо — хмурятся и сжимают кулаки.

Эх, как сладостно иметь столь благодатных слушателей. Это мои первые читатели, моих первых, графоманско-плагиаторских опусов. Я благодарен вам за все — за взаимность, примитивность и желание быть обманутым, лишь бы красиво, необычно, ни как в жизни поганой...

— И убежал вор тот, Димка-Генерал, с чемоданом брильянтов за бугор и открыл на Флориде казино, а советские менты с Интерполом не дружат и не могут его найти на необъятных просторах нашей самой лучшей в мире Родины, — заканчиваю я повествование под общий радостный смех, переглядывание и возгласы:

— Ну, Профессор, в какой книжке только вычитал!..

— Голова, ядрена вошь!..

— Кайф, чемодан с брильянтами, казино!

— А мент, лопух, на крыше остался...

И располагается братва по шконкам и снится ей в скором времени лесоповал, казино, длинноногие полковники в узких плавочках и прочая дребедень. За окном серая дребедень, за дверью сонный дубак.

Еще один день, еще одна ночь, день да ночь — срок прочь... А впереди не видно не хрена!

Просыпаюсь от кипежа (шума). У Лысого кто-то ночью стырил деньги. Вот он и разоряется:

— Ну крыса, найду — убью, падла ложкомойная, петушара дра-ная!..

Ганс-Гестапо его успокаивает:

— Да найдем твои бабки, найдем. Ты вот что скажи — че ты их приныкал от семьи? Тут подсос, голяк, ничего нету, а у тебя крыса полтинник тырит?..

— Да я, я не че, я хотел на именины, так и прикупить с коридора!

— Ну какой ты экономный, а когда у тебя именины, лысый черт?

— За базаром следи, Гестапо, какая разница, когда именины, бабки стырили, крысу надо искать, а то все покрадет, — и по новой орет на всю хату:

— Кто последний спать ложился?!

Я решаю не ждать, когда на меня покажет какой-нибудь любитель социальной справедливости и, не слезая с нар, заявляю:

— Последний лег я! Но никаких бабок я не тырил! Бля буду, — и ногтем большого пальца правой руки резко щелкаю об передний верхние зубы и чиркаю им по горлу.

Все оторопело глядят на меня. Первым очухивается Капитан:

— Ну если он божится, я ему верю. Давай начнем качать (разбираться).

Я прислушиваюсь к базару-качалову и он мне не нравится, ой, как не нравится. Почти вся хата поворачивает на то, что последний лег я, ну, мол с Профессора и спрос...

Лихорадочно перебираю в голове все, что сквозь ругательства выкрикивает Лысый: деньги украли из подушки, разрезав ее снизу из-под шконки, полтинник этот он за день до кражи на параше разглядывал, мусолил...

— Сраку что ли подтереть хотел? Миллионер хренов! — вставляет под гогот хаты Ганс-Гестапо в путаную речь, в путанный монолог Лысого.

— Да ты че, я прикидывал — че на именины брать будем, — вяло отбрыкивается Лысый и вновь начинает голосить:

— Крыса в хате, искать надо, убью, бля, в натуре, ну падла, ну пидарас!..

Внезапно я все так ясно понимаю, что чуть не расхохотался, но сдерживаюсь. Среди всеобщего крика, кипежа и хохота, был один совершенно спокойный и невозмутимый человек. Как будто все происходящее его не касалось. И он был так невозмутим и спокоен, что явно переигрывал. Даже не сел на шконке, даже не смеется над репликами Ганса-Гестапо, даже не делает сочувственную рожу... Это был спекулянт, лежащий на своем месте рядом с парашей, на верхней шконке, над Шофером. Такой тихий, невозмутимый дядя, а ведь с его шконки и подглядеть, как Лысый полтинником любитесь, раз плюнуть. Ну, сука, а тут на меня бочку катят, раз не спал — значит, и стырил. Ну, тварь, держись!

А хата орет, распаляется, следаками им быть — цены бы им не было. Не спал? Значит — ты украд! Ты — вор!

— Послушай, братва, я вам сон расскажу! Мне сегодня сон принился, — пытаюсь влезть в базар.

— Ну ты погляди на очкарика хренова, сны рассказывать нам вздумал, сказочник чертов!..

Я понимаю, что мне их не переорать и перехожу к решительным действиям. Спрыгнув со шконки, негромко говорю Гестапо:

— Слышь, Ганс-Гестапо, я знаю, кто стырил бабки. Заткни хату и перекрой двери.

Хозяин хаты рявкает:

— Заткнулись все, ну! — и в хате становится тихо. Гестапо продолжил:

— Шкряб, — и смотрит на меня, я киваю в знак согласия.

— На дверь. Остальные умерли — Профессор кое-что рассказывает будет.

Шкряб перекрыл двери, я глянул на спекулянта и понял до конца — не ошибся. Следы легкой тревоги и небольшого волнения были явно налицо. На лице у бывшего невозмутимого дяди.

Я начал:

— Все в центр хаты, и ты слазь оттуда, — машу спекулянту, он не спешит, но Шкряб рывкает и вот все внимают мне, стоя и сидя посередине камеры.

— Ночью я проснулся, под утро, и пошел на «парашу». Где я сплю, все знают и, идя по хате, я вижу всю хату, все шконки. Так вот за столом никого не было, а в одной шконке не было одного человека...

Я замолчал и уставился на спекулянта. Тот не выдержал моего экспромта:

— Врешь, паразит, ты спал! — заорал спекулянт и осекся. Капитан схватил его за плечо:

— Где деньги, тварь?

— Да я не брал, что вы, ребята, кому верите, да я!..

Ганс-Гестапо ударил кулаком наотмашь по рылу спекулянта:

— Бабки, петух, бабки давай, крыса, козел горбатый, ну! — и ткнул его растопыренными пальцами в глаза.

Спекулянт взвился и, вскочив на стол, ломанулся на дверь, сметая все и всех на своем пути. Но в дверях стоял Шкряб, в синих, по колено, трусах, костлявый, длинный, весь в разводах и наколах. Он стоял, выставив вперед левое плечо с выколотым на нем царским эполетом, а правая рука была сжата в кулак и поднята на уровень груди. Раздался звук удара и спекулянт отлетел под ноги братве...

Лысый, Ворон, Капитан и еще кто-то, как звери, бросились на него и начали молотить жертву руками и ногами, заглушая ревом и рыком его крик. Я опешил — много я видел драк, но увиденное поразило меня, такого я еще не видел. Мне не было жалко спекулянта, с волками жить, по-волчьи выть. Но звериная злоба поразила меня до глубины души.

Спекулянта мне не было жалко — ведь если б кражу сперли бы на меня — то Ганс-Гестапо первый бы кинулся. И ничего тогда не помогло бы. Нравы в советских тюрьмах просты. Крыс в тюрьмах и лагерях не любят.

Крысы — те, кто крадет у своих. Воры и грабители особенно трепетно относятся к своему имуществу. Вот парадокс. И крысятничество особо наказуемо. Раньше, при Сталине (по рассказам старых зеков) — резали. Но позже, по ряду причин резать стали меньше, а больше насиловать, опускать, петушарить, пидарасить.

Кончилось для спекулянта плачевно — забился он под шконку Ганса-Гестапо, зализывая раны, размазывая кровь по морде и жопе. Штаны его Капитан зашвырнул туда же. Спекулянт клюнул на простую мульку (обман). После первых молотков, Гестапо отогнал разошедшихся

поборников справедливости и, присев к скрючившемуся спекулянту, участливо спросил его:

— Признайся, что брал, отдай бабки и дело с концом! Че, мы звери...

И спекулянт признался и отдал полтинник. Первым был торжествующий Ганс-Гестапо, затем вся семья, семьянины. Я отказался, сказал, что, мол, на него не стоит. Ганс-Гестапо посмеялся:

— Ничего, отсидишь первую пятнашку (пятнадцать лет) — на забор встанет, если там написано будет жопа.

Деньги забрал Гестапо, сказав, что на чай для семьи и хаты. Лысый не стал спорить.

Самое поразительное для меня, что за весь кипеж и расправу над спекулянтом из коридора никто не заглянул, не стукнул об дверь, мол, тихо там. Видимо, дубаков это не интересовало. Это не чай, не штаны и не деньги.

Но было продолжение. На другой день, когда привели на прогулку, спекулянт встал на лыжи (убежал с камеры).

Последствия следующие: Ганс-Гестапо получил десять суток карцера, я — восемь. Но для меня было еще продолжение.

Сам корпусной отвел меня к куму (зам. начальника СИЗО по оперативной работе, начальник стукачей). Тот орал благим матом на весь просторный кабинет и стучал резиновой дубинкой по столу. Я с легкой тревогой следил за нею.

— Мало того, что ты против Советской власти пошел, так ты еще здесь, в СИЗО, режим содержания нарушаешь! Кто тебе позволил следствие устраивать?! Ты что — администрация?! Если что-то пропало в камере, нужно обратиться к корпусному! Ты что, правила режима содержания ни разу не читал?!

— Нет, гражданин начальник!

— Ты что?! С луны свалился?! Во всех камерах на стене висит, а ты не читал?

— Я не заметил!..

— А ты еще и издеваешься!

Дубина участила удары по столу, а я удвоил бдительность. Наконец кум устал орать и стучать по столу.

— Ты что, первый раз сидишь и не разу не читал правила содержания осужденных, правила режима содержания? — съиронизировал кум.

— Да, я первый раз на тюрьме.

Кум вытаращил глаза и широко раскрыв рот, уставился на меня. По-видимому, я сказал какую-то глупость.

— Да ты, да, а как, что ты делаешь в хате строгала! — закричал по фене кум — Как ты там оказался?! Да ты знаешь, что это тоже нарушение режима содержания?!

Дубинка так и мелькала, стуча по столу. Я устал следить за нею, я устал от крика кума.

— Гражданин начальник, я сам не мог сесть туда, куда хочу. Куда меня посадили — там и сижу. Куда вы меня посадите — там и буду сидеть. Я подсудимый!

Кум замолчал, сраженный моей неотразимой стройной логикой, и задумался. Помолчав, крикнул корпусному:

— В карцер его, восемь суток мерзавцу.

И я пошел в карцер.

Это была маленькая, сухая, теплая камера, несмотря на то, что находилась в подвале. Размеров восемь на шесть моих средних шагов, она была совершенно пуста. В ней не было даже параша. «По-видимому, она не понадобится», — мелькнуло в голове.

Потянулись долгие восемь суток. Трижды в день меня кормили, давая все так же, но ровно половину. Хлеба давали чуть меньше полбулки. «Фунт» на жаргоне, по фене. Дважды в день водили на оправку, в туалет. И все. Даже «подъем» и «отбой» мне никто не кричал. Ни слева, ни справа в карцерах никого не было, тишина, отсутствие какого-либо занятия, все это создавало благоприятную обстановку для сумасшествия. От безделья, от ничегонеделанья, от незнания куда себя деть, я чуть не сошел с ума. Совсем немного осталось... Я оторвал даже пять пуговиц от зековской куртки, в которую меня переодели перед карцером (включая такие же штаны и резиновые тапочки). И начертил какую-то игру на бетонном полу. На следующий день плохо видимая игра стиралась, и я чертил новую, так как прежнюю не помнил. Последние два дня я провел в отупении, даже отказался от одной из оправок. Просто лежал на полу. Голова была пуста...

Лязгнула дверь и в обратном порядке произошло мое превращение из могилы в жизнь.

Переодевшись в родные шмотки, в сопровождении дубака (как всегда), поднимаюсь я в родную хату. Перед нею встречает меня корпусной:

— Собирай вещи и дуй отсюда, мразь политическая!

Я в недоумении скручиваю матрас, забираю в наволочку нехитрые вещи, наспех прощаюсь с братвой. И выхожу в коридор. Вновь судьба неясна и тревожна, что впереди — неизвестно...

Иду в сопровождении дубака, прижимая к груди матрас. Решетка, лестница, второй этаж... Идем по нему в противоположный конец, сворачиваем в узкий коридор. Здесь всего несколько дверей.

— Стой!

Гремят ключи, распаивается дверь с номером 21 — и я в новой хате. Да, это не прежняя хата, это что-то другое.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Большая камера, восемнадцать двухъярусных шконок вдоль стен, в два ряда, посередине стол, скамейки. Верхний ярус сплошной — между шконками вертолеты (деревянные щиты) лежат. И народу — как тараканов, плюнуть некуда. Кто-то пялится на меня, кому-то глубоко безразлично, заняты своим делом, читают, базарят... Молодежи немного, больше среднего возраста, тоже полуголые, в трусах или трико. Татуированы не густо, первая ходка, первая судимость.

Кладу матрас на пол рядом со столом и оглядываюсь, а из блатного (а их в хате два) левого угла раздается ожидаемое и знакомое:

— Слышь, земляк, ты че там топчешься? Канай сюда — базарить будем!

Протискиваюсь мимо мужиков, парней, мимоходом вижу нормальную, доброжелательную улыбку. Отвечаю тем же.

А вот и они — хозяева жизни, хозяева хаты. На главном месте развалился невысокий, плотный, с бородкой шкиперской и густо татуированный блатяк лет двадцати двух-двадцати пяти. Маленькие темные глазки из-под кустистых бровей смотрят недоброжелательно. Как все в хате, одет в трико. Напротив, на соседней шконке, уселись аж четверо и тоже не сводят с меня глаз, но смотрят по-разному: облокотившийся на подушку явно хозяин шконки, плечистый парень в тельняшке с голубыми глазами, смотрит откровенно враждебно. Сидящий рядом, длинный, костлявый, тоже молодой, лет двадцати пяти, смотрит спокойно, с полуулыбкой. А двое с краю, явно из подпевал, не имеют своего мнения, поэтому и морды у них то злые до смеха, то доброжелательные до глупости.

Присаживаюсь в ногах у бородатого:

— Всем привет. Меня подняли с трюма (карцера). Оттянул восемь суток. А до этого сидел в три шесть, поймал крысу, вот кум и опустил в трюм. Был в семье Ганса-Гестапо. Сижу по 70.

Все слушавшие открыли рты и уставились на меня, а бородатый, усмехаясь, спросил:

— А че ты делал на строгаче?

— Я откуда знаю, куда посадили — там и сидел.

— А ты не свистишь?

Я решаю показать зубы, так, немного:

— А что, хата связи не имеет, подкричи, отошли малевку конем, сразу все видно будет, кто да что. Ганс-Гестапо еще в трюме, ему десять дали, но в хате семьянины есть — Ворон, Капитан, Лысый, Шкряб, Матюха-Полуха.

Бородатый издевательски смеется:

— Ну и кликухи у братвы, я такие не слышал, интересно — где они тянули и кем жили?

— Вот у них и спросишь. Где мне лечь?

Я сообщил всю информацию о себе: пассажир, но хавал в семье человека, державшего хагу, сижу за политику, косяков нет. Поэтому могу претендовать на нормальное, согласно моему статусу в тюрьме, место. Тонкая штука табель о рангах. Бородатый в ответ:

— Связь у нас после отбоя, подождем, да и с местами напряг в хате...

Внезапно вмешивается длинный, со спокойной улыбкой:

— Ну ты Тит загнул, если он не лепит горбатого, то не дело держать его без места, а если туфта — то всегда со шконки сдернуть можно.

Тит нехотя слазит с насиженного места, шлепая тапочками и почесывая бороду, идет определять меня. Остановившись посередине хаты, лицом к правой стороне, к правому ряду шконок, машет рукой:

— Сюда ложись, третьим на два места. Народу переизбыток, — и уходит к себе в угол.

Мужики принимают матрас и стелют его поверх своих, благо мой тонкий. Следом я отправляю наволочку и поднимаюсь сам. Усевшись на выделенное мне жизненное пространство (не обширное), я оглядываюсь. Слева от меня сидит огромный, толстый, бородатый детина, весь в буграх мышц, лет сорока. Я с опаской протягиваю ему руку:

— Володя-Профессор.

Он несильно пожимает и басит в ответ:

— Леша.

Я решаю пока воздержаться от более близкого знакомства. Справа сидит мужик молодой, лет тридцати, с наколками, говорящими, что у него малолетка за плечами. Глаза были веселые и хулиганистые.

— Санька. За бабу. Изменила, я ее и прибил маленько. Следак базарит — копыта откинула мол на кресте (больнице). А я в ответ, так, может, лечили неправильно... — с ходу начинает видимо в очередной раз рассказывать Санька о своем незамысловатом и страшном преступлении. Ложусь, закидываю руки за голову и делаю вид, что слушаю внимательно. А сам гоню гусей. «Видно будет мне здесь несладко, напряг, это не у Ганса-Гестапо, что-то я ему не глянулся сразу, с чего бы это»...

Мои мысли прерываются с появлением длинного, выбившего мне место. Легко запрыгнув наверх, он уселся и, улыбаясь, сказал:

— Давай, политик, знакомиться. Семен, — и протянул руку. Я пожал ее:

— Володя-Профессор.

Семен сразу взял быка за рога:

— Я еще ни разу не разговаривал и ни разу не видел живого политика. Расскажи, за что тебя взяли?

Я опешиваю от такого не принятого в тюрьге базара. Семен понимает и поправляется:

— Здесь ушей много, — и поводит головой направо и налево, имея в виду хату и жильцов:

— Так ты Расскажи, что можешь, что хочешь, что тебе не повредит.

Я быстро соображаю — не будет ли мне хуже, решаю, что нет и начинаю повествование.

Снизу, из угла, басит Тит:

— А ты сюда спускайся, нам тоже интересно послушать!

Гляжу на Семена, тот улыбкой и жестом предлагает — пошли и мы, спускаемся вниз.

Рассказ свой я заканчиваю арестом и тут не жалею ни красок, ни эмоций, ни эпитетов. Слушают с открытыми ртами, затаив дыхание. Как дети...

— Все.

В ответ нет только аплодисментов. Сверху, сбоку, со спин сидящих на шконке напротив Тита, отовсюду видны головы благодарных слушателей. Я купаюсь в лучах славы. Но на землю меня возвращает голос Тита:

— Ты так в кайф базаришь. Будешь у нас рассказчиком, — внезапно, для меня, решает он.

Я отвечаю:

— Что значит будешь? Когда у меня есть настроение — я расскажу, приколю, что-нибудь, если найдутся слушатели, если нет — я что, обязан?

— Да ты че? В натуре?! У нас здесь у каждого обязанности есть, я о хате беспокоюсь, а вон Кешка с Поросятником коней гоняют, Ванька парашу обслуживает. Одним словом — штатное расписание. Как на корабле, да, Боцман, — и захохотал, обращаясь к крепышу в тельняшке, вновь угрюмо смотрящего на меня и потирающего кулаки.

— Я на корабле не был, у меня такого косяка нет, я в армии не служил! Да и здесь не армия, а тюрьга. Рассказывать я никому не обязан и не должен. А если кто-то в черти залез, я-то причем!

Тит выкатил глаза на мое отбрехивание, видимо нечасто такое он встречал:

— Ты че, в натуре, нюх потерял?!

— Я его и не имел. Я никому не должен, ничего и никому. Если должен — скажи прямо где, когда, кому. Постараюсь ответить.

Тит пугает меня взглядом, собираюсь со словами, Боцман трет кулаки, братва давно разбежалась по шконкам и в углу повисла зловещая тишина.

Разряжает, частично, обстановку Семен:

— Ну ладно, Тит, правильно он базарит, не все черти, есть и мужики...

— Да какой он мужик! Ему лет двадцать. Или в пацаны или в черти.

— Здесь не малолетка, Тит, мужики тоже нужны, — продолжает уговоры Семен. Тит угрюмо замолкает, а потом изрекает:

— Иди, Профессор, но подумай — тяжело тебе жить будет, против общества идешь!

Я решаю промолчать. Залез наверх, отдыхать. Я знаю — это не последний бой и впереди еще много боев, и я должен выдержать. Иначе... Иначе я сам себя уважать не буду. Но интересно, чем я Титу так сразу не глянулся? Что я у него такого украл в этой жизни. Может мы в другой жизни, раньше встречались?

После обеда, который в этой хате происходил своеобразно (из-за переполненности): часть ела за столом, часть на шконках, начался второй раунд.

Хату повели на прогулку, и как рассказывал Витька-Орел, эти застоявшиеся жеребцы затеяли веселую игру в «слона». В кратком описании это следующее: посередине прогулочного дворика скамейка, без спинки, вделанная в бетонный пол. Один из жеребцов становится руками на нее, оттопырив в сторону зад. Это слон. Все остальные прыгают на него с разбегу и зависают, зацепившись, за что могут. Ведущий бегаёт вокруг и кто заденет землю, застукивает его. И застуканный становится слоном. А слон — ведущий...

Я отказался играть, Мне не хотелось быть слоном и не хотелось уподобляться веселому жеребцу. Тит выкатил глаза:

— Ты че? В натуре? — скуден запас слов и низок интеллект у Тита:

— Ты че?! У нас все играют.

— Я не хочу. У меня с детства спина болит, остеохондроз.

— Ну так вылечишься!

— Нет. Я не хочу быть инвалидом.

Опешивший Тит отходит от меня. Из игры выбывает и Леша, мой сосед по нарам. Титу это не нравится, мое поведение дезорганизирует массы. И он начинает рычать:

— Ты че, кабан? У очкарика спина болит, а у тебя голова что ли?!

Леша нехотя возвращается в игру. Интересно, такой здоровый, а побаивается Тита.

Прогулка длится час, и целый час веселились и играли воришки, грабители, хулиганы. И очень весело веселились.

После прогулки от продолжения разговора о пользе игр на свежем воздухе меня спасает вызов к следаку.

Просидев в кабинете пару часов и не рассказав ничего нового и тайного, покидаю разочарованного Романа Ивановича с помощника-

ми. Следствие топчется на месте: у нас нет связей, у нас нет контактов с аналогичными группами на Западе и в Союзе, центрами в Америке, нет рации, оружия, денег, подрывной литературы (кроме изъятого листка с «Декларацией прав человека») и ничего негу подрывного. Или хорошо замаскировались, или душим следствие, или... Бред, и я один из действующих лиц этого бреда.

Иду впереди конвоира, руки сложил за спиною, впереди хата с Титом. Заболел бы он что ли или помер.

Лязгнула дверь и я дома. Горько, но правда. Лежу на шконке, перевариваю ужин и готовлюсь спать. Ночная жизнь этой хаты меня не касается. Я в стороне.

— Отбой; — гремят ключи по двери и на минутку воцаряется тишина. А потом снова, по-прежнему.

Тит басит из угла:

— Слышь, очкарик, малевку отправили, ну если что!..

Я не ведусь и не отвечаю. Я чист, как лист протокола, еще неисписанного. Я засыпаю...

— Подъем! — гремят ключи по двери. Тит еще не ложился спать, хотя вся его семья дрыхнет без задних ног.

Завтрак. Тит лично принимает миски с пшенной кашей, пайки и передает дальше, балагурит с дубаком, смеется над баландером.

Ганс-Гестапо никогда не снизошел бы до кормушки во время раздачи хавки. Забавно.

После завтрака, снова лично, Тит отдает грязные миски на коридор, по-новой мило шутит с дубаком. Забавно и поразительно!

Идя спать, Тит остановился возле нашей (одна на полтора человека), шконки:

— Сегодня этапный день! Ты не играл вчера — будешь играть сегодня с этапом. Игры легкие, спина не заболит!

Я дипломатично промолчал, имея собственное мнение, основанное на знаниях, почерпнутых от Витьки-Орла и Ганса-Гестапо.

Промолчал, но задумался. Мужики, оживая после ночи и завтрака, занялись кто чем. Кто-то в домино играет, кто-то письмо пишет, кто-то на параде сопит да бумагу мнет. На строгаче нельзя на парашу идти три раза в день: в завтрак, обед, ужин. В остальное время отлить можно, даже если кто-то жует, а отложить — надо крикнуть, если невтерпех:

— Придержи челюсти, я на минутку! Или еще что-нибудь в таком роде. А на общаке строже: ни отлить, ни, тем более, отложить нельзя, если кто-то хакает. Берегут нравственность прошедшие малолетку, как бы не зашквориться (морально не замараться)!

Насчет этапов. Дважды в неделю во всех советских тюрьмах происходит действие: снизу из транзита (а он всегда или в подвале, или в полуподвале находится) прибывших из КПЗ поднимают и распределяют

по камерам. Конвейер в действии. В Ростовской тюрьме это вторник и четверг.

Ближе к обеду раскрылись двери и вошел этап — трое с матрасами, судя по рывкам, кандидаты в черти. Они заранее напуганы самим фактом ареста и привоза на тюрьму, а прошлым, видимо, по уголовным меркам, нечего гордиться. Молодые, лет по двадцать с небольшим, судя по одежде, пролетарии.

Все в хате оживляются. Тит тянет их к себе и начинаются расспросы: что, кто, откуда, за что? Я оказался прав — без уголовного прошлого, двое за хулиганку (коллективом побили одного за ни за что), третий за кражу фотоаппарата у приятеля. Встретились в транзите, даже на КПЗ сидели отменно. На воле все трое пахали: на заводах, на стройках. Пролетарии...

Тит сообщает:

— По законам тюрьги, если нет клички, нужно прыгать на решку и просить у тюрьги кликуху!

Я об этой прелести знал еще от Витьки-Орла и поэтому с первого шага в тюрьме представлялся как Володя-Профессор. Ни у кого и мысли не возникало, что я использую еще школьное прозвище.

Один за другим лезут придурки на решку, под общий смех и кричат, как научил их Тит:

— Тюрьма, тюрьма, дай кличку вору.

А тюрьма откликается, а тюрьма старается, а тюрьма хохочет!.. Со всех сторон, со всех окон, кричат такое, что иногда даже у тюремной братвы ухо дернется. А выбирать можешь сам. Да еще Тит напрягает, поторапливает:

— Ты чего не выбираешь? Забор горбатый тебе не в кайф, не нравится?!

И хохочет. А угрюмый Боцман, за убийство какого-то мужика сидящий, кулак потирает...

Поневоле выбирать быстрее приходится. Вот и дала тюрьга клички так называемым ворах: Длинный, Кость, Киргиз. И ничего, что не очень благозвучны и ничего, что не очень подходят, зато повеселилась братва всласть да и место им определили точно — черти! Ни один уважающий себя босьяк, арестант, жулик или мужик не полезет на решку, на посмешище всей тюрьге, кличку себе просить. Так начинается дорога вниз, неотвратимая дорога. В тюрьме дорога только вниз. Выше чем назвался сразу — никогда не поднимешься. Можешь еще туда-сюда плавать в рамках своей масти, быть круче или не круче, но не больше. А черт, он и в Африке черт!

А вот и дальнейший цирк, дальнейшее опускание в глазах хаты: по одному кладут на лавку и мокрым полотенцем трижды лупят по сраке, приговаривая:

— Будь Длинным! Будь Костью!

Ну, а на последнем Тит разошелся и, видя, как Киргиз морщится, слыша удары и видя кривящиеся лица, сдерживающие крик, предложил более льготные условия:

— Не три раза, а один, не через штаны, а через, без всего, — под общий смех и кривые ухмылки объясняет Тит жертве:

— Не мокрым полотенцем, а рукой...

Затаила хата дыхание, а дурак этапник:

— Согласен, — польстился на легкость условий. И вновь заухмылялась хата, заухмылялись все, кто прошел малолетку, и криво заулыбались те, кто на воле со шпаной знался... Только мужики-пассажиры ни причем, непонимающе смотрят, как скользит прямо на глазах Киргиз, прямо на дно скользит. Ведь в хате нет ни одного петуха, ни одного пидараса, а жеребцам скучно и грустно, а Ваньке, черту с параша, под семьдесят. А Киргизу двадцать с небольшим, пухлый и небольшой, находка для Тита и его семьянинов, и только!

Спустил Киргиз штаны с трусами и лег поперек лавки. На морде удовлетворение написано и спокойствие...

Тит же трусы приспустил и членом по ягодицам, по булкам на жаргоне, раз и провел. Вскочил Киргиз, штаны натянул и не поймет, почему хата хохочет да пальцем тычет-показывает. Оглянувшись, увидел хозяйство Тита, напоказ выставленное и не понимает до конца, что произошло. И обиженно потянул:

— Ты че? Рукою договаривались...

— В оче не горячо? А ты не промах — знал на что соглашаться. Понравилось?

Киргиз в недоумении и не знает, что сказать. А Тит гнет свое:

— Так ты со стажем? Где дно пробили?

— Я не понимаю...

— Я не понимаю, когда вынимаю! Ну так оставим на потом, после отбоя поговорим...

И, приведя себя в порядок, подмигивает Боцману. Тот хмурит брови и вглядывается в лицо Длинному:

— Что-то твоё рыло мне знакомо... Ты где на воле жил-пахал?

— На тракторном, — отвечает с опаской спрашиваемый. Боцман делает зверское лицо и орет:

— А, сука, так это я тебя около кинотеатра с повязкой видел, мент поганый! — и заносит кулак.

Длинный шарашается, сбивая скамейку (всеобщий смех) и внезапно для себя колетса:

— Да я всего несколько раз выходил, но никого не задерживал, и не к кинотеатру, а к парку, — потихоньку начинает понимать, что взяли его на понт, на туфту. Семен (кстати, то не имя, а кличка) усмехаясь, успокаивает жертву:

— После отбоя поговорим, тихо и спокойно. Кто из нас не без греха. Я, например, в пионерах был.

Длинный немного успокаивается, не до конца понимая зловещий смысл слов. А я более пристально вглядываюсь в лицо Семена. Я думал — он добрее, человечнее. А это всего лишь маска. К тому же вспоминаю, по какой он сидит, слышал мельком. 102. Убийство. Подробности не знаю.

Третий, Кость, еще ни на чем не поймался и не провинился. Всем сообщают, что они приняты на тюрягу, прописаны и вечером, после ужина состоятся игры. И мне участвовать там предписано.

День прошел без происшествий, кроме мелких недоразумений. Места этапникам не дали, мол потом, Киргизу посоветовали кружку не ставить в телевизор, а хранить при себе. Тарелку его, после обеда, на коридор не отдали, а положили возле параша...

И только Киргиз не понимал: куда все катится, что в конце. Попытался сесть за стол, в домино поиграть — оттерли. Он не понимал, что над ним уже висит невидимый несмыаемый знак — пятно на всю лагерную, да и не только лагерную, жизнь. Отверженный, неприкасаемый, а попросту, по-советски — петух. Насилуют в советских тюрьмах не в связи с наклонностью русского народа к гомосексуализму. И не в связи с традициями, бытующими в народе. Судя по рассказам старых зеков, началось это где-то после 1960 года и приняло лавинообразный характер, размах. Просто свидание с женою (если она есть) одно в год, скудно, интеллект низок, резать, как раньше, стали меньше, потому что стали добавлять срок и существенно. Вот и насилуют, лишь был бы повод или причина. А если нет — всегда можно придумать.

На прогулке вновь все веселились, лишь я стоял один в сторонке. Титу пока не до меня, есть и поинтересней объекты. Скорей бы вечер и бой...

После ужина этапников посадили за стол. Тит пригласил и меня:

— Давай Профессор, играть садись!

— Я не хочу.

— Что? — Тит от такой наглости поперхнулся и уставился на меня, сидевшего на верхней шконке. Я неторопливо слез и повторил:

— Не хочу.

— Да у нас все играют, играли и играют. Это традиция, ты че — против общества?!

Я пожал плечами и пустил в ход последний, наиболее весомый аргумент, припасенный напоследок:

— Послушай Тит, здесь на тюряге, есть хата, где вставших на лыжи содержат. Называется обиженка. Говорят, там традиция трахаться в сраку. Так вот, если меня кумовья туда посадят за что-нибудь, я тоже должен этим заниматься? Ну извини, у меня свое мнение.

Тит сраженный логикой и терминологией, молчит, открыв рот, а я, битый, опытный волк (в собственном представлении), решаю подсластить пилюлю, пустить леща (похвалить похвалить):

— Послушай Тит, ты настоящий арестант и босак, ты третий раз чалишься и правильно по этой жизни живешь, и не мне, пассажиру, тебе, жулику и блатяку, указывать, что правильно, что нет. Есть черти, есть мужики. У меня косяков нет, я в жулики не лезу, ну и не надо меня гнуть. Ты умный, Тит (это я душой покривил) и все сам знаешь.

Тит расхохотался:

— А ты правильно подметил, я шучу, я веселый. Я просто тебя проверял — правильный ты или гнилой, — хохочет Тит, а глазки злые. И на последок решил проверить — не отдаст ли у меня. Махнул рукой на сидящих за столом и ждущих своей участи, жертв:

— А эти что ли хуже тебя? Играть сели...

— Не знаю, может хуже, может нет. Но у двоих судьба на рыле написана. И ты ее знаешь.

Тит подмигивает мне заговорщицки и отстает от меня. Я подозреваю, что на время. Ничего, живы будем — не помрем.

А за столом разворачивается цирк. Смысл тюремных игр лишь один — позабавиться всласть, поиздеваться, поглумиться, поставить на свое, чертячье место, того, кто должен это место занимать. Много игр придумано на малолетке, много на общаке и ни одна на строгаче. На строгаче люди с понятиями, посерьезней, но главное не это. Просто на строгаче уже все социальные роли распределены. И дорога только вниз...

Сначала играют в свадьбу. Перед каждым игроком кружка и спрашивают; ты жених на собственной свадьбе и что будешь пить — водку, пиво, вино? Глупая жертва выбирает — водку. И ему наливают полную тюремную пятисотграммовую кружку воды, благо в кране ее завались — пей до дна, родимый. И в независимости от выбора — вино, водка, пиво, в кружке будет все та же вода, до краев. И снова пьют женихи...

Киргиз, Длинный, Кость допились до того, что и Титу, и хате надоело. Боцман говорит ответ:

— Жених на свадьбе не пьет! — и гогочет. Впервые вижу, как он смеется. Семен, подпевалы и многие в хате тоже заливаются смехом.

Но цирк не кончен, бал в разгаре. Пиджак Ваньки-черта на голову, смотри в рукав — это телескоп, увидишь звезды. А Ванька в это время в грязный, из под мусора, бачок, воды набирает и Семен ее в рукав опрокидывает... Что же ты землячок, рукав с телескопом перепутал?. Повнимательней надо быть!

Другого под шконку, веник в руки — покажи, как шахтер уголек рубит. И старается, артистом ему на воле быть, а не чертом в тюрьме. Хохоchet Тит с бравой и изрекает:

— Видать в кайф под шконкой да веником махать, быть тебе, Кость штатным поломоем.

Вот и определена судьба на долгие годы — шнырем по тюремному, уборщиком. Ну не самое страшное на тюрьме. Есть роли и пострашнее к погорше...

Длинного ставят на верхнюю шконку, внизу, на полу, шахматы расставлены, играть в шахматы с Титом будет. Глаза завязывают на совесть, шахматы убирают, приготавливают матрасовку, держа ее натянутой в руках. Прыгай земляк и пусть земля будет тебе пухом! Не прыгает Длинный, категорически отказывается. Надоел Титу балаган, других удовольствий хочет, Боцману и Семену подмигнул, те подпевали и:

— Давай братва, повеселились и спать. Давай, давай, ложись по шконкам, — разгоняют хату семьянины Тита и только некоторые не понимают, что случилось и почему им командуют спать, когда веселье в разгаре.

Но вот и все улеглись. Кость в обнимку с Ванькой возле параша, Длинный наверху, но тоже неподалеку, рядом с паранькой.

Киргиза Тит в проходняк зовет и началось... Сначала уговоры, рассказы, что все равно в глазах хаты и всей тюряги — он шкварной, петух. И ничего, что не трахнули, достаточно того, что было. И никто не узнает, камера спит, и никто не будет напрягать Киргиза, а иначе Тит его на общак отдаст... Всей хате на расправу, на растерзание. А вперемешку с уговорами и рассказами о судьбе его, Боцман делает зверское дело и так рявкает, что кровь в жилах стынет и поневоле Киргиз льнет к Титу:

— Че это он, а, Тит?

— Да не бойся, будешь со мною — будет все правильно, видишь, Боцман сердчает, не подвернись под кулак...

Наконец найдено компромиссное решение: Киргиз один раз попробует спариться с Титом и если ему (Киргизу) не понравится, то больше не будет. Придурак, наивный или хитрый, не сразу сдастся? Кто его знает? Боцман изгоняется из проходника, шконка завешивается шторой из матрасовки...

Затем Боцман, Семен, подпевали. Плачет Киргиз, лежа под шконкой около параша. Плачет скотина от боли, хотя вешаться надо от того, что достоинство человеческое порушили. Но такие понятия не для его ума. И не знает он еще всего ужаса своего положения. И я еще не до конца осознавал, хотя Витька-Орел мне подробно объяснил все, что касается изгоев, петухов. Но одно дело объяснение, другое самому увидеть. В лагере и тюрьмах таких просто называют — животное. И в этом слове все сказано: и отношение к нему, и положение его.

А через часок и очередь Длинного пришла. Повязку носил? Дружинником был? Ментам помогал? А в тюрягу зачем сунулся? Снимай штаны падла, козел!..

Били не долго, Длинный быстро сломался и снова Тит за штору, вместе с ним. Силен Тит, далеко ему до Ганса-Гестапо, но силен! Следом семьянины, а тут и хата «проснулась» и кое-кто еще польстился...

Длинного к Киргизу, объяснили им, что если на лыжи встанут (выломятся), то их в обихенку определяют, а там ад крошечный, ужас сплошной. Но выбирать вам самим. И выбрали...

Забылись собачьим сном, поскуливают во сне, повизгивают. Хата занялась обычной ночной жизнью. Я засыпаю...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У меня разнообразие. В моей скучной, монотонной жизни. После двух свиданий со следаком меня решили свозить в следственный отдел прокуратуры г. Ростова-на-Дону. Зачем — сам не знаю, но приятно.

Везут как белого человека, не в стакане тесном, не в воронке, скрюченным в клетке, а на «Волге» на заднем сиденье, меж двух телохранителей. Правда, стиснули они меня от души, да на руках наручники поблескивают... Но это мелочи по сравнению с мировой революцией.

Вот и приехали. Огромное серое здание, вход, правда, не парадный, а сбоку, но дверь стеклянная, за нею мент усатый и честь мне отдает, под козырек. Все чин чинном — важная персона доставлена, под локти держат двое, третий сзади прикрывает. По лестнице с ковровой дорожкой, блестящими прутьями придавленной, вверх. Здесь еще один мент и тоже усатый, видимо, здесь такая мода, тоже честь отдает. Проходим за массивные стеклянные двери. Ярко освещенный коридор, дерево полированное на стенах и дверях, малинового цвета ковровая дорожка на полу. Стучат мои телохранители в двери с номером 243.

— Да!

— Подследственный Иванов доставлен по вашему требованию!

— Введите.

И меня вводят. Небольшой, но с роскошью обставленный кабинет. Холодильник, телевизор, радио, вентилятор, сифон... Чего только нет для плодотворной работы Романа Ивановича Приходько, старшего следователя и так далее. Ну, конечно, есть и стол, и сейф, и кресел со стульями хватает, а на полу ковер красивый, зеленое вперемешку с темно-красным. Живут же люди, а у меня в хате на полу асфальт, стены белые, шубой покрытые. Это когда бетон в беспорядке накидан. В творческом. Чтоб не писали и жизнь медом не казалась. На свободе некоторые дома с фасаду так отделяют, да...

Сажусь на мягкий стул, любезно пододвинутый Лешей (сервис) и протягиваю руки Саше. Снимает Саша наручники и улыбается. Рад

мне, гостю дорогому, и наверно, если была бы душа, то, наверно, от души. А так просто скалитесь, рот есть, что не улыбаться.

Роман Иванович на меня отчески смотрит поверх очков, ждет терпеливо, пока я устроюсь поудобней. Ну все, командир, поехали.

— Я тебя, Володя, вызвал сюда вот для чего, — начинает следак: — Мы сегодня проведем следственный эксперимент и ты будешь главным действующим лицом.

«Вот спасибо» — думаю я, но молчу.

— Суть эксперимента проста — мы покажем тебе фильм и зададим вопросы, а ты нам постарайшься ответить попополнее. Все ясно?

— Да, гражданин следовательно, но прошу принять во внимание раннюю алкоголизацию моего юного организма, неправильный образ жизни, отсутствие системы...

— Хватит фиглярничать, — хмурит брови Роман Иванович, но я вижу, что я в кайф — дурак такой приклатненный, но себе на уме.

Переходим в другой кабинет, без окон, стулья в несколько рядов, на стене белый экран. Персональный кинотеатр и в кино ходить не надо. Подаю голос:

— А кино — детектив?

— Детектив, детектив, — успокаивают меня.

Мы усаживаемся, гаснет свет, стрекочет аппарат. На экране буквы: «Оперативное мероприятие N 22». И пошли кадры!.. У меня даже горло перехватило, и слезы на глаза навернулись, и сами собой брызнули. На экране я, волосатый и усатый, с друзьями хипами винишко пью и умные разговоры веду. Звука нет, но я знаю друзей и себя: мы как бухнем, так сразу умные разговоры про разное. Философия, хиппи, история... А сидим мы в скверике, в марте по-моему, лужи, листья старые валяются, а как снято, в кайф. Хорошо! А какие мы красивые — штаны-клеша, куртки самодельные, волосы по плечи, усы. У Сурка борода курчавится. Эх Сурок, Сурок...

А это что такое — мент появился, не было мента, я б мента запомнил! А вон что, к менту человек в штатском и что-то в нос. Раз! Мент и побежал, куда ему указали. Не мешай хипам сухарь бухать да КГБ кино снимать. Вдруг хипы не просто бухают, а заговор учиняют. Хорошо...

Хорошо бухать, когда тебя КГБ охраняет. Но лучше бы нас мент спугнул, мы б по кустам побегали, нам привычно. И не было бы ничего — ни тюряги, ни кино этого, ничего не было б...

Экран погас, вспыхнул свет, Роман Иванович с разговорами лезет:

— Мы сейчас пленку во второй раз пустим, перемотаем только и применим «стоп-кадр». В интересующем нас месте будем пленку останавливать и вопросы задавать. Ясно?

— Ясно, — через силу отвечаю. Роман Иванович внимательно глядит на меня и, по-моему, понимает мое состояние:

— Леша, принеси чаю крепкого, с лимоном, и сахара побольше, как Володя любит.

Надо же, заботливый какой! А на душе кошки скребут и так плохо...
Пью чай, жду. Свет погас, экран вспыхнул.

— Стоп, — гремит в темноте голос Романа Ивановича, черти б его взяли.

Фильм застыл. Замерли на вечность хипы. Остановилась история...
На экране я, собственной персоной, в одной руке лист бумаги, в другой стакан. Читаю. Красиво выгляжу.

— Что за бумага?

Я без труда вспоминаю:

— Стихи. Я, когда мы в Ташкенте были, у приятеля переписал, вот и читаю.

— Точно стихи? А, например, другие ребята, совсем другое говорят. Чьи стихи, помнишь ли, хотя б немного?

В памяти легко всплывают строки и я декламирую их вслух:

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт...

— Что это за блатяга? — подает голос Саша. Роман Иванович одергивает дыкяря:

— Не блатяга, а Сергей Есенин. Классику надо знать, Саша.

Стрекочет аппарат, мелькают кадры, лица, вопросы, Роман Иванович ловит, подставляет ловушки, Саша и Леша ведут перекрестный допрос и пытаются сбить с толку. Сознание разделилось, одним отвечаю, отмечаю наговоры, выкручиваюсь, а в другом звучит любимое:

— ...Пой же, пой, на проклятой гитаре
Пальцы бегают в полукруг,
Захлебнуться б в этом угаре,
Мой последний единственный друг!..

В тюрьму привозят вечером, выжатого как лимон, и, казалось, постаревшего лет на десять.

Даже Тит, глянув в лицо, ничего не сказал, кроме:

— Ужин на столе. Обед не достоялся.

— Я не хочу, спасибо за хавку, — и падаю на шконку. Проваливаюсь в никуда.

— Подъем! — гремит над ухом, как показалось. С трудом раздираю глаза. Мне кажется — спал я час от силы. Ох, и умотал меня Роман Иванович, черт его дери... Нехотя глотаю завтрак и заваливаюсь по новой.

К обеду просыпаюсь свежий и бодрый, молодость победила и я вновь готов к битвам. Как гладиатор.

После обеда — прогулка, но я лишен удовольствия смотреть игру в «слона». Меня — к следаку. Видимо, конвейер ускорил движение.

Двор, уже не вызывающий прежних эмоций, следственный корпус, общарпанный кабинет с привинченным стулом (к полу), все знакомо до не могу. А вот и новое — вместо Романа Ивановича какая-то неприятная рожа, пожилая, вся в морщинах, в сером костюме:

— Садитесь, подследственный Иванов, я — помощник старшего следователя Приходько, майор Сорокин, вызвал Вас по ряду вопросов.

Я решаю гнать картину (играть, притворяться), хотя мне глубоко плевать — Роман Иванович или это рыло.

— А где мой уважаемый Роман Иванович? — с нескрываемой издевкой спрашиваю я.

Рыло с неприязнью смотрит на меня и отвечает:

— Это Вас не касается. Вопросы здесь задаю я, Вам ясно?

— Ну и задавай. Сам задавай, сам отвечай. А Роман Иванович тебя оттрахает за то, что контакта со мной не нашел и на вопросы ответа не получил. Понял?

Целый час пробует майор с морщинистым рылом хоть как-то ко мне подступить. Я даже глаза закрыл, чтоб он мне не мешал думать. Хорошо думать под бубнящий на одной ноте голос, как под шум моря... Я даже чуть не задремал.

Прервал мои думы и дремы голос дубака:

— Встать! Руки за спину! Следовать впереди!

Я иду в хату. Я одержал еще одну маленькую победу. Она мне не нужна, она мне ничего не даст. Но приятно и последствий я не боюсь.

Воодушевленный победой, вхожу в хату. Братва уже пришла с прогулки и меня встречает Семен:

— К следаку вызывали, Профессор?

— Да.

Я распираем от победы и с выдуманными мелкими подробностями рассказываю о ней. Я не замечаю, как оказался в проходе у Тита, как сам Тит лично вручает мне КРУЖКУ с чифирем! Я держу ее как знамя, которое лично водрузил над крепостью. Тит, Боцман, Семен, подпевалы добрая половина хаты, затаив дыхание, слушают меня. Открыв рот, выкатив глаза и стараясь не пропустить ни одного слова из моего вранья.

Разошедшись, я великодушноичаю:

— Ладно братва, у меня настроение, если будете слушать — тисну роман про золотой ключ, про воров настоящих!

— Будем!, — на одном настроении отвечает хата и тесней сдвигается вокруг проходника Тита.

И забыты следы, преступления, за которые придется отвечать, заботы, боль, печаль, обиды... Дымят сигареты и самокрутки, слышно сопение и скрип шконки... А над всем этим:

— И не смогли менты поймать Графа, и бежал Граф на Запад загнывающий со своим золотым ключом и раз в год ломает голову все Интерполо — кто это выставку брильянтов выставил, кто это банк пустой оставил, но нет у них ответа, потому что советский вор самый сильный вор в мире!

Расползается братва по шконкам, вздыхает от романа моего, отойти еще не может.

А я снова, как выжатый лимон, лежу на шконке и думаю о том, как тяжок крест славы, тяжела шапка и как тяжело таланту, но как сладостно держать слушателя-читателя в кулаке и командовать им. Раз — и плачет он, раз — и смеется он, раз... А все ты, все это — ты!

Разрушил мой розовый мир Тит, все тот же противный Тит:

— Слышь, Профессор, мы еще чифир сварили, слазь, хапнешь с нами да еще приколешь что-нибудь.

Я придумываю ответ. Сам, без Витьки-Орла, без Ганса-Гестапо. Прощайте, учителя, я вырос и выучился, спасибо за науку:

— Послушай, Тит! Я завтра, на завтраке, баландеру кашу на рыло вывалю и в карцер уйду. Приду, снова баландеру на рыло баланду и снова карцер-трюм! И как думаешь — почему?

Тит, ворча, уходит в свой проходняк, Семен громко, на всю хату встречает его:

— Слушай, Тит, пусть рассказывает, когда хочет. Зато в кайф!

— Пусть, — нехотя соглашается Тит. Я снова победитель. Усыпанный невидимыми лаврами, засыпаю на шконке, под храп соседей.

— Подъем! — гремят ключи по двери. Еще один день позади, еще один день впереди. А сколько их впереди?..

— Отбой! — гремят ключи по двери. Еще один день позади, еще один день впереди. А сколько их впереди?..

Пролетело несколько дней. Я сбился со счета, я не считаю дни, зачем? Туманен берег и видать ни зги... Вызывали пару раз к следаку, на этот раз к Роман Ивановичу. О рыле морщинистом и моем бунте ни одного слова, ни намек. Когда конец и что в конце, неизвестность. Скука и тоска...

Тит успокоился, по отношению ко мне, жизнь вошла в свое русло и по-тюремному, у меня кайф. Ем, сплю, когда хочу — травлю, тискаю роман.

Но сегодня этапный день и всеобщее оживление. Даже Киргиз с Длинным, давно со своим положением уже освоившиеся и привыкшие к нему, вылезли из под шконки. Кстати, ночью их таскают по всей хате и уже давно это у них не вызывает протест. Может они от рождения

отмечены этой печатью — гомосексуалист, а зеки выделяют их среди серой толпы? Не знаю. Но думаю, ответ проще: низок интеллект, не вложены понятия (хотя бы извращенные) о достоинстве, самоуважении, резко снижены барьеры, отделяющие человека от животного, и вот результат. Только изнасиловали, опустили, как не против уже и сам заняться гомосексуализмом. Я вынужден буду еще часто возвращаться к этой теме. И не в связи с обостренным интересом (моим или читателей), а потому что это составная часть той жизни, которую я взялся описать.

А вот и этап. Тоже трое, но сразу видно — не чета прежнему этапу. Первым вошел в хату худой, красивый, на вид очень юный парень, с пышной шапкой темных волос и большими темными глазами. Он был одет, не смотря на жару, в черный костюм, темно красную рубашку и домашние тапочки. Уверенно смотрит по сторонам, чувствуется, что он здесь как рыба в воде. За ним мужик лет пятидесяти, плотный, одет в синий рабочий костюм и сапоги. Под мышкой, кроме матраса, еще телогрейка. Взгляд равнодушный, спокойный... И он не первый раз в этих стенах. Забавно, его на общак. Третьим вошел юркий мужичок, явно работага, наверно за жену или чего по пьянке натворил... Пассажира, одним словом.

Молодой этапник, первым вошедший в хату, бросил матрас около стола и, уставив куда то взгляд, улыбаясь непонятной, немного бессмысленной улыбкой, пошел, выставив вперед правую руку. Навстречу ему поднялся сидевший на нижней шконке, тоже молодой арестант, по кличке Гусь. Гусь улыбался так же, как этапник.

Сойдясь, они пожали руки и долго их трясли, пристально вглядываясь друг другу в лицо, все так же загадочно улыбаясь. Я вспомнил, где видел такие улыбки. Иногда у своих друзей-хиппов, но чаще, и намного, в Средней Азии, у местных анашистов.

Первым нарушил затянувшуюся паузу этапник:

— Мы не знакомы? Я тебя на воле не встречал, милейший?

Странно было слышать такую архаичную речь от молодого зека в тюрьме.

— Нет, мы не встречались, меня дразнят Гусь.

— Меня — Костя-Музыкант. Ты — щипач, на резине работаешь, с росписью? — началось настоящее толковище, большинству непонятное.

— Нет, на резине, без росписи. Чисто щипаю. А ты?

— Я на резине вообще не работаю, щипаю без росписи и подтяга, и с чердака беру, и солидняка снимаю, и котлы сбить могу. Видал, — и Костя-Музыкант поднимая руки на уровень лица, пошевелил в воздухе длинными, действительно музыкальными пальцами.

— Кормильцы-поильцы. А тебя на чем повязали?

Оживленный разговор был прерван громким недовольным голо-
сом Тита:

— А че — представляться не надо?

Этапник глянул через плечо, совершенно не ведаясь:

— Представляться? Я что, у хозяина на распределении? — и отвер-
нулся к Гусю. Тит, опешив, зарычал:

— Да есть традиции, обычаи!..

Костя-Музыкант быстро ответил:

— Традиции? Третий раз в этих стенах и впервые слышу об этом,
милейший. Расскажите поподробней — кто их установил и когда?
Кстати, насчет традиций. А вы в игры играли, уважаемый? — и хитро,
с издевкой, посмотрел на Тита.

Тит, Боцман, Семен молча вытаращили глаза, подпевалы исчезли,
а этапник продолжал:

— Меня знают и на малолетке, и на общаке, и на строгаче. Рос-
товская кича — мой дом родной. А ваше рыло я вижу так первый раз.
Где вы чалились, по какой, если не секрет, венчались и сколько пасок
оттянули? С кем хавали, кто командировку держал? Почему молчите,
милейший, я с вами разговариваю, а не песни пою.

Тит поперхнулся и прокашлявшись, начал отвечать:

— Я по воле жил на Аксае. Первый раз сидел по малолетке, по ху-
лиганке, в Воронеже. Второй раз тоже по малолетке, в Нерчинске. Слы-
шал о таком спеце? — повысил голос Тит, явно гордясь этим фактом
своей биографии. Костя-Музыкант пожал плечами:

— Два года, как оттуда. А вы когда там изволили пребывать?

Тит снова опешил, долго пялил глаза и справившись, продолжил:

— Я в общем лет пять, как оттуда откинулся. А сейчас по 145.

Этапник посмотрел на Тита:

— Интересная биография. И носило меня как осенний листок...
Что вы отняли, если не секрет?

— Какая разница?!

— Никакой. Я думаю — мы представились друг другу и я могу
предаться приятным воспоминаниям об выкуренной анаше и красиво
проведенных днях на воле — и, не дожидаясь ответа от насупившегося
Тита, с интересом продолжил прерванный разговор с Гусем.

Второй этапник, мужик в годах, при сапогах и телогрейке, крепко
уселся за стол и с ходу включился в игру, зажав костяшки домино в
крепких кулаках, не обращая внимание на Тита и перебранку.

Тит понял — с этого тоже много не возьмешь, но рушившийся ав-
торитет требовалось спасать:

— А ты че в игру ввязался? Тоже сам с усам и традиции сбоку?

— Да я по ошибке сюда. Посижу, поиграю да пойду.

— Почему это?

— Да у меня третья ходка и по малолетке нема, а тут общак, я по раскладу вижу. У меня перерыв большой, 22 года, вот они сдуру и за-
сунули меня к вам.

— А сидишь за что?

— Да кассира в колхозе хлопнули, насмерть, а на меня сперли. Ден-
ьжат мешок пропал, так у меня в сарае, под дровами, нашли, видать,
подкинул ктой-то. Ну и прут на меня. А ты сынок за что сидишь?

— 145 у меня.

— Я не прокурор, сынок, в номерах не разбираюсь. Изнасиловал
кого-то, что ли?

— Да нет, грабеж...

— А, я знал одного грабителя, он шапку в темноте сдернул, а ока-
залась ментовская, ох, и били его. А матрас куда положить? — плавно
подъехал тертый мужик. Тит напускает на себя умный вид:

— Я вижу, ты правильный босяк и настоящий арестант, значит,
сделаем так — ты, Семен, из угла подвинься, а ты, кстати, как тебя
звать-дразнят?

— Да я уже вышел из того возраста, чтоб меня дразнили, — мужик
явно надсмехается над тупым и непонимающим Титом:

— А зовут меня Егор. Слышал такое: из-за леса, из-за гор вышел
маленький Егор; он не курит и не пьет, любопытных лишь дерет.

— Ты с юмором, Егор. Ложись сюда, в угол.

— А мне все едино — в лоб, по лбу. Этот со мной, — указал мужик
на третьего этапника.

— Наверху спать будет.

Ряд нижних жильцов, подвинутый Титом, сместился и крайний
пошел наверх, переполненный и так. Верхний ряд тоже сместился, уп-
лотнившись еще больше.

Костя-Музыкант сам изъявил желание лечь наверху рядом с Гу-
сем:

— В тесноте, да не в дерьме. А у вас, уважаемые, — спросил он со-
седей по шконкам:

— Насчет вшей? Не наблюдается? Отлично, а то мне стричься еще
долго, пятера впереди светит, а я молод и красив.

Так и не удалось в этот раз Титу с семьей повеселиться, в игры по-
играть да попрописывать. Более того, в лице Кости-Музыканта в хате
оппозиция появилась.

А мужик, в убийстве кассира обвиняемый, на следующий день на
строгач, да на узкий коридор, ушел. Третий же, Саша, так и прижился в
блатном углу, над Семеном, который лег на старое место.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мои знания о взаимоотношениях в лагере и тюрьме между уголовниками и политическими были основаны на книге А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которую я прочитал еще до знакомства с хипами в старой «Роман-газете».

Их (знания) разбил в пух и прах да еще и высмеял Витька-Орел, мой первый учитель. Оказывается — те времена канули в лету и люди те или померли или освободились. Пришло поколение новое, дерзкое...

Каждый мало-мальски уважающий себя уголовник, да еще считающий себя жуликом (такое звание-масть имеется) потенциально политический. В душе. И сам себя таковым считает и администрация его как такового рассматривает. Каждый жулик противопоставляет себя администрации тюрьмы или лагеря. А в ее лице и всей Советской власти. Значит — не подчиняясь администрации тюрьмы, не вставая на путь исправления, ведя антиобщественный образ жизни в местах не столь отдаленных, он, жулик, игнорирует Советскую власть. Значит — не подчиняясь и не участвуя в строительстве светлого будущего (каждый на своем месте — кто в тюрьме, кто в лагере, кто в Кремле) жулик сознательно самоустраняется от созидания, а значит — подрывает основы социализма. Это сказал Л. И. Брежнев. Я на заборе это прочитал. Еще на свободе. Я рядом с ним, с забором, а не с Брежневым, отливал. Делать было нечего, пива я выпил много, вот и прочитал.

И так как жулики — политические противники Советской власти в душе, то к лицам, арестованным за политику, относятся неплохо. А в местах заключения они (жулики) являются ведущим классом. Или, по крайней мере, наиболее опасной, для здоровья и жизни, группой. Ну, а если «политик» живет правильно (по тюремному правильно), то к нему относятся вообще отлично!

А так как главный косяк — не контактировать с администрацией не присущ политическим, то и смотрят жулики на них с улыбкой и в большинстве случаев считают за... ну если не за придурков, то за людей «с приветом» точно.

Сами посудите: одно дело украсть или ограбить, в тюрьме не работать, в карты играть, водку пить, анашу курить, создавать группировки с вышеописанной целью. Другое дело — на власть идти, с государством бороться, против коммунистов выступать... Не выгодно это, поймают быстро, толку нет (ни денег, ни чего еще) и результата устанешь ждать. Скорее рак на горе свистнет, чем успеха добьешься...

Шестьдесят один год стоит эта власть, самозваная, широко раскорячив ноги на одну шестую часть суши. Ни царские генералы с белыми офицерами, ни подневольные солдаты с вольным казачеством,

ни анархобанды во главе с Махно, ни савинковцы, антоновцы, меньшевики, эсеры... Даже интервенты, Гитлер, «холодная война» не задавали ее. Власть эту. Самозваную. Как стояла, раскорячившись, так и стоит. И сколько еще простоит — неизвестно. И не Солженицыны с Максимовыми, ни Галичи с Некрасовыми ее не повалят. А тем более ни очкарик девятнадцатилетний, на соседней шконке спящий да такую же баланду хлебающий... Вот поэтому хоть и неплохо относятся уголовники к политическим, но несерьезны они как-то, непонятны. То ли дело этот — бабуку зарезал по пьяни, мразь, но все понятно, денег не давала. Или этот, за изнасилование — пятером девку оттрахали. Ну не сильно уважаемо на тюрьме, но понятно. Девка неплохая и вроде бы была не против... Потом только заартачилась, побить пришлось. С кем не бывает. От тюрьмы да от сумы не зарекайся...

А политический в 1978 году... Странно это. Странно и непонятно.

Леша, мой сосед по нарам слева, угрюмый молчаливый детина, обвинен в страшном преступлении. Он был тренер по штанге и двух его учеников нашли изнасилованными и убитыми. Где-то за городом.... Арестовали Лешу — и в тюрюгу. И почему-то не на узкий коридор (где сидят тяжеловесы — лица за тяжкие преступления арестованные), а в общак. В хате Тит с семьянинами предъявил (обвинил) Лешу в гомосексуализме. Хотя сами в хате потрахивают петушков. Но что разрешено Юпитеру, не положаяк Леше. И решили его избить и опустить. Погнули об него бачок из-под чая, чуть не сломали скамейку, но выбили только зуб, сломали палец, разбили бровь и губы... Но ни вырубить, ни опустить не смогли. Да еще со строгаля подкричали, мол, оставьте мужика в покое, ему менты лепят горбатого, внаглянку шьют. И отстали от Лешы, приказав знать свое место. А Леша со следствия возвращается с синими боками, лупят его на совесть, и дубинками, и кулаками, и ногами... Леша в несознанке, не признается, не берет чужого греха на душу. И улик немного у следака Лешино — корме совпадения группы крови у Лешы и в сперме на трупах двенадцатилетних пацанов, нет ничего. Вот и лупят, стараются, ведь на такой малой улике далеко не уедешь. А признание — мать и царица доказательств. У советских, самых правильных в мире, юристов. Это еще сталинские орлы доказали. И что самое интересное — у Лешы и у меня с друзьями прокуратура дело ведет, а какой разный подход, какой разный почерк.

Боцман — за убийство. Мужика. Пили пиво в пивняке, да посорились. Как у Гоголя. Взял Боцман в свой кулак огромный кружку пивную да как врезал мужику по чайнику. По голове значит. Мужик и помер. Сразу. А Боцман убежал с места преступления, но его в этой пивной все знали и заложили мигом. Вот и сидит, ждет суда, улик достаточно, да и в сознанке.

Семен — тоже за убийство. Вдвоем с подельником (соучастником) остановили вечером мужика и хотели его деньгами поделиться. А тот оказался боксер и не трусливого десятка. Влил обоим от души и пошел своей дорогой. Взыграла обида у Семена за себя и за дружка. Догнал боксера и ткнул его в спину ножом, когда тот в подъезд заходил. Вот мужик и помер. Также сразу. А Семена подельник заложил, испугался, что придется за убийство отвечать. Сразу и побежал в милицию, как узнал от Семена, куда он ходил... И правильно испугался — его тоже арестовали за соучастие. На тюряге его изнасиловали, опустили за донос и теперь он в обихенке.

Есть еще в хате несколько ярких личностей. Об их преступлениях можно анекдоты рассказывать.

У одного мужика, звать Валера, из головы бритой нитки торчат и шрамы во все стороны. И вызывает его то один следак, то другой... Один вызывает как подследственного, другой как потерпевшего. Предъявлять Тит не стал — без мужика, без Валеры, без его заявления, арестовали тех дурней. А дело было так. Залез Валера в «Жигули», хотел приемник стырить. То ли музыку любил, то ли деньги на водку понадобились. Залез, а там застучали его рассвирепевшие хозяева личной собственности. Застучали и давай бить, а начали бить — в раж вошли, отец бугай и сын не подарок. А в раж вошли — давай бить монтировкой по голове, дубасить... Соседи увидели, услышали и позвонили. Куда следует. Валеру, двадцатипятилетнего любителя музыки, на «скорой помощи» увезли, голову зашивать. Затем на тюрягу — за попытку кражи личного имущества. А кулачье это — за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собою длительное расстройство здоровья, опасных для жизни, тоже в тюрьму. Валере грозит максимум два года, а придуркам этим — от 3 лет до 12. Усиленного режима. Всем по положенному...

А вот другой: Васька-Морда, прозванный так за широкое, красное рыло. Мужуку за сорок, а ума... Кот наплакал.

Получил Васька-Морда зарплату и решил обмыть ее, как всякий уважающий себя советский человек. И пошел ни куда-нибудь, в подворотню, а в ресторан. Выпел, поел, и захотел развлечений-удовольствий. Сделал предложение официантке — отвергла. Обиделся Васька-Морда и заказал винегрет. А получив требуемое, одел тарелку на голову официантке. С винегретом! Громко заявив, мол, теперь ты точно как царица! Приехали дружинники и давай руки крутить... Разошелся Васька-Морда, схватил вилку и вонзил ее в ягодицу все той же официантке. Говорит — визгу было как будто свинью режут.

А остальные еще примитивней, еще серей. За хулиганку — побили в пятером, всемером кого-нибудь. За кражу масла из детского сада, ковра со двора, одеяла из больницы. И все по пьянке, и всех сюда.

На этом сером фоне Костя-Музыкант ну просто интеллеktуал, профессор, гений...

— Захожу я как то в сберкассе, поглядеть, как люди деньги по ду-рости на книжку кладут, — рассказывает он Гусю и соседям по шкон-кам, восседая на втором ярусе с царственным видом. — А там один неприятный пожилой лох бабки слюнявит, да обильно. Мне стало неприятно за бабки: люди душу вкладывали, рисовали да печатали, а этот лох — слюнями. Опять же там самый великий и самый человече-ный изображен. Одним словом, подхожу на Вы, а он ведется, как не-веста. Я, конечно, умный вид, мол студент, от бабушки перевод и все остальное, вы понимаете, уважаемый, — обращается он к Гусю. Тот, не скрывая восторга и восхищения, кивает головой, а Костя-Музыкант продолжает: — Ну что я, грабитель — кидаться на лоха, я же интел-лигентен иногда, одним словом, я в сторону и взгляд мечтательный. Лох наслюнявился в свое удовольствие прячет бабки в пакет, пакет в солидник и аж на булавку. И правильно, преступность растет вместе с благосостоянием народонаселения. Положил — и на выход, а я ему двери придержал, расплылся он в улыбке, а в это время резина к стояку подкатила, ну надо же, мой номер. Вот я и побежал, быстро-быстро, как иногда умею. Еду на резине и чуть не плачу. Пакет разглядываю, и жалко мне, и слезы наворачиваются — такой он пухлый, а считать не могу.

Костя-Музыкант делает паузу, как настоящий артист, закуривает, дожидается:

— А почему? — не выдерживает один из слушателей. А Костя, пуска-вая красивые кольца дыма, равнодушно заканчивает:

— Брезгую слюней!

Всеобщий смех награда рассказчику.

Тит ненавидит Костю-Музыканта. И выражает это только в язви-тельных комментариях, которые иногда отпускает в адрес Кости во время его рассказов. Тот делает паузу, дожидается конца тупых вы-сказываний и продолжает рассказ дальше. Как будто пролетела муха. И это еще больше бесит Тита.

Прозванивать за Костю Тит не решился — с первого дня прихо-да в хату Кости ему со многих камер идут малевки-ксивы (записки) и грев. Чай, анаша, сигареты, деньги. Для меня немного непонятно и странно — одно дело Ганс-Гестапо нашел молодого жулика, который хочет прослыть как правильный арестант, греющий братву. И доил его Ганс, не скрывая насмешки. А тут совсем другое. Молодому жули-ку шлют грев и много. В том числе и со строгаца. Мне это непонятно. Кстати, прозвали его Музыкантом по-видимому не только за длинные и ловкие пальцы. Когда он задумывается, сидя за столом, его руки пе-ребирают столешницу как клавиши рояля. Пальцы быстро бегают,

по-видимому, беря какие то сложные пассажи. Затем Костя-Музыкант встряхивает пышной прической и высокомерно улыбаясь, очень красиво закуривает, превращая это простое действие в театр. Кстати, очень многие в этот и другие моменты любят юзать им. Потом он окидывает царственным взглядом хату и:

— Гусь, ты не знал Короля с Нахичеваня? Нет? Интересный тип. Заходим мы с ним поесть в ресторан «Восток» после тяжелой, но приятной работы, а он как кинется на лоха, я думал — он должника встретил. Лох перепугался, а Король ему — мол, у вас брюки расстегнуты. Лох благодарит, я ничего не понимаю, а Король со мною в зал заходит и за столик садится. Только сели, Король цвет светит, он у лоха кожу поднял. Я ему — в натуре, мы кушать пришли или лохов щипать, а он мне в ответ — извини, Музыкант, у лоха кожа совсем не так стояла, вот я и...

И так целыми днями. Описания краж, очень живописное, на настоящей блатной музыке, сменяется описанием: как и где гуляли, курили анашу, ездили на юг работать и отдыхать, в Прибалтику, в Питер, в Москву, к друзьям-карманникам повеселиться и поработать, рабочий хренов... Хата смотрит заморожено, прямо ему в рот, а Костя слова свои делом крепит — курево на общак постоянно дает (кладет сигареты на стол или махорку), анашей и чаем делится с семьей Тита (так положено), чифир варит и приглашает кое-кого, кто в блатные метит. Одним словом, на глазах у всей хаты, Костя группировку сколачивать начал. И Тит это видит — не без глаз же он. И все это очень не нравится ему. Чувствует Тит — шатается трон и уходит власть. Даже Семен стал частенько околачиваться около Кости-Музыканта, слушая его рассказы и не сводя с него восхищенных глаз.

Прошел еще один день. Еще один день. Еще один. Еще...

Меня вызвали в очередной раз к следаку. Сижу, пью чай, смотрю на хмурого Романа Ивановича. Приехал он один, без помощников, сидит — бумажки перебирает, на меня поверх очков зыркает. И чем-то сильно-сильно недоволен.

А с меня как с гуся вода, недоволен — ну и хрен с тобою. Работа у тебя собачья, но выбирал ты ее сам. Вот и получай. Не все коту масленица. Допил я чай, поставил стакан на край стола, Роман Иванович зыркнул в очередной раз на меня и, отложив бумажки, начал:

— Понимаешь, Володя, меня начальство вызвало и недовольно начальство, очень и очень...

— А я при чем? Или оно мною недовольно?

— Нет. Мною, моими ребятами, всей моей следственной группой. Ты ведь нашей работы не знаешь, поэтому я тебе расскажу. Вас, как ты знаешь, по делу одиннадцать человек, поэтому для успешного проведения следствия и была создана моя группа в составе девяти сотрудни-

ков. Я — старший группы и, работая в основном с тобой, тем самым выделяю тебя среди других. Но на это есть ряд обоснованных причин.

«На хрена мне такая честь, обошелся бы и простым следяком, интересно, что за причины такие обоснованные, куда это он гнет, следяк хренов...» — думаю я, но молчу.

Роман Иванович продолжает, болезненно морщась:

— Я, кроме тебя, еще вашего главаря веду, вы его по кличке Сурок называете. А остальных просто курирую, с ними члены моей группы работают. Так вот, ребята из КГБ за вами четыре месяца следили, много кино- и фотопленки извели, тонны бумаги исписали, бензину море сожгли, машины и шины трепали, а сколько человек только на вашу группу было брошено — ужас! И люди эти ничем другим не занимались, только вами. Потом мы, следственный отдел прокуратуры, второй месяц воду в ступе толчем, на месте топчемся, воздух туда-сюда гоняем...

— А зачем вам это нужно было, — пытаюсь сбить с волны следака, но напрасно. Его несет дальше:

— А у вас кроме глупых бумажек и нет ничего. Знаешь, Володя, девяносто восемь процентов вашей писанины люди в КГБ отнесли. Настоящие советские люди! Так что напрасно вы дурыю маялись, нет у вас ничего, ни связей, ни центра, ни оружия, ни руководителей, ни явок, денег, ничего нет. Нули вы, нули! Хоть высеки вас и выгоняй!

— Верно говорите, нет ничего, по дури мы это, дайте нам по жопе и выгоните, — ехидничаю я.

Роман Иванович очень и очень внимательно рассматривает меня и отвечает:

— Может кого так и надо, но не в моей компетенции. А вот тебя я б не стал выгонять. Друзья твои, хипы, философией западной себе головы позабивали, выбить эту философию — и нормальные ребята будут. Учились все, кто где, перед тем как бродяжничать стали. А ты чужой. Нет, не враг еще. Молод больно, двадцати нет. Но чужой. Наши ребята и с родителями вашими говорили, и по месту учебы, и в коллективах. А ты в коллективе не был. Лишь в школе. Но это давно было, все больше со шпаной, с уголовниками водился. А затем к хиппам прилип. Насчет тебя и в милиции бумажки собрали, и с участковым беседовали, и в детской комнате. У всех одно мнение о тебе — гнилой ты. Внутри гнилой. У твоих друзей сверху плесень, поскобли и заблестит. А у тебя середина сгнила. Ну, а когда ты сгнил — непонятно. Одним словом — мразь ты. И мне противен!

Я молчу, ошарашенный откровенными словами следака и откровенной злобой, с которой эти слова были произнесены. Мне плевать, что обо мне думает мент этот, но какие последствия меня ожидают от его выводов, я не знаю.

Роман Иванович собирает бумаги и нажимает кнопку вызова дубака.

— Во вторник, в среду и в четверг тебя вывезут к нам. Будем закружаться. Пора с вами заканчивать. Ничего вы из себя не представляете, ну так сколько можно вами заниматься. Уведите, — это он дубаку, и я отбываю. Иду, полон дум о словах следака. Как бы он мне какую-нибудь гадость не сделал, мент поганый.

В хате кипеж. Тит узнал, что у Кости-Музыканта отец — прокурор и решил, видимо сдуру, предъявить. Костя смотрит удивленно, как будто не понимает в чем дело, тем самым затягивает Тита все дальше в базар:

— Уважаемый! У тебя что, не было папы? Мама твоя умудрилась тебя родить без папы?

— Ты мою мать не трожь! У меня пахан — слесарь!..

— Нашел чем гордиться, мне было б стыдно говорить вслух об этом, — Костя делает паузу и продолжает:

— В тюрьме.

— А у тебя — прокурор! И ты после этого — арестант?!

— Так что же, милейший, мне не надо было рождаться?

— Да ты че, не понимаешь, в натуре, пахан прокурор, он же братву гнет!

— Ну?! — деланно-удивленно тянет Костя и пожимает плечами: — Не знаю, не знаю, кого он гнет? А сильно гнет?

Тит не выдерживает и подсакивает к шконке, на которой восседает Костя-Музыкант. Костя улыбается:

— Уважаемый! Нервные клетки не восстанавливаются, это доказано лысыми профессорами. Что тебя так взволновало, Тит? У всех есть папа.

— Да ты че, да, — у Тита не хватает слов, воздуха, мозгов.

— Да иметь такого пахана и сидеть в тюрьме, косить под правильного арестанта, это, это, это — ...

— Что это, милейший? — подначивает ироничный Костя тупого Тита.

Тит выпаливает:

— Да это косяк!

— Да ну? И чем ты обоснуешь свой локшовый базар?! Ты за него отвечаешь? Разложи мне.

— Да, да че базарить, пахан у тебя прокурор, а ты под блатягу косишь...

Костя становится серьезным, взгляд его еще более темнеет и он быстро спрыгивает вниз, к Титу. Тот шарахается, Костя презрительно и высокомерно улыбается:

— Послушай, Тит. У тебя отсутствует главное, что отличает человека от животного — мозги. Ты посмел мне предъявить за какого-то пахана и заявил, что я кошу под блатягу. — Во-первых, я не живу с паханом пять лет. Во-вторых, я не живу дома пять лет. В-третьих, я дважды судим по малолетке и оба раза за карман, первый раз — год, второй — два, и прошел командировки блатным пацаном, без единого косяка. Это на этой киче могут подтвердить минимум двенадцать человек. В-четвертых, ни разу мой так называемый пахан не отмазывал меня. В-пятых, здесь, на киче, есть человек тридцать, которые знают меня по воле как правильного жульмана и блатяка, не имеющего ни одного косяка, ни одного! Я думаю — этого достаточно. Уважаемый, я настоящий жулик и не стесняюсь этого говорить. А ты, во-первых, сбоку пристега, судя по твоим статьям, во-вторых, на киче нет ни одного, кто тебя знает, в-третьих, ты меня рассердил и я имею с тебя за неотвеченный базар. И я получу! У тебя все?

Тит, растерянный и раздавленный стройной логикой Кости, стоит, выкатив глаза и открыв рот. Борода неряшливо топорщится, на лбу — морщины. «Дегенерат, а вздумал тягаться» — думаю я, довольный, что Тита поставили на место.

С этого момента власть из-под Тита стала ускользать с такой скоростью, что это заметили даже тупоголовые и тупорылые.

Костя-Музыкант не играл в слона. Стоя в стороне с Гусем, он о чем то беседовал. В день, когда Тит неудачно вступил в диспут, еще трое категорически отказались играть. Ошарашенный Тит не настаивал.

Вечером на окрик Тита:

— Эй там, за столом, потише! —

вместо обычного молчания подал голос молодой парень, спящий недалеко от меня, Игореха:

— Так что совсем молчать? Мы играем!

И Тит промолчал.

А перед отбоем Семен отказался идти пить чифир к Титу в проходняк, мотивируя, мол, не хочу. Тит задумался, а Боцман мрачно устался на Семена.

Прошло два дня.

— Отбой! — гремят ключи об дверь и я засыпаю.

Но просыпаюсь не от крика «Подъем!», а от шума, рева и гвалта. Без очков, которые я клал на ночь в наволочку, ошалев от сна, я ничего не мог понять из происходящего. Наконец разобрался — Боцман, Семен и двое подпевал зверски лупят Тита, а он в ответ отбивается на смерть...

Затем Тит взлетел на верхние шконки и, пронесаясь по спящим и проснувшимся, с размаху прыгнул на дверь. Та, как по волшебству, распахнулась и захлопнулась, отрезав хату от Тита. Разъяренные семья-

нины тупо смотрели на двери. А сидящий за столом Костя-Музыкант флегматично заметил:

— Бить будут...

Вскоре все разъяснилось. Оказывается, Тит — наседка (стукач). И он вовсе не Тит. И сидел он не там, где говорил. И был он по малолетке мент и бригадир. Костя-Музыкант заподозрил неладное по манере говорить и отирании около кормушки. Ну и ксивы из других камер, от корешей-товарищей. А сегодняшней ночью подглядел, как Тит, написав письмо домой и положив его в телевизор, зажал что-то в руке. Походив по хате и убедаясь, что все спят (Костя притворялся), положил это в карман пиджака, висящего ближе всего к двери. И пошел спать. А Костя и поднял это. Оказалось — записка-докладная куму (опер. работнику) о положении в хате. А дальше просто — разбудил семьянинов Тита и показал записку. Остальное я уже видел сам.

Утром пришло возмездие. Костя, Боцман и Семен пошли в карцер. Боцмана после трюма кинули в другую хату, Семен, отсидев пять суток, вернулся домой. На следующий день подняли из трюма и Музыканта.

Костя, войдя в хату и подойдя к бывшему месту Тита, спросил лежащего на шконке Семена:

— А кто тебе разрешил, уважаемый, лечь сюда?

— Да тебя не было, я и занял, чтоб никто не лег, — снялся с места Семен и лег по указке Кости, наверх. Костя-Музыкант занял главное место в хате, напротив лег Гусь, в другом ряду на благотном месте легли два поддерживавших и поддерживающих Костю — Игореха и Клим.

Переворот произошел успешно и малой кровью. Народ радовался и ликовал.

ГЛАВА ДЕВЯТЬ

Наступил вторник и я поехал в следственный отдел прокуратуры. На этот раз не на черной «Волге», а в грязно-кремовом авто. По тюремному — воронок.

Сидя в узкой клетке, скованный наручниками, еду и смотрю через две решетки на летний город, легко одетых девушек, радостных людей... И такая злость в душе поднимается — ну, менты поганые, ну, жинцы не дают, ну, власть поганая!..

Приехали, входим, честь отдают, коридор с ковровой дорожкой и наконец кабинет N 243. Роман Иванович, ментяра, сука, тварь лягавая... Помощнички...

И пошло-поехало. Много вопросов, ответы не устраивают — отвечай сам. Много вопросов, мелькают даты, времена.

— Я что, пионерка — дневник вести, по числам писать-помнить! Не помню!

— Это мы пьем. Этот? Хрен его знает, а вы что не следили за ним?

Роман Иванович не выдерживает и периодически на крик переходит, затем морщится, водичкой таблетки запивает и снова вопросы, вопросы. «Ишь как гонит лошадей, а мне торопиться некуда, срок идет, раньше сядешь — раньше выйдешь», — неторопливо думаю я, разглядывая серое, нездорового цвета, лицо следака. — «Ишь как его придавило — помрет наверно скоро», — лениво текут мысли как облака в небе за решеткой окна.

— Вы отправляли Кораблева в Горький. Зачем?

— А кто это — Кораблев?

— Ты дуру не гони, Володя! Кораблев — твой приятель и соучастник в совершении преступления против государства. А это не шутки!

— Ну хоть убейте, не знаю, кто это — Кораблев. Я кентов по фамилиям не знаю. Я свою иногда забываю. Чужими часто назывался.

— Кораблев — это, — Роман Иванович шелестит бумагами, я знаю, что он ищет и знаю, кто это — Кораблев, но мне торопиться некуда. Это у них под хвостом горячо и под ногами земля горит.

— Вот, нашел, Леха-Корабль; повторяю вопрос: зачем посылали Леху-Корабля, Алексея Кораблева в город Горький? Вам понятен вопрос?

— Да, но я Корабля в Горький не посылал.

— Не лично вы, а ваша группа.

— И группы не было, и не посылали его, что он солдат, что ли. Сам поехал, а зачем — не знаю. Я, вот, например, в Мин. Воды ездил. Что я там, груз на парашоте получал, из Америки?

— К вашей поездке в город Мин. Воды мы еще вернемся, а сейчас я повторяю вопрос.

Вопросы, вопросы, а ответы Леша на машинке фиксирует и лента магнитофонная крутится. Прогресс, как говорил Сурок.

— Где ваша группа брала средства к существованию? Деньги где брали?

— Ну, мы цыганам несколько раз дрова пилили, стены разрисовывали, бутылки собирали, попрошайничали... Случайные заработки были, ходили на Ростов-Товарный вагоны с фруктами разгружать.

— Сколько раз вы лично ходили на разгрузку вагонов?

— А какая разница?

— Вопросы здесь задаем мы. Повторяю вопрос...

Вопросы, вопросы, а ответы Леша на машинке выстукивает. Стуки, стуки, дятел безмозглый, были б мозги — было б сотрясение.

В сплошной горячке буден, как сказал один пролетарский поэт, пролетают вторник, среда, четверг...

В хате я только сплю и ем завтрак. Вся хата смотрит сочувственно, они видят, в каком состоянии приезжаю. Случайно услышал, что, мол, КГБ наркотики применяет. Это про меня сказано было. Видимо, вид у меня измотанный и удолбанный.

Пятницу, субботу и воскресенье сплю. Ем и сплю. Ничего не вижу, не слышу, ни в чем не участвую. Доспался до одурения. Ох, и умотал меня следак...

В понедельник выдергивают меня не с утра, как обычно, а с обеда. Вместе с Роман Ивановичем, ментом поганым, в кабинете пигалица очкастая, лет двадцати пяти. Юбка чуть выше колен, ноги загорелые, смотрит деловито и все остальное на месте.

— Я ваш адвокат, Лена, Елена Волоцкая, буду вас защищать.

— А у меня на адвоката денег нет!

— Это ничего, вы потом в колонии отработаете и вышлете.

— А вы что, меня оправдывать не собираетесь?

Роман Иванович прерывает нашу милую беседу:

— Вы приглашены, подследственный Иванов в связи с окончанием следствия и закрытием вашего дела. Вам все понятно?

— Да.

— Я буду читать ваше дело, вы и ваш адвокат контролировать правильность записанного с ваших слов. В случае несогласия, неточностей, неправильностей или ошибок вы имеете право ввести исправления или указать собственное мнение на тот факт, который по вашему мнению указан или освещен неправильно. Все ясно?

— Ясно.

— Начинаем. В январе 1978 года, я, Иванов Владимир Николаевич, 22 октября 1958 года рождения, место рождения — город Омск...

Монотонное бубнение чуть не усыпило. Спасли от сна загорелые колени адвоката Ленки. Она чувствует мой взгляд, видит мое обостренное внимание и чуть улыбается — совсем немного, и чуть хмурится, и морщит лоб, и одергивает юбку... Она, непокорная, из тонкой и мягкой светлосерой материи, все норовит на перекося пойти и побольше оголить...

Ух, жизнь подлая, я — стриженный и в тюрьме, а тут такой адвокат ничейный ходит. Эх, где мои шестнадцать лет, где мой черный пистолет?!

— Вам все понятно?

— Да, гражданин начальник. Но почему не написать просто — являясь агентами мирового империализма, неся чуждую советскому строю философию, на страх всем честным людям планеты...

— Я же говорил тебе, чужой ты. И постоянно из тебя это вылезает. Замечания, поправки имеются?

— Нет.

— А у вас, товарищ адвокат?

— Нет, с точки зрения уголовно-процессуального кодекса...

— Хорошо, хорошо, значит — расписывайтесь. Все. С плеч долой — из сердца вон. Вы мне, хипы, уже так надоели. Я на вашем вшивом деле полздоровья потерял.

Адвокат что то бубнит насчет суда и прочей галиматши, а я смотрю на собирающего бумаги следака и такая злость меня разбирает... Не выскажусь — сдохну!

— Роман Иванович...

— Что? — поднимает голову от бумаг. Я и выдаю:

— Ты бы не сильно напрягался, а то по цвету рыла вижу — сдохнешь скоро. До моего суда не доживешь...

Роман Иванович несколько секунд смотрит на меня с ненавистью, с трудом сдерживая кипящую в нем ярость. Ярость благородная вскипает как волна...

— Я то доживу и до суда твоего, и дальше, а вот как ты в зоне выживешь — вопрос.

На этом и расстаемся. Прощай, Роман Иванович, следак поганый, прощай!

Но напоследок я своего личного адвоката чуть-чуть ущипнул. За... ну на чем сидят. Самую малость. А она сделала вид, что не заметила. Молодец!

Когда у подследственного нет денег на адвоката, то гуманное государство предоставляет адвоката в кредит. Заранее зная, что жертва самого гуманного правосудия будет осуждена и отправлена в исправительно-трудовую колонию. Там-то у нее (жертвы) и высчитают из заработанного и за адвоката, и за все остальное.

Адвоката государство в лице юр. коллегии предоставляет всегда или ну очень молодого, или ну очень (правильно!) плохого. Остальные в поте лица своего зарабатывают деньги, которые заплатила жертва самого (остальное смотри выше). За исключением хозяйственных преступлений (там, где деньги — логика другая), все заранее известно и неоднократно подтверждалось. Был бы человек, а статья найдется.

Дней через пять меня перекинули из два один в шесть девять. Как я понял, чтоб жизнь медом не казалась...

Большая хата, рыл шестьдесят. Шконок намного меньше и это естественно. Если на воле то здесь, то там дефицит, то почему шконок в тюрьме должно хватать? Нелогично это.

Представляюсь в блатном углу и заранее они мне не нравятся. Да, по-видимому, им я что-то не глянулся. Рыла у них толстые, глаза пу-
стые, но важно держатся, плечи широкие.

— Говоришь, политический? А че ты против властей попер?

— Да мне и следак так же говорил....

— Ты за базаром следи, земляк, а то рога быстро обломаем!

— Так нет их у меня и не было никогда.

— Нам виднее!

— Что это вы меня напрягаете, я вам что то сделал? Меня менты
напрягали, кум напрягал, еще вы...

— Ты че, оборзел?! С кем нас равняешь?!

— Я не равню, я просто говорю...

Для первого раза спускаю базар на тормозах. Их шесть — я один,
да и разобраться надо. Решаю Гансу-Гестапо ксиву написать. Огляды-
ваю хату и вижу длинного, рыжего худого парня, весело скалящего мне
зубы. Он сидел на скрученном матрасе под телевизором.

— Ты тоже с этапа?

— Да нет, бери матрац, клади рядом и устраивайся. Я тебе все рас-
толкую.

Я устраиваюсь рядом и через десять минут мне все становится
ясно. Хата беспредельная (не соблюдают даже тюремные неписанные
законы). Беспредел без предела.

Девять человек, все из одних мест, из Сальска, с Шахт, сбились в
кучу, в стаю и загуляли. По воле никто со шпаной и уголовниками не
знались, за плечами малолетки нет — вот и начали в хате жить непра-
вильно. У одного отняли, другого опустили, третьего побили... И все
по беспределу, не имея на это никакого, даже тюремного, права. Даль-
ше больше, оборзели вконец, озверели, ошибку за ошибкой совершать
стали (по жизни тюремной). То блатяка, правильно две малолетки па-
цаном блатным прошедшего, за норов избили и, вырубив, опустили,
оттрахали, а у него кенты, да и вообще — остальным блатякам в дру-
гих хатах это не понравилось, ну совсем не понравилось! То записки,
через их хату идущие, стали задерживать и выбрасывать. То пару раз
грев чужой себе забрали. А в тюрьму они в разное время пришли, за
разное сели, вот кому срок пришел и поехал на суд, после суда и в дру-
гую хату, в осужденку.

А там тоже суд! Суд быстрый да приговор скорый — беспредель-
ничал, тварь, гулял как хотел, мразь!.. По чайнику от души настучали,
да штаны стянули. Раз, раз — пидарас!

Когда я пришел в хату, в шесть девять, беспредел достиг своего
апогея, высшей точки, какая есть в беспределе. Отнимали все, что хоте-
ли, били для разминки и тренировки, спящим велосипеды (горящую
бумагу промеж пальцев ног вставляли) да самосвалы (кружки с водой

на закрученной веревке над головой подвешивали) делали, опустили-оттрахали уже четверых, не считая того первого блатяка. Вдобавок ко всему, на самое святое руку подняли, за что вообще по всем тюремным законам раньше сразу убивали — резали да и сейчас не милуют. Довески с паек отнимать стали!..

В тюрьме, в СИЗО, хлеб утром дают и на весь день сразу. Хочешь сразу съешь, хочешь с обедом и ужином. Пайка та — полбулки хлеба и кусок сверху. Это и есть довесок. По тюремно-лагерным законам, сложившимся еще в голодные времена, пайка — святое. Пайка наркомовская (от министерства). На пайку не играют, пайку не кидают, на пайку не хляются (не спорят)! Последнему петуху, драному-предраному, последнему менту, гаду, козлу распоследнему, стукачу конченному положена пайка и никто, даже сам господь бог, не может ее отнять (так в идеале должно быть)! Смерть за это! По лагерному — топор за такими ходит.

Так вот, от девяти шесть беспредельщиков осталось, а остальных троих или в этапе, или в осужденке, или в транзите разорвали и опустили. Вот они, видя и зная, что их ждет в конце, и оборзели вконец. По-научному — агония. Как третий рейх!

Кострома, как дразнят рыжего, все это мне красочно рассказал, и что меня поразило — не понижая голос и не таясь. Я ему кивнул на блатный угол, где в это время беспредельная семья, громко чавкая, жрала отнятое. Кострома пожал плечами:

— Шакалов бояться, в тюрьге не жить. Я им так и сказал и на зуб поклялся — опустят, пусть убивают лучше, я ночью задушу, загрызу хоть одного...

— Эй ты, рыжий черт, придержи язык, а то в глотку забьем, — отозвался один из быков и заржал, поддержанный хохотом остальных семьянинов.

— А ты, очкарик, не вяжись с ним, если хочешь, чтоб бока были целые. Понял? — с угрозой в голосе спросил меня один из беспредельщиков, Орел, лет двадцати, с круглыми глазами, весь такой упитанный. Кабан!..

Я ответил нейтрально, пытаюсь еще остаться в стороне:

— Понял!

На время от меня отстали. Хата жила обычной жизнью: играла в домино, шахматы, читала, писала письма, базарила. Но, в отличие от других, виденных мною хат, над этой витала придавленность — голоса звучали тише и глуше, люди оглядывались чаще. И у всех озабоченность на рыле. Вот попал так попал!

Дали обед, который происходил следующим образом: все миски, полученные из коридора, составили на пол и лавочки, шестерки бычьей семьи, выловили гущу и, набрав шесть густо набитых мисок, понес-

ли их в угол, семье на съеденье. Оставшиеся миски разобрала братва и начала есть. Только Кострома взял свою и вылил ее в парашу.

— Зачем ты так? — удивился я.

— Я себя уважаю и после этой шестерки есть не буду, мне каши за глаза хватит.

Молча проглотив баланду, я задумался. Дали кашу, все ели торопливо и жадно. Подвинувшись к Костроме, вылизавшем пальцем миску из под каши и протягивая ложку, я негромко спросил:

— А где твоя?

— Отняли, за жизнь бояться. Но я их, блядей, на малолетке давил и здесь удавлю. Трех уже отпетушарили и эти вдогонку пойдут.

Один из семьянинов, видимо что то услышав, зарычал:

— Ты че базаришь, тварь?!

— Сам ты тварь, рыло беспредельное!

Быки зашевелились, явно готовясь к бою, но в этот момент за решкой раздался крик на всю тюрьму:

— Шесть девять, шесть девять! Бычье, спите что ли?!

На решку вылез смуглый здоровый Масюка:

— Че надо?

— В оче не горячо? Слышь, черт в саже, это тебе с особого кричат, с четыре два. У вас политический, Профессором дразнят?

Масюка с недовольным рылом спрашивает меня:

— Эй ты, чертила, тебя как кличут?

Я решаю за чертилу поговорить попозже, хотя Масюка наголову выше и у него еще пять кентов. Отвечаю:

— Профессор.

Бык кричит во двор:

— Ну есть.

— Ну загну, прыгни черт с решки да позови Профессора, это его Ганс-Гестапо кличет, да шевели булками, паскуда, мы с тобою в транзите встретимся, я тебе форсунку прочищу!

Масюка слезает с решетки и пальцем показывает мне: иди.

— Ганс-Гестапо, Ганс-Гестапо, привет!

— Привет, Профессор, как жизнь?

— Да как на тюряге, да еще эта хата, как ты узнал, что я здесь?

— Я на венчанье катался, человека с шесть девять встретил, он и сказал, чарвонец как с куста да пижаму выдали, на курорт поеду, — хохочет на всю тюрьму неунывающий Ганс-Гестапо, а мне становится жалко этого старого пацана с изломанной жизнью.

— Ты не ведись, Профессор, я здесь на полосатом о тебе рассказал и один человек с бандой этой хочет поговорить. Кто у них сейчас за главного?

Я поворачиваю голову в хату и спрашиваю у Костромы, игнорируя быков:

— Кто у них главный?

— Сейчас Шило.

— Шило, — кричу в решку.

— Давай его сюда, черта, с ним у авторитетного человека базар есть.

Я спрыгиваю и громко говорю:

— Человек с полосатого, авторитет, желает с Шило побеседовать.

Со шконки поднимается бугай лет двадцати двух с тупым и важным лицом. Но я внезапно для самого себя, вижу в его глазах страх. Видимо, случившееся с тремя его кентами, не прошло бесследно для него.

Шило лезет на решку и начинается базар:

— Че надо, я — Шило.

— Послушайте, молодой человек. Я конечно понимаю — у вас в колхозе или на фабрике мое имя было несильно известно. Но у вас за стенкой сидит строгащ, подкричите им, спросите, кто такой Вениамин. Вам в популярной форме объяснят, что я человек известный, как на воле, так и на киче. И мое слово — закон. Я с тревогой слежу, что происходит в вашей хате. И мне это не нравится. Так вот: я авторитетно заявляю на всю кичу — бля буду, век свободы не видать, сухой быть, оттрахаем мы вас всех, но если Профессора опустите, политического, то я лично по вашим следам топор пуцу, — голос завибрировал от сдерживаемой ярости, по видимому, человек из последних сил сдерживался.

— Ты все понял, кусок дерьма? Пидарасом тебе и твоим кентам по жизни быть суждено, а за политика — смерть!

Пока звучал этот псевдоспокойный и псевдовежливый голос, вся тюрьга молчала. Не слышать было ни одного крика, ни одного вызова хаты. И тем более зловеще прозвучал в полной тишине этот голос. Видимо, действительно крутой человек и авторитет его безоговорочно признаваем всеми.

Шило слез с решки бледный и молча лег на шконку лицом вниз. Этот спокойный голос был более страшен, чем ругань всей тюрьмы.

Масюка, широко расставив ноги, стоя посередине хаты, громко заявил:

— Че это за витамин?

Ответил Кострома:

— Вор. На таких как ты — чифир варит, вместо бумаги. Понял?

Масюка стал медленно подходить к Костроме, широко улыбаясь:

— Че эта тварь разбазарилась? Кто тебе разрешал?

Меня захлестнула мутная волна злобы, злобы на все — на ментов, тюрьму, Тита, этих быков, на Масюку... Окрылил меня спокойный голос и поддержка.

Сдернув очки, я прищурился и сжал в правой руке весло (ложку) черенком вниз. Зрение медленно установилось и из пятня, приближающийся Масюка, стал более-менее реален.

— Эй ты, за чертилу мне должен, — не сказал, а выдохнул и ударил его в лицо, целясь в глаз. Ложкой. Масюка взвыл и кинулся на меня, подскочили семьянины быка...

Мы с Костромой, который сразу встрял, выстояли на ногах от силы пять минут. Потом нас катали по полу пинками, били сцепленными руками...

По двери застучал дубак:

— А ну прекратить, корпусного позову!

Нас оставили в покое. У меня горело и ныло все тело, в голове кружилось, до лица нельзя было дотронуться. С трудом поднявшись, мы отправились на парашу, умываться. Там я столкнулся нос к носу с Масюкой. Он промывал водою рваную рану на щеке от моей ложки. «Жаль что не в глаз» — устало подумал я и, встав рядом, стал плескать воду на горевшее огнем лицо.

— Слышь, очкарик, я тебя убью! — прошипел, кривясь от боли, Масюка. Я, повернув к нему голову, ответил, вложив всю злобу и знание фени:

— Ты теперь жмурик, я на тебя глаз положил, ни пером, так удавкой, ты по жизни доходяга, я тебе точно базарю!

Ошарашенный от моей злобы, Масюка убрался к себе в угол. Мы с Костромой усаживаемся под телевизор. Я осторожно надеваю очки и смотрю на Кострому — правый глаз стал видеть хуже чем левый, но, думаю, это временно. У Костромы лицо тоже в боевой раскраске. Мы улыбаемся друг другу, кривясь от боли.

А Шило за все время драки даже не встал. Видимо, ему было над чем подумать...

Пролетело пять дней. Пять долгих, длинных дней. Каждый день был длиною с полярную ночь. Каждый день был длиною в год.

Потому что нас с Костромой было двое. А быков беспредельных — шестеро. И бились мы с быками каждый день. Каждый день три-четыре-пять и более раз. Как гладиаторы. Как пособия по тренингу для рукопашного боя.

Каждый бой проходил буднично, повседневно. Он не был обставлен не торжеством соревнований, ни злобой драки. Была повседневность, обыденность. Как люди чистят зубы. Как люди испражняются.

Три-четыре-пять раз в день Масюка, Орел, или еще кто-нибудь из этой семейки, вставал со шконки, в очередной раз пожрав и, потянувшись крупным, сытым телом, сообщал:

— Пойду разомнись, кто со мною?

И всегда у него находилось два, три, а то и четыре партнера и они шли к нам. Мы, я и Кострома, всегда встречали их стоя. Ведь, когда сидишь, сжавшись в трепетный от страха комок и закрыв голову руками, ожидая удара, то это намного страшнее и унижительнее. Чем встречать противника, недруга, врага, стоя, бесстрашно глядя ему в рыло и первым бить по этому рылу, даже если через минуту будешь валяться на полу, даже если твой удар не достиг цели! Даже если тело будет ломить, как будто по нему проехал трактор. Даже если лицо будет так гореть и саднить, как будто с него сорвали кожу...

Страшно только в первый раз, но если переступишь через свой страх, если убьешь его, если убьешь в себе естественное для всех людей чувство самосохранения, то результат поразителен! Так рождаются смертники-камикадзе, смертники-прикованные к пулемету, герои, бросающиеся под танки и закрывающие своим телом амбразуры... Главное, плюнуть на собственную жизнь, раздавить страх и вот... вскипает кровь, раздуваются грудь и ноздри, кулаки сжимаются так, что ногти вонзаются в ладони!

Вставай, Кострома, покажем этим блядам, как бьются настоящие босяки, настоящие люди! Видишь, в их глазах, нет, не страх, а смещение, не может нормальный человек три-четыре-пять и более раз биться с более сильным и многочисленным противником.... А значит, мы с тобой психи, Кострома, придурки и пусть по очереди они спят, караулят свои поганые жизни! И пусть боятся всего, даже сесть за стол спиной к нам! Идем, Кострома, идем!..

Я успеваю ударить один раз, очень и очень редко два, и не всегда мой удар достигает цели. Это не главное здесь, в этой битве! Это не драка, а поединок. Наш сильный дух и неизмеримая ненависть и злоба к этим блядам против их беспредела и страха от грядущего возмездия! Держи тварь, в рыло! А сегодня достал!.. А, а, а... Валяюсь на полу, рядом Кострома, пинают куда ни попадя, боли почти не чувствуется, только злоба, окрик Шила:

— Кончай, хватит с них, ну, брось, Орел, хватит! На следующий раз оставим, — объясняет свое заступничество Шило, а мы, тяжело поднимаясь, бредем смывать боевую раскраску и зализывать свои раны.

Ау, Кострома, если ты читаешь эти строки, если тебя не убили дубаки или беспредельщики в тюрьмах, не заморили голодом и холодом по ШИЗО и ПКТ кумовья, если не зарезали тебя по беспределу, если не помер ты от туберкулеза, желтухи, дизентерии (так распространенные в советских тюрьмах), то ты должен помнить: как шли мы на битву, как гладиаторы, как герои эпоса, как богатыри былинные, как пираты... Только очень много «если».

Мы шли драться за свободу дышать, за свободу ходить свободно хотя бы в малом пространстве камеры, за свободу быть свободным!

Восторг и злоба переполняли нас, мои клеша развешаются, я чувствовал себя вольным пиратом, ты не отставал от меня, я от тебя! Ты помнишь, Кострома?!

Когда мы, умытые и побитые, сидели на своем месте, под телевизором, я видел взгляды мужиков, смесь восторга и ужаса, непонимания с сочувствием. Я уверен, уйдя в другие хаты, на зоны, в мелких подробностях, приукрашивая и привирая, рассказывали они о наших битвах, о наших боях. Так рождаются легенды о могучих богатырях в устном творчестве диких народов, не имеющих письменности. О великих воинах, стойко вынесших все невзгоды и победивших! Так рождаются легенды!

На шестой день я придумал как нам с Костромой отдохнуть от трех-четырёх-пяти и более разового геройства в день. На все драки и крики дубак только изредка стучал по двери ключами, но больше никогда не было. Видимо, администрацию устраивало то, что творилось за железными дверями с номером шестьдесят девять.

Так вот, где-то перед ужином, на шестой день моего пребывания в этой хате, открылась дверь и вошел корпусной в сопровождении дубака:

— Проверка! Сели все по шконкам!

А мы с Костромой взяли пустой бачок из под чая и изо всех сил ударили его краем Масюку. Прямо по тупой голове... Масюка молча рухнул, корпусной вылетел из хаты, чуть не снеся дубака. Хлопнула дверь, лягнул замок.

Семья Масюка не успела отомстить нам — так был велик шок от увиденного. А мы с Костромой улыбались.

Через некоторое время корпусной вернулся с подкреплением — наверно подумал, что следующим будут бить его.

Вместе с ним прибежало пяток дубаков, кум и два подкумка. Нас препроводили в кабинет к корпусному и пару раз вытянули по спине резиновой дубинкой. Это были семечки по сравнению с тем, что мы получали в хате три или больше раз в день. И опустили в трюм. В карцер. На десять суток. В одиночки. Там я и отдохнул. От всего. И от души.

Вернулся я в хату один. Кострому кинули в другую. Но и в хате изменения — от всей семейки блядской Шило да Орел остались. Шило еще более задумчивый, а Орел растерянный. Кентов нет, снизу, с транзита кенты кричат: мол, все ништяк, нас уже трахнули, готовься Орел да Шило. Тюряга вся грязью поливает с утра до вечера, ругает да заругивает. Весело, одним словом. Да тут еще псих этот, политический, снова в хату пришел и хоть раз в день, но подрасться желает. А сам очкарик на полголовы меньше и килограмм на двадцать легче. Псих и только! А не драться нельзя — этот псих норовит в морду треснуть да все исподтишка!

Даст мне Орел пару-тройку раз и схватят его мужики за плечи, за руки. Оборзели мужики, нюх потеряли! То-то раньше было... А я кровь утру и прямо в лицо Орлу говорю, что его впереди ждет. Да в мелких деталях, да в красках... Трясет его, видно от радости, порвать меня хочет, только мужики держат да Шило рывкает. Нельзя.

Так прожили мы с Орлом душа в душу дней десять. И в один сентябрьский день вызвали Орла. С вещами. На суд...

Долго он стоял в дверях, не обращая внимания на крик и ругань корпусного, сжимая матрац под рукою. Долго. Стоял и поглядывал на хату. А в глазах тоска неземная и прощание. Прощание со всем, смятение, непонимание. Как же так — ели, пили, веселились, подсчитали — прослезились. В этой жизни поганой за все надо платить. За все. Иди, Орел, иди, там тебя ждут. И ушел Орел. Хлопнула дверь, лягнул замок...

А вечером, во время вечерней переключки-поверки, Шило выломился. На коридор. Встал на лыжи. Видимо, не вынес предстоящей ночи и того, что остался один на один с хатой, в которой так долго беспредельничал.

Подняли его в обиженку. А там опущенные, и им, и с других хат... Ночью он уже кукарекал на весь тюремный двор, сообщая, что возмездие настигло и справедливость восторжествовала. За все надо платить. За все.

Даже за любовь. Увидела меня одна воровка. Увидела, когда нас, сорок с лишним рыл, на прогулку гнали. На крышу. И смогла Катька в этой толпе стриженной меня красавца увидеть и выделить... Морда наглая, очки на носу для интеллигентности, плечи широкие жилетом самодельным, из пиджака сделанным, покрыты. Грудь нараспашку, клеша врзлет. Иду независимо, синяками и ссадинами не гнушаюсь. Несу их гордо как награды. В шесть девять сижу, а не сломался, а не согнулся! Заметила меня Катька, заметила и полюбила! Так сильно полюбила, так ее сердце воровское забилося, затрепетало... Невтерпеж воровке стало! Вся ее поганая жизнь, с тремя судимостями, с тюрьмами да зонами, такой никчемной показалась! Все готова была Катька отдать, все, всю свою жизнь, ради одной ночи со мной... Да кому она нужна, жизнь ее — с деньгами будешь отдавать, никто не возьмет. То ли дело бабки, деньги то есть. Отдала Катька последний полтинник заветный, отдала собаке дубаку... и малевку мне накатила, и конем отогнала. И сообщила в малевке той, что да как.

Вот я и после отбоя по столу кружкой стучать начал да песни блатные петь, во весь голос орать. Рассвирепел дубак, вызвал дежурного корпусняка и за наглость мою кинули меня в трюм, в карцер...

А там, на нарах деревянных, ничем не покрытых, Катька в темноте телом смуглым манит да голос с хрипотцой, на лагерных морозах прокуренный в ругани с ментами сорванный. Сладко шептала Катька,

сладко любила. Много ли девятнадцатилетнему да на тюряге советской надо... Не буду рассказывать, что да как. Настоящий мужчина такое не рассказывает. Даже если хата просит.

Вернулся я в хату после подъема, с темными кругами вокруг глаз, осунувшийся, уставший, как черт знает кто, похудевший килограмм на пять. Вернулся, еле-еле под общий смех на шконку залез и умер.

И не снилось мне ничего. Даже Катька. Как в яму черную провалился. И проспал я до вечера, до отбоя.

А вскоре был суд, и дали Катьке десять лет. Чарвонец. Было ей двадцать семь, но советскому суду на это наплевать. За все надо платить. За все.

* * *

Хитра и сильна Советская власть. Хитра и сильна тюремная администрация. Зеков стены толстые охраняют, двери железные, замки хитрые, дубаки бдительные. Ночью свет в хате, и вся тюрьма залита от прожекторов. Вышки с автоматчиками, проволока колючая, путанка, сетка рабица, решетки, сигнализация. На окнах решетки, сетки, ящик железный — намордник. Вверх только из него смотреть можно, если изловчишься. Да еще жалюзи железные. Много чего придумала хитрая Советская власть против зеков. Но зеки хитрей всей Советской власти.

По всей тюрьме, по стенам и вверх, по сторонам, и за угол, и вниз, кони разбросаны — шнуры натянуты. И едут по ним записки-малевки, грев-чай, деньги, сигареты, конфеты, анаша, колеса — таблетки наркотические. Вещи умудряются гонять из хаты в хату. Брюки да рубашки, шапки да свитера. И напрасно зеки из хоз. банды (хозяйственной обслуги) рвут тех коней баграми, ментам помогают в их поганой работе. Напрасно. Нового коня через час запустят, загонят.

Делают это хитрые зеки так. Сначала носки нейлоновые распускают и шнур сплетают.

— Ты крути влево, а я вправо, а когда станет упругим, то пополам сложим, он и скрутится...

Просто до наивности. Когда шнуры готовы и соединены длинную веревку, то кричат в соседнюю хату или вниз. Куда коня погонят. Если вниз, то совсем нет проблем. Во-первых, на столе процарапывается желобок-царапина ложкой, заточенной об пол. Затем потихоньку, теми же несколькими ложками, откалывается щепка. В виде клиньев используются кости домино. Мало — откалывается вторая и связывается с первой теми же шнурами. Готово — это удочка, на конец привязывается шнур и наматывается на нее. На другом конце шнура пустой спичечный коробок. Удочка выставляется за решку и крутится, шнур разматывается и опускается. Из хаты снизу высовывается удочка, на

конце крючок все из той же ложки. Зацепили и затащили шнур к себе в хату. Наверху удочку убрали и шнур привязали к решке. Внизу тоже самое. Готово — конь готов, привязывай малевки, грев, шмотки и го- ный коня вверх-вниз.

Но учтите — кажущаяся простота действий усложнена следующими преградами, придуманными хитрой советской властью. Ну, жалюзи, намордник — короб дощатый, решетка, сетка-рабица, стекло... Достаточно? Мало? Отсутствие инструментов, угроза наказанием. Мало? Достаточно? То-то же!

Но ведь связь (какое романтическое слово!) нужна не только между двумя хатами, но и между остальными. Значит, по-новой удочку по- верх намордника, шнур разматываем, коробок на этот раз не пустой, а мокрой бумагой набит. Для веса. В соседней хате аналогичные приготовления. Начали! Шнур, висящий вниз, удочкой раскачиваем, раз- махивая удочкой, увеличиваем амплитуду колебания. Не знакомы с геометрией, с физикой, с кинематикой хитрые зеки, поднаторевшие в борьбе с хитрой советской властью, но любому инженеру «сто впе- ред» выпишут. За пояс заткнут. Вы учтите — удочкой размахивать приходится в пространстве примерно пять-семь сантиметров на два! Если порвут сетку-рабицу, сплетенную из толстой проволоки. А ин- струментов, как уже было сказано, — нет! Но рвут, применяя тряп- ки и ложку, методом скручивания. И разжимают жалюзи. Железные! И машут удочкой. И в соседней хате тоже самое. Вот и встретились два шнура, вот и сцепились, вот и перепутались. Удочки убирают, коня привязывают. Чтoб не убежал. Готово!

Самое сложное — за угол. Но тоже связываются хитрые зеки и че- рез угол. Куда связистам во время Великой и Отечественной до зекoв. Но хитрая Советская власть на углу тюрьмы на стене щит укрепляет. Из досок. И не кинешь коня, но связь не рушится.

Есть у хитрых зекoв запасной вариант. Как сказал маме лысый Во- лодя — мы пойдем другим путем. И идут. И все путем!

К шнуру коробок привязан, с бумагой мокрой, и опускается шнур в парашу. Три-четыре миски, не отданные на коридор (нарушение!) наполняются водою. И по команде резко, синхронно, выплескиваются в парашу. Увлекая шнур. И так несколько раз, и в соседней хате тоже самое. Встретились шнуры, переплелись, перепутались, вытащили их в одну хату, а в другой конец держат, коробки отрезали и связали шну- ры. Конь готов. И гонят через парашу не только малевки, в целлофан от пачек сигаретных завернутые. Нет целлофана или кульков полиэ- тиленовых, не беда, хитра Советская власть, да зеки хитрей.. Спасибо дядям из издательства журнала «Огонек», на хорошей бумаге журнал свой выпускают. Два слоя и ни чай, ни табак, ни сигареты, ни даже сахар с конфетами в параше, в трубе канализационной не промокают!

Не успевают! Главное — надо тащить быстро, но плавно. И связь с соседней хатой не терять.

— ... На себя чуток, стоп, братишка, я подтяну, хорошо идет, немного на себя возьми, отлично, пошло-пошло!

Руку в парашу сунуть, колено там, изгиб трубы, рукой поправить, и:

— Готово! Спасибо братва!

Быстро разворачиваем и обертку выбрасываем. Сухо!

Настоящий жулик и арестант никогда не доверит черту на параше коня гнать. Сам не побрезгует, не шкворится жулик, не марается. И рукой не в падлу, иначе никак. Хитры советские зеки и закалены в борьбе с хитрой Советской властью. «Мы духом окрепнем в борьбе!»

Много хитростей придумали зеки для того, чтоб не задавила их сильная Советская власть, чтоб выжить, чтоб комфорт относительный иметь, чтоб не так горько в тюрьме было.

Тут и варка чифира на бумаге, трубой неплотно скрученной и держа ее вертикально. Тут и на тряпке, ткани, варение чифира. И добывание огня без спичек — в карцере, например. Вариант один: тряпку небольшую, хлопок, не синтетику, на лампочку, а она в дырке, в нише над дверью, за решеткой. Дым пошел, вынули, резко дунули, поднеся бумагу и вспыхнуло. Вариант два: вату разорвали и сложили в два слоя, друг против друга. На пол положили и резко-резко ладонью покатали, пока ладони горячо не станут. Вату скрученную подняли, разорвали и дунули, поднеся бумагу. Пользуйтесь на здоровье!

Чая нет, голова болит, давление скачет? Из сахара жженку приготовить можно — тоже кровь гоняет, голову лечит. Кружки нет — есть газета? В газете чифир можно сварить, главное воду потихоньку наливать с краю, а огонь сразу поднести. Снизу огонь, сверху вода, посередине бумага... Может, с точки зрения физики и можно объяснить, но не знают советские зеки физики, не обучены. Просто хитры!

Татуировку хотите? Иглу об пол можно заточить, благо он асфальтовый. Нет иглы? Не беда, кусок проволоки из оконной сетки-рабицы или из прогулочного дворика. Тяжело сломать, нет инструментов? Терпенье и труд все перетрут. Туши нет? Каблук от ботинка поджечь, а сверху дно кружки, сажа и осядет. Чтоб заражения крови не было, разбавить не водой, а мочой. Того, кому колоть будут. Не знают зеки о группах крови, понаслышке слышали, не знают о совместимости, не кончали медицинских институтов. Но все знают!

Полечиться хотите, а здоровье как у былинного богатыря? На кресте желаете отдохнуть? А лепила (доктор) не верит, что вы чахнете? Не беда — выбирайте, что желаете. На все вкусы есть мастырки (симуляции). На все вкусы и на то, что есть в хате.

Ручка шариковая, пластмассовая. Ножом из ложки, об пол заточенной, поскоблить, настрогать и с табаком покурить. Один-два раза. Температура высокая, горло красное и першит. Ангина и как бы не воспаление легких? Сало соленое, с передачи. На солнце его, зимой — на батарею, небольшой кусочек, с полпальца. Через неделю вид неприятный, желтый. У сала. На нитку его и с водой в себя, а нитку промеж себя вставить и даже за зуб привязать. Нитка длиной полметра. Через неделю вид неприятный, желтый. У того, кто сало заглатывал. Сало вынул, и к лепиле. Не желтуха ли?

Мыло хозяйственное. Проглотил кусочек и усрался. А еще можно немного жопу поранить, рядом с анальным отверстием. Гляди, советский доктор — стул жидкий, с кровью! Помираю! Дизентерия, брюшной тиф, холера! Что, нравится, лепила, то и выбирай.

Пять кружек с водой. Два с половиной литра воды. С солью. Насыщенный солевой раствор. Не знают зеки таких слов, но знают — выпьешь и почки опухают, мешки под глазами, вот-вот почки откажут, подохну, доктор, вези на крест скорей!

Бывают и подыхают. Тяжела жизнь у мастырщиков. Вот и будь после этого мастырщиком, да не будь дураком, зачем до конца дожить, что-то жуткое с собою творить?! Так, немного, чуть-чуть, чтоб и лепила поверил, и здоровье осталось.

А есть еще одна, очень совсем страшная мастырка. Ранку сделать и туда с зуба налет соскоб. Нога или рука, куда инфекцию занесли, разбухнет до страшных размеров, и температура. Гангрена называется...

Ну, а если не помогают мастырки, на крест не берут, права твои и так урезанные до не могу, ущемили в конец, жизни нет и счастья нет, то можно и покоцаться (вскрыть вены). Ложкой заточенной, стеклом, фильтром от сигареты, оплавленным и придавленным, доминушкой заточенной. Любят зеки театр! А еще можно ложкой, кожу живота оттянув и на край стола положив, пробить. Кожа растянется — дырки как будто вовнутрь. А можно еще домино проглотить, да и не одно, везите суки на крест, помру — отвечать будете! И будут. Не сильно, но будут. Было на складе изделие и испортилось. Почему? Почему не соблюдался оптимальный режим хранения? А?! И влепят выговор, может строгий! Ух!

Хитра Советская власть, но зеки — хитрей. Много они придумали такого, что ахают привыкшие ко всему, повидавшие все корпусняки, кумовья да дубаки. Выкидывают зеки такие коленца, что хоть стой — хоть падай!

Шла хата с прогулки. Глядит — ведро с кашей горячей около чужой камеры стоит, к обеду подготовленное. Взяли и занесли к себе в хату. Через двадцать минут дверь настежь и всех на пинках в коридор. Шмон. Всю хату обшмонали: и под шконками глядели, матрацы пе-

ревернули, в бачки с чаем и мусором заглянули, в телевизор глянули. Нет ведра. Даже в парашу, в дырку с два кулака, зыркнули — а вдруг! Нет. Взмолился корпусной и клятвенно заверил, по-зековски, по-блатному поклялся — на зуб, никого, мол, наказывать не буду, только где ведро, покажите. Зашел один босяк в хату и газету, лежащую на столе, поднял. Ахнул корпусной, ахнул дубак — лежит себе спокойно ведро под газетой, развернутое как выкройка, как его на фабрике вырезали из жести...

Взял корпусной молча ведро и понес другим корпуснякам да дубакам показывать, про хитрость рассказывать. Мол, хитры советские зеки, ой хитры, самые хитрые в мире!

А еще, советские зеки, могут, сидя в тюрьме, не имея инструментов, изделия народных промыслов изготавливать. Про карты я уже рассказывал, а кроме них — еще шахматы, четки, мундштуки, нарды с костями, ручки шариковые, разноцветные.

Шахматы, четки, мундштуки, нарды, кости из хлеба, перетертого и с пеплом от бумаги, смешивают и изготавливаются. Добавляют для красивого черного цвета ту же сажу от каблука. Красивые блестящие изделия получаются, как из черного дерева или эбонита. И крепкие. Удар об пол выдерживают. Ручки шариковые из бумаги делают — берут стержень с пастой, на лист бумаги из тетради кладут и плотно скручивают, смазывая лист клеестером из того же хлеба. Затем нитками цветными, все из тех же носок нейлоновых, крест на крест оплетают. Красота и только. Хитры зеки, ой хитры!

Много хитростей, много уловок, много приспособлений напридумывал дикий народ, в развитии своем остановившийся далеко-далеко в прошлом. Одним словом — хитры!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сегодня у меня суд. По тюремному — венчанье. Сажу на указанном месте в одних трусах и жду. Гражданин судья, тоже в трусах, почесывая татуированное брюхо, возглашает:

— Оглашается список судейского состава, защиты и обвинения. Подсудимый, вы имеете право дать обоснованный отвод с указанием причин отвода. Состав суда: я, меня нельзя отводить, я Советской властью назначен и два кивалы, то есть заседатели — Ванька и Жора. Защита — адвокат Семен, а обвинение — Горбатый. Какие замечания по составу имеете, подсудимый? Да ты не лыбься, не скалься, базарь, если что имеешь.

Даю отвод по всему списку, привожу доводы: Горбатый вчера на меня рычать пытался, у кивал мне рыла не нравятся, а Семен вообще

меня в прогулочном дворике пихнул. Нечаянно, в общем-то, но мало ли что. Лучше поменять...

И это не бред и не сон. Судят меня в хате, братва, которая в законах разбирается. Я играю добровольно, более того, сам предложил свою кандидатуру. Ведь скоро настоящий суд и дату уже назначили — двадцать первого сентября. Вот я и репетирую. Игра эта, в отличие от других, унижающих и глумливых, несет совершенно другую цель. Наравне с весельем для хаты, возможностью развлечься, подсудимый приобретает опыт, которого у него еще нет. Но какие его годы, еще не раз будет осужден, вот опыт и появится. Но пока игра. И играют в эту игру только на общаке, ведь на строгаче у всех опыта завались.

Продолжается суд:

— Запись вести не будем, ну её на хрен!

Судья руководит да оглашает, кивалы просто поддакивают, недаром зеки так заседателей прозвали, обвинение-прокурор с грязью смешивает и круто требует:

— Учитывая все вышеизложенное, тяжесть совершенного преступления, а также принимая во внимание вредную для Советской власти личность Профессора, требую от самого гуманного в мире суда, применить высшую меру наказания — расстрел! Приговор предлагаю привести в исполнение на параше.

И смеется, прокурор хренов. Ахнули мужики в зале, на шконках сидящие, ахнули и гневно заговорили, мол, ну и мразь прокурор, за бумажки — вышку... Ну чистый Берия, такой же лысый и в очках...

Судья предоставляет слово защите. Поддергивая спадающие трубы, почесываясь и отмахиваясь от мух, адвокат начинает свою речь:

— Он молодой, паскуда, его пожалеть надо. Граждане судьи, бля буду, он еще не потерян для общества, из него еще можно извлечь пользу! Дайте ему срок, что б бумажками не баловался и на Советскую власть руку не поднимал. Дайте ему, подлюге! Но небольшой! Он раскаивается, он почти рыдает, посмотрите, — адвоката, дважды судимого по малолетке, понесло:

— Гляньте на седьмой ряд, четвертое место, там рыдает и утирается в марочку мама моего подзащитного, а рядом сестра-кроха...

— Брат, четырнадцать лет, — поправляю, сдерживая смех.

— Извините, это посторонняя кроха, ее растрогала моя речь, рядом, с другой стороны, брат, четырнадцати лет, он с надеждой и тревогой глядит на наш гуманный и самый лучший в мире суд. Неужели судья укатает братана на лучшие годы? Неужели придется, как Володька Ульянов, мстить?! Но нет, граждане судьи, я не угрожаю, дайте моему подзащитному полгода, ну, год, от силы! Он вам спасибо скажет и чем-нибудь поделится. Не губите молодость на корню! Я все сказал! — заканчивает защитничек под аплодисменты публики.

Мне предоставляется последнее слово. Судья, вытирая глаза от слез грязной наволочкой, махает рукой:

— Профессор! тебе последнее слово, что хочешь — базарь.

Я приближаю внезапно пересохшие губы и встав, начинаю хриплым голосом:

— Граждане судьи! Гражданин судья! Я действительно вместе с кентами печатал эти бумажки, но прошу учесть — ни слова против Советской власти, так почему антисоветская агитация и пропаганда? Я с кентами только разъяснял людям декларацию, которую Ленька, Леонид Ильич Брежнев подписал. Значит, он подписал, а я в тюрьму? — не выдерживаю я стили и серьезности, меня несет:

— Так где же такое видано?! Вы меня пытали, есть ли центр, есть ли руководители?! Я отвечаю честно, как учили в школе — Кремль центр, а Брежнев наиглавнейший наш руководитель! Он на Запад катается и в ботинке инструкции от империалистов привозит, он...

Судья прерывает меня:

— Говорите по существу. Вам предоставлено слово, а не трибуна.

Я, сбитый с волны, сажусь:

— У меня все, гражданин судья, не виноват я, не хотел, больше не буду.

Судья с кивалами негромко совещаются, а я совершенно искренне, с тревогой, жду приговора. Это одно из главных условий игры. Можно ерничать к фиглярничать, ломать ваньку и гнать дуру. Можно все. Но приговор выносится как можно реальной. Поэтому в судьи выбирают братву битую, знающую законы. Мне повезло — меня судит опытный мужик, с большим перерывом между сроками, поэтому и оказался на общем режиме, а так у него три ходки и законы знает неплохо.

Наконец совещание закончилось и оглашается приговор:

— Встать, суд идет! Именем, сами знаете кого, выслушав и приняв во внимание и прокурора охреневшего, и адвоката завравшегося, а также слово последнее подсудимого, его личность, состав преступления, одним словом суд приговаривает — Профессора к трем годам лишения свободы на общаке.

Гром аплодисментов награда справедливому суду. Три — не воля, но и не вышка. Три это немного, три...

— Три и на параше просидеть можно, — шутит по тюремному судья и хлопает меня по плечу.

Я доволен и улыбаюсь. Твоими устами и мед пить, Паша.

Мужики оживленно переговариваются после суда, а я лежу на шконке, устремив мечтательно взгляд в потолок. Интересно — трояк дадут или меньше? Хорошо бы...

— Отбой! — гремят ключи о двери.

— Подъем! — гремят ключи об двери. И я просыпаюсь со страной. Проверка, не потерялся ли кто-нибудь... Незаметно пролетает время, вот дали завтрак...

Завтрак тоже пролетает незаметно, каша, чай. Как пишут в газетах — завтрак прошел в дружеской обстановке.

Сегодня воскресенье, никого никуда не будут дергать. Скучно... Но можно придумать развлечение.

В четверг в хату кинули дедулю, лет семидесяти, дряхлого и ветхого. Сел за кражу. Спер чего-то в колхозе. Вот над ним и решили пошутить.

— Слышь, дед, сто лет, сегодня воскресенье, базарный день. Мы решили тебя снарядить, шмотки продашь да и купишь, чего напишем, — подъезжает к деду Горбатый, дед не против, но пожимает плечами:

— А, че меня, сынок?

— Ты старый — не убежишь, а то дубак побоится вести.

— А, ясно-ясно. Я согласен, собирайте вещички.

Хата, даваясь от смеха, собирает вещи. Дед бдительно контролирует:

— Ты чего милоч, такую рвань кладешь, клади хорошую вещь, — и желтым прокуренным пальцем указывает на шконки, на вешалку. Братва хоть и нехотя, но начинает носить-таскать деду приличные шмотки. Смысл подначки: дед выйдет на коридор, вещи и самого деда дубак обольет от всей души водою и назад в хату. Не хотелось бы мочить хорошее да ну ладно, высохнет, не портить же подначку, веселое дело.

Несет братва вещи, дед принимает, складывает в матрасовку и записывать требует. Делать нечего, давятся от смеха, но пишут список даваемых деду вещей. На другом конце стола другой список составляют, что в хату нужно:

— Пиши — пачек сорок-шестьдесят махорки...

— Сахару не забудьте, сахару...

— А может и пряничков купит старый хрен...

Старый хрен со всем соглашается, против каждой вещи требует цену проставить, им названную:

— Дороже не продастся, сынки, я уж знаю...

Сынки, хохоча уже во все горло, поддакивают:

— Точно, дед, точно старый, сразу видно — жизнь прожил!

Я б тоже дал что-нибудь, но нету. Дед уложил вещи, одел пиджак свой, кепку:

— Ну прощайте покедова, сынки, ух, и смешливые вы, я таких сроду не видал.

И — к дверям, а сынки вповалку — от смеха стоять не могут!

Дед стучит по двери:

— Слышь, сынок, сынок, день сегодня базарный, надо вещи продать да купить кой-чего! Выводи!

Хохочет хата, хохочет дед, хохочет дубак вместе с корпусным, отпирающим двери.

— Ну выходи, выходи старый, мы тебя на базар и отведем. Правда сегодня дождь, но ты видать не сахарный, растаять не боишься.

Дверь захлопывается, замок лязгает. В хате хохот во весь голос, во всю мощь. Ну дед, ну уморил, ну сейчас ему устроят дождь! Ха-ха-ха!!!

Десять минут деда нет. Полчаса — деда нет... Уже и смеяться в хате перестали, уже задумались — где же дед, куда же старый подевался?! Нет его и нет.

Наконец, где-то часа через два, открывается дверь и давящий — от смеха дубак запускает незнакомого мужичка. Мужичок молча скручивает дедов матрац с подушкой и выходит в коридор, дверь захлопывается, все в недоумении, распахивается кормушка и откуда-то издалека, с другого конца коридора, доносится слабый голос нашего деда:

— Сынки, сынки, смешливые! Че хочу сказать — базар сегодня не работает, а мешок вы мне рванный дали, вот я и растерял большую часть шмутья. Ну а когда вернулся, то меня корпусняк к своим посадил, у меня шесть ходок, я совсем не понимаю, как к вам попал. Я потом вам чего-нибудь пришлю, ну вы смешливые, я еще таких сроду не видал! Ха-ха-ха!!!

Да... Ну, дед, сто лет!.. Ну, кинул хату, вот посмеялись... Неловкая тишина сменяется громом хохота: эх, как он нас кинул, ну, дед, ну, старый хрен, мы его на базар, а он босяк чертов, арестант с нэповских времен, ну, дед, ну, хрен старый!..

Хохотали до слез, до икоты. А мешок братве жалко, много там шмутья, на этапе можно было б продать — за чай, водку, сигареты... Вот старый хрен!

Вечером дед прислал по параше немного чая. За все... Ну, дед, ну шутник!

На следующий день у меня радость и грусть пополам. Получил малевку от Ганса-Гестапо. Пишет он, что уходит этапом и наверно, скорей всего, больше не увидимся. И еще пишет, что он мне подарочек сделал, а какой — не пишет. И я не знаю. Гонят его на дальняк, на Север, в Сибирь. Куда — точно не знает. Он — изделие, а кто изделию будет сообщать о месте назначения? Никто. Привезут со склада на фабрику-предприятие и все. А тогда и увидишь, куда привезли. И тогда ахнешь — куда привезли. Но поздно. Сиди — не рыпайся.

Прощай, Ганс-Гестапо, с поломатою судьбою и наперекосяк прожитой жизнью. Прощай!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сегодня у меня суд. По тюремному венчание. Венчается раб божий Владимир с тюрьмой постылой...

Сегодня суд. На этот раз по-настоящему, по-правде. Почему-то спокоен, даже испытываю радость — увижу друзей, хипов-братву, я нечасто писал и нечасто получал от них записки, но в общем-то о них я знаю почти все. Сурок на узком коридоре, в двойнике. Так содержат лиц опасных и совершивших тяжкие преступления. Не всех убийц держат там, то ли камер на всех не хватает, то ли Сурок страшнее совершил... Остальные, так же как и я, на общаке, вместе со шпаной... Все, как и я, пассажиры, по-тюремному, случайные люди. Надо же, даже уголовники, пусть другой смысл вкладывают, но считают нас случайными, случайно попавшими в тюрьму, к ним. А менты, КГБ...

Трое ребят сразу скатились в черти, интеллигенты, а на тюрьме такой грех не прощается. Один немного погодя. Слава богу, хоть никого не опустили еще. Пока. Впереди осужденка, — этап, зона...

А сегодня у меня суд. И моих друзей. У нас сегодня суд. И сильная Советская власть будет нас судить. За бумажки. За то, что посмели. За то, что додумались. Значит за мысли... А как же декларация, подпись Брежнева, свобода мыслей и слова?! значит все туфта?! Все фуфель?.. Ну, черти, ну, суки, а мы тут отмазывайся, как хочешь!

Мысли прерывает стук ключей по двери:

— Иванов!

— Готов, гражданин начальник!

Лязгает дверь и знакомое:

— Руки за спину, не разговаривать, следовать впереди!

Выходя на хаты, получаю пинка в зад. Не больно, не обидно. Такая традиция — мол ни пуха, ни пера, срока тебе небольшого. Внимание всегда приятно, даже если оно выражено в грубоватой форме. Наверно, Лысый, мы с ним последнее время скентовались. Не оглядываюсь, чтоб не сглазить.

Иду впереди дубака, решетки, дубаки, лестницы. Все знакомо до боли, все надоело до чертиков. Быстрей бы увезли куда-нибудь, все разнообразие.

Меня передают с рук на руки. Изделие со склада едет на... с чем бы сравнить суд? Суд, суд это и ОТК (отдел технического контроля) и распределение: мол правильное ли изделие изготовили, не брак ли, и куда мы его отправим, на какое предприятие, да на какой срок можно использовать это изделие. Если не сломается...

Меня передают с рук на руки. Дубак что вел, корпуснику, ведающему прапорам, что шмонают. Шмон, тщательный, а вдруг у меня ксива приныкана или там, автомат?! Напоследок заглянули в жопу, это

уж наверно тоже традиция в советских тюрьмах. Корпусняк передает меня другому дубаку, а тот менту в сером. Обыкновенному менту, но под роспись. А правильно — главное, это учет! В. И. Ленин.

Грузят в автозак, пусто, а следом... ура! Друзья-товарищи!!

Мы радостно кричим, встречая каждого появившегося в автозаке, хлопаем по плечам друг друга, обнимаемся, не обращая внимания на крики и ругань конвоя!..

Нас приводят по одному, не спеша... Ура, Костюха, ура, Корабль, ура, Шланг, ура, Игореха! Ура, ура, ура!!! Последним приводят Сурка, но сажают в стакан. Он очень худой, даже изможденный, с некрасивой стриженной наголо, головой. Мы громко, во весь голос, от души орем:

— Ура! Сурок, ура! Мы снова вместе! Ура!

Менты недовольно морщатся:

— Что разорались?! Революционеры хреновы... Заткнулись!

Кто-то из нас выкрикивает со смехом:

— Всех не перебьете, выше голову товарищи!

Я запеваю:

— Вставай, проклятьем заклеянный, Весь мир голодных и хипов...

Менты тоже смеются:

— Гляди очкарик, допоешься до сибирской каторги, то-то смеху будет!

Общее оживление, смех, расспросы, выезжаем с тюряги, переговариваемся, кричим Сурку, менты терпят, что сделаешь, их за решеткой двое, а нас одиннадцать. Мы снова вместе, кто-то закуривает, передавая по кругу, хотя курить в автозаке не положено. Менты принохиваются — не анаша ли?

Один из конвоиров похож на старого морщинистого бульдога. Только слюни не пускает да в фуражке и форме. Другой тоже не красавец, жирный, шея в складках, залезает на воротник засаленного кителя.

Ну и красавцы, ну и молодцы охраняют власть. Наверно, кто поприличней выглядит, все в тюрьме сидят.

Автозак останавливается, менты вылезают, оставляя дверь открытой. Но между нами и волей еще решетка. Внезапно в голову приходит шальная мысль — может убежать? Ведь пока не осужден, говорили в хате, за это не судят, только бьют. Так может рвануть сейчас, когда выводить будут, в наглуую, на рывок, на хапок? Мысль о побеге стучит в висок, мысль о побеге не уходит. Вот ошизеют в хате, вот удивятся.

— Выводи по одному! — раздается крик и менты распахивают решку. Я пропускаю двоих вперед, затем еще одного, сижу, набираюсь решимости и ныряю следующим. Только встал на подножке автозака, менты за локти — хап! И другим ментам в руки — раз! А те в двери запихнули... Прощай воля, видать не суждено!.. За дверью два мента и

коридор, менты под локти — хап и в другие двери. А там другой мент, одной рукой за плечо, другой решку распахнул и:

— Привет, братва, — здороваюсь с ранее вышедшими из автозака. Мент решку захлопнул и орет:

— Следующий!

Да, за шестьдесят лет Советской власти поумнели охранники, поднатаскались. Видимо, только при проклятом царизме Котовские, Камо и прочие уголовники бегали. А сейчас! Не то время, не то.

Вскоре все «революционеры» вновь были вместе. В двух клетках, в народе называемые обезьянники. Точно и емко! Все вместе, кроме Сурка...

— Братва! Кто последний из автозака выходил?

— Я!

— Не видел случаев, куда Сурка дели?

— Нет, он в стакане оставался...

По-видимому, менты его отдельно посадили. За главаря антисоветского подполья держат. За Савинкова. Ошизели звери, мозги жиром заплыли...

Сидим в клетках на полу, тесно, переговариваемся, ждем, ждем суда, ждем...

Началось! За решкой появляется высокий мент майор. Ого!

— Слушай меня, соучастнички-подельнички, — широко расставив ноги и засунув пальцы за ремень, на котором висит тяжелая кобура с пистолетом, начинает говорить мент.

— Слушай и наматывай на ус. Я — старший конвоя! — ого, какая честь, братва в хате базарила, что старшина, предел мечтаний, а тут...

— Все, что скажу — касается всех. Но особенно Иванова и Осипова. Мне на вас кумовья материал подкинули. Значит так. Распоряжение конвоя выполнять беспрекословно. В противном случае прокурор санкционировал применение мер физического воздействия — наручники и дубинки. В зале суда не кричать, не переговариваться. Уважать суд и распоряжения суда выполнять беспрекословно. В случае побега имеем право применять оружие на поражение. Ясно? Вопросы имеются?

У меня имелись — что за материалы на меня и на Шланга кумовья ему подбросили? Очень интересно узнать было бы? Но я промолчал, молчание — золото.

Майор, не дождавшись от притихшей братвы вопросов, продолжил:

— В конвое двадцать семь человек, вас одиннадцать. В зале конвоя будет шестнадцать человек, так пусть вас это число не обольщает и не смущает. Остальные перекрывают коридоры, окна, двери. Рекомендую не дергаться. У меня все. Через десять минут мы вас поведем. Разрешаю opravку, по двое.

Быстро, по двое, ныряем в туалет. Окна нет, стены исписаны. Возвращаюсь в клетку с Костей, следующая двойка.

— Приготовиться! Иванов, Дерябин, по одному, пошел!

Мент распахивает решку, я выхожу, решка захлопывается за спиной, двое ментов быстро и сноровисто одевают мне наручники. Впереди.

— Пошел! — выталкивают в коридор, там встречают и проталкивают дальше. Конвейер в действии! Изделие номер такое-то! Принимай! Пропускай! Дальше! Быстрее! Бегом! В конце коридора мент, он меня поворачивает в распахнутые двери. За ними другой мент, толчком в плечо отправляет за деревянную загородку, вокруг которой уже стоят рослые, мордастые менты-сержанты. Конец конвейера, стулья в два ряда, привинченные к полу.

— Сесть! — падаю на указанное место в первом ряду и положи скрученные руки на барьер, показываю на них ближайшему сержанту. Тот отрицательно и непреклонно кивает головою.

«Ни хрена себе» — думаю я, но успокаиваюсь.

Оглядываю густой длинный зал. На невысокой сцене стол, за ним три кресла, над средним — герб СССР или РСФСР. Я не сильно разбираюсь в геральдике. Рядом со сценой столик и за ним стул. На столике печатная машинка, бумага. Вспоминаю суд в хате — «запись вести не будем, ну ее на хрен». Я улыбаюсь. А это по-видимому место прокурора. Или адвоката. Придут — разберемся, я улыбаюсь.

Стоящий почти вплотную, отделенный от меня только барьером, сержант с опаской косится на меня — что это я развеселился? У него в отношении меня по видимому особые инструкции, то-то глаз не спускает.

Зал мест на шестьдесят, интересно, кто будет в зале сидеть? Наши родственники далеко, а друзей наверно не предупредили, когда состоится суд.

Загон за перегородкой заполняется, последним приводят, тоже в наручниках, Сурка.

Занимают свои места наши адвокаты, сколько их, вон и Ленка, подмигиваю ей. Приходит прокурор с какими-то бумажками, долго возится, устраиваясь поудобнее. Наверно, у него геморрой. Неприятная рожа, наверно тоже вышку требовать будет, я вновь вспоминаю суд в хате и улыбаюсь. Сержант косится. По-видимому, все идет по плану.

Появляется майор и с нас снимают наручники. С меня, Сурка и Шланга. Я растираю запястья — от души заковали менты.

Секретарь, молодая совсем девчонка, делает испуганное лицо и кричит:

— Встать! Суд идет! — и суд идет. Впереди старая мымра, лет пятидесяти, судя по юбке — женского пола. Следом безликие кивалы, он и она. По-видимому от станка оторвали. А зря...

Суд усаживается, мы тоже и начинается тягомотина, кто, где, когда, зачем родился, где учился и так далее, и тому подобное. В начале михоходом сообщили, что, мол слушается дело по обвинению таких-то в закрытом судебном заседании. То-то зал пуст! Да...

Нет, чтоб открыто заклеить, пригвоздить, прибить к позорному столбу, смешать с дерьмом и развеять по ветру...Ну и не надо, так и к лучшему. Дадут нам потихонечку помаленьку, спустят дело на тормозах. Недаром Роман Иванович, следак поганый, сетовал — мол, нет ничего, кроме бумажек. А за бумажки на всю катушку крутить не будут, что они, идиоты?!

Первый день суда пролетел как миг. Как МИГ, самолет есть такой. Ничего интересного не было. Только после перерыва, в котором нас тюремной баландой накормили, и здесь она нас настигла, девчонок наших, по одной в зал запускали и, допросив как свидетелей, в задних рядах усаживали. Наморгались вволю! Весело день пролетел.

Привезли после суда в тюрьму, подняли в хату, немного порасказывали, спать. Вымотали гады.

На другой лень то же самое, даже майор почти слово в слово тоже самое произнес. С выражением. Чудеса и только.

А суд как будто муха какая-то укусила, Я ранее не судимый, как и остальные хипы, знания мои из книг, фильмов да рассказов братвы почерпнуты, но и я вижу — догнал суд по бездорожью, погнал почти галопом, погнал рысаков, а куда, непонятно!

Мыбра рычит, рвет налево и направо, адвокатов прерывает, прокурора торопит, свидетелям из КГБ рот затыкает! Мать честная, может она от старости с ума сошла?! Что же такое?

После обеда, за четыре часа, мыбра смогла уложить шесть речей адвокатов и все одиннадцать последних слов! Куда там Стаханову, фраер мелкий по сравнению с мыброй. Взбесилась она что ли, непонятно? Что-де мы завтра будем делать, если все сегодня переделаем? А?!

Когда привезли на тюрьму и раскидали по хатам, я рассказал братве о скорости суда. Ахнула хата! А Паша сочувственно посмотрел на меня:

— Послушай Профессор, не хочу каркать, но не к добру суд так гонит, ой не к добру!

«Да я сам понимаю, Паша, но что я могу сделать» — думаю я, но молчу.

Сплю плохо, тревожно, постоянно просыпаясь от каких-то кошмаров.

А на третий день приговор! Вынесение приговора! И начали от маленьких сроков к огромному!

— Гражданина Иванова Владимира Николаевича, двадцать второго октября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года рождения,

место рождение город Омск, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РСФСР номер 70, 198, 209 и **ОПРЕДЕЛИТЬ МЕРУ НАКАЗАНИЯ!!!**

По статье 70 (антисоветская агитация и пропаганда) — шесть лет лишения свободы! По статье 198 (нарушение паспортного режима) — один год лишения свободы.

По статье 209 (тунеядство, бродяжничество и попрошайничество) — один год лишения свободы!!!

«Это ж сколько она сдуру лепит мне, сука старая» — мелькает и исчезает мысль, вытеснена чеканным голосом старой мымыры:

— Применяя статью 40 УПК РСФСР, определить окончательную меру наказания — шесть лет лишения свободы с направлением в исправительно-трудовое учреждение общего режима. Исчисление срока наказания считать со 26 мая 1978 года. Обжалование приговора возможно в течение десяти дней со дня получения копии приговора на руки!

«Вот тебе и трояк, вынесенный судом в хате... Ни хрена себе — шесть лет»...

А в зале суда звенело: шесть лет! шесть лет! восемь! восемь! восемь! десять! десять! двенадцать!! **ПЯТНАДЦАТЬ!!!** лет... Сурку...

За бумажки... Ну, суки, ну, бляди, ну, менты, ненавижу! Власть вашу поганую ненавижу! В бога, душу, мать пополам... Ну твари, ну твари, ну...

В горле першит, глаза застилает туман и хочется кого-нибудь убить. Разорвать. Шесть лет... А Сурку пятнадцать!..

Рву кулаком глаза, сорвав очки. Напаялив их снова, смотрю на братву — все притихли, примолкли... Как же так... За что?.. Сурок побледнел, губы кусает.

Мымыра бумаги сложила;

— Все ясно?

Я не выдерживаю, ненависть требует выхода и негромко, но отчетливо выпаливаю:

— Блядь!

Мымыра дергает головой и делает знак секретарю. Та орет:

— Встать! Суд окончен!

Все уходят. Мы остаемся. Навечно. Шесть лет...

Клетка, удар дубиной по спине:

— За судью, мразь!

Воспринимаю тупо, боли не чувствую.

Автозак, дорога, шесть лет... Приехали, наспех прощаемся, когда еще увидимся, шесть лет, шесть лет..•

— Иванов! К зам. начальнику СИЗО!

Ведут, шесть лет, шесть лет, шесть лет...

— Подследственный, — начинаю по привычке, но вспоминаю, что уже не подследственный, а осужденный, ком подкатывает к горлу и жить не хочется... Я поправляюсь:

— Осужденный Иванов, —
далее не могу продолжать, горло перехватывает, нет, не слезами, а ненавистью!

Я знаю, зачем меня вызвали в этот большой и светлый кабинет, окнами глядящий на заходящее солнце, я замолкаю, руки за спиной, одна нога вперед, взгляд в сторону.

Полковник, седой, в зеленке, пристально смотрит на меня, пытаюсь испепелить взглядом. Не получается, начинает:

— Ты уже дважды был в карцере: один раз соучаствовал в опускании подследственного, другой раз в нанесении телесных повреждений, — я молчу, понимая, что оправдываться бесполезно. Мне дали шесть лет зоны!..

— В карцер пойдешь, мразь политическая, за язык! Чтоб в следующий раз язык держал на месте — в жопе! Понял! — срывается на крик полковник. Я морщусь, но молчу.

Меня уводят. На подвале, в карцерном коридоре, меня встречает огромный корпусной, с дубиной в руке.

— Это тебе не по нюху наш советский суд? — вопрошает корпусняк. Я машу головой. Не по нюху, нет, не нравится мне суд, который за бумажки шесть лет дает!

Корпусной бьет меня... Раз, другой, третий... Сначала я прыгаю, как мячик и ору, как зарезанный. Затем падаю. Он прекращает экзекуцию и небожно тыкает меня сапогом в лицо. Совсем чуть-чуть. Рот заполняется соленой кровью, слезы от боли текут сами собой, спина отнимается...

Меня бросают в карцер как матрац. Отсидел я десять суток. В одиночке.

Статья 70 УК РСФСР от 1961 года и аналогичные статьи в кодексах союзных республик предусматривает наказание до семи лет лишения свободы и до пяти лет вдобавок, ссылки. Но иногда советское судопроизводство, самое гуманное в мире, начинает лихорадить, давать сбой и эти бляди даже свои собственные законы нарушают... Или подгоняют дела и людей под законы и статьи так, как им удобнее.

Основную массу нашей банды судили по 70, 198 и 209. Но некоторые из этой основной массы, видимо особо отмеченные судьей или роком, поймали сомнительное счастье узнать кроме уголовного кодекса еще и уголовно-процессуальный. Статья 40 — в случае осуждения гражданина по двум и более статьям, применяется статья двадцать пять уголовно-процессуального кодекса РСФСР. И аналогичные статьи кодексов других республик. И тогда больший срок по одной статье поглощает меньший по другой... А есть еще статья 41 — меньший

срок не поглощается, а приплюсовывается полностью или частично... Вот моим корешкам по несчастью и банде нашей хипповой и приплюсовали. Суки... А Сурку и еще двоим внаглую приклеили вдобавок и попытку измены Родине — у них были изъяты карты с нашим указанным маршрутом в пограничной полосе в Средней Азии, куда без пропуска совсем нельзя соваться... Если бы Сурок показал на следствии, что мы там уже побывали и не убежали, а, не как он сказал — только собирался, то статья за попытку незаконно пересечь государственную границу и попытка измены Родины ждала бы нас всех... А так всего ничего — от шести и до пятнадцати... Как говорится в тюрьме — только первые десять лет страшно, а потом привыкнешь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Отсидел я десять суток. И не помер. В карцере тепло, спина перестала болеть на третий день (почти), а мысли были об одном — шесть лет. За что? шесть лет...

Отсидел, затем подняли наверх. Забрав матрац и остальное нехитрое барахло, сказал братве, сколько дали и, не замечая сочувственных взглядов, пошел впереди дубака. В новую хату, в осужденку. И что меня там ждет, один бог знает, да и то не в мелких подробностях. Но имея за плечами «шесть девять», три трюма, срок шесть лет и последние молотки за судью, шел я спокойно, не ведаясь, так как уже повидал, если не все, то многое.

— Стой, — рявкает дубак и передает меня другому, а тот ведет к корпусному. Недолгая процедура приемки — и я в хате.

Огромная светлая хата. И шконок до едрени фени — аж четыре ряда. Три стола, две параша, ни чего себе, о-го-го!

— Привет, Профессор! — о, знакомое рыло, виделись в два один, по-моему ушел на суд еще при Тите. Как звать, не помню. Отвечаю, кладя матрац на лавочку возле стола:

— Привет, привет, про Тита слышал?

— Слышал, а как ты?

— Я потом в шесть девять сидел...

Играющие за столом в нарды, явно блатяки, навестили уши. Я продолжил:

— Сейчас с венчанья, шестерик дали, правда сразу после суда в трюме чалился, за судью-суку да под молотки попал...

Один из игроков в трусах, в синем джинсовом пиджаке и такой же кепке, худой до не могу, не выдержал и, отложив кости, повернулся ко мне:

— За что шестерик?

— Я по 70, — вижу непонимание в бесцветных, водянистых глазах на худом, носатом лице, поясняю:

— Антисоветская агитация и пропаганда. Листовки печатали — декларацию прав человека разъясняли, — ставлю точки над «и».

Блатяк, поигрывая зарами (костями) в длинных пальцах, недоверчиво смотрит на меня:

— За листовки шестерик? Темнишь, землячок...

— Обвинилровка на руках, приговор принесут днями.

— В шесть девять сидел, не в этой ли семейке?

Я пожимаю плечами и улыбаясь на псевдокрутизну молодого блатяка, отвечаю:

— Я с беспредельщиками бился, я и Кострома. Остальные молчали и гнулись. Можешь туда подкричать, можешь здесь узнать.

Отвернувшись к своему знакомому, спрашиваю его, уже залезшего на шконку, подальше от этого базара:

— Что за хата?

Блатяк в трусах и кепке не отстает:

— Херами богата! Я с тобою базарю, а ты вертишься, как вошь на ногте...

Я оглядываю «крутого» с ног до головы и мгновенно срисовываю его, так как уже имею опыт — малолетка за плечами, сидит скорее всего за мелочь, был блатным пацаном, потому что сильно не гнули, в хатах до суда приבלатовывал, так как рядом покруче не было. Решаю ввязаться в базар, так как мне здесь жить, да и вообще я не тот Профессор, которого в тюрьгу привезли:

— Послушай, земляк, ты че на себя тянешь? А? Я тебе должен? Или я у тебя украл? Имеешь что, скажи прямо — отвечу. Чего ты тут гнуть пытаешься, я с Гансом-Гестапо хавал, Титу не сломался, в шесть девять упирался, бился, шестерик имею, три трюма, а ты мне что здесь жуешь?! — выкатываю глаза.

Блатяк в кепке тоже пучит глаза и кидает зары на стол:

— Каждый черт будет голос поднимать, да че, оборзели черти...

Я перебиваю его еще громче:

— Слышь, братва, есть в хате авторитеты или малолетки в кепках блатуют?!

Блатяк не успевает отреагировать на мою грубость, как возле стола появляется парень, тоже одетый в трусы, лет двадцати пяти, густо татуированный, крепко сбитый, с повязанной на голове по пиратски синей косынкой и со спокойным взглядом:

— Да, в общем-то есть авторитеты. Меня зовут Пират. Я слышал о тебе, Профессор. Ты в обще-то пассажир...

— Пассажир, — соглашаюсь я:

— Но без косяков и не черт. Что он за базаром не следит?

Пират обращается к кепке:

— Ты чего расписывался? Он тебе должен? Здесь есть черт с шесть девять, он все о нем рассказал. Пассажир и в Африке пассажир, но он чистый.

Малолетка бурчит и исчезает среди шконок. Пират улыбается во весь рот и подмигивает мне:

— На малолетке нет мужиков, или пацан или черт. Вот Грузин и не привыкнет никак.

Я пожимаю плечами:

— Я уже забыл. Где мне лечь?

Пират показывает рукой на хату:

— У нас 120 человек, а мест 60. Ты 121-й, где увидишь лежат двое — смело ложись третьим, хоть внизу, хоть наверху. Мест нет. Будут упираться — скажи мне.

Я решаю лечь сам, без Пирата, — арестант я или тряпка? Найдя подходящее место наверху, в золотой середине хаты, без лишних слов закидываю матрац. Двое зеков лет двадцати пяти-тридцати, выкатывают глаза:

— Ты че, земляк, ты че, в натуре, ты че?

— В натуре у собаки, красного цвета, я тут, мужики, с краю спать буду. Дразнят меня Профессором, чалюсь по 70, шестерик сроку. Вопросы есть?!

Мужики молчат, пытаюсь сообразить. Я продолжаю:

— Ты по какой венчался и сколько пасок отвалили? — наезжаю на худого и длинного мужика. Он молчит, по видимому не все понял.

— Ты че молчишь, как партизан у немцев? По какой статье и сколько сроку?!

— 206, три года.

— Хулиганка, глотник значит, три не десять, три и на параше просидеть можно!

Мужик по-настоящему пугается:

— Да ты что, у меня ни чего нет на воле, я и в дружинниках не был, в милиции не работал и служил в стройбате... Из колхозу я!

— Селянин. Землю тоже пахать нужно, — с видом блатняка замечаю я и перевожу взгляд на другого. Тот торопливо начинает рассказывать:

— Я учитель труда, в интернате для дебилов. По пьянке унес домой магнитофон, вот и дали два года...

— А че блатуешь? Тебе не по нраву, что я здесь спать буду?

— Так тесно, — объясняет учитель дебилов, сам не блещущий интеллектом. Я продолжаю наезд:

— Тесно, ложись под шконку!

— Ну так я первый здесь лег...

— Первый лег, первый слезешь, ну так что с того, первый. Хочешь?!

— Нет, нет, че ты, че ты, — пугается моих слов и наглого взгляда учитель, я улыбаюсь:

— Ну так я здесь поживу чуток. Перед этапом. А если кому тесно — можно под шконку загнать.

В ответ дипломатическая тишина. Хорошо.

Неторопливо пошли дни. Подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой. Никто никого не напрягает, разборки только по делу. Так как хатой правили люди жизнь понюхавшие тюремную и не желавшие ради сиюминутных удовольствий свой авторитет подрывать. Хорошо.

Свободного времени хоть завались. Если есть настроение — тискаю роман, не сходя со шконки. Наоборот, ко мне приходят и сидят тихонько-тихонько, с раскрытыми ртами, а я вру напропалую.

Нет настроения — слушаю, как другие не очень складно врут или просто травят. Или просто людей наблюдаю. Очень интересные люди иногда попадаются. Но, в основном серость и преступления убогие. Со страшными да тяжелыми на узких коридорах сидят, там, где Сурок. Как он там? Сурок, пятнашка все же, ну суки... На узком коридоре двери по одной стороне коридора, за железной дверью решетка, на двери электрозамок. Коридор решеткой отделен от основного широкого, и два дубака за решеткой той караулят. И хаты там, говорят, маленькие, по два-по четыре человека.

А в нашей хате семь восемь большая часть малосрочники. Малолетка в джинсовой кепке два года имеет за хулиганку. Остальные тоже — два, три, редко-редко четыре года.

Народу в хате много, со всеми не познакомишься, но с кем уже побазарил, так и есть — малосрочники. А тут шестерик... Но есть и исключения.

Например, Валентин. Хмурый мужик с жестким лицом. Ни разу его не видел в трусах, несмотря на жару в хате. Всегда в трико и рубашке. Первая судимость. Тридцать семь лет. Двенадцать лет сроку. Усиленного режима. В составе группы ограбил в течение нескольких лет ряд сберкасс. С применением оружия. В том числе и огнестрельного. По делу есть трупы. Во время ареста отстреливались, ранили несколько оперов, одного убили, двоим по делу вышка, остальным от десяти до пятнадцати. Так его обвинилровку вместо детектива читают. На тюряге так принято — интересные обвинительные заключения, обвинилровки, вместо книг читать. Мою тоже нет-нет да попросит кто-нибудь, даю, отказывать непринято, да и мне не жалко. Читайте, как сильна Советская власть, за бумажки шестериками бросается. Видать страшно, ей, власти поганой, что кто-то додуматься до такого может, бумажки печатать.

Почему Валентин не на узком коридоре и даже не на усилке — никто не знает. По-видимому кроме кумовьев. Им виднее, меня это не удивляет — сам где только не сидел, а братва в хате прозвонила за Ва-

лентина, чист он, как айсберг. Но морда жесткая и хмурый всегда. С ним я не хотел бы ссориться. Ни в какую.

Есть еще контрабандист. Настоящий. Имя его никто не выговаривает, так его зовут — Контрабандист. Он в Пакистан камни северные таскал. Не булыжники. Обратно гашиш. Хотя его в Средней Азии навалом. Гашиша того. Но в Пакистане он дармовой. Если Контрабандист не врет. Узбек он, камни в Москве получал и гашиш пакистанский туда же привозил. Там же его и взяли. На следствии много всплыло, он говорит, сдали его, всплыло и где камни те крали, и Прибалтика, откуда гашиш на запад уходил... И много еще всякого-разного. Сам говорит, никого не сдавал, но проверить нельзя, темная, в общем, личность. В Ростова-Дону его занесло из-за страха. Боится он ехать в Среднюю Азию и не скрывает этого. Говорит — там его сразу убьют. Как на тюрягу придет. Вот он и удумал следующее: в московской тюрьме от кого-то раскопал кражу и написал явку с повинной. Менты проверили — точно! Есть такая партия! То есть кража. И повезли его сюда — в Ростов. Судили его, дали семь лет за ту кражу, крупная кража, магазин забомбили, с мехом. Но все равно повезут его в Среднюю Азию. Ох, и мутно ему...

А еще я с кентовался с болеро. Валерка Косяков (ох, и фамилия). Его на тюряге сразу Косяком окрестили. Сидит за кражу — по пьянке у друга ковер спер. Ох, уж эти друзья, ох, уж эти ковры... Получил за ковер два года общака с принудительным лечением от алкоголизма. Следственную хату прошел нормально, а тут, еще до меня, все тот же Грузин, малолетка в кепке, предъявить пытался. Мол, скакал на сцене, в трико в обтяжку, значит, пидар потенциальный. Косяк пытался ему объяснить, мол, он простой мужик и в жулики не лезет, и лет ему тридцать, как за такую работу можно предъявлять, непонятно. Так можно предъявить и слесарю. Ничего не понимает бестолковый малолетка. А Пират с кентами только улыбается и посмеивается, из своего блатного угла глядя, как действие развернется... Утомился Валерка, да махнул ногой. Как на сцене махал. И. малолетке в челюсть. И выбил. Мычит блатяк, а что — непонятно... Вправили ему челюсть, Пират рывкнул носителю кепки, чтоб мужика по беспределу не напрягал, тем и окончилось.

Я и понравился Косяку тем, что на блатяка этого, Грузина, полкана спустил, не дал на себя наехать. Скентовались мы в двух и травим целыми днями. Я ему про бродяжничества наши, и он про работу в театрах да в варьете. А еще я ему радость сделал: я ж с Омска, а в Омске хиппи в музкомедии кучковались, и я там терся, а он в 1972 году один сезон в омской музкомедии отплясал. И всех я там знаю и помню. Косяку радость, как родственника встретил.

Прожил я в этой хате с неделю, прислали мне приговор. Сел я за стол, прочитал его, и так мне на душе хреново стало, я уж после суда отошел, оттаял, а тут меня снова скрутило, да сильно...

Сижу, зубами скриплю, Косяк подойти боится, видит наверно — какой я добрый стал. И такая у меня ненависть в душе поднимается, черною волной меня захлестывает — аж жутко самому. Убью кого-нибудь сейчас, пусть только подвернется под руку горячую. Ух, суки, власть поганая, ненавижу... А тут напротив меня дед садится, видел я его раз несколько, все-таки в одной хате сидим, — а в руках тоже листки, на машинке напечатанные, держит, видимо приговор получил, вместе со мною.

Смотрю я на него мутным от злобы взглядом, а он не ведется, видно от старости с ума выжил или нюх потерял. Ну, дед, я тебе сейчас такое устрою, так рявкну, так отчешу, свет белый не мил станет...

А дед листки свои поганые, мне под нос сует, тычет, чего-то от меня хочет. И что ему старому хрену от меня злобного надо?! Непонятно. Прислушался я к дедову рассказу, бормотанью, а он:

— Слышь, Володя, ты за политику сидишь, а политикой люди ученые занимаются. А я и письмо складно написать не могу, два класса у меня и те давно кончал, еще до войны.... Ты б помог мне, Володя, я б тебе век благодарен был, богу б молил да и тут из магазина чего-нибудь купил. Хошь конфеток, хошь пряничков... А, Володя, подмогни сынок, старому...

И листки мне свои, приговор свой сует. А я на речь его бесхитростную злиться уже не могу, уходит злоба, только осадок остается. Взял я его приговор, читаю. И таким мне пустяковым собственный приговор показался после его странного да глупого. Гляжу на деда и шизею: неужели абсурд в стране этой, где я родился и девятнадцать лет прожил, до такой степени дошел! Абсурд! Страна абсурда... Ну, власть поганая!

И снова меня злоба захлестнула, но не мутная и не за себя — шальная злоба за деда, за жизнь его исковерканную, коммунистами растоптанную. И сама рука к ручке шариковой потянулась да к бумаге чистой, что корпусник на кассационную жалобу выдал...

А дед свое все гнет, все рассказывает:

— Судимый во всей деревне я один, восемнадцать годков отсидел, как спер в колхозе ведро угля, килограмм восемь, так и дали мне десять лет по указу от 27 декабря, а в приговоре по-страшному написали: мол, украл восемь килограмм стати... — тьфу, старাগического...

— Стратегического, — машинально поправляю я, а рука уже сама пишет-выплескивает мою злобу на бумагу.

— Во-во, его самого, этого сырья, а уж в лагере я добавку получил, за трактор сломанный, как вредитель, освободился я аж в пятьдесят седьмом году, сосед у меня грамотный и написал мне бумагу в Верховный Совет... И в шестьдесят втором помиловали меня за трактор, мол, незаконно, а за уголь этот так и промолчали.. И дожил я до 78, в колхозе работал и пенсию уже получать стал, мало только, я ж с 3 года родом, а тут такое случилось, вот меня и Кешка, непутевый участ-

ковый наш, ты про участкового обязательно напиши, так вот Кешка и посадил. Так говорит, стервец, окромя тебя некому, один ты из всей деревни зека, тебе и в тюрьму идти, еще и смеялся, паршивец, мол, тебе привычно... А дело-то стыдное, хорошо, что сынки понимают, что не виновен я, только смеются...

И я понимаю, что дали деду двенадцать лет только потому, что власть поганая, судья сволочь, Кешка сука и все менты гады!

Написав, прерываю нескончаемый монолог деда:

— Слушай старый, что я написал, понравится тебе или нет, ну, в начале кто да что, когда да где, сколько да почему. Вот главное: имея возраст 75 лет и являясь по возрасту импотентом, прошу вас обратить внимание на невозможность с моей стороны произвести приписываемое мне гнусное преступление — изнасилование малолетней дурочки, психически ненормальной Клавдии Ивановны Орленко. В доказательство моих слов прошу произвести мое освидетельствование или опросить мою бабу, на которую я уже шестнадцать лет не залазию в связи с бесполезностью данного действия. Ну как дед, нравится? — смеюсь я. Злоба ушла, осталось жалость, что мои шесть лет, я молод и здоров. А деду 75, оттянул восемнадцать да еще двенадцать дали. Вот гады!

— Нравится Володя, ой, как по-научному, я думаю — скинут мне, ну хоть немного скинут, хоть чуток. А?! — вопросительно тянет дед, а в глазах выцветших, слезы.

— Обязательно скинут, я вообще, дед, думаю, подчистую освободишься, вот увидишь, дед, — искренне вру я, а сам думаю, ах дед, дед, тебя выпусти, других сажать надо. Участкового Кешку, следака, судью, прокурора по надзору. Уж лучше ты один сиди, остальные свои, коммунисты. Власть. Сволочи...

Дед растроганный, уходит, пообещав с магазина, с ларька тюремного, конфет мне подбросить.

Подвигаю к себе бумагу, быстро и размашисто пишу: «Кассационная жалоба». Понимаю, что бесполезно ссать против ветра, но дурак думкой богат. А вдруг...

На следующий день ларек, отоварка. К дверям зек пришел, с хоз.обслуги, дубак кормушку открыл, тот и сунул листки. Требования-заявки. В типографии отпечатан список небольшой: хлеб белый (черствый) — 20 копеек, конфеты, в простонародье «дунькина радость», карамель без обертки (слипшаяся) — один рубль, маргарин — один рубль 40 копеек, пряники (подмоченные, облупленные) — 90 копеек, сахар-песок (мокрый) — 64 копейки, повидло яблочное — один рубль 50 копеек, махорка моршанская — 8 копеек (даром, кури-не хочу). Ну еще сигареты, «Космос» по 60 копеек да «Прима» по 14 копеек. Ну ручки, тетради, стержни, конверты. Ну мыло, дешевое и подороже, порошок зубной, носки нейлоновые — для коней. Консервы рыбные по 75 копеек, «Спинка

МЕНТА!» (минтая) в собственном масле. Откроешь банку и думаешь — почему на крышке налет зеленый? Может с тиной рыбу консервировали?.. Глянешь на крышку, где дата выбита и сразу все на свои места ставится — эти консервы целинники не дожрали. В пятидесятых годах...

Не забывает Советская власть о сидящих в тюрьмах. Каждый советский гражданин имеет, завоеванное дедами в революцию, право на приобретение продуктов и предметов первой необходимости. Об этом в «Правилах режима содержания лиц в СИЗО» написано. Почти так же, как я привел. Каждый. Раз в месяц, на десять рублей. Если имеешь их на лицевом счету, если при аресте деньги были, если менты их у тебя не отняли, если не потеряли — как у меня. При привозе в КГБ у меня было рублей шесть с мелочью. Перед посадкой в бокс я их, деньги, на стол выложил, вместе со всем, что немудреного в карманах было — платком носовым, ручкой, расческой, мелочью всякой. Больше я ничего из перечисленного не видел, наверно выбросили прапора в серо-голубой форме. В мусорницу. И деньги тоже. Зачем им мои деньги вонючие, антисоветские. Вдруг я те шесть рублей от американского империализма получил...

Вот я и не отовариваюсь. Все к двери, а я на шконке сижу, грустно вдаль гляжу... Аж стихами заговорил, с печали. Одна радость — на Косака, семьянины мы с ним, кенты.

Все листки-требования разобрали и пометили: кому чего. Затем количество поставили да цену, а внизу итого вывели. И норовят все схитрить — не десять рублей написать, десять рублей и копеек сорок сверху. А вдруг пролезет, а вдруг стрельнет! Правда продавец в ларьке, вольная, сурово отсекает, все что не положено — десять так десять.

Сижу, смотрю, как вся хата считает, ну словно в бухгалтерии. Только бухгалтера все в трусах да наколках. Смех. У меня и грусть прошла.

А тут снова кормушка хлопнула и зек с ларька заглядывает, сердится хата — че так скоро, только начали считать, как уже давай?! Нет? Не давай? А какого хрена? Кого тебе?

— Братва, тут какого Иванова требуют, есть такой? Владимира Николаевича...

Чего это разорались? Кого ищут? Иванова Владимира Николаевича... Мама родная, так это я! Ей богу, я! Спрыгиваю со шконки, суюсь к кормушки. А с той стороны морда широкая, не ровня моей, в кормушку не влазит:

— Ты что ли Иванов?

— Я, кормилец, я!..

— Имя, отчество...

— Владимир Николаевич, 22.10.58, 70, 198, 209...

— Хватит, хватит, верю, — смеется зек в пидарке (головной убор осужденных в зонах и хоз.обслуге) и сует мне листок какой-то.

— Я б тебе паспорт показал да КГБ потеряло...

— Да верю, верю, распишись здесь, — и ручку сует.

Быстро пробегаю глазами несколько строк машинописного текста. Двадцать рублей на мой лицевой счет положил какой-то Немцев Сергей Иванович, не знаю такого, но расписываюсь...

— Требование заполняй да побыстрее, — сует мне зек листочек со списком. Беру, а сам думаю — кто же это такой, Немцев Сергей Иванович... И всплывает в голове такое далекое: проверка, корпусной кричит — Немцев, а Ганс-Гестапо в ответ — Сергей Иванович! Ох, ни хрена себе, он же писал мне, что подарочек сделал... На глаза навернулись слезы, что ж такое, все в этом мире перевернулось — зечара, преступник, чарвонец особого, за не за что двадцатку дарит. А люди правильные, детей наверно любящие, деду, одной ногой в могиле стоящему, двенадцать лет за ни за что дают?! Что же это такое, что за дурдом?!

Прыгаю на шконку к Косяку, мы уже давно рядом спим, в двух на двух шконках, а кое-где уже и по четыре мостятся. На тех же двух шконках, но тюрьма на то и тюрьма, что б малиной не казалась. Прыгаю, требование показываю, поясняю, откуда богатство, вместе с ним, как настоящий солидный арестант, заполняю его и несу на стол. Хлопает кормушка, кто-то кричит:

— Подожди, я уже заканчиваю!

И вся хата ждет.

Нет ничего приятней и сладостней момента как ожидание ларька. Никто не играет, не пишет, не базарит. Все ждут, даже на строгаче, где я был, этот момент отмечен особой печатью, немного с ним схож, может сравниться лишь ожидание бани, тоже в кайф, тоже все молчаливы и сосредоточены или возбуждены, но стараются скрыть почему-то. Немного, но все же по-другому. Кайф, но не такой. Ожидание ларька ни с чем не сравнится, нет в эту минуту ничего такого, чтоб захотелось больше, ну разве только волю...

Но это уже фантастика, сказки.

Наконец! Свершилось! То, что так ожидали с трепетом, уже грохочет по коридору! Слышите?! Слышите! Это наш магазин едет! В нашу хату едет! Ох, и оттянемся, ох, и пожрем...

— Иванов! — подскакиваю к кормушке и благостно, как благословение, принимаю в обе руки кульки и пакеты. Ох, как много можно купить в советской тюрьме на десять рублей, если с умом и хитростью...

Косяк, более умудренный опытом, окидывает взглядом полученное мною и грозно вопрошает через кормушку:

— А консервы где, две банки? — и показывает требование, выхваченное из какого-то кулька. Зек удивленно глядит через кормушку на кульку, на требование и начинает орать:

— Так вы уже притырили, я сейчас корпусного кликну, всю хату перевернем!

— Кликни, кликни, если в хате не найдется — он тебя закроет (уберет с хоз.обслуги) и к нам. Ну а здесь ты сам знаешь, разговор короткий — носил на тюрьме пидарку, быть тебе пидарасом, — пугает Косяк зека под общий смех.

Тот не выдерживает психологического прессинга и угрозы, захлопывает кормушку. Хата взывает, Пират кричит:

— Че орете, правильно Косяк базарит, положено — отдай!

Кормушка распахивается и красный разозленный зек сует две банки «Спинки мента». И раздача магазинов продолжается. Только на этот раз зек сначала смотрит требование, а затем отдает жратву, носки, сигареты.

Начинается пир. Мы с Косяком гуляем. Гуляет вся хата. Гуляет вся тюрьма. Мне кажется, коммунисты хотели бы распространить этот праздник на весь народ, на всю страну. Мы гуляем.

К шконке подходит дед-насилъник, сжимая кулек с конфетами в дрожащих от старости руках, я спрыгиваю вниз и обнимаю старого за плечи:

— Дед, ну на кой ляд мне твои конфеты, пусть останутся у тебя.

— Нет, нет, Володя, ты написал, ты работал, нужно оплатить.

Я решаю обмануть старого.

— Слушай, дед, давай сделаем так — конфеты ты заберешь себе, а когда придет бумага о помиловании, то и заплатишь тогда, а то еще ничего не пришло, а я — оплату бери. Годится?

— Годится, годится, Володя, спасибо тебе, спасибо.

— Не за что, дед.

Я продолжаю пир. Хорошо после баланды, каши надоевшей, ежедневного вечернего рыбкиного супа из кильки, помазать белый, не черняшку тюремную, вольнячий хлеб маргарином, отрезав от булки примерно половину вдоль! Сверху сахаром посыпать, потом повидлом придавить да в рот отправить. Это произведение кулинарного искусства, линкор называется.

Много ли советскому зеку для радости надо — жратва вольная, — и цветет зек, и радостно ему, и разгладились хмурые лбы, разогнал маргарин с сахаром заботы да думы...

Хорошо жить в стране, где о зеках партия и правительство заботится. Не то что где-то там, на суровом, жестоком Западе, где человек человеку — волк...

Вот и жженкой завоняло, и пополз дым от тряпок на дрова сжигаемых. Загуляла братва тюремная, ой загуляла!.. Косяк случаи смешные из жизни артистично-ресторанно-варьетеиной травит, в углу занавеску вешают — петушка Димку на жженку приглашают, знать появились силы у братвы, после повидла и консервов с тиной. В другом углу заголосили в полный голос вчерашние малолетки, песня грустная, а голоса веселые, сытые:

— Подъем ровно в шесть и опять
Работа, работа, работа!
Как хочется мать увидеть,
Хотя бы только на фото...

В общем, веселье в разгаре, день прожит не зря, дни идут — срок летит...

— Отбой! — гремят ключи об дверь.

— Подъем! — гремят ключи об дверь.

И встает вместе с нашей хатой вся родная страна.

Пролетело несколько дней в ничегонеделании. Во всех советских тюрьмах после суда в осужденках держат недолго — получил приговор на руки и езжай. Ответ на кассацию получишь в зоне, все равно он заранее известен — «...оставить срок наказания без изменения». И поехал изделие на срок, определенный комиссией ОТК, по распределению туда, где нужно оно, откуда заявка, на предприятие, где его использовать будут по прямому назначению. А называется предприятие-то — Исправительно-Трудовое учреждение. Трудовое. А значит, — вернемся в начало конвейера, КГБ арестовывает людей, изготавливает изделия для работы, а вовсе не для пресечения преступной деятельности. В большинстве случаев. Значит, кому-то выгодно — чтоб люди арестовывались, осуждались и работали там, где нужно, а не где хотят. Ведь и оплата в зонах другая, все, кто сидел, мне об этом рассказывали. Более низкая да еще и вычетов много, даже за то, что тебя охраняют...

Значит, КГБ арестовывает, возможно и по негласным, не бумажным, заявкам? Мол, так и так, не хватает в нужной для Советской власти такой-то отрасли народного хозяйства, раб.силы, предприятия испытывают нехватку в изделиях... И старается КГБ, изо всех сил старается, и МВД помогает, не отстает, не все преступления надо тюрьмой наказывать, и Верховный Совет им в этом изо всех сил помогает — Указ за Указом стряпает. То ответственность за хулиганство! И поток людей в тюрьмы за, за, за... Один разбил стекло (по пьяни), другой поссал рядом с обкомом, третий ругался матом и ударил кого-то, четвертый... И всем по три! Года! То Указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Ну тут волна Лечебно-ТРУДОВЫЕ!!! Профилактории чуть не захлестнула, не потопила. Еле-еле справились. То еще что-нибудь в этом роде.

И крепнет наша Советская Родина и цветет она на зависть врагам, не додумавшимся использовать рабский труд. Так им и надо — нет мозгов, нет смекалки, вот и проигрывай!

Корпусной зачитал список на этап. Я есть, Валерки нет. Это тюряга, кича, а не курорт, но все равно жалко расставаться. Прощаемся. Соби-

раю шмотки, беру немного оставшегося с ларька в дорогу. Пора. Двери нараспашку — выходи братва, поехали.

Вниз, в подвал, матрац и прочее шмутье сдать....

— А где полотенце? — вопрошает грозно толстомордый зечара.

— Не рычи кабан, по боку получишь — отвечаю я.

— Пиши — промот, — указывает зечара помощнику. Хлопают двери и я в транзите. Привет братва!

Народу валом, со всех режимов, шум, гам... разборки, качалово, кого-то опознали в чем-то и волокут на парашу — на ходу срывая штаны, кого-то бьют и на совесть, скоро устанут...

— Откуда, землячок? — подъезжает ко мне строгач.

Отвечаю. Отваливает. Народу человек двести, нар нет, огромная хата с пятью парашами и множеством дверей. Сиж у стенки и глазею. Сахар получил, пайку получил, селедку ржавую черту какому-то голлодному отдал. Сиж. Клеша на мне, пиджак без рукавов, тельняшка, сабо из ботинок, мешок маленький. Рванный и романтичный.

— Откуда, землячок? — Отвечаю. Отвечаю. Отвечаю. Отвечаю.

Я оттуда, откуда все: от воли, от солнца, от леса, от степей... от, от...

От свободы я землячки, дразнят Профессор, шесть пасок у меня, по воле не пахал я и не сеял, а чалось за политику и по киче косяков нет. Свой я, свой, кровь и плоть народа, одной судьбой с народом русским повязан, на одних нарах с ним сплю, одну с ним баланду жру! И напрасно лекторы да коммунисты от него, от народа отмахиваются да отрекаются — мол не народ это, а отбросы... Не с Луны мы и не из Америки, разные мы, и правые, и виноватые, и пассажиры мы, и рецидивисты-блатяки...

Много нас, а еще больше нас на воле.

Хлопают двери и зачитывают список. Мелькает моя фамилия и я выхожу на коридор. Шмон поверхностный, в автозак, не в стакан, занят он другим, более опасным, набили под завязку, ни вздохнуть, ни... и поехали...

Прощай, ростовская кича! Прощай!

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нас набили в автозак, как кильку в бочку. Стояли не просто плотно, не просто битком, а вдавливаясь друг в друга. Все вперемешку — жулики, черти, мужики, петухи. Успокаивало всех, что от тюрьмы до вокзала ехать недалеко. Ведь этапы везут из тюрьмы на вокзал, бан по «фене» и грузят в «Столыпины» — вагоны для заключенных. Так по прошествии семидесяти лет, народ помнил и чтит имя великого реформатора.

— Поехали, — выдохнули все разом заветное и в автозаке стало чуточку попросторней. Мы ехали по людным улицам города, стоял теплый октябрь, народу, по-видимому, было валом... Но никто скорей всего не останавливался, не провожал печальным или гневным взглядом машину, полную горя, скорби и поломанных судеб. Людям на улице было не до этого. Люди создавали, творили, строили... На радость и удивление всей планете. Строили новое, красивое, светлое. Строили уже шестьдесят один год. И построили...

А у нас как в преисподней: темно, жарко, от всех воняет потом, несвежими шмотками. Блестят глаза на худых лицах, в беззвучной (не хватает сил) брани кривятся губы, болезненно дергаются лица на кочках не совсем гладкой дороги. Тесно до немогу, до посинения, душно, воздуха нет... У, суки!..

— Приехали! — выдохнули все разом давно ожидаемое. Автозак встал, как вкопанный. Почему не лязгают так знакомо двери? Почему не выводят?! Братва, да что они — в душегубку посадили?! Здесь и без газа сдохнешь!! Выводи!! Выводи, суки, выводы, падлы!!!

Страшен зек в гневе, хоть и за решеткой. Дергаются два конвоира молодых: русский и узкоглазый нацмен, жутко им видеть отделенные всего лишь тонкой решеткой рассвирепевшие дикие лица, жуткие глаза, полные злобы, бешенства и ненависти, жутко им слышать голоса, полные ненависти и злобы, слова, полные жуткого, страшного смысла:

— А, козлы, твари, падло, суки!! Выводи, тварье, выводы на воздух, ну, пидарасы, ложкомойники, отдерем обоих, ну, гады!!!

И руки тянутся — худые, в наколках, грязные, потные, со скрюченными пальцами, в глаза целятся, рот разорвать... Ну и что, что от самых длинных рук еще полметра до лица, до формы, до рук, судорожно сжимающих автомат... Жутко конвоирам, жутко! Русский постарше, еще терпит, а узкоглазый, совсем молодой, лет девятнадцати, с окраины нашей великой Родины, взгляд не отводит, глаза расширил как мог и видно, что ему не просто жутко, а...

— А-а-а-а-а!.. — закричал, не выдержав, нерусский конвоир. — А, шайтан, аллах бар! — и за затвор автомата. Видимо, решил отстреливаться.

— Выводи суки, выводы, выводы!.. — озверевшие взгляды, озверевшие голоса, озверевшие люди...

Навалился один конвоир на другого, не дает ему не по уставу оружие использовать, страшных зверей, за решеткой сидящих, перестрелять. Спас положение старший конвоя, что в кабине автозак ехал. Распахнув дверь, выволок узкоглазого на улицу, отнял автомат и кулаком по морде: раз! другой! третий!

Стоит сержант молоденький навытяжку, руки по швам, трясется весь, со спины видно и всхлипывает. А старлей орет бешено:

— Ты куда, сука, стрелять вздумал?! Они что, бежать собрались, чурка нерусская?

Дернулся всем телом сержант, всхлипнул и оправдываться начал:

— Старшая литенайта товарища, моя боится, это не люди, шайтан...

И трясется весь, всем телом. Ну смех! Братва и грянула, откатила злоба да и воздух свежий пошел, полегче стало:

— Старлей, командир, сажай узкоглазого к нам!..

— Ух, как его трясет, родимого...

— Пустите, гляну хоть глазком, как конвой рыдает!..

— Ха-ха-ха-ха-ха!

Второй конвоир тоже улыбается, криво правда, но улыбается. Не вырвались страшные зеки, не разорвали... У, гады!..

Разрядил обстановку старлей, психолог видно. Покурил, стоя одной ногою на подножке, дым попускал в автозак, пошутил:

— Вот и закурили, братцы-уголовнички, по-цыгански, но тоже ничего!

Братва, кое-как, но изловчилась и достала свое курево. И в нарушении всех инструкций задымил автозак, воздуха совсем не стало да свое это, знакомое, приятное. Эх, хорошо!..

Прибежал какой-то солдат и к старлею:

— Товарищ старший лейтенант! Тюрьма не принимает, что-то с бумагами напутано!

— Ясно! — щелчком отбросил окурок старлей и повернулся к автозаку:

— Слушай меня, братва! Я привез вас в Новочеркасскую тюрьму, как приказано. А эти бляди с Ростовской тюрьги чего-то напутали, вот вас и не принимают. Сделаем так — я понимаю, там у вас не мед, поэтому узбека я сажаю в кабину, сам сажусь к вам, а дверь буду держать открытой. Все ясно?

— Ясно, — выдохнула братва, тронутая пониманием и сочувствием старлея. И мы поехали назад. С приоткрытой дверью.

Ввалились в родную транзитку и к параше. И пить. И отлить. Затем на холодный бетонный пол. Живем... Не удалось ментам на этот раз задавить нас, братва, не удалось! Выдержали, выстояли... А значит сильны мы к духом, и телом (вариант: делом).

Хлеб, сахар, чай, рыбу. И всего в два раза больше, а баланды, хотя на транзите ее не дают, вообще хоть залейся, хлебай — не хочу. Задабривают суки, заглаживают вину, боясь бунта! А мы такие, мы кусаемся, злые мы и только тронь нас! Ух...

Утром повезли снова. Снова как кильку. И снова в сторону Новочеркасска. Стоя. В жаре. В духоте. В смраде. Пот ручьями, в глотке сохнет, в глазах круги черные да красные. Как у Стендаля, мать его... Скорей бы приехать, скорей бы. Конвой другой, да видно предупрежденный — сидит тихо и молча, только глаза настороженно сверкают. Побаиваются... Мы такие, мы злые, бойся нас, берегись!

— Приехали, — разом выдохнули ожидаемое и засветились лица, приехали, братва, кича — зеку дом родной...

Лязгнули ворота, вкатились мы в карман, распахнулась дверь и:

— Выходи!

Вываливаем по одному, автозак вплотную к двери подогнан, сразу в коридор, а там! — дубаки в два ряда, морды красные, злые, рукава рубашек закатаны, галстуки языками на заколках болтаются, фуражки на глаза надвинуты, ноги в сапогах широко расставлены... А в руках дубины, что ж такое братцы, где ж такое видано!

— Бегом, бляди, бегом! — рев стоит и дубины свистят. Бегу, что ж такое, гестапо что ли, увернулся от одного... А!.. спину ожгло... А!.. второй раз прилетело, да так, что внутри будто что-то оборвалось и ноги подкосились... Бац — кулаком в ухо, подправили мой путь, очки по коридору. Хлесть — дубьем по спине. А-а-а! Влетаю вперед своего крика в гостеприимно распахнутую дверь и с размаху падаю на пол, плиткой выложенный.

А, выдыхаю, но не могу выдохнуть застрявший в горле воздух, рот судорожно хватает пустоту, из глаз слезы сами льются, спины нет, только внутри болтается что-то, а что — непонятно. А гады, а суки, а... а...

Лежу прижавшись горящим ухом к холодному полу. Лежу, а в голове гул, а в голове — стук. Ну, суки...

— Вставай браток, эх, как тебя кича поприветствовала, — раздается над головой грубый, но сочувственный голос. Пытаюсь приподняться, но получается плохо — ноги не слушаются. Кто-то мне помогает. Не стеснясь, не до этого, оттираю слезы кулаком и смотрю на зека, помогавшего мне встать. Длинный, худой, с лошадиным лицом и выпирающими вперед зубами. Не красавец. Да кто тут красавец?

— Откуда, браток?

— С Ростовской кичи..

— Да это я знаю, весь этап оттуда, откуда родом?

— С Омска, с Сибири...

— Далеко тебя судьба занесла, далеко. А по какой?

— 70.

— Ого, политика что ли?

— Она, — кратко отвечаю, так как нет ни сил, ни настроения вести базар.

Зек понимает и не настаивает:

— А сроку сколько отвалили?

— Шестерик, дразнят Володя-Профессор.

— Меня Пика. Идем в наш уголок, чтоб никто не уволок.

Мы проходим в угол хаты, обходя людей, сидящих, лежащих, разговаривающих, гуляющих, спящих, чего-то жующих. По пути оглядываю покои, куда на дубье занесла меня судьба.

Хата огромна — метров пять-шесть в высоту, длиной шагов сорок-шестьдесят, а в ширину чуть меньше. Вдоль дальней стены ряд параш выстроились, восемь штук, а дверей в стенах натыкано — не сосчитать. Народу не просто много, не просто очень много, а как на вокзале, человек, ну я не знаю, пятьсот, семьсот...

— Вокзал, — соглашается со мною Пика.

— Так и зовут новочеркасский транзит — вокзал. Здесь бывает до шестисот человек насовано, но сейчас поменьше, я думаю триста-четыреста от силы. Пришли.

Наконец-то, а то совсем нет сил, ну суки...

Падаю рядом с блатяками и сидорами, приваливаюсь к стене. Мне полегче, но все равно плохо. Братва смотрит с любопытством и сочувствием.

— Пика, здесь все этапы так встречают?

— Все, но это семечки, цветочки, ягодки впереди.

Я задумываюсь, если это цветочки, то каковы ягодки — убивать что ли будут? Нерадостные мысли прерывает один из зеков:

— А сидор где твой?

— Хрен его знает, земляк. На коридоре потерял, когда встречали. У меня еще на носу очки были.

— Надо поискать? — спрашивает он у Пики. Пика соглашается:

— Надо. Вдруг что-нибудь интересное там будет.

Я молчу, зная, что у меня нечего отнимать. Приносят мой сидор, оказывается — около двери лежал и никто не полстился.

Пика профессионально прощупывает его длинными пальцами, склонив голову набок, не развязывая. Вздохнув, выносит диагноз:

— Да, не густо, землячок, не густо. Шестерик сроку, а не богато. Нехорошо это, видно ты с фраерами сидел, собрать братка не могли. Ну, это поправимо.

— Да мне и не нужно ничего...

— Как не нужно? — удивляется мне Пика и улыбаясь, показывает рукой на хату:

— У тебя шестерик. У меня чарвонец строгача, я в третий раз чаюсь. Есть здесь и особняк-полосатик, и крытый, и кого только нет. И у всех не густо, и сидора тощие, как братва с трюма. А есть и такие, — Пика указывает на мужичка, лежащего недалеко. Под головой мужичка большой, туго набитый, сидор.

— У него гада трешка, я по рылу вижу, кулачье с колхозу, а сидор аж лопается! А как же социальная справедливость? — продолжает Пика, вспомнив красивые слова из газет.

— Эй, землячок, гребни к нам, базар есть.

Мужичок встревожено глядит, явно недовольный вниманием к своей персоне, глядит на нас, на Пика и нехотя, медленно собирается и подходит.

— Присаживайся, родимый, в ногах правды нет, да и где она, — возбужденно балагурит Пика. Братва оживляется, как волки при виде овцы. Мужик присаживается в крут, плотно прижав к боку сидор.

— Ты че так жмешь его, как девку? Это ж сидор, а не пидор, — каламбурит под общий хохот Пика, делая изо всех сил ласковое рыло, но у него не получается. Мужик смотрит ему в рот, как кролик на удава, не отводя взгляда. Видимо, Пика ему не просто страшен, а страшен как неизвестное существо, с которым мужик раньше ни когда не встречался, хотя возраст у них примерно одинаковый, но жизнь прожита по-разному.

Пика начинает:

— Как звать, земляк?

— Степан...

— А по какой статье, мил человек?

— По 206, часть вторая...

— Что же ты такого нахулиганил, вроде не мальчишка?

— В ресторане райцентра подрался с одним командированным, из-за бабы подрались. Но он партийный, а я нет. Вот его и отпустили, а меня сюда. Аж на три года...

— Ну три — не десять, не страшно. На параше можно просидеть. Значит, отбил у тебя комиссар бабу, а? — общий хохот.

— Так она не моя, а там, в ресторане познакомились...

— Ну ничего — откинешься, еще найдешь. А где ты такой справный мешочек нашел?

Мужик смущен неожиданными поворотами Пики и запинаясь, отвечает:

— Ну... что значит... нашел, мне его жена с братухой собрали...

— Ну, давай немного поедим, а то так жрать хочется, что охота убить кого-нибудь снова, как вчера...

Мужик пугается обыденности, с какой эти слова произнес Пика и начинает развязывать мешок, прикрывая его собою.

— Не прячь, не прячь, мы отнимать не будем, — искренне говорит тертый и битый жизнью зек, под одобрительные возгласы братвы.

— Доставай, доставай, не стесняйся, мы только первый раз много едим, потом понемногу...

Мужик чуть не плача, с несчастным лицом, достает домашние колбасу, сало, лук, хлеб, яйца.

— Хватит? — с надеждой в голосе не выдерживает хозяин мешка. Под общий хохот Пика спрашивает:

— А ты что ли не будешь?

Начинается пир. Сало, колбаса отрезается огромными ломтями и исчезает в страшных, зубастых пастьях. Мужик чувствует себя, как в клетке с дикими зверями.

Насытившись и громко отрыгнув, Пика отваливается от газеты с остатками жратвы:

— Ну, нахавался, ну, в кайф. Спасибо, браток, я уж думал — снова кого-нибудь резать придется. А как насчет покурить — ты не против? Нет? Ну, тогда и доставай, раз не против.

Мужик залезает почти весь в мешок и долго там шарит. Пика не выдерживает:

— Кто же так ищет, земляк? Давай покажу.

И бесцеремонно схватив мешок за дно, вываливает его на пол:

— Ух ты, добра сколько!

— Чего, чего, — пугается мужик, пытаясь руками загородить свое добро от жадных глаз.

— Ну, земляк, ну, молодец, гляди, братва, как на кичу собираться надо — и мыло, и табак, и носки, и трусы, и теплое белье, и вакса на прохоря. Молодец! — хвалит Пика мужика и спрашивает его:

— Сам делиться будешь или мне поделить?

Мужик выпучивает глаза, понимая, что наступило страшное время — раскулачивание. И быстро-быстро соглашается:

— Сам, сам, чего тебе надо?

— Мне ничего, у меня все есть, что для счастья надо. Вот кентам моим подкинь. Начинается цирк и раздача подарков. Пика показывает пальцем на зека, сидящего в круге, а тот:

— Носки надо, табачку, сальца, колбаски...

Следующий:

— Трусы, носки, табачку, хавки дай...

Следующий:

— Бельишко мне впору, ну и хавка не помешает...

Следующий — я:

— Трусы, хавки немного, горсть табаку для братвы...

— Че, Профессор, стесняешься?

— Да мне хватит...

— Что значит хватит, сегодня хватит, а завтра нету. Бери, бери, он не жадный, еще вот...

Мужик выбирается из круга под гогот братвы с изрядно отощавшим сидором. Пика вслед ему бросает ехидно:

— Скучно будет — еще приходи!

Братва валится на пол, ну, Пика, ну, учудил, а кулак этот, кулак...

Так наши деды в тридцатые годы у зажиточных крестьян лишнее отнимали. Коллективизация называется. Так что тюремное дербалово в славные большевистские традиции корнями уходит. Или наоборот-скорее. Коллективизация на основе тюремного опыта большевиков основана. И методы те же, и результат. Кто был никем, тот станет всем!

Гудит хата, шумит братва. Много дел у зеков в транзите, много забот. Кентов найти, врагов найти, дербануть сидора, сыграть в стирь, найти зеков, идущих куда тебе надо и малевку отогнать. А тут еще с хоз.банды троих закрыли, на зону гонят, бросили на растерзание. Спасибо менты, спасибо дубаки! Бедолаг с хоз.банды на парашу еще тащат, а тут уже очередь, успеть и там надо... Много забот у зека в транзите, ой много!

Сижу у стены и смотрю на зверинец этот. И кого здесь только нет: волки, шакалы, рысы, лисы, кролики, удавы, волки, петухов хватает. Интересно, а я какой зверь, к каким зверям я отношусь? Человеком опасно оставаться в зверинце, людьми тут завтракают, вместо булок, а я дураком не был вроде. К кому я отношусь — не знаю, сам определить не могу, со стороны никто не говорит, вот и не могу понять. Большой зверинец советская тюрьма!

Лязгает дверь, рык перекрывает гул:

— Кого назову, бляди, с вещами на коридор, суки, — и читает. Не по алфавиту, а вразброс. Вежливые и культурные люди в советских тюрьмах работают. Аж дух захватывает!

— Иванов, — подхватываюсь, наспех прощаюсь с Пикой и, прихватив потолстевший сидор, вылетаю в коридор.

— Лицом к стене! — рычит эсэсовец с дубиной. Вжимаюсь, стараюсь быть незаметным. У меня еще от прошлого раза здоровье не восстановилось, несмотря на сало домашнее и колбасу кровяную.

— Кругом! — новый рык. Стараюсь быстро повернуться. Вот так и вырабатываются рефлексy. Ну, суки...

Дверь захлопнулась, нас человек двадцать в коридоре и нелюдей трое. Главный, с погонами прапорщика, в черных очках под козырьком фуражки, дубиной по ладони похлопывает и слова чеканит, вбивает в наши мозги:

— Вы находитесь в Новочеркасской тюрьме, славной своими давними традициями. За стеной крытая, а здесь корпус с камерами общего

режима для лиц первой судимости. Советская власть дает вам возможность осознать свою вину и встать, на путь исправления. Мы вам в этом поможем! Направо! Руки за спину, не разговаривать, следовать вперед!

И повел нас Макаренко с дубиной, и пошли мы вперед. За матрацами и прочим барахлом, повидавшим наверно еще немецко-фашистскую оккупацию, такое оно было изношенное и истрепанное. Решетка, за нею лестница вверх. Решетка, коридор, двери камерные по обе стороны.

— Стой! — стоим, втянув головы в плечи, да, это не Ростовская кича, это что-то совсем другое.

Лязгает замок, распаивается дверь и мы застываем пораженные: прямо около двери лежит матрац. Вплотную! Впритирку! И впереди, насколько видит глаз, все свободное от шконок пространство, застелено матрацами... И под столом! И под шконками! И везде, где видит глаз — люди! Много людей! Множество!!! Легион...

— Че встали?! Заходи! — стегает по оголенным нервам крик дубака и мы вздрагиваем. «Куда?» — мелькает наверно у всех в головах.

— Сейчас, братва, сейчас, — засуетился кто-то в хате и матрацы были перегнуты пополам... Мы молча зашли по образовавшемуся коридору и застыли, как статуи.

Дверь лязгает. Мы дома. Плунуть некуда в прямом смысле, кругом люди и матрацы.

— Что это братва, концлагерь?

— Да нет, просто Новочеркасск.

Спасибо за разъяснение, а мы уж подумали невесть что. А это просто Новочеркасск. Простой советский город. И в нем тюрьма. И все...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Просидел я в этой переполненной хате дня четыре. Было все — спал сидя, на прогулку не ходил, срал по очереди.

Миски пластиковые, на дне написано «Для холодных непищевых продуктов». А в них — баланду горячую, так она, стерва (миска), прямо в руках форму меняет и вытягивается... Видимо, для желудков советских зеков полезно. Ложки без черенков. Братва поясняет, чтоб, мол, не били дубаков в глаз, не убивали. Я, конечно, понимаю — их, блядей, убивать надо, но кто же это будет делать? Я б хотел на камикадзе таких взглянуть хоть одним глазом. Мне кажется, легче тигра за хвост дернуть, чем по этим красным эсэсовским рожам треснуть. Ущерб здоровью будет меньший, от тигра.

Через час после нашего захивания в хату, распахнулась дверь. Старожилы взвыли: снова!

Вошел корпусняк, капитан, рослый, плечистый, с дубьем резиновым. В дверях два дубака, тоже дубьем поигрывают, а рожи — зверские, уголовые. Вот по кому тюрьма плачет!

Корпусной стопку бумаги на стол кладет, рядом карандаши, штук несколько:

— Слушай меня! Все, кто желают — могут написать заявление на имя начальника Новочеркасского СИЗО полковника Горшкова с просьбой оставить на СИЗО в хозяйственной обслуге. Все, кто не желает писать — выходи на коридор!

Несколько человек, семь-восемь, под презрительным взглядом остальных, уселись за стол и начали писать. В камере стояла тишина, дверь была распахнута на коридор. Выбирать тебе, браток.

Человек двадцать, из блатяков, вышли на коридор. И началось! Крики, рев, удары, все смешалось... Били страшно, насмерть, не заботясь — выживешь или нет. Двоих после экзекуции уволокли на крест. Заботливые, мать вашу так! И все это при открытых дверях...

Я остался в хате. В золотой середине... Как основная масса. Мы не писали заявлений, но и не выходили в коридор. Нас выгнали из хаты и, врезав по разу, загнали назад. Спина чесалась, но болела меньше, чем в транзите. То ли один меньше трех, то ли привыкаю...

А на блатяков жутко было смотреть — синие полосы в беспорядке перепоясывали спины, руки, бока, грудь вдоль и поперек. Одному рассекли лоб, двоим разбили носы. На крест не увели ни одного из них. Тут на крест только уносят...

Трусы, написавшие заявления, ушли без вещей. Странно. Но через полчаса все разъяснилось — помыли пол и в хату. На расправу. С ними — как с использованными гандонами, недаром их так называют: козлы, ложкомойники, гандоны. Емко, точно, справедливо.

Запуская в хату козлоту, корпусной погрозил дубиной:

— Тронете помоев, убью!

В блатном углу собрался сходняк. Что решают — я не знаю, я не жулик. Но догадываюсь. Не положено жуликам сидеть с помоеями, не оттрахив их или не выгнав на коридор. Но угрозы корпусника не пустое...

Лежу-сiju брюхом на скатанном матраце и думаю. Думаю, думаю... Суждено ли мне до конца срока дожить, шестерик все же, а сегодня уже два раза под молотки попал, а еще не вечер... Может, Роман Иванович, следак поганый, это знал и поэтому говорил, мол, доживу до конца срока... Ну, менты поганые, кровь из зубов, а выживу! Назло всем, назло власти вашей поганой, выживу, выживу!

Вечером проверка. Всех в коридор. И по карточкам. И чекань свою легенду без запинки, как Зорге, а иначе... Буксанул один черт, жалко его, но на статьяx своих спутался, большую вперед меньшей назвал! Врезали ему так, что уссался. Видимо, почки задели. Загнали всех в

хату, лязгнула дверь. Дела... Тихо в тюряге. Никто не кричит, никто коней не гоняет. Какие кони, главное — выжить в этом терроре красном, не сломаться, выжить.

Ужин хлебали в гробовой тишине. Уныние в хате. Уныние в тюряге. Наверно, хотелось бы коммунистам такой порядок и по всей стране навести. Но не удалось. Не получилось! Даже Сталину, пахану паханов, уголовнику главному, не удалось.

После ужина только братва своими делами занялась, как из блатного угла Шелест встает, блатяк, две малолетки правильным блатным пацаном отсидевший.

— Ну слушай, козлота! — обращается он к жмущимся возле двери поломоям.

— Даю сроку десять минут — на лыжи встать. После этого будут бачком чайники пробивать. Начали! — скомандовал Шелест и началось.

Дубасят в двери поломои, отталкивают друг друга, стараются. В другой тюряге посмеялась бы братва, от души похохотала бы, а тут... Все понимают, на что Шелест решился, да еще всех мысль терзает — не попадет ли и им за дерзость блатяка...

Достучались:

— Че надо?

— Командир, выводите отсюда, убирай в другую хату.

— Здесь сидите, нет другой хаты да и не стучаться в двери, бляди, а то убью!

— Выводите, командир, здесь тесно...

— Кому сказано, суки, здесь сидеть! Ну!

И там страшно, и здесь. Как быть козлам — не знают. Бросают на Шелеста взгляды: мол, видишь, стараемся мы, но... Рыкнул Шелест, из-за стола подниматься начал.

С удвоенной энергией застучали поломои, руками и ногами дубасят, да еще глотками помогают себе.

Распахнулась дверь и чуть не сбили с ног козлы корпусного, так дружно выломались с сидорами и матрацами.

Захлопнулась дверь и повисла зловещая тишина. А через полчаса двери снова распахнулись:

— Шелестов! На коридор, блядва!

— Сам ты блядва, мент поганый! — и вышел побледневший, руки за спину сложив. Кричал он долго, а потом затих — то ли убили, то ли просто вырубili.

Больше мы его не видели.

Так я и просидел весело четыре дня. Лично мне за эти четыре дня еще два раза перепало. Один раз — дубьем по спине, за то, что в баню не шустро шел, другой раз — за язык. Баландеру за баланду жидкую:

— Козел, — сказал. Как будто он не в курсе. Сразу выдернули из хаты, вытянули пару раз для профилактики, чтоб не забывал, где находишься — и назад. Дело житейское.

Так и жил бы я в этой хате переполненной, до самого этапа на зону. Но есть бог на свете. Как тут говорится: бог — не Яшка, видит, кому тяжело.

Я усрался. В общем-то, усрались все, вся хата. Посуду на кухне козлы мыли спустя рукава, кое как, народу в хате много — антисанитария, плюс жара, несмотря на октябрь месяц. По крайней мере, в хате. Вот и случилась дизентерия.

Но по настоящему усралось всего трое. В том числе и я. Высокая температура, слабость, бледность, кровавый понос. И без мастырки. Какие мастырки — я идти уже не мог, зеки-санитары на носилки положили и на крест отволокли. Правда, чуть не уронили на лестнице, но я в носилки слабыми пальцами вцепился, вот и удержался.

Принесли, помыли, переодели — и в бокс. Но не как в КГБ — стоячий. Просто так на кресте хаты называют.

В хате двухъярусные шконки. Белье белое, не матрасовка серого, стального, зековского цвета. И хавка не как в хате — диета. И лекарства. Тетрациклин облупленный, красное облизать. А на обертке год производства — 1964. На дворе же 78. «Не подохнуть бы от лечения» — мелькает в голове. Лежу, кайфую. По спине, бокам не лупят, сидя спать не нужно, кайф! Много ли советскому зеку для счастья надо? Немного. Вот еще бы не так часто на парашу ходить, а то сил нету. А в остальном — сплошной кайф!

Люди неинтересные лежали со мной в боксе, тоже засранцы, как и я. Сидели за какую-то мелочь, и срока соответственно. На параше просидеть можно. Что они исправно и делали.

Незаметно, одним сплошным, счастливым мгновением, пролетело время на кресте. Целыми днями лежишь на шконке или сидишь на параше. Схабаешь вкусную и обильную диету и в раздумье: то ли на парашу бежать — болезнь сбрасывать, то ли на шконку — жирок завязывать. Задача?!

Так незаметно я и выздоровел, за пять дней. Богатырь, и только. Изучать меня можно. В рекордные сроки болезнь поборол. Что я вылечился и здоров — это мне врач сообщил. Он бы не сказал, капитан в халате, я бы и не знал. Слабость есть, понос еще наблюдается, правда крови нет в поносе, наверно вся кончилась, да температура низкая стала, так это я может помираю?

— Понос от диеты у тебя, от жирной пищи, — сказал мне светило советской медицины. И я пошел в хату. Правда, матрац нести не мог — руки были заняты, за стенку держался. Санитар помог. Благо идти было недалеко. Новая хата на этом же этаже оказалась, только коридор соседний. Значит, если усрись — недалеко бежать придется.

Прихожу в новую хату. Прихожу и удивляюсь — стола нет. Телевизор есть, шконки есть, лавочки есть — на них бачок с чаем стоит.

А стола нет! И кто дольше всех в хате сидит, говорит — так всегда было. Чудеса и только.

Дополз до блатного угла, представился и решил облагеть:

— Слышь, братва, сил нет наверх лезть, дайте место внизу.

Посоветались, дали. Лежу, сил набираюсь, гусей гоняю, мысли ду-
маю.

Народ разный, но мелочь. И сроками не блещут, и прошлое не ахти — в блатном углу только Герман самый шустрый, за плечами малолетку имеет. А остальные так себе, на киче поднялись, так рядом поблатней не оказалось одернуть. Не жулики, а так себе. Но, естественно, с гонором.

На второй день что то решили на меня, на больного, наехать, от лечения тюремного еще не очухавшегося.

— Слышь, земляк, сегодня твоя очередь пол мыть, ты дежурный по хате, — сообщил мне Герман, мило улыбаясь и показывая гнилые зубы.

Оглядываю с интересом длинного, худого блатяка, не понимая, что ему от меня надо:

— А ты что, корпусняк, дежурства распределять?

— Ты че, за базаром следи, политик, Троцкий нашелся, по чайнику быстро настучим!

Хата с интересом прислушивается, все-таки разнообразие, здесь, на Новочеркаске нечасто расклады да качалово бывает.

Я решаю преподавать урок логики вздумавшему тягаться со мной, мальчонке. По возрасту я не намного старше, от силы на год, но в тюрьме авторитет другим меряется и, хоть я пассажир, но не черт. Ну, а интеллект у него слабый, мозгов, видно, маловато. А иначе не стал бы он ментам употребляться, политического гнуть. Уж очень это не способствует авторитету блатному.

— Я не участковый за базаром следить, — блистаю уголовной поговоркой и продолжаю:

— Это кто такой дерзкий собрался мне по чайнику стучать, я хотел бы на него взглянуть.

— Да ты че, оборзел?! Ну, я тебе настучу!..

— А за что? По какому такому беспределу? Ладно, менты на коридоре, они и в Африке менты, рожи беспредельные. А ты по какому праву?

— Да ты че разбазарился, я сказал — прыгнул со шконки — и на тряпку!

Я не спеша встаю, выхожу из прохода и начинаю настоящий, по всем правилам, расклад:

— Во-первых, в хате есть черти, которым положняк полы драить. Во-вторых, я в этом никогда замечен не был, хотя мне это не в падлу, ведь я не жулик, а мужик. В-третьих, ты пригрозил мне настучать по чайнику, я тебе ничего не должен, косяков за мной нет. Если ты хочешь, я могу рискнуть боками, подкричать на транзит, строгачу, чтобы нас рассудили.

Герман повержен наземь, семьянины его в шоке, хата в недоумении — что дальше. Но я же умный карась, мне его глотать не положняк, ведь он, хоть и плохонький, но жулик, а я-то мужик по этой жизни... Пассажира я, по всем тюремным раскладам. И я спускаю все на тормозах:

— Но ты все сам прекрасно знаешь и не мне, пассажиру, тебе жевать, настоящему жулику и босяку. Я думаю, пол черти помогут, а нам делить нечего, ты хату держи, а я тебе помогу, чем смогу, со своего мужицкого места. Лады?

Герман улыбается, ему, как и всем недалеким людям, нравится лесть. Треплет меня царственным жестом за плечо и отправляется к себе в угол. А я на шконочку. Дальше думать и смотреть. Мое дело такое, мужицкое.

Вот я и понял, что я за зверь. Карась. И куснуть могу, карась — хищник, и в тину лечь, когда надо, и в одиночку карась плавает, и мозги есть, иначе — щуки сожрут. А человеком в тюрьме трудно оставаться. С волками жить — по волчьей выть. Человеческое надо в душе спрятать, чтоб не растерять, чтоб сохранить. Иначе сожрут. Вместе с душой и телом. Так как звери вокруг. А самые страшные — в коридоре.

На следующий день, сразу после завтрака, дверь открылась и закрылась. А в хате зечара оказался. Без вещей и без матраца. Явно с транзита. Лет сорока, невысокий, крепко сбитый. Стриженный, в чистом синем зековском костюме, в сапогах начищенных. Судя по ухваткам и одежде, строгац и не последний. Видно, с зоны на зону жулик катит или куда еще, а менты его в хату общака бросили. Мол, не разберется общак и наедет. На правилку бросили. Значит, не все гнутся да головы склоняют в страшной Новочеркасской тюрьме. Значит, есть люди, кому ни дубинки, ни менты не страшны.

А Герман со своей семьей по тупости не поняли, что случилось, да наехали по привычке, как всегда:

— Эй, земляк, ты че тусуешься, сюда не идешь?

Зечара знай себе хату меряет неспеша шагами, от двери и до окон, внимания не обращая на слова Германа. Хату меряет, на всех зыркает, во все проходняки неспешна заглядывает.

Герман по новой и с рыком:

— Ты че, в натуре, оборзел, пехота, не касается тебя что ли?! Я кому сказал?!

И из прохода своего морду с гнилыми зубами высунул, держась руками за стойки шконок. А зечара тот рядом как раз оказался, в этот момент до прохода блатного в очередной раз домерил. И ни секунды не размышляя: бац! По гнилым зубам Германа.

Тот и рухнул у себя в проходе. Строгац постоял в стойке, как бы спрашивая, мол еще у кого с зубами проблема? Но смирно сидела блатная семейка, ничего не понимая, как же так, раз — и по зубам... Непривычно как то, не принято. Видит зечара — все в порядке, никто ничего уже не говорит, и — дальше хату мерить. Сидят и лежат блатяки и мужики, черти

и петух Машка, смотрят на зека сурового и ничего не говорят. А что скажешь, если один попытался и по зубам получил. Желающих больше нет.

Ну, а вскоре открылись двери и корпусняк спросил зека:

— Будешь еще благовать?

Видимо, дурак корпусняк, раз решил строгача этого Германом напугать.

Увели зека и легко вздохнула хата — ФУ! Уплыла акула из нашего аквариума, слава богу, сытая была и не злая. А то бы...

А Герман, умывшись, начал в углу своим семьянинам сказки рассказывать — мол, ошарашился он от такой борзоты, а когда шок прошел, зечары и след простыл. Но семьянины не поверили, давай издеваться и насмехаться, да подробности вспоминать, как пытался Герман своими гнилыми зубами покусать зечару.

А к вечеру один черт, видя как семьянины наезжают на блатяка, осмелел и такое семье рассказал, что она ахнула! Оказывается, Герман один день на малолетке санитаром был! Семьянины Германа за жабры — колись, сука! Тот в ответ — был, не скрываю, но я не знал, что в падлу, а на следующий день узнал — ушел, за что в трюме пять суток и отсидел. Ахнула семья во второй раз! Надо же! Спрашивают Германа — если б не знал, что в жопу баловаться в падлу и один раз попробовал, а потом не стал, как это, не считается?! Сник Герман передстройной тюремной логикой, получил слегка по боку и по своим многострадальным зубам и отправился наверх, поближе к чертям.

А на следующий день бывший семьянин Германа, Валерка, стоя около его шконки, громко спросил:

— Что-то у нас грязно в хате...

— Не говори, Валера, не говори, грязновато в хате, грязновато! — поспешил прогнуться черт.

— Вот тебе и тряпка в руки. Выдраишь сегодня пол в хате.

И полез под шконки бывший блатяк с тряпкой в руках. А братва ласково говорила:

— Ты мои прохоря, Герман, тихонечко в сторону отставь, а потом на место...

Как звезда сгорела карьера жулика. Вспыхнула и сгорела. До тла...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я попал под дождь. Под холодный-холодный, октябрьский дождь. В дворике прогулочном. Напрасно мы стучались-бились. В Новочеркасской тюрьме порядок во всем порядок — положено гулять час, значит час. Ну и что с того, что дождь холодный, а зеки одеты по-летнему. Порядок есть порядок.

Под дождь попала вся хата, не я один. Но горло распухло у меня одного. Недолго думая, залпом выпиваю две кружки холодной воды. Болеть так болеть, а так — что баловаться.

Утром — результат. Всех на коридор, проверка по карточкам. На этой проклятой киче и утром, и вечером проверяют по карточкам. По тюремному — поверка. Чтоб никто не пропал.

— Иванов! — рычит корпусняк. А я в ответ:

— Гх, гх, гх...

Глянул свирепо корпусняк на меня:

— Ты че бледный, мразь, как поганка?

Так я ему и рассказал, что я поутру известку в рыло втер, а лишнюю стянул. Напудрился, как артист перед выходом, сейчас — мой номер. Шагаю в нарушение всех правил из строя, мне уже плевать на правила, я подыхаю и падаю навзничь, немного, но слышно стучаясь головой об пол. Санек, помня мои наставления, выкрикивает из строя:

— Он и вчера падал, гражданин начальник, наверно скоро помрет...

Хату загоняют. Я лежу один на коридоре, пытаюсь шевелиться.

— Лежи, лежи, сдохнешь тут, а за тебя отвечай, — заботливо говорит корпусняк. Надо же — сами бьют насмерть, а помереть от болезни не дают. Видимо, это роскошь — умереть по собственному желанию. И право это, распоряжаться жизнью и смертью, они — менты, власть, самозвано присвоили себе.

Пришли санитары, снова на носилки, несут. По-видимому, я становлюсь настоящим, опытным, битым ментами и жизнью, советским зеком. Из антисоветчика... Захотел — и на крест. Снова на диету, подалее от молотков, от дубья.

Принесли, помыли, переодели — и в бокс. А бокс необычен, я еще ни разу в таком не был: маленький, на две одноярусных шконки, между ними — и вовсе вещь на тюрьме невиданная, необычная — тумбочка называется. А на ней! Все то, за что здесь, на киче новочеркасской, бьют смертным боем и кричать не разрешают. Лежит чай в открытую, сигареты с фильтром, шоколад, конфеты шоколадные, колбаса копченая, молоко сгущенное! В общем, все то, что на воле днем с огнем не сыщешь, в тюрьме запрещенное, на тумбочке лежит, ничем не прикрыто.

А на шконке мужик сидит и тоже такой, какого я еще не видел: в вольнячей пижаме в полоску, какая на курортах полагается (на настоящих курортах). И вид у дяди суровый, взгляд насупленный, руки, ноги, голова крупные, в два раза больше чем у меня, да и тело немаленькое, не в два, но в полтора раза точно. Сидит, ноги поджал и взглядом буравит.

Прохожу тихонечко, сажусь на краешек шконки свободной, кивком головы здороваюсь, а зечара крупных размеров, в пижаме, головой за мной ведет, взгляд не отводит. Жуть!

— Ты кто?

— Володя-Профессор, с 28, по 70, срок шесть лет, — еле-еле прохрипел я. Известку санитары, хоть и смыли душем, но горло у меня по правде через силу говорили.

Опустил дядя ноги со шконки и в тапочки сует, огромных размеров. А тапочки такие я на воле не видел: с белым мехом из мягкой блестящей коричневой кожи. Одел тапочки — и к двери. Сам большой, голова большая, непропорциональная телу, и сутулый. Ох, и плечи широченные!

Подошел к двери и стукнул. Не сильно. Но кормушка почти мгновенно распахнулась:

— Чего желаете, Константин Сергеевич?

— Ваську позови, — пробасил Константин Сергеевич. Я открыл рот. Так как я еще ни разу не слышал, чтобы в тюрьме кого-нибудь по имени-отчеству называли...

Подошел Васька, это оказался дубак! Ну и ну!

— Узнай, Васек, за Володю, которого мне посадили, что почему? Понял?

— Понял, Константин Сергеевич, узнаю.

Дядя на шконку вернулся и собрался чай варить. Сам...

Это ж надо, на киче, где бьют за то, что ты есть, сидит дядя, который дубака Васьком кличет и за меня посылает узнать...

Сварил Константин Сергеевич чай на газете быстро, профессионально. И дыма почти не было. Остаток я выгнал, рубахой больничной по просьбе, повторю, по просьбе, дяди. И не погнушался. Во-первых, просит человек об услуге, сам-то занят, чифир варит. Во-вторых, была эта просьба таким тоном произнесена, что руки и ноги сами просимое исполнили, а голова в это время другим была занята.

Но оказалось и в-третьих. Чифир он на двоих сварил. Так-то! Такой суровый дядя и мне, пассажиру, чифир варил. Приятно.

— Давай кружку, — и плеснул черной, пахучей, густой жидкости. Поровну, наравне с собою.

— Я всегда один пью, даже с блатными. Привычка, — пояснил свое поведение по разделу чая Константин Сергеевич.

Сидим, пьем чай каждый из своей посуды. Он с меня взгляда тяжелого не спускает, буравит насквозь, пронизывает. Я больше по хате взглядом вожу, рассматриваю...

— Сколько тебе лет? — прерывает молчание дядя.

— Двадцать будет в этом месяце, — и мне становится грустно — день рождения придется праздновать в тюрьме. И не один раз...

— Молод, а за политику. Что ты этим блядям сделал?

Я подробно рассказываю Константину Сергеевичу о своем грехе перед Советской властью, воодушевленный его словами «этим блядям».

Вслушав и ни разу не прервав, дядя подходит к параше и смачно, от души, плюет в дырку.

— Ну бляди, пацану за бумажки, ну, суки, резать их надо, резать поганцев, — покачивая головой, говорит, возвращаясь на шконку, этот странный зек.

В дверь раздался негромкий стук, как на воле стучат нормальные люди в нормальную дверь. Я широко распахнул рот и уставился на Константи-на Сергеевича. Он усмехнулся и неспеша, как все делал, подошел к двери. Кормушка распахнулась, дубак что-то стал негромко рассказывать.

«Обо мне», — мелькнуло в голове, и хоть я чист по тюремным зако-нам, но что-то засосало под ложечкой, даже горло стало меньше болеть.

Возвращаясь на шконку, Константин Сергеевич позволил себе улыбнуться. Так, немного, самую малость. Наверно, он насквозь видел меня и мое состояние. Усаживаясь, он махнул рукой:

— Все в порядке. Не ведись на меня, я с кем-попало в одной хате сидеть не могу. Давай знакомиться по-настоящему, — и протянул мне свою лапу. Я с опаской пожал ее.

— Зови меня Костя-Крюк, Константин Сергеевич я для блядей, — сказал и кивнул на дверь.

— Я не могу сидеть с кем попало в одной хате. Я вор.

Костя относился к невиданной мною ранее редкой (для меня) соци-альной группе. Ему было пятьдесят два года. Последние десять лет Костя-Крюк был вором. Поднят был на Тобольской крытой. О коронации он не рассказывал. А зря. Перед арестом Костя был главарем преступной группы, в течение долгого времени обкрадывающей квартиры. В разных городах нашей необъятной Родины. Затем их поймали, судили. Костя-Крюк получил семь лет особого режима, особняка, на всю катушку.

Но зачем вору Косте ехать на особняк, на полосатый? Когда можно и в тюрьме перекантоваться, на кресте. У него туберкулез, как у многих советских зеков. Вторая группа. Вот и записался он к врачу, когда ехал транзитом через Новочеркасск. Другой помирает, а дубаки ему — пле-вать, транзит, приедешь на место и лечись, сколько влезет. А Косте-Крюку дверь нараспашку — пожалуйста, Константин Сергеевич, осто-рожно, здесь лестница, дверку позвольте распахнуть...

Пришел Костя к лепиле и прямо ему так говорит: мол, адресок твой на воле, где ты с женою и сынишкой малолетним проживаешь, такой-то... Дернулся глаз у лепилы, майора войск МВД, дернулся другой, и спрашивает он так ласково:

— На что жалуетесь? — а сам в лицо заглядывает, услужить хочет...

Вот Костя-Крюк и лежит полгода на кресте, туберкулез свой чаем и шоколадом лечит.

Все это не таясь, мне сам Костя рассказал в мелких подробностях. Сна-чала я не понял, почему не таясь, не скрывает, как здесь оказался? Затем подумался: для Кости-Крюка лепила никто, вошь, насекомый. Поэтому

он не скрывает, как его (лепилу) прищучил. Даже наоборот — гордится, мол, вот какой я, ушлый. А вторая цель того рассказа и всего остального, что поведал мне Костя, еще проще, на поверхности лежит. Уеду с креста на хату, пойду транзитом, поеду на зону и буду о принце крови рассказывать, да и как не рассказывать, как не хвастать — не каждый зек с вором сидел, один чифир, правда из разных кружек, но пил, конфеты шоколадные жрал... Такое событие любому зеку авторитет поднимет, вес в глазах братвы. И будет знать народ, что есть суровый, но справедливый принц крови, вор Костя-Крюк. И его авторитету это не ущерб, а совсем наоборот.

Поэтому и не скрывал Костя-Крюк, что не хотел скрывать. И рассказывал немного, но увесисто, кладя слова прочно, навечно.

Пролежал я рядом с шоколадом, колбасой, конфетами всего двое суток. А жаль! Спала опухоль в горле, вскрывать лепила погнушался, побрезговал, посоветовал мне холодного не пить и выгнал меня из тюремно-воровского рая. Прямо, нет, не на землю грешную, а в ад крошечный, Новочеркасский общак называемый. Прощай, Костя-Крюк, прощай! Не часто я в своей жизни принцев видел... Прощай.

Ведут по коридору третьего этажа. Двери с номерами, кормушками, глазами. Тюрьма, опостылевшая, надоевшая.

— Стой! — стою, стою. Я не враг себе, своему здоровью, здесь не Ростов, здесь Новочеркасск.

Распахивается дверь, вхожу.

— Привет, братва, я с креста, — усаживаюсь возле стола и представляюсь хате. Не иду в блатной угол, так как, во-первых, я понял сам, не сильно здесь блатуют, на Новочеркасской киче, а во-вторых, Костя-Крюк мне в популярной форме объяснил, что такой традиции нет. Не считаешь нужным идти представляться — не ходи. Но если назвался груздем, то держись... Не знаю, как в другой тюрьме, но в этой я могу рассказать блатякам с общака, что я не булка с маслом... Что я мужик, а не черт. А на мужике блатные да тюряга держится. Это мне Костя-Крюк объяснил, а он человек авторитетный.

Но хата попалась неплохая и мой бунт прошел незаметно. Ни хочешь идти, не надо, сами к тебе придем.

Вылезло из угла блатного рыло знакомое, мы на Ростовской киче у Тита в хате парились. Он правда внизу спал, но семьянином «наседки» не был. А звать его Жора, Жора-Кривой.

— Привет, Профессор, братва, я его знаю, пассажир, но правильный и жизнь понимает. Бросай матрац, черти поднесут, идем к нам! Братва, знакомьтесь — Профессор.

— Серый.

— Ларуха.

— Кот.

— Брысь.

Пожимаю руки и усаживаюсь среди блатяков. Смотрят с любопытством, но доброжелательно.

— Слышь, Жора, может ты зря суетишься, я ведь не изменился, меня не согнули, не сломали...

— А! Я базарил — Профессор! Еще базар ни за что ни про что, а он уже понял и раскусил! Профессор! — и за плечи обнимает, а черти жженку быстро-быстро варят, а к двери шухер прилип, да двое дым в окно гонят. Новочеркасск! За жженку в хате всех будут бить.

Вот и готово! Кружка по кругу, еще трое подсели:

— Иван.

— Мах.

— Петр.

Пьем по три глотка, по три глата. Смотрю на радующегося мне Жору и сам радуюсь. Ну хоть один человек меня знает и рад мне.

— Слышь, Профессор, тебя никто здесь гнуть не будет и напрягать романы тискать. Захочешь — расскажешь. Я рад тебя видеть, ты травишь в кайф. Расскажи, если хочешь, где был после 21.

Травлю увлекаюсь, несет меня, речь так и льется, слова сами выскакивают. Рассказываю про Ростовскую кичу, про Костю-Крюка, про арест. И где надо, хохочет уже вся хата, стянувшись на мой звонкий голос. И где надо, хмурятся лбы и прищуриваются в злобе глаза. И где надо, сжимаются кулаки у братьвы, вместе со мною бьются в 69 с беспредельщиками... Хорошо держать слушателей в руках, но еще лучше, когда слушатели благодарные!

— Ну кайф!

— Вот траванул, так траванул...

— Хапни горяченького...

— Не курю.

— Держи пять!

Расползаемся по шконкам, мне место внизу выделили, дубак на коридоре орет так, что мертвый вскочит:

— Отбой!

И хата падает по местам.

Здесь с этим строго, как и со всем остальным. Отбой, так отбой. Ночью пойдешь на парашу, заметят — на коридор. Сам один раз спалился. А на коридоре все зависит от настроения этих фашистов. Лично мне повезло — вытянули разок, от всей души, по спине. Если б на парашу шел — то усрался бы. А так ничего, взвизгнул я и спать. Поймали меня, когда я уже с параньки рулил. Повезло.

— Подъем! — снова дикий рев и на коридоре братва взлетает. Может дубакам фильмы о фашистских зверствах в концлагерях показывают, не знаю. Но зверствуют они не хуже эсэсовцев из фильмов. От

души, если она у них есть, зверствуют. Может жестокость охранников в далекие романтически-революционные времена упирается, про которые коммунисты детям да подросткам фильмы показывают... Как резали, топили, вешали, расстреливали? Вспомните только одного «Чапаева». Весь фильм падают люди, скошенные из пулемета, порубленные саблями... Это доблестные красные уничтожают нечисть белую!

И играют детишки во дворах в Чапая, по всему Советскому Союзу. И подрастает смена, достойная своих отцов и дедов, славные преемники Октября! Это они в коридоре новочеркасской тюрьмы резвятся, помогая милиции в тяжком деле по перевоспитанию преступников. Ну и что, что такие же методы, как у бандитов, насильников, убийц! Врага бьют его же оружием. Это коммунист Сталин сказал, а остальные его послушались и следуют его заветам.

А расхлебывать нам. Мне. Ух, суки!

После завтрака, проверки и прогулки, меня дергают в коридор. За что, братцы? Кому я жить мешаю? Кому?! Власти поганой...

— Осужденный Иванов Владимир..., — прерывает меня корпусняк, в кабинете которого я стою навытяжку, не спуская глаз с Железного Феликса, на портрете изображенного. Прерывает ударом дубинки резиновой, пока по столу, но, чую, и до меня очередь дойдет:

— Я сам знаю и статьи твои, мразь, и срок твой, погань! Меня другое интересует: когда заявление в службу напишешь? Или не хочешь?! — грозно вопрошает, уставившись на меня. Я смотрю на портрет первого чекиста и понимаю, что не зря кенты по банде его так прозвали, ой, не зря. И потомки по делу чекистскому его кликуху с честью оправдывают.

— Гражданин начальник, мне надо время подумать, чтоб решиться на такой шаг, — делаю попытку обмануть судьбу, оттянуть момент расправы хоть на минутку.

— Нечего думать, садись и пиши.

Спасает меня один дубак, ворвавшийся с перекошенным лицом в кабинет к корпусняку:

— Товарищ майор, в 37 одна блядва повесилась, а хата не вынула. Уже холодный!

Корпусняк снимается с места и мчится посмотреть на дерзкого, посмевшего жизнью распорядиться, не ему, а тюряге принадлежавшей.

Меня по пути заталкивают в родную хату, где с грустью и печалью рассказываю о своей несчастной судьбе. Все сочувствуют, но помочь не могут. Остается уповать на случай. И случай подвернулся.

На следующий день идем с прогулки, а в коридоре нашем, ноги раскорячив, с дубинкой в руке, незнакомый капитан стоит. Ох и рыло!..

Подходим, а он:

— Стой! Я временно исполняющий обязанности корпусного на вашем корпусе. Вопросы по режиму содержания есть?

Я сразу понял, что если сейчас не удастся, то позже — уже вряд ли. И старый корпусняк вернется, или этот с нами поближе познакомится. Смело делаю шаг вперед из неровного строя и бесхитростно глядя в глаза рылу, начинаю:

— Гражданин начальник! Осужденный Иванов. Почему потолки грязные, не подметают их что ли? — и смотрю на него, взгляд не отвожу. А корпусняк временный, покраснел, злобой налился и только рычать вздумал, как я, очень мило улыбаясь, поднял правую руку к потолку и мечтательно так сообщаю:

— Ведь если б потолки были бы чистые, к ним бы мысли не прилипали, а скользили вдаль, далеко-далеко.

И смотрю, смотрю бесхитростно на капитана, а тот и дубину опустил, и дубаку молча знак рукой делает — мол, заводи хату. Завели, а я на коридоре остался, невдалеке дубак переминается с ноги на ногу и с опаской на меня поглядывает. А корпусной в кабинете скрылся и по телефону санитаров требует. Псих я, больной. Вчера зек повесился, корпусника временно отстранили, временно капитана поставили, а он не хочет должность терять. Да и кто захочет должность терять, из них. Это первое. Второе — все, кто в тюряге под психа мастырится, это я по рассказам знаю и сам в транзите одного видел, они или буйные или тюремную тематику используют, или срут под себя... А я красиво сыграл, необычно, вот и в связи со всем этим, корпусняк звонит на крест.

Вот и санитары. Правда, без носилок.

Повели. Привели, помыли, переодели и в бокс одиночный поселили. А в дверях окно прорезано и плексиглас вставлен. Наблюдать за мною, психом.

Я — на шконочку, одеялом накрылся и глаза прикрыл. Хорошо! Наблюдайте, а я мозгами раскину, нужно мне психом быть или нет.

Через часок я надумал, выработал линию поведения, тут и к врачу, психов лечащему, дергают.

Вхожу, представляюсь, сажусь на предложенный стул. Смотрит внимательно, без неприязни. Я начинаю первым:

— Я по видимому какую-то глупость учудил, если меня на крест и в дурбокс?

— А ты ничего не помнишь?

— Нет. Меня в детстве, в два года, с крыльца уронили, я сильно головой ударился, мама рассказывала, — это я вспоминаю, но дальше начинаю самостоятельно врать:

— Меня и в армию не брали, все тянули, тянули, что у меня с головой, пройдет или нет...

— А тебя перед судом не возили на освидетельствование?

— Нет. В тюрюме такой же врач, как вы, написал здоров — и все. Меня не спрашивал.

— Расскажи, что у тебя бывает?

— Когда?

— Когда затмение...

Я честно вру:

— Когда меня побьют, я плачу, у меня голова болит и себя жалко. Потом немного не помню, а потом все проходит. Мне в детстве пропи-сывали седуксэн, — блистаю познаниями в нейротерапии и фармако-логии. Врач слушает внимательно, что то пишет, а затем:

— Сделаем рентген. Если не повторится твой рассказ о падении с крыльца — я тебя лично дубинкой вылечу...

Вот тебе и врач, вот тебе и клятва Гиппократа! Ох, ни хрена себе...

Но я не боюсь рентгена. Меня действительно роняли с крыльца. Я это в военкомате от невропатолога узнал, а мама подтвердила. Мне тог-да тоже мозги просвечивали, но до конца не смогли просветить. Иначе б увидели мысли мои антисоветские и злобу мою на власть народную.

Делают рентген. Врач вертит мокрый снимок моих мозгов в руках, тянет задумчиво:

— Да...

Я иду к себе в бокс на шконочку. Отдыхать.

На следующий день отправляют в хату. Но в другую. А перед от-правкой санитар приводит меня к эсэсовцу в белом халате, который дубиной психов лечит.

— Осужденный Иванов...

Прерывает он меня и доброжелательно советует:

— Мы тебя в хату маленькую, спокойную, отправляем. Все нор-мально будет. А в зону придешь — к врачу обратиться, обязательно.

Соглашаюсь и иду в новую хату. Жалко, что диеты похавал всего два раза — завтрак и обед. И на белой простыне одну лишь ночь по-спал. Жалко...

А на Новочеркасской тюрьме меня больше не били. Видимо, хруп-кое изделие попало, боялись, что до места назначения не дотянет, рассыплется. Мой план удался полностью!

Ау, новочеркасский тюремный психотерапевт, ау! Я на голову здо-ровей здорового и ничего мне психо-шизофренически-патического не светит. Здоров и здравствую.

* * *

Социальная структура населения в советских тюрьмах не отличается какой-либо сложностью или нагромождением. Все просто и стройно.

Наверху пирамиды — жулики, блатяки, босяки, настоящие арестан-ты. Обязанности: фактически никаких, официально — поддержание по-рядка (уголовно-тюремного) в камерах, забота о братве (населении ка-

мер), сохранение и продолжение славных уголовно-тюремно-воровских традиций. Права: неограниченные фактически, официально ограничены рамками понятия «беспредел». Но письменной трактовки понятия «беспредел» не существует и претенденты на чужое место или поборники справедливости могут трактовать это понятие, ну если не как угодно, то очень широко. Главное, чтоб ты, землячок, за базар ответить мог. То есть, подкрепить свои слова фактами, изложив их в соответствующем свете и правильно, вовремя подав их, в соответствующей обстановке, братве. И происходит маленький переворот.

О правах можно говорить часами: здесь и лучший кусок, и право первой ночи (в опускании кого-либо), и лучшие шмотки, и лучшее место, и... Чего только можно не перечислить здесь. Рука устанет. Вам не кажется знакомым все, что я пишу о правах и обязанностях? Нет? Напрасно, вслушайтесь: обязанностей фактически нет, на бумаге — забота о порядке, населении, сохранение и приумножение славных революционных традиций, права — неограниченные, и кусок, и шмотки, и все лучшее, и лучшее место под солнцем, под звездами рубиновыми, кремлевскими...

И если только кому-то понравится твоя шконка, тьфу, твое кресло — то сразу о беспределе вспоминают... Узнаете? Да это ж коммунисты с блатяками на одно рыло, на один манер! И ухватками, и порядками...

Ниже стоят, в пирамиде той, огромный слой народа, ах да, я же о тюряге, не о стране пишу. Ниже — мужики. Обязанности: никуда не лезть, поддерживать блатяков, исправно платить налагаемые налоги. Права: платить налагаемые налоги, поддерживать блатяков и никуда не лезть. Все, как у советского народа.

Ниже — черти. Обязанности: неограниченные! Тут и уборка камер, стирка жуликам-блатякам, чесание пяток (тем же), шитье, обслуживание параша... Много чего можно придумать, если скучно в камере блатякам. Развлечение — принудительно-добровольные пляски, пение, тиска романов, вой на лампочку, лай на луну и так далее... Права: отсутствуют. Можешь самовольно присвоить право «встать на лыжи» (эмигрировать). Но если достанут, дотянется рука — то суров и справедлив гнев народа по отношению к отщепенцам, сменявшим право на проживание в счастливой дружной семье народов на... Узнаете? Чертей можно сравнить с осужденными, зеками, прав нет, обязанностей до едрени фени.

Ниже — петухи. Гомосексуалисты-пидарасты. Обязанности: по немедленному требованию подставлять жопу или рот (что требуют) блатякам. Права: вы видели когда-либо корову или свинью, наделенную правами? Я — нет. Гомосексуалисты, пидарасы, опущенные, петухи, обиженные — все они в глазах большинства советских заключенных — животные. Кто так не считает, то мнение свое держит при себе и не высказывает его. Ну, раз они животные, то о чем разговор? Какие права могут быть у животных? В системе советского государства нет похожей социальной категории на-

селения, социальной группы. Коммунисты еще не создали похожий социальный институт. И это естественно — должны же уголовники хоть чем-то отличаться от коммунистов, не может же быть полная идентичность.

Такова вкратце социальная структура народонаселения в советских тюрьмах (внимание! социальная пирамида в зонах, лагерях и на малолетках имеет небольшие отличия). Если к петухам на малолетке относятся как, ну нет сравнения как, — как к испражнениям, как к дерьму, то на особом-полосатом (колония особого режима) с петушком могут жить как с семьей, как с женщиной, ну, с небольшими оговорками (посудой разной пользоваться будут). Но это только по одной причине. Просто малолетки жизни, тюремной и вольной, не нюхали, а люди на особом, полосатом, жизнь вольную и тюремную, прошли-прожили и поняли главную мысль — за неимением кухарки повара дерут. Так-то!

Есть еще главное и существенное отличие тюрьмы от свободы. В тюрьме, в социальной пирамиде, дорога только вниз. На свободе еще можно будучи, ну, например, чертом или мужиком, то есть заключенным или простым представителем серой массы народной, выбиться наверх, к солнцу, к полному жратвы корыту. Примеров много, приведу самый яркий. Был зек, по кличке Серый Волк, бандит, убийца, вор. Поумнел и стал членом Союза писателей СССР Ахто Леви. Он об этом превращении книгу написал и гонорар получил. Впечатляет? То-то же!

Так вот, а в тюрьме дорога только вниз. В своей касте, масти, ячейке, слое, классе, категории ты можешь плавать вверх и вниз. Как обстоятельство сложатся. Но не более. А в пирамиде нерушимой только вниз. На самое дно. К петухам...

На самом верху пирамиды, упираясь головами прямо в небо, прямо в солнце, но чаще в тусклую тюремную лампочку, стоят «воры в законе». Они как короли, как цари. Они есть, но их никто не видел. Или редко или давно. Они есть, но где-то. Просто коммунисты, советская власть ненавидит конкурентов. И все воры в законе (или почти все) сидят в крытых. В учреждениях тюремного режима. И как говорит молва тюремная, без выхода. Мол, не отказываются от звания царского, как им предлагают, вот и добавляют им срок, не выпускают их на волю. Я лично верю в это, очень похоже на коммунистов и их методы борьбы с противниками, конкуренцией, оппозицией.

Я не буду рассказывать о ворах в законе, так как я их не видел.

Ниже воров в законе стоят «воры». Костя-Крюк и был одним из них. Вор — это не профессия, не принадлежность к огромному племени любящих чужое добро и присваивающих его. Нет. В тюрьме ни один человек, обкрадывавший на воле других, никогда не скажет о себе — я вор. Опасно такое одеяло без оснований на себя одевать. Можешь и на самое дно пирамиды скатиться. Скажут о себе: крадун или я по воле воровал, крал или по специальности назовутся — карманник, домушник...

Вор — это звание! Сравниться может со званием принц крови. Красиво, романтично. Звание Вор присваивается на сходке, толковище, съезде. Присваивается за многолетние заслуги в деле укрепления воровских традиций, за безупречную жизнь (без единого косяка) с точки зрения Большого Свода Неписанных Тюремных Законов и Правил, за наработанный авторитет, безоговорочно признаваемый всеми. Выбирают равные равного себе. Воры — Вора. Носится это звание с гордостью и пониманием собственной значимости и исключительности. Воров на весь Союз немного, человек двести-двести пятьдесят. Так гласит молва, но кто их (кроме ментов) считал. Принцев не должно быть много. Обязанности Воров: править! Справедливо и сурово! Как царь! Так как цари, воры в законе, изолированы от народа. Права: неограниченные ничем! Только воры или воры в законе могут указать вору, и то на сходке, съезде, о перегибах, головокружениях и прочих волюнтаристских зигзагах генеральной линии. Все остальные безоговорочно принимают все, что исходит от вора.

Ниже воров стоят жулики. Многочисленное племя. Естественно, они тоже неоднородны — кто-то более авторитетный, кто-то менее. Но это — частности и личное дело самих жуликов. Обязанности: поддерживать воров и традиции, держать хаты, бараки, зоны, тюрьмы, если на это хватит авторитета, позволять другим жуликам и если не держат все вышеперечисленное воры. Собирать грёв на трюм (отправлять в карцера курево, чай и прочее), делать деньги способом, не унижающим достоинство жуликов. Права: играть в карты, пить водку и чифир, глотать колеса (таблетки) и курить анашу, участвовать в сходках, пресекать ментов из зеков, противопоставлять себя администрации... Много прав, ой, много.

Ниже — блатяки, блатные. Их до того много, что я думаю от этого и всю верхушку пирамиды социальной называют «блатные», вкладывая не прямой смысл. На первый взгляд — те же жулики, но не положено им держать хату или барак. Ну если только совсем нет жуликов. И на сходки их не на все зовут. И так далее и тому подобное. То есть пониже и пожиге. Права: те же, что и у жулика, но поменьше, пожиге и если не ущемляются интересы жуликов. Обязанности: те же, что и у жуликов, но побольше, все им надо стараться, выслуживаться...

Ниже — акулы, грузчики. Исполнители приговоров-расправ: убить, избить, опустить. Не всегда жулик или вор может или хочет сам, своими руками, расправу учинить. Зачем, если есть грузчики. Права: как у блатяка, но... правильно — пожиге. Обязанности: кроме названного, для чего они есть, те же, что и у блатяка — но побольше, погуще.

Еще ниже есть тонкая прослойка мнящих о себе. Что они блатные (в общем значении). И не сильно их в этом разубеждают. Если они из стойла своего (из своего социального места) не выйдут. Это блатные шестерки, их еще раньше шустряками называли, а кое-где и сейчас так кличут. А еще их в зоне шакалами кличут. Этим все и сказано. Ша-

калы! Обязанности: позвать кого-нибудь, грузчику помочь, на шухере (карауле) постоять, шестерку настоящую, из чертей, проконтролировать, петуха привести, что-то отнести, и не запалиться (не попасться), и не спалить (ментам не отдать) то, что нес. Много обязанностей у шакалов, много. А прав так себе: пожрать, что после хозяев осталось, да чайку перепадет, да курить... Еще чего-нибудь. Негусто.

Подняться внутри касты блатных можно на лишь на одну, следующую ступень. Все впереди и в руках твоих, отсидишь еще пару раз, наработаешь авторитет и получишь следующее и последнее звание. За выслугу лет и безупречную службу. Если за какой-нибудь косяк не оттрахают или в черти не выгонят. Только на одну ступень. Шустряк — в грузчики. Грузчик — в блатяки. Блатяки — в жулики. И все. Ну, особенно даровитые и хитрые из жуликов — в Воры. Жесткая структура и недаром она придумана, недаром. На каком уровне показал себя, на какой крутизне держишь себя — тем тебе и быть. Ну, а следующее звание как награда и как резерв. Надо же пополнение делать! Социальные игры, но опасные для жизни и здоровья. Есть, конечно, люди, не играющие в эти игры, хотя сидят вместе со всеми. Но это одиночки и никто им не завидует, и стать таким можно, если крепок телом, но главное — духом! Ведь в тюрьме ценится не сила, а дух и хитрость.

Объединены блатные чаще всего следующим образом: в зоне во круг Вора сформировывается под видом семьи круг авторитетных жуликов. Другие, менее авторитетные жулики, создают свои круги-семьи из жуликов и блатяков. Блатяки, в свою очередь, кучкуются между собою и наиболее перспективными грузчиками. Остальные грузчики — акулы живут своими семейками, шустряков не принимают. Те варятся в своем соку. Это — основное, конечно, жизнь многообразна и многолика, часто подкидывает различнейшие сюрпризы, но... Основа чаще всего остается вышеперечисленной.

Путь на почти вершину можно проследить по жизни Кости-Крюка. Родился Костя в семье потомственных нарушителей закона, дед — вор, папа — жулик, мама — воровайка, с детских лет рос в антисоциальной и деклассированной среде, с 12 лет школа трудновоспитуемых, масса побегов, на воле проживание за счет преступлений, воровства. В 14 лет — первый суд, первый приговор — два года в воспитательно-трудовой колонии, в неполных семнадцать второй суд — три года в ВТК усиленного режима, побег, через полгода снова суд — пять лет исправительно-трудовой колонии общего режима (для определения режима судимости до совершеннолетия не считаются). Отбыл, освобожден, снова суд, два года с небольшим пробыл на воле. Пять лет строгого режима. Освобожден. Суд. Семь лет. Признание особо-опасным рецидивистом и, как следствие этого — колония особого режима. Освобожден в сорок лет, имея за плечами двадцать один отсиженный год! Да не просто отсиженный, а без единого

косяка, с массой ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа — разновидность карцера), два раза его направляли на тюремный режим как злостного нарушителя, отрицательного осужденного, не встающего на путь исправления... А на воле — квартирные кражи, сходки, поддержка воровских традиций, активная жизнь жулика. Ну кому, если не ему, не Косте-Крюку, быть принцем крови, быть Вором! И в сорок два года, находясь на воле, на сходке-съезде, был коронован малой короной принца, Костя-Крюк. Так он стал Вором. И целых десять лет пробыл на свободе. Секрет прост — принцы не работают, то есть сами не воруют. На это есть жулики, смотри выше, и так далее... Костя-Крюк лишь руководил, организовывал, направлял, реализовывал. И получил за это по заслугам. Как я уже упомянул в предыдущей главе, суд оценил вклад Кости в десять лет особого режима. Вору — ворово или воровское...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Захожу в гостеприимно распахнутые двери.

— Всем привет. Ох, попал — блеск!

— Нравится? — с нескрываемой гордостью говорит зек лет сорока, занимающий блатный угол и улыбается мне.

— Нравится, нравится, а вот место свободное не по нюху, — указываю на свободную верхнюю шконку, стоящую впрытык, вплотную к параше.

— Что так? — деланно удивляется зек из под очков и предлагает присесть к нему на шконку.

Присаживаюсь, оглядываюсь с любопытством. Шпаны явно нет, хата маленькая, я — двенадцатый, все на виду. Все люди солидные, лет за сорок, за пятьдесят. Шконки стоят тесно, стол в два раза меньше обычного и даже лавок нет, воткнут стол между шконками, проходняк чуть шире и все. А параша не у двери, как обычно, а аж в дальнем углу расположена. И вообще, хата вытянута не от двери к окну, а вдоль стены с дверью. Получается в хате два блатных угла — один с парашей и окном, другой с окном и без параша. Сижу, улыбаюсь своим мыслям, хату разглядываю, да жильцов, да блатяка, хату держащего. В одном трико сидит на шконке, не одной наколки нет, не видать, очки на носу поблескивают.

— Налюбовался? — интересуется зек. Я в ответ — вопрос:

— Что за хата, если не секрет?

А зек морщится:

— Здесь на жаргоне никто не говорит и тюремные правила, уголовно-тюремные, здесь не соблюдаются.

Я в шоке: куда попал, не пойму? Зек, видя мою растерянность, поясняет обстоятельно:

— Здесь сидят люди, осужденные к различным срокам общего режима за расхищения, организацию подпольного производства и прочих, преследуемый по закону, подпольный бизнес. Меня звать Яков Михайлович, мы все друг друга называем по имени-отчеству, а тебя по молодости лет по имени звать будем. По какой ты статье и как тебя звать?

Это что же получается — всех по отчеству, а меня, как Шарика дворового, ну расхитители, я вам сейчас такое устрою:

— Я буду спать на твоём месте, оно мне нравится. Звать меня — Профессор, прошу обращаться почаще и на Вы. Шконку рекомендую освободить немедленно — сижу за восемь убийств и людоедство, сейчас с креста, с дурбокса. Сроку мне дали мало, шесть лет всего, так что до пятнашки можно ещё много зарезать и съесть. Все понял? — выкапываю по блатному глаза и плююсь на Якова Михайловича.

Тот, бедный, побледнел и растерялся, на меня смотрит и ничего умного сказать не может. Откуда то со стороны доносится очень вежливое:

— Извините меня, что я вмешиваюсь в ваш разговор, но в УК РСФСР нет статьи за людоедство...

Я медленно поворачиваю голову к говорящему, до конца выдерживая роль:

— Нет? Так это в УК РСФСР нет. А в УК Марийской автономной области есть.

Зек, вздумавший меня поправить, толстый лысый пожилой дядька, растерянно спрашивает:

— А разве в Марийской автономной области судят не по УК РСФСР?

— Нет. По-своему, там ввели эту статью в связи с участвовавшими случаями. Да и вообще, они собираются реализовывать своё право, заложенное в Конституции — право на самоопределение и выход из Союза. Но своей тюрьмы не имеют, вот и присылают на Новочеркасск, — под дружный общий смех заканчиваю я. Хохочут все: и Яков Михайлович, и толстяк, и я, и вся хата расхитителей.

Насмеявшись вволю, я вновь становлюсь серьёзным и, вспомнив Костю-Музыканта, начинаю по новой:

— Но если серьёзно, уважаемый, то спать мне там, — машу рукой в сторону парашы, — не положняк, а почему — расскажу позднее. Но я не хочу обижать сирот, на киче чаливших по первой. Вот вам, милейший, сколько пасок на венчанье поп с кивалами отвалил?

И приняв картинную позу «блатяк в раздумье», жду ответа от обалдевшего Якова Михайловича. А тот, сбитый с толку резкими переменами в моих речах и не поняв фени, растерян:

— Я собственно не понял вас, Профессор, вы не могли бы повторить?

Я великодушен:

— Землячок! Сколько пасок поп тебе с кивалами на венчанье отвалил? И вообще — ты деловой, в законе? Или от сохи?

— Я вообще-то осужден за организацию пошива джинсов... Подпольное производство. Статья...

Хочочу во все горло, вздох, хата натянута улыбается, я колюсь:

— Да не блатяк я, не уголовник. За политику я, 70-я у меня, но срок точно шестерик и к параше не лягу, хоть убейте. Мне еще с волками жить и выть. Понятно?

Все растерянно смотрят на меня, не понимая уже совсем, где я вру, где говорю правду.

Я беру спичечный коробок со стола и достаю несколько спичек. Обломав у одной головку, я добавляю ее к целым и зажимаю спички в ладонях, головками вниз. Все с интересом следят за моими манипуляциями.

— Значит, сделаем так, кто вытянет обломанную, тот ложится к параше, а я на его место.

— А если я не буду играть в эту глупую игру? — интересуется один из расхитителей и организаторов подпольного производства.

Я любезно информирую:

— Тогда я лягу на твоё место по праву сильного. С тобой я справлюсь.

Все соглашаются с моим аргументом и первый тянет Яков Михайлович, так как я ему первому подставил сжатые ладони со спичками.

Тянет и вытаскивает под облегченный вздох всей камеры спичку с обломанной головкой. Остальные кладут в карман своего жилета, позже я выбросил их в парашу. Там не было ни одной с головкой...

— Не расстраивайтесь, Яков Михайлович, — говорит собирающему свои манатки и скручивающему матрас проигравшему в этой жизни, один из производителей:

— Я к вам буду приходить в шахматы играть.

Яков Михайлович печален.

Я ни тогда не испытывал угрызений совести, ни сейчас. Хотя я и был на воле хиппом, но советская власть загнала меня в большой зверинец, тюрьму, а я не захотел становиться на самую нижнюю ступеньку. Я решил сохранить чувство собственного достоинства. Хотя бы за счет других. Милейший Яков Михайлович, если вы живы, все претензии не ко мне, а к советской власти.

Устраиваюсь впервые в блатном углу. Будет, что братве на зоне рассказывать, как я фанфанычей обул. Ложусь и думаю, надолго ли меня на этот курорт, к расхитителям сунули. Нарушает мои размышления толстый зек, знаток законов:

— Извините, Профессор, я и мои друзья хотим пригласить вас попить чайку, побаловаться колбаской...

Иду баловаться колбаской. Толстый умнеет на глазах. Далеко пойдет.

В этой хате меня продержали всего три дня. Жаль. Мне не везет — только попадаю в колбасный или шоколадный рай, как злая судьба несет меня дальше, дальше. Видно, я странник в этой жизни...

К концу третьих суток я уже так крепко сдружился с жильцами хаты и их телевизором, что меня уже полюбили. Полюбили, как сына. Ведь все были старше и, в среднем, в два раза. Полюбили как непутевого сына с поломатою судьбой. Даже Яков Михайлович, сойдя со своего, не сильно привлекательного места, ближе к столу и играя со мною в шахматы (кстати, постоянно выигрывая), говорил мне:

— Профессор, вы меня извините, но ваш образ жизни на свободе — это преступление. Преступление перед самим собою! Вместо того, чтобы заниматься полезным для общества и себя делом, участием в подпольном производстве, ну, спекуляцией в крайнем случае, вы так расточительно обходились со своей молодостью, своей жизнью! Это возмутительно!

Я соглашался с ним, посмеиваясь и вспоминая с грустью наши бродяжничества в Средней Азии... Эх, золотое время было!... А впереди шестерик разменянный!.. Ну, гады, ну, суки, ну...

Толстого зека звать Иван Сергеевич. Он на воле директором мясокомбината был. В городе Шахты. Видимо, колбаска оттуда. Накрал в запас, знал, что пригодится. Предприимчивый!

Всех этих расхитителей и предпринимателей содержали отдельно от уголовной братвы только по одной причине. Нет, не жалость, — мол, обидят уголовники бывшего директора, отнимут все и опустят. На это администрации по большому счету наплевать. Просто здравый расчет. Эта камера была кормушкой, фермой. Неподкупные новочеркасские дубаки и корпусняки, слава о которых прокатилась далеко-далеко от Новочеркасска, просто доили их, фанфанычей, на жаргоне, доили как коров-рекордисток, получая рекордные надои.

В тюрьме передача положена один раз в месяц в размере пяти килограмм. Пока ты под следствием. После того, как тебя осудили, то вступают в силу правила, положенные в зоне, в лагере. Первая передача-посылка после суда положена через полсрока! Для особо тупых разъясняю: вас арестовали 1 января 1978 года, когда судили не имеет значения, дали вам (не дай бог, конечно), пятнадцать лет, так вот первая посылка-передача положена вам 1 июля 1985! года. Ну, а в этой хате фанфанычи несли два, а то три раза в неделю от корпусного такие сидора, что на вокзале Пика с братвой лопнул бы, но не сожрал! Я таких сидоров больше никогда не видел. И чего там только не было! Скажу одним словом, столь любимым в народе — дефицит! Все, что жрали они на воле, было в этих сидорах, лежало кучами в телевизоре... Да что там говорить — социальная несправедливость и только!

Но тюрьма есть тюрьма. Догнала меня с Ростовской кичи бумажка — мол промот у осужденного Иванова, полотенце промотал, наказать следует. И пошел я в трюм. Холодный, сырой, как настоящий трюм на корабле. И чувствовал я себя пиратом, схваченным в плен. Мне так недоставало общения с расхитителями и их продуктами. Кормили в трюме откровенно, мало и через день. Одна радость — всего трое суток.

На второй день пребывания в трюме меня перевели. Из одного карцера в другой. Какая разница, я не понял. Но кумовьям видней. Но зато у меня появился сокамерник. Все веселее.

Молодой парень, восемнадцать лет только-только исполнилось. Худой, сине-красный от побоев, живого места нет, нос и нижние зубы сломаны. Не выбиты, а сломаны... Брови разбиты, губы в коросте, в крови засохшей.

— Кто тебя так?

— Кумовья с дубаками. Как звать?

— Профессор. А тебя?

— Касьян.

— За что тебя так?..

— Ты че — не слышал? Я с кентом дубака на шампуры одели...

Вот я и увидел камикадзе, посмевшего руку на блядей поднять. Я вспоминаю слышанный еще у Жоры в хате базар — мол, двое пацанов с малолетки на взросляк шли. А в Новочеркасске их менты гнуть стали, битьем крутым в хозбанду загонять... Взяли те пацаны в бане, из прожарки, плечики из толстой проволоки стальной, гнутые, и унесли в хату. Разогнули, распилили об пол асфальтовый и изготовили подобие шпага. Повели хату на прогулку, они и воткнули обе шпаги дубаку...

— А дубак помер?

— Нет, вместе с шампурами умчался, мы его насквозь проткнули, вот он и взвился.

— Били насмерть, да мы не сдохли. Кент за стенкой, суда ждем, раскрутят да на крытую отправят...

Лежу на деревянных грязных нарах, от тусклого света глаза прикрыл. Это же надо — на киче, где террор, где фашисты свирепствуют, на такое решиться... Или сильно приперло, или мозгов не много, не знаю... Может действительно есть люди духом стальные, несломленные, не хитростью уходят от террора, а прямо на него идут. И так я много от ментов поганных зла на Новочеркасской киче видел, так часто по бокам получал, пока не закосил под дурака, что даже не жалко мне тогда дубака было, не жалко. Только жутко — представил я ужас его, коридор закрыт на решку, пока еще второй дубак подкрепление вызовет да решку откроет, две заточки воткнули, а зеков человек сорок... Жутко!

Мы с Касьяном не ссорились. Нечего нам было делить, вот и жили мы мирно, душа в душу.

— Иванов! На выход! — наспех прощаюсь с Касьяном и выпуливаю на коридор, ничего не понимая, мне еще сутки сидеть...

— Руки за спину! Прямо!

Иду прямо, руки сами по выработанной привычке складываются за спиной.

— Стой! — странно, к корпуснику трюма ведут.

— Заходи, заходи, мерзавец! — приветливо встречает меня корпусняк. Представляюсь, смотрю на майора. Сидит без дубины, хорошо.

— Корпусной корпуса, где ты перед карцером сидел, бумагу прислал. Ознакомься.

И лист бумаги ко мне придвигает. Делаю шаг, беру его в руки, читаю. Это постановление на пять суток карцера, к тем трем, что я еще не отбыл. Подписано начальником СИЗО Новочеркасска. А за что? Читаю: терроризировал сокамерников, занял чужое место, отнимал продукты... Так за такую формулировку и расстрелять могут, а мне всего пять суток, и даже не быют. Вот только как менты узнали, что я в хате вытворял? Да не отнимал я, сами давали... Я въезжаю — вот гады, меня увели, а они жалобы накатали. Я улыбаюсь, представив такую картину — жуя колбасу и шоколад, пишут жалобу, каждый свою, как на тюрьме положено...

Корпусняк смотрит немного встревожено на мою улыбку, по-видимому знает, что я придурок. Побаивается.

— Распишись и иди.

Расписался и иду. Назад к Касьяну. А тот улыбается:

— А я думал, опять один сидеть буду. Куда водили, чего грустный?

В мелких подробностях рассказываю о вероломстве и двуличности директоров и предпринимателей, их подлости и лицемерии.

Хохочем оба во весь голос. Насмеявшись, Касьян спрашивает:

— Не хочешь сидеть в трюме?

— Нет.

— Значит, бросаешь меня на произвол судьбы?

— Бросаю.

Хохочем снова. Весело нам, полутемно, сыро, холодно, жрать охота, но весело. Не задавили нас менты, не задавили, гады.

— За батареей обмылок маленький — заглоти, дизентерией ты уже болел, так что тебя на крест сходи. Они эпидемии боятся.

Так и делаю. Ну и противное мыло хозяйственное, после шоколада особенно. Через час ломлюсь на дверь. Дубак подзывает корпусняка, разговариваю с ним с параша, так как не могу слезть:

— Гражданин начальник, я снова усрался, у меня уже дизентерия была, ох, не могу, ох, помираю, слышь, командир, ох, на крест давай, ой, подыхаю, на крест! А, на крест!

И сопровождаю свои слова звуками, которые из-за мыла получают. Ох, и звуки. Касьян от смеха беззвучного на нарах корчился, я чуть не взлетал на параше от реактивной струи и живот по страшному крутило, а корпусняк... Не знаю, не видел через дверь, только слышно было — матерился жутко. Но санитаров вызвал. Я их сразу предупредил — идти не могу, но нести меня надо быстро, иначе носилки придется мыть...

Вот я и на кресте. Как всегда помыли, переодели, на белье белое положили. Лежу, таблеток угольных хапнул, тетрациклин — в парашу.

Хорошо! А потом диету принесли, не жизнь — малина. Хорошо советскому зеку на кресте. Благодать. Немного зеку для счастья надо — не били чтоб, не кантовали, жратва погуще да тепло.

Одно плохо, жизнь у зека, как одежда на особом — полосатая. Темная полоса, светлая полоса, темная, светлая... Так и жизнь — то хорошо, то плохо, то колбаска, то трюм... Видимо, чтобы от однообразия не страдал, от обыденности. Чтобы не приедалась сытость и тепло, чтобы ценил. Вот и цену.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Отлежал я на кресте всего два дня. Мыло вышло, и здоров. Диетой подправился, на бельишке белом повалялся и все. Кончилась светлая полоса, наступила не темная, а такая — серая.

С креста меня на корпус, вещички забрать. Глянул я грозно на притихших расхитителей, наступавших на меня, глянул на телевизор с сожалением, глянул на корпусняка, в дверях торчащего, вздохнул и пошел. Туда, куда повели.

А повели меня вниз. На подвал. Матрац и прочее сдать. Неужели на зону? Все сдал, расписался и на вокзал, поезд свой ждать...

На вокзале том, как всегда, плюнуть некуда. Столько народу напихано, ужас. И малолетки в зековской робе, и подследственные с КПЗ, из своих райцентров. И с тюрем других, районных — Шахты, Батайск, Сальск. И с зон, с одной на другую, из одной области на другую. И с зоны на крытую, и наоборот... Столпотворение всероссийско-союзное — подняли Россию пинками, погрузили в Столыпины и повезли. Куда — хрен его знает! Кого — всех подряд. И правых, и виноватых... Едет Россия, едет. Плачет и смеется, обжирается и с голода подыхает. Бьют ее, обманывают, насилюют, режут, грабят, обдирают...

А она все терпит. А долго ли еще терпеть будет — никто не знает. Россия, русский народ терпеливый. Но когда кончится терпение — страшен бунт народный. Это А. С. Пушкин сказал. Тогда берегитесь, бляди, берегитесь властьдержачие и властьохраняющие! Берегитесь, суки, ой, берегитесь! А пока терпение еще есть...

Посередине вокзала живописная группа в полосатых робах, бороды до глаз. С Кавказа на дальняк едут, на особый-полосатый. Особо опасные рецидивисты, как говорит советский суд. Статья 24 прим. Вид жуткий, как у разбойников, как у каторжан. Жметесь по сторонам первая ходка, страшно ей и жутко.

А блатяки пообтертей, жизнью битые, строгач, наоборот, к ним ближе. Ведь авторитет как светом от солнца отраженным и жулье по-плоше осветит, озарит.

— Слышь, братва, — с ходу, только войдя на вокзал, включается в базар блятак:

— Куда этап? —

— На дальняк, дорогой, на Колыму, — степенно отвечает полосатая, как тигры, братва.

— В чем нехватка, только скажите, мигом соберем!

— Да все вроде есть, — играют в умеренность тигры с Кавказа.

— Так вам далеко ехать, много надо...

И трещат сидора, и дербанится хавка, шмотки, чай, курево, деньги. Много жуликам-рецидивистам надо, ой, много, дорога действительно длинная, сидеть долго, а тут дармовое, бери — не хочу. И берут, раз сами отдают. А попробуй не отдай:

— Ты че, не арестант, у тебя все забрать или сам поделишься?

— Ты че, черт, в натуре, нюх потерял?!

— Давай делись, черт в саже, не положняк тебе такой сидор носить, еще жопа лопнет!

И хохочет братва, и криво улыбается поделившийся, и надменно усмеваются тигры в полосатом, царственно принимая подношения, дань да подарки.

Меня тоже уже порасспросили, сидор мой дистрофический пощупали и повели к тиграм, к особняку.

Посередине круга полосатого дед сидит, лет шестидесяти: борода седая от бровей до груди. А в бороде той лишь глаза сурово поблескивают да рот, полный фикс посверкивает, жуть и только. Подводят, присаживаюсь на указанный сухой смуглой рукой участок пола и внимательно внимаю, понимая, что смех смехом, но круты тигры, круты:

— Ты с Костей-Крюком на кресте лежал, дорогой?

— Да, два дня...

— И как он — не болеет, все ли у него есть, может, нехватка в чем?

Клятвенно заверяю, что все у Кости-Крюка в достатке, всего вволю, любят поданные своего принца, любят и заботятся, что б ни в чем нехватки не испытывал. Покачивает головой главный тигр, явно вор, судя по повадкам. Покачивает и слушает. Выслушав, интересуется:

— А ты сынок по какой?

— 70, политика, шестерик сроку.

Высоко взлетают брови у старого вора, ой, высоко. Замерли жулики, притихли, не вертятся вокруг полосатиков, ждут. Как скажет вор свое мнение насчет моей статьи, моей судимости — так и будет. Похвалит, все в похвалах взвоятся, осудят, не поощрит — беда. Но вор правильной жизнью живет, недаром его на особый советская власть определила, недаром. Вор качнул головой и изрек:

— Оборзели бляди, пацанов за политиков держат, оборзели.

Вот и кончилась аудиенция у принца крови. Вот и удостоился я чести. Но с того приема, с той аудиенции, я поймел выгоду. Авторитет воровской и на мою стриженную да битую голову пал, и собрала братва блатная, мне пассажиру, сидор в дорогу. Этот вор напоследок бросил, мол хилый у меня сидорок-то... И кинулись сломя голову блатяки наказ выполнять. Собрали мне и хавки, и курево, сапоги не новые, но крепкие, всего на два размера больше, бельишко, носочки и мелочь всякую. Хорошо бывать на приемах у воров. Не накормят, так оденут. Все впрок.

Провалился я на поду бетонном, шмутье под себя подстелив, трое суток. Трое суток в этом бедламе, в этом чистилище. Ад впереди. Кричат, ругаются, бьют, насилуют, делиться предлагают, грабят.

...Шум и гам в этом логове жутком...

Лязгнул замок, распахнулись двери:

— Кого назову, суки, обзывайся, бляди, и на коридор, твари.

Орет, перекрывая дум, мордастый прапор с дубиной. И началось. Прощается братва, поехали, когда еще увидимся, и все в шуме, и все в гаме...

— Иванов!

— Владимир Николаевич, 22.10.1958, 70,108, 209, 6 лет общего, 26 мая 1978 — 26 мая 1984 года!

Вылетаю в коридор, получаю, ох, ни хрена себе, забыл совсем, дубиной по спине и бегу по коридору. Спина зудит, голова в плечи втянулась, руками сидор обнимаю, поворот, а на повороте второй прапор и тоже с дубиной... А!...японский городской, ну, суки, ну, слезы глаза застилают, ноги подкашиваются, а вот и двери настезь, там уж и нутро автозак чернеет, проглотить хочет. Ну, а около двери еще один пидар в форме и с дубиной, примеривается. А в уши рев — Бегом! Бегом, суки! Ну хрен тебе, следом еще бегут, если получится — не вернешь назад по новой. Лихо, не останавливаясь, перебрасываю сидор через плечо, держа обеими руками за туго завязанную горловину. Бац, дубьем по сидору и мат в спину. Влетаю в автозак, конвойный распахивает решетку и улыбается. Видно, понравилась молодое солдату лихость моя зековская. Вскочив в нутро автозак, быстро падаю рядом с решкой, на лавку, пока есть еще место. Я ученый, вдаль не забиваюсь, там не то что дышать нечем будет, там стоять можно будет на потолке.

Распахивается и запахивается с лязгом решетка, прибывает народ в автозаке, вот и полон, аж дышать тяжело. Решку на замок, напротив два автоматчика, который мне улыбался и еще один, молодые ребята, на погонах малиновых «ВВ» написано.

Набили нас много, но раньше вообще караул был, братва рассказывает. Еще полгода назад, до моего приезда на новочеркасскую кичу. Был здесь прапор, по кличке «Собаковод». Так он, падла, с помощью злоющей овчарки, так автозак умудрялся набивать, что зеки на головы друг другу залезали. В прямом смысле. А как не залезть, если собака тебя за сраку

рвет... Нет больше Собаководы, зарезали его на воле, нашел свой поганный конец. Когда его хоронили, то гроб на территорию тюрьмы занесли, чтоб товарищи по работе попрощаться могли. Так вся тюрьга свистела и хохотала. За тот свист и хохот да за смерть Собаководы так били братву, что потом все синие были...

А теперь грузят без собаки. Плотно, но терпимо. Только дышать тяжело.

Лязгнули ворота, хлынул в темный карман солнечный свет и поехали. Поехали, братва, поехали, на зону поехали! Зона не воля, но страшней Новочеркасска только фашистский концлагерь да и то в советских фильмах. А там я думаю, брехни много, в фильмах тех. Едем. Сiju терпимо и радуюсь. Не удалось напоследок дубаку по мне врезать. По сидору попал. Ну фашисты!..

Привезли на Ростовский вокзал. Но не к зданию, конечно, не к залу ожидания, а по путям потрясли, попетляли и приехали, дверь автозак распахнулась и за решкой появился старший конвоя, старлей, высокий, без фуражки, ворот у рубы расстегнутый, галстук на зажиме болтается. Ну такой домашний... Сел, подвинув автоматчиков, разрешил курить (хотя не положняк), сам закурил и начал, зачем пришел:

— Конвой в столыпине вам неудачный попался, злобный, ничего не купите, а у меня и одеколон есть, и водка. Одеколон по червонцу, водки по четвертаку — налетай, не хочу. Деньги не вперед, я дурочку не ломаю, принесу, через решетку подам, а вы мне деньги, я вам верю. Ну, чего сколько нести?

Молчит братва, сообщает, на волю через решку глядит, старлей дверь не захлопнул. Выдернуть из автозак не может, не имеет права, значит шмон отпадает. Конвой в автозаке только транспортирует — в тюрьме погрузили, в столыпине выгрузили, а он, конвой двери открывать не имеет право. Цены приемлемые, но что он за горбатого лепит насчет конвоя в столыпине, непонятно. Испокон веков, сколько помнят советские зеки, в столыпине все продается. И покупается. Старшой конвоя на этом миллионы делает, как молва гласит. Лучше подождать.

Но один не выдерживает, черт из колхозников, в автозаке все с первой ходкой, но не все одинаковы, есть и малолетки с тремя судимостями (бывшие конечно малолетки), есть на воле со шпаной да уголовниками знались, а есть черти из колхоза да с заводов, за хулиганку да за кражи мелкие. Вот один и из угла темного не выдерживает, а вдруг летеха правду базарит, голос из-за спин подает:

— Неси, командир, один фуфыр одеколону за чарвонец.

Ушел и сразу пришел старлей, в кабине взял. Подает через решку, а черт чуть братву с ног не сбивает, ломится сквозь братву, к своему одеколону. Потеснилась братва, пропустила покупателя. Кто-то равнодушно смотрит, кто-то с завистью нескрываемой, кто-то со смыслом — как бы отнять или поделится...

— Пей сразу и флакон назад, — командует старлей-продавец, забирая неизвестно откуда вытасченный чарвонец.

Черт откручивает пробку и опрокидывает флакон над запрокинутой головой, прямо в горло. А дырка у флакона маленькая, трясти приходится, чтоб скорей лился. Обжигает тройной чертячью глотку, слезы бегут, тесно, жарко, хотя октябрь. Никаких условий для культурного распития одеколона «Тройной» советскому зеку.

Осилил черт, видать закалка с воли, осилил, отдал флакон старлею и привалившись к решке, сполз на пол с умильной улыбкой — ох, хорошо на свете жить! Много ли для счастья советскому зеку надо? Немного бухнул трояншки и не так тягостно стало!

Улыбается командир, подмигивает братве на черта, мол, как его, поволокло! А!

Предлагает:

— Ну, зеки-уголовнички, кто еще желает причаститься? Чарвонец не деньги, а как хорошо!

Молчат зеки, свое мнение имеют. Хорошо-то хорошо, а как в столыпин пьяным грузиться, под молотки попасть можно.

Посидел старлей, покурил-подымил, видит — несговорчивые попались или без денег. Сплюнул под ноги:

— Ну черти, я такой нищий этап еще не возил!

И пошел себе. И автоматчики вылезли. А дверь захлопнули, мол, раз нет денег, то на хрена вам воздух свежий, потом подышите, на зоне. Блатякам-же этого и надо. Навалились на черта:

— Ты че чертила, блатные сухие, а ты в дымину? Где чарвонцы сховал, падла? Доставай, а то отдерем, мразь!

Перетибают палку блатяки, да кто им судья, кто им на то укажет. Не по правилам, тюремным, так некогда, скорей надо, нет времени рассусоливать. Хлесть по рылу, хлесь, хлесь! Черт колхозный и отдал заветное. Три чарвонца. Красенькие, хрустящие. Поделили блатяки деньги, всхлипывает пьяный — и денег жалко, и морду. Все как на воле — и выпил, и морду разбили.

А тут и конвой стольпинский пришел, собака залаяла, старший конвоя кричит, оцепление видно выставляет:

— Семекин, бери чертей нерусских штук пять и там встань. Ложкин с тремя чурбанами сбоку прикрывай.

Стратер!..

— Выводи этап!

Наконец-то! На солнце посмотрим, братва, воздухом подышим. Может девок увидим! Красота! Поезда-то нету, а нас на улицу, видать нужны автозаки, нехватка их у Советской власти. А нам-то в кайф!

Выпрыгиваю, сидор в руке, на свою фамилию обзываюсь полностью, скороговоркой. И — в строй, да не с краю, а в серединку. Подальше от начальства — бока целее. Верчу головой — воля! Слева поезд пасса-

жирский стоит, люди к окнам прилипли, вроде и девки есть, без очков плохо вижу... К окнам люди прилипли, смотрят. Справа — пути, пути, за ними деревья, строения какие-то. Воля, братцы, воля!

Но вокруг, цепью, широко расставив ноги, солдаты стоят, на нас автоматы направив. Все больше смуглые, узкоглазые, хотя и обычные морды попадаются. А вон с поводка и собака здоровенная рвется, слюни пускает, порвать хочет. От злости, от злобы не лает, лишь хрипит. И собака туда же. А автозаков целых три, разворачиваются, уезжают, это ж сколько братвы нагнали, человек сто пятьдесят, в столыпине не продохнешь, плюнуть будет некуда.

А люди в окна поезда все пялятся и не могу я без очков понять: сочувственно смотрят на стриженных худых зеков или со злобой. Все же в их глазах мы все преступники — и виноватые, и невиновные, и воры с хулиганами, и аварийщики да бомжи. Все зеки, все одинаковые.

— Садись! — раздается новая команда и колонна опускается на корточки. Кто поумней, неизвестно сколько сидеть придется, на сидор примаскивается, с удобством устраивается. Я следуя этому примеру и, усевшись, верчу головой. Вокруг оцепления длинный капитан ходит, старший конвоя. А столыпина еще нет.

Проводник пассажирского поезда, открыв дверь на нашу сторону, но не опуская подножки, встал в проеме и закурил. Лет тридцати с небольшим на вид и видно, совсем не голодает. А наоборот. Перрон широкий, мы по пять в ряд меньше половины занимаем, от него солдатами с автоматами отделены, вот он и решил покрасоваться.

Из толпы зековской кто-то крикнул:

— Дай закурить, браток!

А рыло это сытое, в ответ:

— Не положено!

Тут зеки и взвились. Ты ж не мент, гад, скажи не дам, не разрешают менты поганые, а то не положено! Ну, сука, ментяра, держи! И полетело из зековской толпы такое, что качнуло не только проводника, а и поезд:

— Сука! Жопу покажи!

— Ах ты, блядь, московская!..

— Пропадло ложкомойное!

— Козел драный!

— Пидар разорванный!

Да матом стоэтажным да со злобой такой, что кажется — поднеси бумагу, вспыхнет... Давно уж проводник скрылся, за дверями спрятался, капитан охрип, зеков пытаясь утихомирить. Ничего не помогает, кипит злоба, бьет, ищет выхода и не находит, не может найти, а найдет — беда будет!

Потушили пожар злобный люди. Из пассажирского поезда. Кто-то открыл окно и пачку сигарет швырнул, прямо в толпу. Поймали зеки пачку, поделили по братски. В этапе так принято...

Пооткрывались другие окна и полетели в зеков курево, хлеб, колбаса и разное другое. Сострадательная Россия делилась и кормила своих непутевых сыновей. Люди жалостливые от души делились с теми, кто еще вчера гробил их, обкрадывал, убивал, насиловал... А может понимали люди, что не все виноватые, есть и безвинные... Да и пословицу все знают — от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Сильна Власть коммунистическая, любого загнать в тюрьгу сможет — и правого, и виноватого. А даже и если виновен... Так что ж, не убивать же тебя, свой же ты, кровь и плоть, наш же ты, из народа!

И летят в толпу стриженную хлеб, яйца, помидоры, яблоки... Швырнул кто то бутылку пива да капитан отнял сразу, видно тоже пиво любит. Жратву с куревом не отнимали — куда там! Подпрыгнет зек, на лету хапнет милостыню и вниз, в толпу, на корточки. Голову нагнул и найди его, попробуй. Все стриженные, все оборванные, хорошую одежду мен-ты на тюрьге скупил за бесценок, задаром... А зек пойманное поделит, подербанит и всем, кто вокруг, раздаст, но и себя не забудет.

Я хоть и без очков, но увидел, как летит огромный батон, да вроде в сторону. Не дожидаясь окончания его полета, взвился я, как баскетболист и вырвал, выхватил батон тот из воздуха да на место упал. Голову вниз, батон на куски: держи братва, держи. Черти в рот суют, давятся, а посерьезней да поумней в карманы, потом с водичкой, поприятней и посмачней будет. Батон тот был с изюмом, с корочкой поджаристой... Хороший батон, увесистый, на четверых хватило.

Устал капитан, не может безобразия неположенное прекратить, не слушают его вольные люди, не указ он им. Насел на проводника, мол не закроешь окна, я твоему начальству, а оно тебя...

Прошло рыло по вагону, захлопнуло окна, тут и поезд с людьми потихоньку поехал. Замахали люди, прощаются. Прощайте!

Наш поезд подали через час. Еще час мы обсуждали мягкость людей, их милосердие.

На тюрьме блатные не любят работяг. Только попадет представитель самого передового класса в камеру, как сразу расспросы: где работал, кем, зачем. Я до Новочеркасской тюрьмы не понимал, чего это блатные, так пролетариат не влюбили. А на Новочеркасской тюрьме понял и сам не то, чтобы возненавидел, нет, а скажем так — понял я интерес и не любовь блатных люмпенов к рабочему классу, его представителям, понял и разделяю. Не люблю я пролетариат. Не люблю. Я хиппи, тунеядец, люмпен и не за что мне любить пролетариат. Более того, хотел бы я в глаза одного из представителей самого передового класса взглянуть. В глаза взглянуть того рабочего, который на свободе, добровольно, не за страх, а за совесть резиновое изделие номер не знаю, изготавливает. И не просто изготавливает, а план перевыполня-

ет, встречный принимает, страну дефицитом заваливает. Взглянуть в эти глаза и потребовать ответа:

— Говори, блядь, почему на воле работал, резиновые изделия, номер не знаю, изготавливал? Ты что, тварь, мразь подколотная, ложко-мойник дранный, падла, сука, мать твою в жопу, в бога, душу, пидар...

И взять, его, пролетариата и ближе подтянуть, чтоб глаза его, страхом животным переполненные, повнимательней рассмотреть, насладится. У, мразь, ненавижу!

Так как изделия эти не гандоны, стыдливо коммунистами «презервативы» обозванные, и не галоши, по лужам гулять!

А дубинки резиновые, которыми меня по бокам, спине да голове дупили! И не меня одного, но мне от этого не легче.

Взглянуть, тряхнуть и блатным отдать. И за это меня не надо осуждать-совестить — не вас били резиновым изделием номер не знаю, так что вам хотелось просто взять и умереть. И не надо мне говорить, что мол дети у него есть хотя и работа такая. Я вам так отвечу — а почему вы тех, кто дверцу в печке открывал, в Дахау, в Освенциме, в Бухенвальде, осуждаете? А?! Ведь у них тоже дети жрать хотели и работа такая?! Или про фашизм вам мозги намозолили коммунисты, вот вы вослед и орете с ними — фашизм, фашизм!.. А если бы защитников этого пролетария, который план по резиновым изделиям перевыполняет, взять да дубьем по яйцам, да по бокам, да по рылу, да по жопе, да с оттягом, да по зубам, да...

Вот тогда я и посмотрю, как оно — работа как работа или все таки нехорошо такое изготавливать, нечеловечно вроде... А?!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Подали наш поезд через час. Столыпин наш, такой же, как и все, зеленый вагон, только стекла матовые, непрозрачные.

— Приготовиться к посадке! Всем встать, вещи взять! Кого назову — обзывать полностью и в вагон! Начали!

Крик, шум, протискаваюсь вперед, слышу знакомое:

— Иванов! — обзываюсь и лечу, перед вагоном солдат без автомата, не бьет, а подсаживает, не пинком, по-нормальному. Красота! Из тамбура в вагон дверь нараспашку, второй солдат и тоже не буцкает, а просто дорожку показывает, чтоб не заблудился. А куда здесь заблудиться, некуда и негде! Прямо по проходу, мимо решеток, за которыми отсеки, купе. Я первый раз в столыпине, притормаживаю понемногу, любопытствую. Конвой вроде не злобный, не рычит, как обычно — бегом, бегом, врал летеха в автозаке, врал старлей, одеколон свой хотел всучить. Незлобный конвой, так куда торопиться, жду, гляжу. По проходу окна, стекла матовые, решет-

ки. Напротив отсеки, купе, между собою стенкой железной отделены, а от прохода решеткой, а по другой стене, в купе, окон нет. Глухо, как в танке.

— Шевелись, че как в штаны насрал, ползешь! — дождался я, — стоит рыжий солдат, морда широкая, плечи догоняет. Орет, а глаза хитрые.

— Бегу, бегу командир, — изо всех сил делаю вид, что спешу. Солдат мне решку, как швейцар открывает, чтоб не утруждался: прошу. Вхожу, решка за спиной лязгает и крик:

— Следующий!

Конвейер в действии, изделия едут на производство.

Оглядываюсь с любопытством, здороваюсь с братвой. Внизу две шконки деревянные. Как в обычных вагонах. Наверху, под потолком, тоже две, как обычно. А посередине — две полки, только к одной на петлях третья приделана и она, третья, от первой до второй полностью отсеком перекрывает. Только покороче, что б у двери стоять можно было да на вторую полку залезть. Туда и залезаю. Тем более сверху советуют:

— Залезай сюда, браток, внизу затопчут.

Закидываю сидор и залезаю. Напротив решка, не простая, а фигурная, из нержавеющей. Эстетика.

Наверху трое, двое явно блатяки, третий случайный, мужик-пассажир, так же как и я. Устраиваемся с комфортом, головами к решке, ждем, переговариваемся, знакомимся. Все как обычно. Но впереди зона!..

Набили столыпин битком. В нашем отсеке на багажных по двое мостятся, внизу вообще сидят на полках по четыре, да на полу шесть. Ну и нас посередине пятеро. Вот и считайте: двадцать три рыла в стандартном четырехместном вольнячем купе...

Внизу тесно, плюнуть не куда. Там черти, им положено, по написанным тюремным правилам-законам. Выше публика почище, поэтому и не так тесно. Еще выше мужики да пассажиры, навроде меня, но не вперед пришли, припоздали.

Поехали! Застучали колеса, дернулся столыпин и поехали! Впереди зона, неизвестность, но после Новочеркасска мне ничего не страшно. Живы будем — не помрем!

Только отъехали, заголосила братва: на opravку давай, на парашу. Вышел на коридор-проход капитан, здоровенный, толстый, форма так и лопается, вышел и рывкнул на весь вагон:

— Слушай меня! Сейчас раздадим рыбу, сахар, хлеб. Затем opravка. Следующая через два часа. Кто раньше захочет — пять рублей! После opravки — вода, чтоб срать хотелось. Годится?

Кричат зеки, мол воду вперед. Согласился капитан и начался водопой. Солдат бачок несет и на решку его вешает, за крючки. Да так ловко, что у бачка плоского, кран в дырку решетки попадает. В нашем отсеке одна кружка на всех, у одного мужичка с багажной полки. А внизу

аж три петуха и тоже пить хотят. Хохоchet братва, хохоchet капитан и советует ладони подставлять. Ковшиком. Весело.

После водопоя оправка. Один солдат решку открывает, другой возле сортира тебя встречает. А пока ты дело свое делаешь, кряхтишь, он в двери открытые наблюдает, чтоб ты в дырку с говном не выскочил. Бдительный. Сделал свое дело, и назад, за решку. А по проходу идешь, чисто зверинец, в клетках зверей везут. Навстречу тебе уже следующий бежит-торопится. Так конвейером и посрал весь вагон.

После оправки раздача пайки началась. Мы с середины от рыбы дружно отказываемся — соль голимая да еще жир с нее капает, как черт будешь. Хлеб и сахар получаем и кружком усаживаемся, отобедать. Мужики сверху к нам просят, Кривой, блатяк, шутит:

— Ну если прошлое не замарано и сидора полны — то присусеживайтесь, — и хохоchet. Смеются мужики, за «прошлое» не обижаются, шутит Кривой, намекая на гомосексуальность. Нет еще ее у мужичков, может впереди светит, а сейчас нет. Чисты, как слеза, как лист протокола, неисписанного.

Хаваем дружно, наперегонки, аппетит отменный и ничто советскому зеку его не испортит: ни молотки, ни теснота, ни неудобства. Похавав, закуривает братва, хоть и неположняк. Весь столыпин дымит, как будто пожар. Капитан смеется:

— Пожар делаете — я выскочу, вы сгорите!

И хохоchet братва вместе с веселым капитаном, ой, веселый нам начальник конвоя попался, хохоchet, хотя плакать впору, действительно, выскочит, если что. И раньше такие случаи были, и еще сколько впереди будут. Братва сторит, конвой спасется.

Веселый капитан, веселый и добрый. Приказал солдату на коридоре, окна все открыть, опустить. И притихла братва, засмотрелась на степь золотую, убегающую вдаль, на мелькающие деревья, все в красном и желтом... Все ярко и красиво, ноябрь на дворе, а дождей еще не было. Бабье лето!.. И грустно братве, и печально...

Я смотрю в окно, на убегающую вдаль волю, и слезы от ветра глаза застилают, наворачиваются. Вспомнил я, что день рожденья было недавно, да забыл я о нем. Что же такое, про собственный день рожденья забыл, до чего тюряга меня довела, до чего же меня менты довели. И обидно мне, и горько...

А на коридоре снова капитан мордастый кричит, не успокоится никак:

— Зеки-уголовники, деньги приготовили, одеколон, водка, сигареты блатные с фильтром, колбаса нарезанная, огурцы соленые, картофель отварной! Все как в лучших домах, все как в лучших ресторанах! И расценки ресторанные, нищету прощу не беспокоиться!

Оторал веселый капитан и к себе в купе скрылся. А солдаты забегали по вагонам, разнося заказываемое. Вот и к нашему отсеку морда при-

шла, рыжая да знакомая. Он нам решку при посадке открывал, чтоб не утруждались.

— Что будем брать, уголовнички?

Совещаются блатяки, рядом со мною сидящие, меня пытаются — имею бабки или нет. С сожалением отвечаю — нет. А жаль...

Несет солдат мордастый заказанное, решку ему другой отпирает и принимают покупатели сразу наверх, на середку золотую. Черти внизу носами повели да слюну сглотнули: хорошо. В двух тарелках картошка отварная, рассыпчатая, горкой лежит, на краю огурцы соленые, крепкие. Две бутылки водки.

— Слышь, мужик, давай кружку.

— А на стенках останется? — спрашивает мужичок с багажной, с готовностью подавая требуемое.

— Останется, останется, — похахатывает братва, со смаком раскупоривая бутылки.

Отворачиваюсь лицом к стенке, чтоб не видеть происходящее. Денег-то у меня нет, что глядеть, как другие веселятся.

— Слышь, Профессор, — тыкает меня в бок Кривой: — А ты че, не хошь что ли?

Принимаю с благодарностью кружку поллитровую, алюминиевую. А в ней пальца на два прозрачной влаги. Оглядываю рожи уголовные, на меня весело глядящие.

— Ты че грустный, Профессор?

— На днях день рожденья был, а я забыл...

— Сколько стукнуло?

— Двадцать лет...

— Именины значит, а не просто пьянка! Держи подарочек! — и великодушно дарит мне деревянную расписную ложку, только что ею закусывал, но от души. Беру ложку, цепляю ею картофель и говорю:

— Будем толстенькими! С днем рождения, Володя!

Я глотаю водку. С навернувшимися слезами. Видно слезы те от водки, крепка зараза. Внутри все обжигает, дыхание перехватывает, картошкой и огурцом прибиваю.

Вот и на жизнь смотреть стало веселее, не так паскудно.

— Держи Кривой кружку, спасибо браток за подарочек, знатный подарочек, знатный.

Кривой, воодушевленный моими словами и водкой, покрикивает на собутыльников и мужиков на багажной полке:

— Слышь, братва! У братка, одного из нас, день рожденья, именины. Подарочек надо, подарки, не жмитесь, дарите, давай дари!

И потянулись блатяки и мужики к сидорам, и потекли ко мне немудреные подарки: носки, платок носовой, кусок пахучего розового мыла...

— Спасибо, братва, спасибо!

— Эх, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец! — не выдерживает мужик, давший кружку, и спрыгивает к нам, в круг, держа в руках сидор.

— Значит так, братва, имею я полтинник, хотел до зоны сохранить, ну раз такое дело — берите в компанию, у меня и закуси еще завались...

Эх лихость народная, от нее и беды, и удачи! Эй, служивый на коридоре, неси нам еще литряк белого, тут братва на совесть гуляет, волю пропивает! Эх, гуляй, братва, от рубля и выше...

Напились мы всмерть. Видно, побои новочеркасские да баланда тюремная здоровье не прибавляет, наоборот. Напились и давай на весь вагон орать:

— Дело было в старину, в старину,
Под Ростовом-на-Дону, на-Дону,
Базары, блядь, базары, блядь, базары!..
И в первый раз попал в тюрьму
Я под Ростовом-на-Дону
На нары, блядь, на нары, блядь, на нары!..

А в след за нами — и весь вагон! А потом следующую песню, да следующую, да следующую. Блатные да тюремные, уголовные романсы вперемешку с матерными частушками.

Только затихнет в одном углу:

— Я черную розу — эмблему печали,
В тот памятный вечер
Тебе преподнес...

Как из другого уже гремит:

— Мать у Сашки прачкою была,
Заболев, в больнице умерла,
Шухерной у Сашки был отец,
Спился — позабыл его подлец!..

Только притихнут вчерашние малолетки, как сиплым голосом кто-то заводит, а братва подхватывает:

— Мы бежали по сопкам,
Мы бежали на волю,
Мы бежали где солнца восход!
Дождик капал на рыла
И на дула наганов,
Нас ЧК окружило,
Руки в гору кричит!
Мы бежали на волю,
Мы мечтали о воле,
Те мечты растоптали
Конвоира сапог!..

Так и доехали до Волгодонска. Шесть часов художественной самодеятельности. И конвой не мешал; пусть поет зековская братва, пусть. Напилась нашей водки, накипело, воли еще не скоро увидит, так пусть напоемся вволю, в песнях тех душу отведет. В простых народных тюремных песнях...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В проеме стоит майор, корпусняк. Невысокий и без дубины. Ехали минут сорок и... лязгнули ворота, впуская наш автозак в карман, лязгнули вторично, отрезая нас от воли. Все, приехали братва, Зона!

Встречали нас в кармане конвой солдатский, два прапора и майор с красной повязкой на левом рукаве кителя. На повязке буквы «ДПНК».

— Выходи по одному!

Выходим, хотя многие даже стоять не могут. Светит не по-осеннему солнце, но не жарко. Глянул майор на качающийся строй, плюнул себе под ноги:

— Опять пьяный этап приехал! Кого назову — обзывайся и сюда выходи!

Слышу свой фамилию, иду покачиваясь, волоку сидор.

— А обзывается я буду? — грозно вопрошает майор. Я вяло произношу требуемое от меня и занимаю указанное место. Рядом со мною становятся еще зеки, еще... Вот и все. Нас человек тридцать, качающихся человек пять и четверо лежат навзничь, как убитые.

— Взять их под руки! — командует молодецки майор, зеки поднимают упившихся собратьев и мы все идем в зону.

Ворота с лязгом отъезжают, пропуская нас и с лязгом закрываются. Зона!

Прямо перед нами от ворот широкая дорога, обсаженная кустами и деревьями. Длинною метров сто. Упирается она в ворота, но решетчатые. Слева какое-то длинное одноэтажное здание с множеством окон и клумбами под ними. Справа три небольших домика, майор и прапора ведут нас к среднему. Над дверями огромная вывеска «Баня». Это хорошо.

В предбаннике нас ждут. Три зека с хоз.банды. Один в белом халате и электрической машинкой для стрижки волос жужжит. Двое других с мешками огромными, битком набитыми. Майор командует:

— Постричь, побрить, помыть, переодеть! Чтоб не походили на анархистов, — и указывает на меня, в клешах и тельняшке.

— Да по сидорам не лазить! — грозит хоз.банде майор: — Морды набью, хоть одна жалоба. Ясно?

— Да, гражданин ДПНК, ясно, — без воодушевления тянут зеки. Видимо собирались загулять. У, суки!..

Сажусь на крашенный табурет, стригут то, что отросло. Бреюсь, скидываю без сожаления шмотки (голову потеряю, по волосам не плачут) и, взяв мыло, ныряю в баню. Под холодной водой голова яснее.

Вернувшись, одеваю трусы, майку, зековскую робу: серый, из плохой тонкой хлопчатобумажной ткани рабочий костюм, на голову пидарку — тряпичную кепку, похожую на те, что оккупанты-фашисты носили. От ботинок отказываюсь, брюки поверх сапог напускаю, на всякий случай. Расписываюсь в таблице за полученное. Вот я и зек...

Все постриглись, помылись и так далее. Майор ведет к другому домику, второму. Над дверями тоже огромная вывеска, явно почерк того же умельца. «Каптерка» — тоже ясно. Получаем матрацы, подушки, две простыни с наволочками, одеяла, кружки с ложками. «Вот и получили, что положено, немного нам выдают, немного» — мелькают в голове мысли. Прерывает их майор:

— Гомосексуалисты есть? Петухи, петушки, курочки? Чтоб потом неприятностей не было, с жалобами не прибежали? А?

Трое выходят, понуриив головы. Тяжкое это дело, быть пидарасом в советской тюрьме, тяжкое и страшное. Майор записывает фамилии и ведет нас дальше, с прапорами. К длинному зданию с клумбами. Подходя ближе, вижу разную коммунистическую агитацию на фанере. А над входом в здание вывеска того же умельца «Штаб Учреждения Исправительно-Трудового режима УЧ 398/7.»

«Семерка» — всплывает в голове все слышанное о ней. Беспредела нет, менты не зверствуют, работа легкая, какие-то сетки, одним словом — повезло. Ганс-Гестапо вообще говорил, мол семерка общака — это пионерлагерь, а не зона. Только и смешное о ней, о семерке, рассказывал Ганс-Гестапо. Ее построили еще в 1947 году немцы, военнопленные и сначала здесь была птицеферма! И смех, и грех! Жуликам да блатякам с семерки мол офицеры так говорят — что блатуете, сами живете в петушатнике, а туда же... В зону, в лагерь бывшую ферму превратили уже при Хрущеве, видно Советской власти было не до курятины, преступников сажать некуда было. А без курятины и обойтись можно.

Загоняют в коридор с дверями по обе стороны. Садимся на матрацы.

— Не курить! — раздается грозное. Хорошо мне, не курю.

Сначала дернули тех четверых, что идти не могли, без вещей. Больше мы их не видели, матрацы и все остальное так и остались лежать в коридоре. Позже я узнал — пятнадцать суток ШИЗО (штрафной изолятор). Следом петухов и тоже без вещей. Кто малолетку прошел, разъясняют — распределение. Вышли петухи, вещи подхватили и в сопровождении какого-то зека, одетого в хороший черный костюм, начищенные сапоги и пидарку не фабричную, ушли. Дальше началось как обычно. По алфавиту. Майор ушел, прапора стоят, за порядком смотрят.

— Иванов! — выкрикивает, выглянув из кабинета, какой-то зек. Иду, легкий холодок, хотя чего мне бояться, просто меня не каждый день распределяют в Зоне!

Захожу, представляюсь, у стен офицеры сидят, курят, на меня с любопытством смотрят. За столом толстый полковник среднего роста, с легкой седinou и толстой бритой мордой. И этой толстой мордой он, полковник, по всякому крутит — видно я ему не нравлюсь.

«Начальник колонии» — соображаю я.

— Карцеры, драки, соучастие в опускании... Ты что, блатной?

— Нет, гражданин начальник, человек.

— Ну, мы это у тебя выбьем!

Молчу, что скажешь бритой морде.

— Вопросы к осужденному есть?

— Да, — встречается в базар какой-то майор:

— Почему щуришься, зрение плохое?

— Да, гражданин начальник, минус 5 диоптрий на оба глаза.

— Очков нет?

— Нет, на Новочеркасской тюрьме разбили.

Какой-то глупый капитан с интересом спрашивает:

— Кто разбил?

Я ехидно отвечаю:

— Правду сказать или соврать?

Награда — дружный смех над глупым капитаном. Ну и вопросы придуток задает. Насмеялись, снова стали серьезные.

— Значит так. Второй отряд к лейтенанту Пчелинцеву. Но если какие разговоры о политике вести будешь — не поздоровится. Мы очки бить не будем!

Ухожу под дружный смех офицеры, радующихся шутке начальника.

Выйдя на коридор, сообщаю вслух:

— Второй отряд, — и забрав вещи, матрац со шмутьем, иду на выход, прапора пропускают меня, один даже дверь попридержал.

Зона! Иду по дороге к решетчатым воротам. Калитка открыта, а в будке рядом с нею, зек с красной повязкой. Мент, козел, сэвэпэшник. Прохожу мимо, он с любопытством смотрит, но молчит. Видно выражение моей морды не располагает к дружеской беседе. Сразу за калиткой дорога прямо идет и влево. Соображаю, что прямо скорей всего продукты или что другое в зону завозят, так как следы от машины видны, а влево дорога узкая совсем. По ней и иду. Слева забор деревянный, метров пять высотой, белым выбелен. Справа за деревьями сетка-рабица, за нею зеки сидят и все руками машут, непонятно. За зеками барак белеет, вон и калитка. Сворачиваю к ней. Чудеса — столбы есть, а калитки нет. Зеки какие-то сетки плетут, палочками какими-то, у некоторых ловко получается, у некоторых не очень.

— Привет, братва! Где второй отряд?

— Прямо по дороге, а ты откуда, земляк?

— С Омска...

— Ох, ни хрена себе, закурить нет?

— Не курю, — отвечаю полуправдой, так как лезть в сидор за табаком далеко.

Шагаю дальше, дорожка к калитке запертой подходит, а за нею не-большой домик, с вывеской ОГРОМНЕЙШИХ размеров «Магазин». А если направо свернуть, то дорога идет вдоль длинного барака. И дальше барак какой-то и в стороне. Непонятная планировка, со временем изучу, шесть лет впереди...

— Привет братва! — останавливаюсь у первого проема в сетке, так как и тут калитки нет.

— Привет, привет, коли не шутишь.

— Не шучу, где второй отряд?

— Здесь, земляк, заходи — вместе жить будем.

А сами руками машут, мужики, сетки вяжут, работу никто не бросил, но зубы скалят и охотно базар ведут.

— Какой этап был — пьяный?

— Ой, пьяный, братва, голова еще гудит!

— То-то глядим, что под матрацам вихляешься. А сюда с Новочеркасска?

— Оттуда, от фашистов...

— Значит по прежнему свирепствуют?

— Меньше, там одного дубака на шампур одели, задумались, но в общем-то все по-прежнему, — бросаю матрац, рассказываю подробности. Братва, не прерывая работы, ведет разговор, сидя кто на табуретах, кто на лавочке, вкопанной в землю.

— Ну я пошел. Кто тут местами ведает?

— К старшему дневальному, к Филипу, он и положит тебя.

Иду в барак, протискиваюсь в двери с матрацем и сидором. Вот я и «дома»...

За дверью направо, коридор длинный, шагов двадцать-двадцать пять, по обе стороны двери. Правда не как в штабе, но все же хватает. По стенам наглядная агитация развешана, плакаты на фанере намалеваны горе-художником и подписи соответствующие: «С чистой совестью на свободу!», «Тебя ждут дома!», «Папа, вернись!», «Алкоголь — яд!», «Преступность — паразитизм на теле народа!».

Ужас и только! А где же сам барак: шконки, братва... Из ближней двери, настезь распахнутой, выглядывает рослый жилистый зек, лет сорока, с жестким рылом. Одет в хороший рабочий костюм и не серый, как нам выдали, а черный. На рукаве левом пришит тряпичный треугольник и такая же полоска ниже, и на обоих какие-то буквы. «Мент» — вспоминаю рассказы братвы о «лантухах» (нарукавные знаки).

— Чего встал, проходи, — грубо, с рыком приветствует меня зек-мент, для начала решаю не заметить.

— Старший дневальный Филип где?

— Не Филип, а Филипенко! Это я. Ты с этапа?

— Да, где есть свободное место?

Иду с ним по коридору, он успевает расспросить — откуда, статья, срок. Распахивает левую дверь в самом конце коридора — заходи. Ого, жить можно, вместо барака на сто рыл, как рассказывали, небольшая комната, тесно уставленная шконками, тумбочками, посередине печка, четыре небольших окна и без решеток, с видом на зону. Красота!

— Сема, я к тебе тут пассажира привел, за политику, с этапа...

Ишь, голосок мягкий стал, как с блатяком разговаривает. Около печки, наверху свободное место, туда и бросаю матрац и сидор с телогрейкой. Иду в блатной угол, куда Филип говорил. Сейчас я устрою театр одного актера, ух, какой театр!

Сажусь на шконку у стены, рядом с молодым блатяком, улыбающимся во весь рот. Улыбаюсь ему так, как будто брата родного встретил. На шконке напротив еще двое сидят, но эти смотрят настороженно. Внимание, начинаем представление!

— Привет, Сема! Привет братва! Меня зовут Володя-Профессор, по семидесятой основной, шестерик срока, мужик по этой жизни. Я о тебе на киче слышал, Сема, много и хорошего, один блатяк, авторитетный, со строгача, в транзите, так прямо и говорил, мол попадешь на семерку, есть там Сема, мол, правильный жулик, малолетку правильно прошел, — это я по наколкам прочитал, но чтоб не попасть впросак, плету, плету, плету горбатого, рассказывая о Косте-Музыканте, Гансе-Гестапо, Косте-Крюке, называю еще охапку слышанных кликух...

Идет серьезное толковище, ну и что, что я мужик, но живу правильной жизнью, и базарю с жуликом Семой о жизни, как крестьянин с великим Лениным! Филип давно исчез, понимая, что ему здесь делать нечего.

Наговорившись, иду устраиваться на выбранном мною месте. Так и живут в советских тюрьмах, кто похитрей. И поймать меня невозможно, где тот блатяк, правда вперемешку с враньем. Но в кайф Семе, нравится. Значит, правда.

Стелю постель и слушаю, как счастливо смеется Сема:

— Сему и на киче строгач знает, так-то братва!

Поддакивают, подсмеивается двое семьянинов Семиных, Крот и Пашок. Весело им и хорошо. Это главное, что я людям радость доставил и себя не обидел.

Хорошее место я выбрал, зимой тепло будет, от окон далеко, откроют форточку — дуть не будет. Спрашиваю Сему (это кличка), указывая на ближнюю тумбочку и получаю царственное разрешение. Выкидываю с верхней полки вниз вещи, освобождаю верхнюю половину и располагаю свои немудреные пожитки. Сидор — под голову, сверху подушку, в ноги телогрейку. Лежу на шконке и кайфую. Хорошо! Никто никуда не

дергает. Никто никуда не гонит. Много ли зеку для счастья надо? Немного — не кантовали чтоб и все. Одно плохо — впереди шесть лет...

А можно во двор пойти, грусть развеять. Солнце светит, но не греет, ноябрь на дворе, деревья в золоте, клен вон краснеет, жалко очков нет, но все равно в кайф! Воля! После тюрьмы зона волей кажется. Это потом, и заборы, и проволока колючая, и вышки глаза намозолят, а сейчас... Сижу, кайфую!

Подошел Филип, спрашивает:

— Сетки плести будешь?

— Буду, я не жулик.

— Идем, дам челноки, нитки, планку...

Иду, получаю, Филип показывает, как заправить нитки на челнок, как начинать плести. Сообщает:

— Сегодня не в счет, этапный день, а с завтрашнего дня три ученических дня, сдавать ничего не нужно, не надо, а с четвертого дня норму — шесть сеток, умри, но сдай...

Сижу на бобине с грубыми, жесткими нитками, перебираю челноки, планку... Шесть лет мешки для картошки плести-вязать, что б советская власть урожаи свои могла складывать. Ну, суки, шесть лет! Ненавижу...

Норму на четвертый день я сдал. Но не шесть мешков сетчатых, а три. Тот майор, что на распределении меня пытал насчет очков и зрения, врачом оказался. После моего визита к нему, он и написал бумажку для Филипа и нарядной.

Жизнь быстро вошла в норму. В шесть часов утра подъем, всех на физзарядку. Можешь не махать руками, но выйти должен. Затем проверка. Отряды идут к штабу, за ворота решетчатые. А там тоже весело: в третий домик с вывеской «Почта» старший лейтенант идет, толстеннейших размеров, ну как бегемот. И все зеки ему во весь голос кричат:

— Папуца пидарас, Папуца козел!

Старлей-бегемот останавливается и весело парирует:

— Папуца пидарас, Папуца козел, но Папуца курочку ест, а вы баланду хлебаете! Ха-ха, ха-ха, ха-ха!

И офицеры зеков не одергивают, тоже хохочут. Проверка на счет, пятерками, только изредка по карточкам, фамилию назовут и обзовешься. А так каждый отряд пятерками ДПНК или прапор вместе с нарядчиком-зеком считает. Ну иногда внешний вид проверят — все ли стрижены, бирки ли на месте. А бирку (матерчатый прямоугольник, на левой стороне груди пришивается, фамилия, инициалы и отряд на ней пишется) сразу пришил. За отсутствие бирки — зековского паспорта — трюм. Пятнадцать суток ШИЗО.

Проверка прошла — завтрак. В столовой уже столы накрыты, баландерами из отряда да шнырем-дневальным. Каша в мисках, пайка утренняя хлеба и сахар на ней. Чай в чайнике, на краю стола. В зоне восемь от-

рядов человек по сто, в столовую входят одновременно два отряда, вот и едят по очереди. Пайки в хлебобрезке режут неровно и шнырь отрядный, на столы накрывающий, должен психологом быть и места помнить, кто где сидит. Горбушку и потолще — жулику, блатяку, пайка потоньше — зеку поплотше, мужику. Черту вообще тонкую — обойдется. Политика!

После завтрака — в барак, сетки плести. В секции, где я живу, двадцать два человека. За день, не спеша, сплетаю свою норму и сдаю бригадиру. Еще и время остается, там побазарить, там потравить... Кроме Филипа, старшего дневального и дневального-шныря, есть еще бригадир Пак, кореец. Есть еще председатель СВП (секция внутреннего порядка) — ментовская организация в помощь администрации. Есть еще какие-то секции, толком не знаю, они мне нужны, как рыбке зонтик. Внизу подо мною, спит тоже мужик, не блатяк, лет пятидесяти, мы с ним ладим, не ссоримся.

В полдень обед. Ши да каша — пища наша. Солдаты так пели, при царе. Это я в книжке вычитал. Пожрали бы солдаты нашу хавку, петть не смогли бы. Я сразу понял, почему работа легкая, сетки. На такой хавке другую просто не сделаешь. Ну еще к щам и каше, пайка хлеба, потолще, чем утром.

После обеда — в барак, а хочешь — по зоне можно погулять. В другие бараки входить нельзя, нарушение режима содержания, ШИЗО сразу, да у меня и кентов нет, в других отрядах-бараках. Так что по зоне погуляю, в сортир схожу. Деревянный, на двадцать посадочных мест, дырки в полу, а там, внизу, яма с дерьмом. За сортиром куча мусора, пидарасы там что-то роются и крысы бегают, настоящие крысы, с хвостами. Размером с кошку. Ни хрена себе!

Кстати, пидарасы целый отряд занимают. Шестой. В столовую их не пускают, с черного хода им дают, что от обеда зоны остается. Уносят к себе в отряд в большой кастрюле, и баланду, и кашу. В одной... Как помои. Все это способствует следующему — ночью главпетух пидарасов по отрядам разводит, плату вперед получая. Сам не трахается, хитрый. Так и живут петухи. Голод не тетка.

Погулял по зоне — и в барак, потравить, послушать, сетки поплести. Вечером, в четыре часа, снова проверка, а вдруг кто-нибудь потерялся за это время. Часов в шесть-восемь ужин — рыбкин суп. Страшное месиво из кильки, крупы и воды да пайка. После ужина на шконочку, жирок завязать, а правильной сказать — остатки не растрясти.

В 22 отбой. Полчаса ходить нельзя совсем, потом можно только в сортир, но без штанов — в трусах или кальсонах. Видимо, чтоб не убег.

А утром снова подъем и все по-новой.

Пятый день принес разнообразие. Да такое...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Да, пятый день принес разнообразие... Я проходил мимо четвертого отряда и увидел среди зеков что-то знакомое, но неуловимое. Я же без очков, можно сказать, слепой. Вернулся и осторожно, чтобы не спугнуть, пригляделся. Точно, он — Орел. Собственной персоной. Сидит, сетки плетет, В новенькой робе, недавно этапом пришел. Может быть сразу передо мною.

Быстро-быстро бегу в свой отряд. К Семе.

— Слышь, Сема, ты слышал о шесть девять на ростовской киче?

— Да, а что? — оживляется Сема с моим появлением.

Сообщаю радостную новость. Хохочет Сема, хохоцут семины семьянины, улыбаюсь. За все надо платить, за все. За довески отнятые, за опущенных, за побои. За все.

После обеда все приготовлено к встрече дорогого гостя и шестерка Игорек отправляется звать Орла. Я лежу на своей шконке, чтоб еще раз убедиться — он или нет. Входят Орел и Игорек, идут к Семе в проходняк. Сема улыбается:

— Так это ты с Сальска, землячок? Я тоже оттуда, ты где там жил?

Это Сема горбатого лепит, чтоб не спугнуть раньше времени дичь. Еще один зек присаживается на Семину шконку, перекрывая Орлу дорогу:

— Так это ты с Сальска, мы все здесь земляки, ты где на воле жил?

Радостен Орел, а как же — земляков встретил, поднимут земляки, поддержат. Глуп Орел, ох, и глуп. Еще подходят блатяки, еще, хорошо подготовился Сема, как полководец перед сражением. Шестерки на шухере стоят от ДПНК до самого барака, до самой секции. У Филипа в каптерке, трое блатяков сидят, разговоры ведут. Чтоб не убежал Филип в ДПНК, ментов не вызвал. В секции соседней, с Паком зек, Слава с Ялты, в шахматы играет, а двое блатяков наблюдают, чтоб долго играли, столько — сколько надо. И менты отрядные, и глав.мент отрядный под прикрытием, под контролем. Только ломанутся в штаб, как их сразу за жабры, куда, тварь подколотная, сидеть, а то...

Все продумал Сема, хоть и падок на лесть, но не дурак, вон, и мужичок знакомый, тоже с шесть девять, на верхних шконках жался, беспредел, как должное принимал. Одни мы, я и Кострома на бунт поднялись, с блядами этими, оборзевшими.

Слезаю со шконки, прохожу и сажусь на оставленное для меня место. Много жуликов собралось, явно и из других отрядов пришли, морды незнакомые. Обложили Орла, со всех сторон обложили, а еще и не знает он судьбы своей, еще улыбается, да с Семой за жизнь базарит. Ну все, хватит:

— Здравствуй, Орел!

Медленно-медленно поворачивает голову эта скотина на своей толстой шее. Медленно поворачивает и на меня уставился своими круглыми глазами, а в них ужас растекается, черный кошмар.

— А-а-а!!! — орет Орел изо всех сил и, вскакивая со своего места, пытается выломиться с прохода, своротив две двухъярусные шконки, со своего места, вместе с сидящими на них людьми, человек девять. Силен Орел от страха, ох, и силен! Но братва блатная сильнее, много ее. Посадили на место Орла, почти без побоев и началось качалово.

Все признал Орел: и меня, и мужика, и беспредел, побои, грабеж несправедливый, опускание блатяка и других и многое, многое другое... Я уже давно на шконке своей лежу и за разворачивающимся действием наблюдаю. И не жалко мне Орла, животное он, животным пусть и будет.

А Сема кружева базара плетет и к одному подводит: мол за все, браток, надо платить, любишь кататься — люби и саночки возить, мол, все равно мы тебя за беспредел накажем, но ты сам скажи, чего ты достоин, какой награды за художества свои. Замкнулся Орел, не желает с Семой базарить, не нравятся ему такие речи, видит он, к чему клонится.

Тогда Сема вариант-компромисс предлагает:

— Землячок, мы все равно тебя трахнем, все вместе, но чтоб не напугаться и не отбивать от тебя руки и ноги, ты сам штаны скинь и задок оголи, — не успел Сема до конца тему развить и дальнейшие действия братвы рассказать, как снова взвыл Орел:

— А-а-а!!!

И вновь попытался выломиться.

На этот раз почти до дверей добежал, хотя на нем человек семь висело, и спереди, и сзади. Но много жуликов и блатяков, еще больше акул-грузчиков, и гнев их справедлив и страшен. Разъярились зеки и давай, нет, не бить, не лупить, а просто УБИВАТЬ Орла, за все. За беспредел, за побои, за ментов, за тюрьму, за года свои, в зоне проведенные...

Потом разжали у шконки прутья вертикальные, на спинке, и вбили туда голову Орла. Зажали прутья шею, крепко-крепко, штаны содрали и началось... От всей души драли Орла, по несколько кругов в очередь.

Затем вынули шестерки потерявшего сознание новоявленного пидара и на двор, на сетку унесли. Бросили на дорожке, пусть разорванной сракой светит в назидание другим беспредельщикам, на страх ментам.

И стали мы ждать продолжения. И оно не заставило себя ждать. Через час после окончания сеанса, прибежали прапора и уволокли Сему, его семьянинов. И меня...

Дали мне разок по боку дубиной, рассказал я быстренько о бесчинствах и зверствах Орла на тюрьме и посадили меня в ШИЗО. На пятнадцать суток.

Сказалось ШИЗО за тем самым высоким деревянным беленым забором. А вход — из коридора штаба, только за углом. Все рядом.

Начались дожди затяжные, холодные. В ШИЗО колотун, зуб на зуб не попадает. Камера маленькая, грязная, темная. Трюм, одним словом. В углу параша из бетона слеппенная, горе-умельцами, кочка с дыркой, а

сверху кран капает, не закручивается до конца. Сидишь на параше, а по спине вода холодная течет. Бр-р!

Нары деревянные, железом обитые, и сбоку, и снизу, а сверху две полосы широкие, железные, ледяные. На день нары к стене приковываются, на замок, гуляй — не хочу! Пол бетонный ледяной, тапочки из тонкой резины к нему липнут, от грязи. Переодели меня, дали сменку, дранное все и ветхое. Окно без стекол, сквозняк, караул! Одна радость; три раза в день кипятков незакрашенный дают — греемся. Хавка — аж жуть берет и мало. Один день кормят: утром каши черпачок, в обед баланда как вода, следом черпачок каши, вечером ненавистный рыбкин суп. Хлеба на день меньше полбулки дают, фунт. Ну и кипяток вдогонку — утром, в обед, вечером. Это день летный. А на следующий день пролетный — одна вода, один кипяток и хлеб. Фунт — четыреста грамм. Ну, и еще тараканы, вши бельевые кусают, в коридоре прапор орет, жизни не дает. Караул!

Сидели мы вшестером, а нар двое — внизу и вверху. Тесно, но не холодно. В середине спать — по очереди. Одно плохо — с верхних шканцев, если на краю спать, хоть раз за ночь, но упадешь. Я к концу пятнашки, так ловко наловчился падать прямо на ноги, как десантник.

Отсидел я ШИЗО, переоделся, выпшел — и в баню. Моюсь под горячим душем, а меня с голодухи качает. Вот-вот упаду. Еле дошел до барака. А там уже встреча. Сему братва блатная встречает и его семьянинов, и из нашего отряда, и из других. Ну, а я тоже с трюма, да по тому же делу чалился, и семьянинов у меня нет, встречать некому, вот я и оказался ни с того, ни с чего на празднике. С корабля на бал. Я после этого бала с сортира два дня не вылезал. После голодухи рыбные консервы страшная вещь...

Началась обычная зековская жизнь, такая, как у десятков, а возможно, и сотен тысяч советских людей.

Подъем, жратва вперемешку с работой, отбой. Так и на воле у большинства. Почти. Даже по воскресеньям фильмы показывают, художественные, по средам — документальные, про империализм или о лицах, вставших на путь исправления и удостоенных такой чести, как кинематограф, по четвергам политинформация... Чтоб связей с народом не терял, со страной, чтоб знал, чем дышит Родина, что ее беспокоит, волнуется и тревожит. Нет, не ограниченный контингент войск, введенный по просьбе афганского народа в Афганистан для посадки саженцев и раздачи муки (нам такое в одну среду показали) да для выполнения интернационального долга. Нет, не БАМ (Байкало-Амурская магистраль), куда прорва денег и материалов уходит (это я в газетах прочитал, их здесь можно в библиотеке почитать). Нет и нет, не такие мелочи Родину и народ волнуют. Весь советский народ, начал после 7 ноября, праздника всенародного, к другому всенародному празднику готовиться. К именинам Володьки, по кликухе Ленин. Знатный блатяк был и дербалово знатное устроил. Всю страну передербанил. Так какой-то мудак приду-

мал, а вся страна подхватила, что нужно, мол, всем на ленинскую вахту встать и каждый четверг кое-что из его бессмертного творчества изучить и усвоить. А кто не хочет — ШИЗО! Господи, ну почему я не абориген австралийский, почему я не в Африке родился, черным, хотя коммунисты и туда добрались. Мама, почему ты с папой решили меня завести? Да в этой сумасшедшей стране! Это ж надо додуматься — Ленинская вахта! Кретины вы все со своей страной сраной! И что же я раньше не родился и к врагам не ушел! Уж лучше быть предателем, чем дебилом с вахты!

Снарядил меня Филип в наряд. Вместе с чертями «запретку» (полосу вспаханной земли между заборами) граблями боронить. По-зоновски, по лагерному — грабить. Чтобы если кто надумает бежать, сразу видно было. Я — в отказ, в падлу это — ментам помогать нас охранять.

Пять суток ШИЗО. Пять — не пятнадцать, да и знакомо все. Отсидел, пару романов тиснул. Все время скороталось.

А на дворе осень, да сырая. С неба дождь моросит, мелкий, холодный, нудный. Все небо в тучах серых, ни просвета, ни пробела. С моря Азовского ветер дует сырой и пронизывающий. Впереди шесть лет распечатанных, тоже ни просвета, ни зги. Туманен берег и жить тяжело. И радостей не видать...

Работа, сетки проклятые, жратва скудная, отбой да подъем. Подъем да отбой, сетки надоевшие, жратва скудная... Пошел отовариваться в магазин — лишен. За что — не знает вольная тетка-продавщица, иди к начальнику отряда. А у нас нет начальника, был да сплыл.

Зашел к отряднику, старшему лейтенанту Пчелинцеву, блатяк один, по кличке Ферзь, тоже как и я, уставший от жизни беспросветной, тягостной. Зашел и нож показал. Да не просто показал, а еще страшно зарычал. Мол, не просто нарежу, а еще и съем!.. Не выдержал отрядник такого нахальства, да как кинется... в коридор и бежать. Да как-то странно бежал, по обе стороны коридора на стенах стенды-плакаты висели, «За новую жизнь» и прочее барахло, так он их сбросил. С обеих стен! Коридор шириной два метра, как он умудрился, никто не знает. А сам отрядник не признается. Убежал на вахту, упал и усрался. Ну просто от души усрался. Да вдобавок у него ноги отказали, от страха или бежал быстро. Прапор, по кличке Пограничник, так про все это сказал:

— На моей шинели вынесли засранца, всю шинельку обделал, хотя в штанах был. Видать, жидким дало, шинель стирать пришлось...

А Ферзя увезли на крытую, до конца срока, добавлять-судить не стали, у него еще двушка, вот и увезли. Все разнообразие.

Мне же нельзя такими шутками баловаться, мигом раскрутят, да и духу у меня не столько, как у Ферзя и дури поменьше, все же у меня в голове мозги, а не блатные законы и традиции с песнями вперемешку. Вот и приходится пробавляться мелочью, для разнообразия жизни. Все больше созерцать или романы ШИЗО таскать.

Пошел я к Паку нитки получать, пустую бобину деревянную отдал, с нитками получил, а он, бугор, рычать вздумал, да еще при зеках. Я — в ответ, настроение хреновое, как погода, а еще морда эта ментовская, глаза узкие, кореец, за расхищение сидит и давно. Он еще больше и бросает:

— Пидарас, — жуткое обвинение, так просто, как подарил, ни с того, ни с чего. А в лагере — не ответишь, так тем и будешь. Держал я в руках бобину, килограмм восемь будет, ей и вдарил по голове бугру. Очень Пак удивился, что столько крови в нем. Меня к куму, а тот в рев и дубинкой грозит:

— Ты только в зону пришел, а у тебя уже третье нарушение!..

— Гражданин начальник, посудите сами, я не гомосексуалист, а он оскорбляет, создает обстановку для конфликтов...

Кончилось для меня хорошо: раз по боку и в трюм. Пятнадцать суток. Да ни в какую попало хату, а к авторитетному жулику, третий отряд держащему. Дразнят его Раф, из нахичеванских армян. Нахичевань — это район в городе Ростов-на-Дону. Радостно ему — рассказал я, что по воле с кентами там жил и все знаю, и пивняк, и базар, и шашлычную. Порадовался Раф, посмеялся, вместе с ним сокамерники похотали, семь рыл, я девятый, в хате на четверых. Посмеялся Раф и говорит:

— Слышь, Профессор, повезло тебе, только пришел в хату и в сме-ну Семеныча угодил. Живем!

Ничего не понимаю, но зубы скалю. Живем, так живем. Перека-товались день, вечер, отбой прапор кричит. Что за чудо — кормушка распаивается, а там усы! Как у Буденного, огромного размаха!

— Ну что, Раф, пиши записку, — и протягивает прапор с усами лист бумаги с ручкой шариковой. Пишет Раф, а я ничего не понимаю. Написал, отдает усам на коридор.

— Кто это, Раф?

— Семеныч, жаль, что он сутки через трое дежурит, а так бы совсем кайф был!

Через полчаса по записке той, принес шнырь шизовский, чай, конфеты, сигареты. Живем, братва! Затрещали полы и рукава курток, задымили дрова, закипел чифир и пошел по кругу. По три глата делает братва и передает дальше, конфетку в вдогонку, хорошо! Часть чая и прочего Раф через Семеныча соседям передал, часть в ПКТ, жулик, настоящий босяк.

— И сколько он берет? — киваю на дверь.

— Четвертак за грев.

Ну капиталист, двадцать пять рублей за принос чужого, ну, хапуга, ну, миллионер!

Отсидел я пяташку неплохо. Вышел в зону, снова сетки, снова повседневно-тягостная. А погода, как жизнь — сыро, тускло и ни зги.

Как дальше жить — не знаю...

Для облегчения общения с друг другом в ШИЗО и с внешним миром, то есть зоной, хитрые зеки придумали множество выходов из тяжелого положения. Перечислю по мере сложности: между камерами пробиты кабуры — узкие отверстия в палец толщиной. Пробиты конечно алюминиевой ложкой в бетонно-кирпичной стене... Подкуп прапорщиков, дежурящих в ШИЗО. Подкуп или запугивание шнырей ШИЗО. Посылка чертей в запретную зону для подогрева через окна. Кидание через забор в прогулочный дворик ПКТ. И самый фантастический, но иногда используемый — каждый помещаемый в ПКТ (помещение камерного типа) имеет право на определенные вещи. Одному жулику, Клюку, семьянины с помощью чертей вынули всю вату из телогрейки и забили ее пачечным чаем, деньги вклеили в обложку книги, а из гашиша слепили мундштук!!! И кумовья не заметили... Весь грев, получаемый блатяками в ШИЗО, распределяется следующим образом: половину себе, часть на общак, во все хаты, часть персонально жуликам. Так делится все, кроме денег, бабки делятся по-другому — они остаются в той хате, куда пришли и на них покупаются прапора, чай, водка, наркотики. И все делится по вышеописанному способу. В случае отклонения от этого дележа, в сторону увеличения своей доли, если всплывет, но чаще всего всплывает, так как многие жулики используют грев как катализатор проверки чистоты блатяков, так вот, если всплывает, то наказание неминуемо. В лучшем случае развенчивание из блатяков в черти, в худшем опускание чуть ниже. Ух, очень любят это дело, советские зеки, потрахать кого-нибудь за что-нибудь. Хлебом не корми, дай только кого-нибудь отодрать, опустить, опидарсить... Чтоб знал свое место, чтоб знал свое стойло!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Как жить дальше — не знаю. Но не помирать же. Вот и живу, существую. Потянулись однообразные дни лагерной жизни. Подъем, работа — сетки, надоевшие, жратва скудная, отбой, даже проверки не вносят разнообразие, какое разнообразие — каждый день Папуцу заругивают, ему плюй в глаза, а он — божья роса.

Папуца этот начальник почты работает. Посылки выдает. Стоит зек на улице под осенним дождем, а Папуца в тепле сидит, за стеклом. Зек, шнырь почты, откроет посылку и ставит ее перед старшим лейтенантом Папуцей. А тот берет первую попавшуюся жратву из посылки, например сало, отрезает его и жрет. И в глаза тебе смотрит — если новичок, то в крик, а Папуца второй кусман режет — и в рот. Если зек битый, то молча стоит, ждет. Видит Папуца, что не кричит зек, то больше одного куска не жрет. Другое достает, например печенье, и тоже для пробы в рот. И так целый день, когда

есть посылки. Одно его огорчает — не часто посылки приходят. Зеку первая через полсрока положена! Хитра и сильна наша народная власть!

Прапора и офицерня говорят, не всегда Папуца такой был. Служил он отрядником в одной из зон, и никто не заметил, как у него крыша съехала, с ума сошел. Из старой железной бочки построил подводную лодку, сел в нее и, забыв закрыть люк, скатился в реку... Чуть не утонул, потом в госпитале лежал. А теперь почтой заведует. Видать, с зеками такие и должны работать.

Пак-бугор у меня мальчик для битья. Я уже второй раз за него отсидел в ШИЗО. Как всегда, пятнадцать суток. Настроение у меня было плохое, сетки я путать не хотел — устал морально, погода мерзкая, — не зима, а одно название, сроку впереди много... Накопилось все и выплеснулось — шел Пак по коридору и задел меня плечом, или мне показалось, неважно. Треснул я ему по рылу от души, снялся он с места, как самолет и полетел в штаб. Нос свой разбитый показывать. Как будто там такое ни разу не видели. В результате — трюм. Мне.

Вышел, в зоне происшествие, и смех, и грех! Один блатяк с пятого отряда решил повеситься. Деньги проиграл, а отдать не смог. Не было у него денег таких. Играл на «керенские» (несуществующие). Проиграл и как настоящий дворянин, то есть блатной, пошел стреляться. Вешаться. За петушиный барак. Повесился. Веревка лопнула и он оборвался, лежит, почти не дышит. А тут два петуха гуляли. Глядь — блатяк лежит и веревка на шее. Блатных по одежде в зоне всегда отличить можно. Особенно если глаз тренированный. Так они, паскудники, не долго думая, штаны с него, с дворянина, содрали и отодрали горе-игрока. Вдвоем! За так просто и за то, что блатной. И смех, и грех! Не играл бы ты браток, не ходил бы без порток... Одним петухом в зоне больше стало. А петухам от администрации вообще ничего не было.

А меня снова в трюм. В столовой садиться начал за стол, а шнырь отрядный рычать вздумал. Ну как тигр прямо. Взял я разводягу (поварешку) и шныря на место поставил, разводягой. Не рычи мол, на кого не попадая. Вот меня и в трюм. На пятнашку.

Холодно, голодно, тесно, сыро, темно. На то и трюм. Чтоб бдительней был и жизнь малиной не казалась. Спрашивает братва у прапора на коридоре:

— Почему батареей отопления нет?

— Так зачем зря трубы тянуть, мы все равно воду туда пускать не будем...

Шутник хренов, мать его так, пидарас...

Сидим, мерзнем, романы тискаем, травим. С ПКТ чаек подгонят — чифирка хапнем, нет — кипяточком побалуемся. Братва блатная с черта куртку содрала и окно завесила, не так дует, сидит черт в одной майке, синий весь от холода и трясется. А братве смешно:

— Слышь, черт — закатай вату, ты че трясешься, как компрессор?

— Так холодно, братцы!

— Ну так давай погреем, Дунькой будешь, а не Димкой!

Улыбается криво черт молодой, понимает — шутит братва. Но осторожничают — шутки — шутками, а вдруг...

Отсидел пятнашку, выскочил — и в баню. Вшей смывать и греться. Тру себя и чуть не плачу. И тут торчит, и тут, и тут... Анатомию по мне изучать можно, скелет. Недаром прапора в трюме шутят:

— Жить будешь, трахать не будешь!

Ну, шутники, ну, бляди, ну!.. Ненавижу...

А братва еще так говорит на хавку в трюме — супчик жиденский, но питательный, будешь худенький, но внимательный! Фольклор...

Покантовался чуток в зоне — и назад. В трюм. Снова за Пака. Хотя он уже обходит. Не могу я спокойно его жирную рожу видеть, узкоглазую. И не националист я, и не расист. Я и русских ментов не очень люблю. А Пака просто ненавижу. За что, не знаю.

Дали мне за него пятнашку. Как всегда. Смеется братва в хате, мол без тебя, без твоих романов скучно. Смеюсь в ответ, похохатываю, а самого в душе тоска. И ничего ее не разгоняет. Ни чифир, проданный Семеньчем, ни травля братвы о жизни вольнячей. У всех этих жуликов и блатяков срок смешной — два да три. По пальцам можно пересчитать, у кого четыре-пять — Раф, Черный, Сеха, Лысый, Майор. А шесть, как у меня, ни у кого нет из тех, кого я знаю. У Пака, правда, чарвонец , так он мент поганый, и по трюмам его не трюмяют. Я, правда, сам творил то, за что в ШИЗО сажают. Так это я от безнадеги и от жизни волчьей, куда меня коммунисты загнали, да и что в трюме творится, это менты с кумовьями придумали, чтоб замордовать, чтоб загнул! Ну, суки, выживу, всем блядям назло выживу!..

ДПНК сегодня Малютин, майор Малютин, садист. Братва его Малюта Скуратов кличет за глаза, даже прапора признают, что Малюта этот — зверь. Значит, будет весело.

Для начало на коридоре пол мыть затеяли. По-Малютински. Шнырь петухов нагнал. ДПНК чертей из камер вывел несколько , воду не жалеют, льют изо всех сил. Да еще этот садист периодически ведра пинает, чтоб чище было. А вода в хаты течет. Пол-то везде одинаковый по высоте, только на коридоре сверху деревянный еще настелен, для тепла прапорам. Вот вода и льется водопадами... Ну братва тоже не растерялась, чертей вперед — грудью на амбразуру. Сняли с себя черти куртки, да воду в парашу собирают. На дворе конец января, в хате холодина, а трое бедолаг в нашей хате воду собирают. Куртками. Собрали, куртки отжали и на себя одели. В хате пар изо рта валит, а братва смеется, смешно ей, как трясутся черти. Разные варианты предлагают согрева. Хохот стоит и не только у нас, но и по всему трюму.

Не понравилось это Малюте Скуратову, камеру раскозал и всех погрел. Дубинкой по разу по спине. По разу из хаты, по разу обратно. Скалит зубы братва — вот и погрелись! А Малюта следующую хату, затем следующую да следующую... Шум, гам, весело в трюме в смену ДПНК майора Малютина. Ой, весело, даже слезы вышибает, от веселья...

Но веселье не кончилось, веселье в разгаре, шнырь с креста пришел, с ведром, и хлорку на парашу сыпет и рядом, да густо. Улыбается майор-садист:

— С Новым годом граждане осужденные, нарушители режима содержания! С первым снегом!

И водичкой полил. Слезы льют ручьем, глаза режет, как наждаком... Дышать нечем... Ну, мразь, убить мало... ну, тварь... Кое-как черти хлорку собрали куртками бедными да под воду. Но поздно. Вместо курток обрывки. А утром проверка и внешний вид Малюта смотреть будет.

Одним словом, всем добавили по пять суток. Чтоб куртки не жгли, а принимали дезинфекцию, как должное.

Вышел — и в баню. Греться. Не один я вышел, Раф в другой хате чалился. Погрелись, помылись и попылили к Рафу в отряд, он пригласил, в третий. А там все приготовлено к встрече торжественной; и чифир, и сладкое, и жратва. Консервы, сало, картошка вареная. Богатая семья у Рафа, да сам он круть, набрался я с жуликами и пошел к себе во второй отряд. А в дверях, на выходе, из третьего, нос к носу с прапорами столкнулся. Ой, паскуды, что же вы на пять минут позже прийти не могли, ой, ну, я черт, от хавки раньше оторваться не мог!

Дали мне пятнашку. Прихожу в ту хату, откуда вышел. На двери мелом еще моя фамилия написана, стереть не успели. Захожу — хохот! Ну, Профессор, ну, отмочил, ну, учудил, за что?..

А через час Рафа кинули и тоже в эту хату. У меня глаза на лоб, ох, ни хрена себе! Раф смуглой мордой улыбается и рассказывает:

— Тебя замели, я неладное заподозрил. Стукнули думаю, точно стукнул кто-то. Давай качать да подспрашивать, ну и показали мне на одного, куда-то бегал, пока мы хавали. Ну я его за жабры, куда бегала паскуда? А он раму вынес — и ходу. Кумовский оказывается, а из блатяков! На тебе, Профессор, спалился.

Рафу за кумовского дали ПКТ. Помещение камерного типа, тюрьма в тюрьме. В отличие от ШИЗО кормят каждый день, но тоже мало и плохо. Дают на ночь матрац и постельное, два часа прогулки, газеты, книги, отоварка. Не десять рублей, как в зоне, а четыре. И все это в срок, без добавки. Письма можешь получать хоть сколько, а писать два. В зоне писать можешь четыре, а получить тоже хоть сколько, даже в этом щемят.

Получил я и письмецо. От мамы. Не очень мы любим друг друга, оба в этом виноваты, и я, и она. Но все равно приятно, вести из дома. Получил, написал ответ — и снова в трюм. Не успел я за хавку в чужом

отряде да с добавкой отсидеть, как меня лично новый начальник отряда капитан Забодайло (сразу прозвали Забодало) на кухню послал картошку чистить. А это правильному мужику впадлу. Конечно, можно черта найти да за себя послать, за пачку курева еще можно даже выбирать, но не захотел я хитрить, решил сразу отряднику зубы показать, чтоб следующий раз думал, кого посылать. Он меня на кухню, а я его так далеко, что он меня сразу вместо кухни послал в трюм. Чтобы я впредь начальнику отряда такие места не указывал.

Прихожу в хату. Все как всегда; холодно, сыро, голодно, тесно, темно. Полный набор. Но весело — хохочут зеки, хотя плакать впору. Случилось следующее.

Пришел этап, один из зеков малевку привез с кичи, в телогрейку зашитую. А там написано — мол, жулик Егор — пидарас, и авторитетные подписи. Егор в ШИЗО сидел, отогнали малевку в трюм, там и трахнули Егора. Оказалось — не того. Егор пидар уже давно, в петушином бараке кукарекает. Ну, и этого после трюма туда. А братва смеется — надо было брыкался, что, мол, за жулик...

Отсидел, вышел и такая меня тоска взяла! Жуть и только! На сетки смотреть не могу, в трюме чалиться — бока болят от твердых нар, спину ломит от холода, живот от голодухи подтянуло и сил нет, так все силы менты с кровью выпили.

Быстро придумал, как из положения этого выйти. Оглядел зорким оком (без очков) окружающих и вижу — беспризорный Ваня сетки плетет. Ничейный. Сетки плетет и жизни пугается, уж очень страшно из колхоза и сразу в зону попасть, за хулиганку, на три года. Я к нему — и давай сказки рассказывать о братстве и взаимовыручке (как коммунисты). Ваня слушает и соглашается. Поведал я ему, что хотят его в шестерки пристегнуть, в рабы лагерные, а оттуда и до пидарасов рукой подать... Взмолился Ваня — помоги! Я поговорил сам с собою, отменил решение о шестерке, а Ваня мне:

— Век благодарен буду, Профессор!

— Не надо век, что я, изверг, каждый месяц давай мне два рубля куревом с магазина и в расчете...

А там и другой пуганный нашелся. И третий. Андрюша — сын директора молзавода. За изнасилование, до суда даже под подпиской был, а не в тюрьме. И сроку за изнасилование всего четыре года. Сынок! Он папе письмо написал, я его с жуликовской помощью на волю отправил, минуя цензуру. Деньги, которые он слезно просил, на адрес Семеныча пришли, он их и занес в зону за десять процентов. Поделили мы деньги не поровну, а по-братски, как на тюрьме принято. Мне немного перепало, жуликам побольше чуток, на ПКТ и трюм дали половину. А Андрюше? Андрюша спокойствие и благополучие получил. Это дороже всяких денег стоит. Купил я сеток, то там, то там, многие вяжут больше, чем сдавать надо, купил и сдал Паку, у, сука, и не успел я собственной хитро-

стью насладиться, как сдали меня. Сдали, как сетки. Куму. Стуканул один мент, козел поганый, мол, так и так, пристегнул Профессор, осужденный Иванов, зека, а не положено. Андрюшу — к куму, Андрюша куму как попу — все как на духу рассказал, два других, пуганных, Ваня и Сергей, видя, что горю синим пламенем, туда же, к куму, на исповедь. Меня — в трюм, они в менты, да не в начальники, а в рядовые. Сетки также плетут, как раньше, только еще дежурят, когда скажут и где скажут, кумовья да менты-зеки. Да еще бдительно по сторонам оглядываются — страшно им, на рукаве лантух «СВП», страшно, а вдруг...

Никакой выгоды не поймали пуганые. А я вспылчив и от жизни тоскливой, волчьей, лагерной так уставший, хотя еще впереди пятерик с хвостом, из ШИЗО вышел и того мента, что куму стукнул, тоже стукнул. Слегка. Табуретом... И в ШИЗО. И перед этим под молотки, чтоб не мерз. Но по сравнению с Новочеркасскими так себе молотки, мелочь...

Сижу в трюме. Ну, что сказать нового, не знаю. Все как раньше — холодно и так далее, читай выше... Сижу, зубы скалю, романы тискаю. Хорошо у меня получается: взял Жюль Верна, добавил Дюма, густо перемешал Профессором — и роман! Ахает братва, восторгается... Сижу. А куда денешься.

Немного осталось до конца пятнашки, дня три, новое происшествие — в хату петуха кинули. Вот новости, их же отдельно норовят содержать. Братва оживилась, на парашу его тянет, тот гриву повесил и идет. Кто хотел, полакомился. А петух посрал и такое рассказывает!

У петухов жесткая иерархия. Главпетух со своими приближенными правит жестко, круто. Как диктатор Ленин. А тут Егор трахнутый приходит. Бывший жулик. У петухов обычай — всех новых петухов к главпетуху, да без штанов. Так сказать, прописка, Егор же за табуретку и главпетуху по чайнику. По голове. Еще были в бараке петушином бывшие блатяки, разными дорогами сюда приведшие, они за Егора стеной встали, а за главпетуха семьянины и приближенные. Как сказал один блатяк — передрались Машки, гребни друг другу повыдирали. А результат таков: главпетух на обლობницу лагерную поехал, Егору глаз выбили фомкой, еще у двоих переломы рук и ног. И человек сорок в трюм. В каждую хату подарок менты сделали, по два, по три петушка кинули. В нашу один всего пришел. Видно, не хватило.

Вышел из трюма, погрелся, помылся — и в барак, в теплую секцию. Под подушкой письма, от брата, от мамы. Потом почитаю. Похавал, что кенты приготовили, хапнул чифирку и — на шконку.

«Нет меня, я умер. Не троньте меня, устал я от трюмов, молотков, голода, холода. От всего я устал.» Забился под одеяло, да телогрейкой сверху... Нет, нет меня, я никого не вижу, а значит и меня никто не видит...

Утром меня прапор нашел. Паскуда, как гаркнет в ухо:

— Подъем, мать твою так, на зарядку!..

Никуда не спрячешься в зоне, весь на виду, одно спасение — трюм!

Сiju в одиночке в трюме и гоню гусей. Думы думаю. Получил я трюм, пятнашку, за старшего дневального пятого отряда. Проходил мимо, а он: — Черт в саже, скажи Филипу, я зову чай пить.

Не знаю, расчувствовался или с кем перепутал, я выяснять не стал. Достал челнок из кармана, деревянный и ткнул его брюхо. Этой скотине. А тот, не разобравшись, с криком:

— Убивают! — умчался в штаб. Только его и видели, меня к куму. Давай нож. Я им — был бы нож, он бы не бегал по зоне, а лежал. Они ему на брюхо глянули, а там синяк.

Меня в трюм, да в одиночку. Сiju, гоню гусей. Хорошо! Холодно, голодно, бока болят — пару раз меня кум вытянул дубьем, сыро, но не тесно! Нет рыл, нет зеков, никого нет. Я и мои мысли. Наконец-то.

Думаю о зоне. От тюрьмы пирамида социальная в зоне ненамного отличается, но есть совершенно новая деталь, но есть существенные различия. Всего четыре ступени, четыре касты, по-лагерному — масти. Как в картах.

Наверху пирамиды — блатяки. Они, конечно, неоднородны, есть авторитетней, есть менее. Сверху вниз в масти этой располагаются жулики, блатяки, грузчики, шустряки.

Следующая ступень — мужики. И тоже неоднородна эта масть, как и другие. Есть — к жуликам примыкают, а есть черти. В зоне черти в мужиках ходят, в плохоньких, но в мужиках.

Ниже — активисты, менты, козлы, слясинские, сэвэпэшники. Наверху неработающие — председатель СВП зоны, старшие дневальные, бригадиры, зав. столовой, зав. медпунктом, зав. клубом, зав. баней. Ниже — председатели СВП отрядов, шныри при офицерах, службах. Ниже — шныри разные, поломой, но при блатных местах — в мед. пункте, например. Ниже — хоз. обслуга — повара, банщики, парикмахеры, сапожники и так далее и тому подобное. Ну, а ниже менты рядовые, сетки плетущие да еще дежурящие.

Следующая и последняя — петухи, бесправные животные...

Мысли мои стройные да умные лязг дверей прервал, гусей спугнул. Что за безобразие такое, даже в одиночке покоя нет. Запускают знакомую морду, из нашего отряда.

— Привет, Сучок, привет, Слава! За что?

— Привет, Профессор! Все за то же — за ремесло...

Слава-Сучок — портач. Портки колет, татуировки делает. И классные. Несет в массы искусство. Он на воле художником работал, в клубе афиши рисовал. И деньги. Как понадобятся деньги, так Слава сразу полтинник и нарисует. У него специализация на полтинниках была. На них и спалился — на одном, дали ему четыре года. Но и в зоне его руки нарасхват, руки его золотые. Колет он классно, с тенями, высокохудожественно. Но прапора его с кумовьями трюмуют, — как запалят, так сюда.

Хотя сами, паскуды, его руками тоже пользуются — он им за плитку чая с фотографий портреты рисует, карандашами цветными.

Сучок подмигивает мне и как фокусник достает полтинник, заныканный между пальцами, так как на ШИЗО при переодевании обыскивают и в жопу заглядывают.

— Твоей работы полтинник?

— А чьей же?

— Не боишься, что спалишься и раскрутят?

— Не боюсь. Волков бояться — чифир не пить.

Стучим в двери, благо смена Семеныча. Кормушка распахивается, появляются усы.

Выслушав нас, заявляет в ответ:

— Сучок! Я твои полтинники коллекционировать не собираюсь. У меня их уже четыре штуки, а ты мне пятый всучиваешь!

Слава божится по-блатному на зуб и мусолит полтинник слюнями, показывая Семенычу, что краски не плывут, полтинник настоящий, прапор с роскошными усами приносит пять плит чая и забирает полтинник, кормушка захлопывается. Сучок подмигивает еще и показывает второй, который слюнявил.

Мы хохочем, отгоняем весь чай, кроме небольшого крапаля на ПКТ, чтоб не спалить и варим чифир в миске, сжигая на дрова часть рукава моей куртки. Много чаю на полтинник вышло, пять плит. Чай на воле девяносто восемь копеек стоит, а в зоне пять рублей. Ну а в трюме чарвонец... Вот считайте процент прибыли! Большой бизнес — советская зона!

На следующий день был тщательный шмон. Почему не в этот день? Так что, Семеныч дурак, что ли, себя подставлять. А когда сменился и капнул, мол, дымок был, рапорт я написал, а вы уж и шмонайте... Видно, на коридоре полтинник повнимательней разглядел, коллекционер хренов. За дымок нам с Сучком добавили по пять суток.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В библиотеке не книги — советское говно о заводах и тому подобное. А читать начал рано, с пяти лет, вот и испытываю нехватку в чтиве, по научному сенсорный голод, я ведь сверху только шершавый да ершистый, чуть что — в морду да словом грубым в три секунды огрею, одарю. Это чтоб не съели. А внутри я мечтательный и нежный, сентиментальный и меланхоличный. Это я так о себе думаю, не знаю, как остальные. Лежу на шконке и привыкаю к новому видению мира и готовлюсь идти в библиотеку. Там хоть и говно, но голод-то не тетка, даже если и сенсорный...

Привыкаю к новому видению мира... Нет, я ничего не схавал и не курнул анаши. У меня очки!

После большого перерыва, привыкнув к тусклым краскам, смазанным линиям, нечетким контурам и расплывчатым образам, одним словом, привыкнув к сюрреализму и импрессионизму вперемешку с модерном, наслаждаюсь грубыми сочными мазками, четко очерченными линиями, уверенно выписанными образами. Наслаждаюсь социализмом. Социалистическим реализмом, самым реальным в мире. Не через розовые очки, а через тщательно протертые стекла!

Очки эти получил мужичок один, оплатив по безналичному счету и стекла, и оправу, и работу. Получил — и мне подарил, так как одни у него на носу есть. А иметь двое очков, когда дети голодают в Африке, в Латинской Америке бушует пожар освободительных войн, а у меня нет очков — это расточительство, мужичок со мною согласился, и у меня есть возможность наслаждаться реализмом. Социалистическим.

Лежу на шконке и наблюдаю что в мире делается. За окном снег падает, мелкий. Сырой, мерзкий. На солнышко бы сейчас погреться подальше от ментов. В углу у Семы гогот стоит, стены трясутся. Это жулики на шконках от смеха сидеть не могут, в лежку лежат — этапом пришел жулик. Сосо Кикава, мингрел из Батуми. Сел за квартирные кражи, он с подельником квартиры подламывал в Ростове-на-Дону. В лежку лежат жулики, давятся и булькают, смеяться уже не могут. А Сосо, морда длинная, рыжая, плечами поводит; невозмутимо продолжает:

— ...Слушай моя, зачем ха-ха даешь, я сиризна гавару, слушай моя...

Орут жулики, остановиться не могут, слезы бегут ручьями. Вся секция похахатывает, но в полголоса, жулик все же Сосо. Что положено жулю, не положено остальным. Один я от смеха не давясь, не смеюсь, хотя очень смешно — ему 22 года и школу закончил русскую, я не смеюсь, так как прислушиваюсь к интересному рассказу, что Сосо пытается рассказать, но за акцентом и неправильностями его речи, никто не слышит рассказа. Хохочут все, не до рассказов... А он с подельником своим пять крупных краж совершил. Явно с подводом, с наколкой (наводчик был), хотя Сосо об этом не говорит, но это и так понятно — кражи все как на подбор. Ну, а шестая квартира начальника уголовного розыска оказалась. И вот две интересных детали: у начальника, полковника милиции, шестнадцать золотых монет оказалось. Одинаковых. Наверно коллекционер. И второе — пять краж они в течение года совершили и их поймать не могли. А после шестой — на четвертый день в ресторане хапнули. По описанию свидетелей, которые их видели, выходящих из дома. И по звонку из ресторана осведомителя-официанта, мол, есть двое с Кавказа, черненьких, гуляют с девочками от души — бабки налево, бабки направо... Их и замели. Били зверски за квартиру последнюю.

На суде Сосо у судьи спросил — откуда, мол, у полковника МВД монеты золотые?

А та в ответ — судим вас, а не его. Так-то!

Хохочут жулики над речью Сосо. Пусть хохочут. Скоро отбой, может сегодня никаких происшествий не будет, не как вчера ночью.

Подняли в полночь, выгнали к штабу и держали до пяти утра. Мороз градусов десять, снег мокрый, ветер пронизывающий.

— Побег!

Кто-то не выдержал жизни лагерной и бежал. Проверка по карточкам — мужик молодой, с восьмого отряда. Ну, черт — взвыла зона — стой, мерзни, ну, чертила в саже... Менты и козлота сэвэпэшная, прапора и кумовья с ног сбились, шмоная зону — может где спрятался, может не убежал...

К утру нашли — повесился на чердаке бани. Плонули все, ну, черт!.. А мы тут мерзни... Не ценится жизнь человеческая в лагерях советских, нисколько не ценится! Петухи сняли, отнесли в карман, за ворота, зону — по баракам. А через час:

— Подъем! На зарядку! — вот и поспали.

Днем досыпали те, кому вязать сетки не надо. Я в их числе. Устал Пак от моих зверств и прямо заявил:

— Послушай, Профессор, я твою норму половинчатую, всегда найдю. Давай договор заключим — я тебя закрываю по нарядам, а ты меня совсем не замечаешь.

Хорошо! Согласился я на сделку с расхитителем и зажил потихоньку. Жаль, что поздно Пак созрел, уже конец февраля, а не раньше. Но в трюмы я нет-нет, но нырну. Уж такая жизнь зековская, беспокойная. Не за Пака, так за что-нибудь...

Тут и отбой кричат, свет погасили, одна лампочка осталась гореть над дверью, как положено чернилами закрашенная. Только прикимарил...

— Подъем! На зарядку! — орут-надрываются два мордастых прапора, Пограничник и Колдун. У всех прапоров и офицеров есть клички, как и у зеков, да и от зеков они малым отличаются: психология зековская — поменьше поработать, побольше получить, дни идут — срок летит и так далее, говорят на жаргоне, на фене зековской, чуть что — в морду норовят, вот только петухами брезгуют, но это потому, что женщин на воле хватает.

Выхожу во двор, фонари да прожектора светом белым зону заливают, ветер холодный, снег скрипит и в морду, как прапорщик, все норовит, репродуктор надрывается:

— Делай — раз, делай — два!

И менты с чертями крыльями машут, взлететь пытаются. Стою, запахнулся в телажку, смотрю. И так еще пять лет... Ветер в морду, все в морду, неприятно.

А впереди смех стоит, гогот, аж репродуктор заглушают. Что же такое случилось, тяну шею, вглядываюсь в происходящее. А там — цирк очередной! Жулик в сортир пошел да под ним пол провалился, он в дерьмо по пояс. Вылез — и в свой отряд побрел, пованивая. А его же кенты на него рыком, мол, куда прешь, черт! Пришлось в умывальнике холодном мыться, так и скатился в черти. Жесток мир зековский, оступися — и на дно.

После зарядки и завтрака меня к куму, вместо проверки. Все ясно — трюм скучает без меня. Полотенце на шею, мыло, порошок зубной да щетку в карман. Готов.

Прихожу, стучусь в дверь, докладываю. Кум за столом сидит да на меня волком смотрит. Лет сорока, подполковник, полностью должность: заместитель начальника колонии по режимно-оперативной работе называется. Подполковник Сидоренко. Зеки его, конечно, Пидоренко называют, Пидоренко Илья Иванович. Удобно и правильно. Но только за глаза. Мордастый кум, невысокий, но справный. По трюмам не сидит, пониженку, да еще через день, не хавает. Что ему сделается, вот и хорошеет на зло врагам, на радость маме. Если еще жива.

— Ну что такое, гражданин осужденный, на вас снова жалоба. Не сидится спокойно что ли?

Всячески заверяю, что поклеп и клевета, спокоен я до немогу. Прерывает меня кум, хлопает ладонью по столу и на привычный для него да и для меня, язык переходит:

— Ты чего, падала, дурочку ломаешь, горбатого лепишь?! Ты на кого, паскуда, мразь, языком молотишь?! — ты чье имя чернишь, петух, политик ткнутый, тварь ложкомойная!!!

Быстро замечаю куму, что не петух я и не ткнутый, не ложкомойник и не мразь, да и вообще, мол, за базаром, командир.. .

— Да ты че, чертила, за участкового меня держишь? Растварье паскудное, бычара драный, весломой ткнутый да мразина парашная...

Куда мне тягаться с кумом, он же двадцатку, не меньше оттарабанил, оттянул в лагерях! Ну и что, что его на ночь домой выпускают, за зону, он же зечара конченный, его закрывать пора. Навечно...

Прооравшись, кум поясняет:

— Ты вчера плел басни про Ленина, на тебя стукнули. Нашел где плести — у жуликов в проходе! Да на меня каждый второй пашет...

Соглашаюсь с ним насчет жуликов, но отмечаю навет насчет басен. Ведь за это могут и раскрутить (срок добавить). Аргументирую:

— Гражданин начальник! Клевета! Злобная и наглая клевета! Во-первых, вы чаем платите, а за чай они, суки, и не такое расскажут, во-вторых, я что, сумасшедший, сижу за политику да еще с огнем играть...

Соглашается со мною остывший, наоравшийся кум, но соглашается частично:

— Дыма без огня не бывает! Ты на будущее учти, эти бляди чуть что, сразу ко мне бегут! Имей в виду. А сейчас — в трюм! Пятнадцать! Сапоги не чищены — нарушение формы одежды!

Напоследок, скороговоркой замечаю куму, что все равно за базаром следить надо... Получаю по боку дубьем, иду в трюм в сопровождении прапора и думаю над словами кума. Он же своих стукачей ни во что не ставит, не ценит, не уважает. Блядьми их называет, ментами. Зек он и есть. Хотя и в форме.

А в трюме все обычно: холодно, голодно, сыро, темно, тесно. Темней, чем обычно — у меня очки отняли, чтобы вены не вскрыл. Ну уж, суки, этого от меня не дождетесь. Я кому-нибудь другому лучше кровушку пушу. Интересно, кто стукнул куму на мои басни о Володьке, которые я так смешно травил вчера в секции...

В хате народу много, травят. Мне рады, будет настроение, траванутисну роман. Сегодня день пролетный — кипятик, хлеб. Все бы ниче-го — холодно только. Что же такое творят, гады, твари подколодные...

После отбоя кормушка распахнулась и зек незнакомый заглядывает, на голове фуражка прапора зеленая, сам в робе, в руках ключи. За спиной Раф стоит, еще жулье. Что ж такое, они же на БУРе (старое название ПКТ — барак усиленного режима, стало жаргонным) сидят, как на коридоре оказались?

— Слышь, братва, мы ментов замочили (убили) и рвать когти (убегать) собираемся. Кто из блатных с нами?

Притихли блатные в хате, ошизивши на коридор глазают, на зека в фуражке, на братву. Страшно, на побег решиться, да еще с мокрушниками (убийцами) ментов... Решился один из пятерых, шагнул к двери:

— Я с вами братва, бери меня!

Хочет братва на коридоре, издевается над остальными четверыми. Мол, розыгрыш, просто братки с ПКТ бухнули с прапорами, браткам это не в падлу, и решили разыграть да заодно и посмотреть-проверить, кто из блатных на что годен, кто босяк, а кто портянка...

Захлопнули прапора бухие кормушку, увели братву, толпу дальше проверять других на верность блатному делу, то ли просто бухать. Опустили головы в косяк попавшие блатяки, как же так, пролетели, братва, это ж надо... И каковы последствия, еще неизвестно.

И смех, и грех! Выгнали братков из блатного звания, Вышли из ШИЗО, их и выгнали. Созвали сходняк, дали по морде по разу, содрали шмотки, отдали чертям, чертячи с шестерок — им. Здравствуй, черт в саже, здравствуй, черт, закатай вату. С крещенищем! Вышел я очередной раз из трюма и ошизел — весна! Мать моя честная!. Весна... Весна на дворе!.. Ручьи бегут из-под серого снега, кругом грязь, солнце ярко светит и уже греет, на дереве кто-то заливается, на небе голубом ни одного облачка... Весна. Вот и пережил зиму первую, за трюмами и не заметил,

как она пролетела. Сижу на лавочке, солнышко пригрело, балдею... Много ли зеку советскому для счастья надо? Немного. После зимы тягостной да холодной, после трюмов сырых, казематов бетонных, солнышко теплое, и оттаяло сердце, и жить стало не так пакостно, не так тяжело. Ведь скоро годишку добыю, распечатаю и останется пятерик, начать и кончить. Как зеки шутят: только первые пятнадцать лет тяжело, а потом привыкаешь... Веселый народ, советские зеки, ой, веселый!

Не заметил, как и весна пролетела, в заботах зековских — то трюм, то разборки. Два блатяка с малолетки поднявшихся, наехали по беспределу — че, черт, стоишь тут! А зона — не воля, кем назвали, тем и будешь, если, конечно, не ответишь. Если конечно, тебе не в кайф быть тем, кем назвали. Выбирать тебе, браток.

Снял я лопату с пожарного щита и не догнал орлов, лихо бегают блатяки молодые. А вечером ко мне черт-закатай вагу:

— Слышь, Профессор, тебя в четвертый отряд кличут.

Пошел. Сидят человек десять и все больше с Кавказа, один из жуликов, которые лихо так бегают, осетин оказался. Наехали на меня:

— Ты почему, черт, на блатного руку поднял?

— Чертом никогда не был и не буду, так что за базаром следи, а то на качалову дерну, к Рафу например...

— Да ты че, в натуре, на кого руку поднял?!

— А что я руку поднял, так какие они блатные — на лыжи встали, только чуба завернулась.

Начали эти орлы с горных вершин кричать на меня и все беспределу, мол, на блатного-жулика руку поднял, на святое, нечестивец! Сижу, усмехаюсь, вижу — мелко плавают, далеко им до меня во фразеологии, казуистике и тюремно-базарном качалове-болтовне. Не акулы, а плотва мелкая, мальки.

— Так по ним не видно было — черти они или блатяки, а блатной всегда за базар отвечает, они меня чертом назвали — пусть обоснуют, я с них получить не имею право, но по лагерным законам, которые вы все лучше меня знаете, вы должны спросить с них.

Снова шум, гам, крик, ну чисто базар в Ташкенте. Вдруг, перекрывая все это, раздалось:

— Ну вы, тихо! Ша!

Заткнулись орлы с Кавказа и их прихлебатели, заткнулись и на Рафа смотрят. Это он внезапно появился и так гаркнул, что все подавились собственным криком.

— Профессор правильно базарит, что за блатные, если от лопаты в двух ломанулись. Но это мы без него перетрем, он пассажир и не ему соваться в наши дела. Но вот что он, вместо того, чтоб ко мне или еще к кому пойти и на блатяка, за базаром не следившим, пожаловаться, как положник по лагерным законам, руку поднял на блатных, за это с него получить надо.

Пытаюсь объяснить, что не видно по ним, кто они, и в зоне они без году неделя. Ничего не помогает, гнет свое Раф, мол обязан нюхом чують блатного за версту, в этом мужицко-пассажирская твоя судьба. Ну, Раф, я-то думал... Понял я, хоть в каких будь отношениях с блатными, но если есть возможность на место тебя поставить и клонуть, так оно и будет. Порешил сходняк с подачи Рафа дать мне разок, чтоб я нюх не терял. Раф мне и двинул. В челюсть слева, кулаком.

Промолчал я, утерся и пошел к себе в барак, лег на шконку, накрылся одеялом, а слезы сами выступают, сотру их, они по-новой. И не от боли, а от обиды. Ну, жизнь подлая, ну, блатяки поганые... Ничем я не могу Рафа ущемить, ничем. Голову разбить — блатные житья не дадут, в прямом смысле. Высоко он, на вершине пирамиды, я же в середке, в золотой середине. Вот мне и обидно, да за доверчивость свою, вроде не дурак и игры их иронично воспринимал, но поверил, что может блатяк, жулик-дворянин, с мужиком-пассажиром на равных быть. Социальная лестница для того и существует, чтоб всяк сверчок знай свой шесток.

Утерся я в последний раз и слово дал себе — больше не впадать в доверие к жулю, помнить о месте своем, чтоб не тыкали лишний раз носом в него. И слово то я сдержал.

На следующий день гляжу — вчерашний осетин уже грустный, вялый и шмотки на нем чертячи. Сидит он и сетки пытается вязать, но не получается у него. Быстро сделал я нужные приготовления и подваливаю к нему.

— Ну че, черт в саде, долбатовался?!

— Ты че, в натуре...

— В натуре у собаки, идем, я тебе рыло подправлю. Рули в умывальник, мразь.

Идет резво, хоть и худой, да и я кожа да кости. Резво идет, видно блатное прошлое подбадривает.

В умывальнике не только умывались и по ночам петушков потраховали, но и поединки устраивали, выясняя отношения, жулики правда не бились, больше остальные. Пришли, чертила этот в стойку, наподобие боксерской, встал. Он наверно думал, что я его спортом пригласил заниматься. Я же, не снимая очков, вынул из под раковины ножку от табурета, с хоз.двора притащенную мной, да как начал охаживать боксера с малолетки, да так, что самому аж жутко стало. Видно за все — и за вчерашние унижения, и за молотки ментовские, и за трюмы, и за срок свой... За все.

Бросил я ножку дубовую возле стонущего черта и пошел сдаваться. В штаб. К ДПНК. Пришел, рассказал и в трюм. Пятнашка. Там добавили. Пятнашку. И еще добавили. Десять. Итого сорок суток, да добавляли не за что-либо, а так просто, лишь бы затрюмовать. Первый раз докопались — где рукав у куртки, говорю, мол, так и выдали. Во второй раз — за дым в хате. В третий раз меня дежурным назначили по хате. Я в ответ — не мент, дежурить впадлу...Ну меня ещё и под молотки. Не чета новочеркасским,

но все же... От души. Ну и во второй раз, через день, подмолодили чтоб не забывал, и напоследок, за день до выхода с трюма, в рубашку смирительную закатали. Чтоб песни не орал, прапорам не мешал службу нести, чтоб при выходе в зону помнил, как себя вести надо. В лагере советском...

Я и урсался. По-настоящему, думал задавят рубашкой той. Затем меня под душ — и в хату. И все сорок суток я в одиночке чалился.

Вышел я из трюма, земля качается, голова кругом, лета вокруг не вижу. Затрюмовали менты, укатали. Пошел в баню, от горячей воды в обморок грохнулся, хорошо зеки холодной окатили — отошел. Пришел в барак, в секцию родимую. Похавал чуток, больше не влезает, не входит — и на шконку. А влезть не могу. Сил не хватает. Запихнула меня братва, лежу и думаю. Интересно, кто меня утром со шконки снять будет, а? С этими мыслями и заснул.

Вот так незаметно пролетела весна и начало лета. Ни зимы не видел, ни Нового года, ни весны... Стороной прошли, шел как-то в строю зековском, в столовую. И что-то меня потянуло на разговоры. Что-то мне вспомнилось. Спрашиваю у идущего рядом зека, с другой секции:

— Какое сегодня число, земляк?

— Двадцать шестое июня, а что?

— У меня месяц назад год был, второй распечатал, сегодня только вспомнил.

— Поздравляю, а сколько впереди?

— Много, четыре года одиннадцать месяцев...

— Ни хера, шестерик за политику, ты, наверно, точно революцию как Ленин хотел сделать!

— Зачем мне революция, дожить бы до звонка (конца срока), не загнута.

Тут и пришли в столовую. Хлебаю опостылевшую баланду из кислой, прошлогодней капусты, без картошки, почти без жира, только изредка мясо с головы свиньи небритой попадает, на стол вскидываю его, не могу жрать, мясо это. Черти, с краю стола сидящие, косятся. Зажрался политик, головизну небритую за мясо не считает. А я хлебаю и думаю. Надо рулить с этой командировки, с этой зоны. Иначе тут загнешься, забота нудная и однообразная, хавка скудная, а трюм — просто безобразие, а не трюм. И куда только прогрессивная мировая общественность смотрит, непонятно. Тут явно налицо некоторое нарушение прав человека, а они... Ничего не замечают!

И так мне тоскливо стало, что не стал я кашу есть, овес гадкий. Что я, англичанин что ли, ну и как же я буду в глаза лошадям смотреть, когда откинусь (освобожусь)? Обрадовались черти и давай мою кашу дербанить. Делите, делите, а я лучше подумаю, как с поезда этого спрыгнуть, хотя б на время остановку сделать, может на обл. больницу махнуть, на дур. отделение, с головою полежать, полечиться? Мне же еще на киче Но-

вочеркаской лепила советовал к доктору обратиться, с головою моею. А пока буду лечиться, глядишь и что-нибудь придумаю, подспрашиваю братву, что да как. Не может быть, чтоб выхода не было...

Гадом буду, а придумаю!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уехать по собственному желанию из колонии, как не парадоксально звучит, но осужденный может. Ведь понятие свободы и несвободы относительно, смотря с какой стороны забора смотреть. Если оттуда в зону, то тут несвобода. Если отсюда туда, на волю, на оставшийся мир за забором, то там несвобода. Ведь они за забором. Шутка...

Но если серьезно, в рамках несвободы тоже есть определенная свобода действий. Нужно только уметь их видеть, знать и использовать. Перечислю возможности выезда из колонии по инициативе осужденного.

Во-первых, побег. Тут ничего пояснять не надо.

Во-вторых, областная лагерная больница. Замастырился или заболел и поехал. Заболеть или замастыриться всегда в силах опытного осужденного.

В-третьих, явка с повинной. Это если совсем плохо. Рассказываешь о совершенном преступлении, своем или чужом. В лагере их навалом, нужно только знать, где искать. Если не убийство, изнасилование или чего-нибудь подобное-тяжелое, то даже не добавят. Но могут и добавить. Сформулировать недобавку можно так — если сидишь за кражи, например, десять штук совершил и признаешься в одиннадцатой, двенадцатой и так далее, то не добавляют. Чаще всего. Но вывозят в тюрьму, на следствие, на суд и после суда могут этапировать в другую зону. Или сразу признаешься в совершении преступления на другом конце страны.

В-четвертых, конфликтная ситуация. Например, кто-то хочет тебя зарезать. Но на другой зоне могут предъявить за это (обвинить в чем-либо). Лучше, если ты хочешь кого-нибудь зарезать. И громко говоришь об этом и предпринимаешь какие-либо конкретные серьезные шаги в этом направлении. Если предполагаемая жертва — член актива, сэвэпэшник, то вывезут мигом. Если жертва и ты — блатные, то оперативная часть будет с интересом ждать результата. И он не замедлит быть. Одного похоронят, другого осудят (иногда, из-за целого ряда обстоятельств), добавят срок и вывезут. Но это я уже следующий описал.

В-пятых, совершение преступления в зоне. Когда совершаешь преступление в зоне, ловишься и администрация желает тебя осудить. Но бывает не желает, а наказывает своими силами. Например, ПКТ. Значит, нужно повторить (смотри пункт четвертый). Иногда достигается успех и без добавки к сроку. Это когда суд меняет режим на часть твоего срока и направ-

ляет на тюремный режим. Вроде бы лучше, чем добавка, но все в этом мире относительно. Про некоторые крытые (учреждения тюремного режима) такие вещи рассказывают, что волосы (на теле) дыбом становятся...

В-шестых, далекое проживание близких родственников и членов семьи. Советское государство самое гуманное в мире и поэтому каждому осужденному положено одно личное (до трех суток) свидание с родственниками. Такого не было при царизме, это завоевание социализма и ими, завоеванием и социализмом, по праву гордится весь советский народ... Твоя мама старая и больная, ей далеко ездить на другой конец нашей необъятной Родины, а тебе положено свидание, если, конечно, не лишили в виде наказания этого свидания, которое положено всего одно в год. И наше государство идет навстречу пожеланиям трудящихся по обе стороны забора на одно благо. После соответствующей процедуры (написание заявления мамой, справка от врача, справка о зарплате, справка о стоимости билета, справка с места жительства и так далее), тебя везут в родной город или область. Отбывать наказание по месту жительства...

Вот этот вариант я и решил осуществить. Подсказал мне его мужичок один, адвокат, всего за две пачки сигарет. Адвокат этот был осужден за систематическое изнасилование соседки. Восемь лет срока. Как понять за систематическое изнасилование? Очень просто. Адвокат проживал в коммунальной квартире с несколькими хозяевами-соседями. Он, адвокат, объяснил соседке одинокой, что преступление — изнасилование, без свидетелей недоказуемо! Объяснил в популярной форме, а она и поверила, все же адвокат, учен, собака! Так он ее как подкараулит, так и трахнет! Но соседка не совсем дура была, пригласила подругу, посадила ее в шкаф и строго наказала внимательно следить и все запоминать. Адвокат увидел — у соседки дверь не заперта, забежал, закрыл дверь на крючок и изнасиловал в десятый раз! Соседка рада — насилуй, насилуй, в шкафу свидетель сидит, все видит. Так и пошли с подругой вдвоем в милицию. Я представляю, как хохотали менты! А адвоката — сюда, для организации юридической консультации в зоне. Вот он за курево и дает советы братве, смеется с него братва, но советам тем внимает. Ученый.

Решить-то решил, но не сразу это делается. Написал письмо маме как надо сделать, куда обратиться и, минуя цензуру, за пять рублей, отправил письмо на волю. Мне те пять рублей зек один, Василий, подарил. Он со свидания личного, в жопе вынес десять пятерок и как умный дятел сразу сделал подарочки кому надо. С его точки зрения. Чтoб спокойней жилось. И ментам, и блатным. И мне за что-то перепало.

Написал, отправил и сию, жду, когда совершится так называемый момент. В трюм стараюсь пока не попадаться, отошл сильно с последних срока суток. Да и бока со спиной еще болят после молотков.

Сегодня этапный день, зона оживилась. Кто-то земляков думает встретить, кто-то новые рыла поглядеть, а кто-то уезжает. Когда дергают на этап, предупреждают дня за три. Чтоб успел обходной лист заполнить, как на производстве, и сдать все, что положено сдать. И езжай куда собрался или куда повезут. Из ПКТ или ШИЗО дергают, конечно, сразу, но тоже с твоим обходняком шнырь трюмный бегаёт, подписи собирает. И на кресте также. А как ты думал, землячок, во всем должен быть порядок!

Лежу на шконке, лето на дворе, теплынь, солнышко светит, а мне лень гулять, такая апатия!

Наступила полная апатия,

Нету страсти на вино,

У меня одна «Столичная» симпатия,

Все равно напьюся, все равно!..

Да сейчас бы на волю, сухого вина попить, как они там, кенты мои, друзья-хиппы... Это ж надо, один сижу, во всей зоне один и никого из друзей нет. Даже за политику нет больше ни одного рыла. Вот я и стал внешне как уголовник, и, если по правде, то внутри уже с ними сравнялся. Замашки появились зековские, и давно. Со слабым — в рык, от сильного — подальше, чтоб не унизили. И леща (лесть) могу пулнуть и паутину блатных слов могу спутать-сплести, сказку рассказать и убедить кого-нибудь, что делиться надо... Только ирония да самоирония и спасает от полного растворения в этой серой массе любителей чужого добра, клоунов в несчастье, жертв самого гуманного правосудия в мире. Слушаешь рассказы братвы, за что чалются, и страшно становится. И не знаешь, плакать или смеяться, проклинать или рукоплескать...

Лежу на шконке и гоню гусей. Вдруг всех гусей шнырь со штаба спугнул:

— Иванов! С вещами на вахту!

Вот тебе раз! Неужели!.. Не может быть, чтоб почта так сработала быстро — утром отправил и уже свершилось... Иду, сдаю матрац с постельным, собираю сидор, прощаюсь с кентами — и на вахту. К воротам. А там уже человек десять. И два мента, бригадир и рядовой козел. Интересно, как их повезут, в автозаке стакан один. Отодвигаются ворота, видны солдаты и автозак, ДПНК берет в руки папки:

— Иванов!

Отзываюсь полностью, по всей форме, и проскакиваю в щель. Солдат подсаживает в машину, не пинками, а по-человечески. Усаживаюсь возле решетки, хоть немного на волю посмотрю. Лето, солнышко, зелень, хорошо. Быстро заскакивают зеки, немного нас. Последними в стакан запихнули обоих ментов. Это ж надо, там одному тесно! А сидора ментовские остались у ног автоматчиков лежать, за решеткой. Шутит братва:

— Слышь, командиры, не положено, чтоб зеки там ездили, сажай двух толстячков к нам!

И показывают на сидора, битком набитые. Богатые видать менты. Солдаты в ответ тоже зубы скалят:

— Да мы сами с ними поближе познакомимся...

Смех, гогот, всеобщее оживление. Хорошо для разнообразия прокатиться куда-нибудь. Поехали!..

Лихо домчались до Волгодонска и на вокзале нас загнали в какой то сарай. Каменный, без света и без окон.

— Слышь, командир, что за херня, тут ничего не видно!

— А зачем вам свет, читать что ли будете? Так сидите!

Ментов отдельно куда-то сунули, тут ни хрена не видно, ничего не понятно, что за черт?!

Через час нас выдернули и в столыпин:

— Бегом! Бегом!

Бегу, заскакиваю, по проходу пролетаю, лязгает решка, вот я и на полке второй. И все десять здесь, а ментов отдельно, в маленькое купе сунули. Поехали, поехали, поехали...

Этап был не пьяный, конвой ничего не продавал, но и не зверствовал. А может, просто денег ни у кого не было, вот и ехали насухую. Лично у меня две сетки маклеванные (самодельные) приныканы, но потерплю, дорога дальняя, может быть пригодится. Я так не научился красивым узлом сетки вязать, не мешки под картофель, а в три раза меньше, из цветных ниток. Для вольнячих дам, за покупками ходить. Один мужик очень красивые делал, я две приобрел за курево, продам где-нибудь. Еще чаек есть, пачка с ларька, в зоне положено пятьдесят грамм на месяц. В тюрюге не положняк, вот и является чай тюремной валлотой. В зоне не шмонали, значит в тюрьме обязательно будут. Нужно подумать, куда приныкать. Много забот у советского зека, ой много! Сначала на что купить, затем где купить, потом — куда приныкать, чтоб не отмели, не отняли! Много забот...

Шум, гам, пайку дают, хлеб, сахар, рыбу. Рыбу отдаю голодным. Затем водопой. Оправка, и на полку. Лежу, думаю, куда везут, неужели в Омск...

С этими мыслями и заснул. Проснулся — братва толкает:

— Приехали, а ты все храпишь!

На проходе рев стоит:

— Приготовиться к выходу! Бегом, бегом, бегом!!!

Опять по фамилиям кричат, вдруг по дороге потерялся кто или съели. Смех!

Выскакиваю с секции, солдат решку распахнул, бегу по проходу, кругом рев стоит:

— Бегом! Бегом! Бегом!

Ныряю прямо из столыпина в автозак. Следующий. Бегом! Следующий! Бегом!!

Через полчаса тряски в автозаке въехали под своды кичи. Ростовская — ура!..

По прибытию на тюрьму, СИЗО (следственный изолятор), все подвергаются тщательному обыску. Снимаешь все и только зубами по швам не проходишь. Но это — по отношению к тем, кто в первый раз приходит. Если же приезжаешь с тюрьмы или зоны, то в дело вступает обычная русская расхлябанность и авось. Авось тебя будут шмонать тщательно там, куда ты едешь...

Пощупали меня за яйца, педики они, что ли, постоянно за яйца норовят, провели руками под мышками, попросили снять один сапог.

— Какой?

Почесал прапор толстый, лет сорока, голову под фуражкой и:

— Ну давай левый, что ли...

Ничего не найдя, отпускает с миром. Чаек то я на плечо положил, под куртку, в мешочке тряпичном.

Транзит небольшой, человек тридцать, да нас десять. Ментов от-дельно, чаще всего берегут их, но бывают и проколы. И тогда... Я уже рассказывал, что с ментами случается, когда в транзит попадают.

Забираюсь на нары, лежу. Смотрю на хату. Братва базарит: кто, что, откуда... Все как обычно, скукота. Какой то мелкий блатяк, на зону едет, подскочил ко мне:

— Откуда, браток?

— А ты?

— Ты че...

— А-то ни че, а ты?

— Ты че, в натуре, я тебя пытаю, откуда ты?..

— А какая разница?

— Один дерет, другой дразнится...

— Так я первый, отвали, ты мне неинтересен...

— Братва, гляньте на него — я ему неинтересен!..

— Так я мальчонками не интересуюсь!

— Ты за метлой следи!

— Ну так ты сам ведешься, на себя одеяло тянешь, орешь, чтоб я тобой заинтересовался...

— Да ты че... Да ты кто?..

Вмешивается приехавший со мной жулик с третьего отряда:

— Отвали от него, ты че мужика напрягаешь! Я с ним с одной зоны, он трюмы за ментов валом имеет! За рыла ментовские!..

— Он тебе должен, ты сам-то кто, земляк, по этой жизни?

Базар с меня переключается на мелкого блатяка.

Транзит тусуют. Люди приходят, уходят. Кого наверх, в следственные хаты. Кого — на этап, на зону. Кого куда. Из приехавших со мною никого не осталось к утру. Один я и рыла разные. Забыли меня, что ли?

Утром лязгает дверь:

— Кого назову — на коридор с вещами! — кричит дубак с бумажкой. Слышу свою, обзываюсь на фамилию полностью, высказываю на коридор. Пытаю ближнего зека:

— Куда едем, браток? На дальняк?

— Не знаю, я — на крест областной, аппендицит резать...

Вот те раз, а я куда? Грузят в автозак, выезжаем из кармана, из-под сводов кирпичных. Едем. Через двадцать минут — остановка, лязгают ворота, приехали. Ничего не понимаю!

— Выходи!

Выходим, верчу голову, отзываюсь по фамилии, ничего не понимаю! Куда привезли менты? Маленькая зона, беленые бараки, зеки в нижнем белье, в халатах. Облбольница! Так я здоров!..

ДПНК выводит из кармана и ведет в штаб. Тоже распределение? Проще, около штаба — шныри-санитары, в зековской робе, с лантухами на рукавах, всех этапников разбирают. Меня забирает крупный, рослый зека с лантухом на рукаве «Старший дневальный шестого отделения».

— Слышь, земляк, а что такое шестое отделение?

— Придешь — узнаешь... — цедит сквозь зубы зек. Ну и морда, мразь!..

Невысокий заборчик, кусты акации, трава, тополя, на лавочках перед входом в барак, зеки. В нижнем белье, в халатах, смотрят с любопытством.

— Откуда, земляк?

— С семерки, а что за контора?

— Дур.отделение, дурдом! А ты что думал? — и ржут. А я то думал: Кремль, Москва... Придурки.

Зек мордастый подталкивает в спину:

— Шагай, шагай, потом наговоришься!..

Иду, ничего не понимаю, кто же мысли мои подслушал, что я хочу в облбольницу, от трюмов отдохнуть. Что за чудеса!

Заходим в прохладный барак, после солнцепека хорошо, длинный коридор с чисто вымытым полом. По обе стороны — двери, некоторые открыты, ничего общего с тюрьмой.

— Сюда, — выхожу в указанные двери. Ясно — каптерка. Отдаю сидор, вынув то, что надо. Зек не протестует. Незаметно заворачиваю чай в полотенце, снимаю свои шмотки и получаю больничные. Кальсоны — как в зоне, тонкие, с завязками, рубаха — такая же, все застиранное, серого сиротского цвета, тапочки разваленные и грубый серый халат до пят.

— Идем, — зек немногословен. А мне плевать, что мне с ним, ментом, базары вести? Душ. Полоскаюсь в удовольствие, никто не гонит, не торопит, никто под струю не лезет, не отталкивает. Красота! Хорошо!

После душа — в палату. На двери написано «Бокс номер три» и окно, пластиком забрано. Все знакомо, в тюрьме видел подобное. Но все здесь из дерева крашеного, одно загляденье. Зечара молчаливый дверь отпирает ключами, ни хрена себе, ему и ключи доверяют.

— Заходи, — буркает и запирает за мною. По-видимому, карантин. А вдруг, я заразный или буйный.

Бокс маленький, одна однарусная шконка и тумбочка, окна нет, стены белым окрашены, пол деревянный. В углу обыкновенный белый унитаз и раковина с краном. Это не трюм, живем, братва, ну кайф!

Устраиваюсь основательно. Халат — на вешалку, крючок на стене, зеки больные в окошечко заглядывают, зечара их отгоняет, слушается его. Бугай! Полотенце — на спинку шконки, вещи немудреные — в тумбочку, чай, чай пока под матрац. Одеяло откинул и упал. Хорошо! Хорошо... Так и задремал...

— Обед, — мордастый зек открыл дверь, другой, потоньше, на разносе хавку мне несет, да на тумбочку ставит! Мама родная! Что ж такое, куда я попал, неужели на курорт зековский?! А может, в рай?! Тоже зековский? Ведь зеков власть советская и после смерти не отдает родственникам, сама хоронит. Так может, у власти той поганой и рай свой есть, для зеков? Так вроде я живой...

Хаваю отлично приготовленный жирный обед в большом количестве, хаваю с белым хлебом и думаю — чем же рассчитывать придется? Ведь менты ничего задарма не дают. Так же как и власть. За все надо платить. Чем же с меня, голого, брать собрались, не знаю.

Похавал и на шконку. А там и ужин не заставил себя ждать. И тоже все отлично. Передайте мое «спасибо» поварам!

Ну а теперь — спать. Тепло, свет только, но я привычный.

Утром не прапор орет, не козлы. Как будто и нет подъема, нет зоны. Шнырь завтрак принес, кушаю. Один, никто над душой не стоит, никто не гонит: хавай, мол, быстрее, другие тебя ждут. Похавал, какао (ой, мама) выпил и на шконку. Хорошо!..

Через часик двери отперлись, а там — мордастый. На груди бирка «Васильев К. Л.».

— Выходи, — выхожу и иду за ним. Недалеко, тут же в коридоре. Дверь без окна и надписи. Зечара как швейцар распахнул мне:

— Проходи.

Вхожу, сажусь на указанный стул. За столом мент в форме зеленой, а сверху — халат белый. Доктор. Лепила по-зековски. Сижу, молчу. Он тоже сидит и тоже молчит. Сквозь очки на меня глядит. Гляди, гляди, а слюни пускать не буду и говно жрать. Я, если надо, так закошу, что ты ахнешь! Пока подожду, посмотрю, куда ветер дует. Не первый день в зоне, битый. Помолчал лепила, полистал бумаги, потер длинными пальцами лоб высокий, интеллектуальный и говорит:

— Жалобы есть? На сердце.

Ни хрена, психиатр, а сердцем моим интересуется, издадека заходит, паскуда!

— Здоров как бык!

— А что худой и бледный?

— Не в коня корм и загар не пристаёт. Я же с Сибири — там сильно не позагораешь.

— Ну, Омск не крайний Север, у вас летом сколько градусов бывает?

— До тридцати доходит, — говорю честно. А он удивленно тянет:

— Ну? Я думал меньше, вот видишь...

И, что-то найдя в папке, начинает читать с интересом. Затем вскидывает голову и возмущенно говорит:

— Я-то думал, ты мне правду говоришь насчет загара и худобы. А у тебя ШИЗО за семь месяцев в зоне три месяца десять дней набирается!..

— Ну вот и не толстею. Или вы не знаете, как в трюме кормят?

— Знаю, но нормы утверждены МВД и ГУИТУ по согласованию с Минздравом.

Молчу, что скажешь гаду, он же из этих, из властей. А у них свой взгляд на нормы. Посадить бы блядей и этого тоже на норму и посмотреть, каков он будет. Молчу, здесь тоже трюмы есть, наверно. А мне в моем боксе нравится.

Посидели, помолчали и он меня в бокс отправил. На шконочку. А через полчаса расплата пришла. За компот, какао, хлеб белый, за шныря, хавку подавшего. За все...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Навалились на меня четверо шнырей, четверо козлов. Видно уснул я после приема у лепилы, вот и вошли неслышно, на цырлах. Вошли, навалились и давай вязать жгутами плотными. Взыл я благим матом да давай биться как могу. Ничего у меня не получается, не могу вырваться от блядей поганых! Да что ж такое, суки, гады!.. Ноги привязали, руки — вязать, да через поясницу ремень пустили, а напоследок и шею, чтоб головой не бился. Подушку выдернули, на тумбочку бросили. Ну, бляди! Ору во весь голос, что еще могу сделать! А!! Козлота, а, козлота эта поганая кальсоны сдирает!..

Бляди, твари, пидары, отвяжете — всех поубиваю, на краю света найду, козлы трахнутые!.. А, а, а!!!

Ожгло ягодицу и теплое поплыло по телу, ожгло другую и тоже тепло, затем под обеими лопатками, тоже самое, укол, ожог и тепло. Накрыли простыней и ушли, только дверью хлопнули...

Лежу, плачу. Это ж надо, думал, трахать будут, опускать... Я бы их, блядей, действительно поубивал бы, если б смог. Но жить пидарасом, животным, я б не стал. Их бы поубивал и на себя руки б наложил...

За мыслями этими и не заметил я, как горячо мне стало, припекает просто, как будто на уколы, на места уколотые утюги раскаленные по-

ложили! Что же бляди сделали, чем укололи, твари! А-а-а!!! Ору и бьюсь. А-а-а!!! Суставы выламывает, тело коржит, вот и обоссался, пот ручьем, глаза выпученные заливают, все тело в конвульсиях бьется. А-а-а!!! Ору и умираю и вновь воскресаю для новых мук. А-а-а!!! Я на кресте! Вбили гвозди раскаленные! В руки, в ноги, ягодицы, в лоб!! За что! А-а-а-а-а!!! Крест огненный из раскаленного металла, гвозди огненные в суставы вбиты, и поворачивает кто-то... А-а-а!!! Люди, за что!!! Я умираю и вновь воскресаю, рот сухой, пить, пить, пить, палач, дай губку с уксусом... Где палач!!! Где?! А-а-а!!! Глаза лопнули и разлетелись по вселенной, звезды падают на меня и жгут, жгут, жгут... Кто это мучает меня?! Что за страшное чудовище, чудище, черно-красное, пышет жаром мне в лицо? А-а-а-а-а-а-а!!! Лопнули суставы, с треском вывернутые! А-а-а!!! Жар, жар, жар... На кресте жар!.. Гвозди огненные, в лоб, в суставы вогнанные... А-а-а!!! Кто это?! Что за нестерпимый свет?! У меня нет глаз, он светит прямо в мозги, в воспаленные мозги, пробитые огненным гвоздем. А-а-а!!! Тело мое, истерзанное пытками, тряпкой повисло на кресте, а я улетал в ослепительный свет... Жар, жар, но уже нет боли, нет, нет, нет, нет...

Очнулся я обосранный и обоссанный, все так же привязанный жгутами к шконке. Утро или ночь, мне было все равно. Внутри я был пуст, суставы ныли и выворачивались, страшно хотелось пить, язык, казалось, вырочается в духовке... Очень болели глаза, казалось, кто-то пытался их выдавить, но изнутри. Я помнил все, до последнего мгновения, что со мною произошло... Я только не мог понять — это были кошмары или наяву? Может быть, меня действительно распяли, как Христа...

Вошедшие шныри отвязали меня и положив на носилки, унесли в душ. Я воспринимал все происходящее с отупением. Ведь я же умер... Меня окатили душем, как покойника, переворачивая с бока на бок. Я лежал на мокрых носилках, не ощущая ни холода, ни неудобств и глядел в потолок. И ни о чем не думал... Затем меня отнесли в бокс, где уже заменили и матрац, и белье. Шныри грубо переложили меня на шконку и ушли. Я лежал на животе, как меня положили, суставы ныли не сильно, тело не жгло, но совершенно не было мыслей... Совершенно. Голова ясная и пустая. В ней было пусто, и от той пустоты стоял даже звон. Под этот звон я и провалился в забытье...

Очнулся через мгновение, кто-то теребил меня за плечо. Открыв глаза, увидел: шнырь что-то говорит, но не слышно. Просто разевает рот и все. Я посмотрел на шныря, широко раскрывающего рот и закрыл глаза. Все равно не слышу...

Очнулся почти полностью я через двое суток после уколов. Суставы выворачивало, но жить уже хотелось и хотелось жрать! Значит, я вернулся с того света. Значит, буду жить. Всем назло: ментам, козлам, советской власти. Жить и помнить. Все помнить, что они со мной творили. Бляди!..

Повели меня два шныря под руки к доктору. Фашисту со лбом интеллектуала. Не могли же козлы со мною такое сами сотворить, без его команды. Не могли. Решил я не лаяться, решил умнее быть.

— Ну что, полегче? — участливо пытается меня изверг.

— Да, только суставы крутит и голова пустая.

— Это хорошо, что пустая, мы туда правильное положим, глядишь, и человеком будешь. А суставы пройдут, покрутит-покрутит и пройдет.

Молчу, боком сижу на стуле, жопу еще больно от уколов поганых... Шнырь за плечо поддерживает, чтоб стол не боднул. Второй — неподалеку, тоже бдит, вдруг его помощь понадобится.

— Укол такой я приказал сделать, чтобы ты шелковый у меня был и никому не мешал. И на будущее учти — я в ШИЗО не сажаю, укольчик такой, а то — и двойной, и снова, как шелковый. Ясно?

Совершенно искренне заверяю гестаповца в белом халате, что пока я у него в отделении, не то что режим нарушать не буду, я вообще больше на шконке лежать буду, меня совсем видно не будет.

Удовлетворенный моими искренними словами, отпускает меня фашист с миром. Повели меня в бокс шныри и на шконку положили. Так и пролежал до обеда. Не дыша и не шевелясь.

Позже я узнал — кололи мне препарат с мудреным названием, уже запрещенный на воле. Повторяю — запрещенный в СССР на свободе. Но зона — не свобода... Шныри между собой говорили так: горячий на четыре точки. Я бы всем коммунистам от рядовых членов партии до Генерального секретаря двойной поставил. Лично. И не побрезговал бы.

На следующий день я был в норме. Почти. Только походка необычная, у меня раньше такой не было. И немного ломит суставы. И иногда забываю, куда шел и зачем. Тормозить немного стал... Как рассказывала мне братва из общей палаты, куда меня перевели, я очень быстро очухался, некоторые по пять дней не могут встать. Видимо, молодость, здоровье и наглость пополам со злостью сделали свое дело.

Сразу после завтрака с какао (у, суки!), на следующий день, меня повели к фашисту. Начальнику психоневрологического отделения майору Розенко.

Сижу на стуле и смотрю на лобастого эсэсовца, фашиста, изверга. И даже злости нет. Просто холодная трезвая ненависть. Не ослепляющая, а наоборот, — трезвая, здравая, расчетливая. «Смотри в оба, что этому гаду от тебя надо». А он паутину жизни издалека плетет, со школы. Ого, так я тебе и поведал правду о своей душе, о жизни на воле. Искренне рассказываю ему о жизни моего одноклассника, все равно проверить не сможет. Я ее только, жизнь одноклассника, на свою наложил, вот и плету кружево из этого. Ничего, вроде глотает.

Переходит к вопросам, к тестированию. Эх ты, лопух, да у меня мама — медсестра и одно время хотела идти работать в дурдом, там боль-

ше платят. Так что дома книжек было валом, по психиатрии, неврологии, невротерапии. Были и учебники с тестами, для студентов. А я любопытный и читать люблю. Вот и проглотил то месиво. Но вот и пригодилось.

На следующий день снова к нему иду и снова тесты. На третий день я въехал — подбивает под меня, фашист этот, шизофрению через антисоветчину. Ну, мразь, ну, сука, это ж что, паскуда, задумал!

В СССР лица, совершившие тяжкое преступление, но будучи сумасшедшими в момент совершения преступления, наказываются не лишением свободы с отбывтием срока в зоне, а более гуманно. Навечно в психдиспансер. Например, город Казань. На жаргоне — на вечную койку. Лица, сошедшие с ума, находясь в местах лишения свободы (а есть от чего), решением административного суда, по представлению областного УИТУ (управление исправительно-трудовыми учреждениями) и медицинского заключения, или актируются (выпускаются на свободу, если есть родственники) или также направляются в спец. психдиспансер. Но актируются лица, не опасные для общества — воры, грабители, хулиганы. А лицо, осужденное по ст. 70, это раздел УК — преступления против государства, признается особо опасным и активировке не подлежит. Так-то! А режим там, на спецу, на вечной койке, хуже тюремного. Это и по слухам, и прапора рассказывают.

Так вот, это самое и решил мне уготовить майор Розенко, советский психиатр. Но я расколол его. Машины книжки, личная хитрость — и я дал бой. На тесты отвечал вдумчиво, проникновенно глядя в глаза фашисту. Романы в палате не тискал, в базарах тюремно-уголовных язык не трепал, а с ностальгией вспоминал две поездки на БАМ, энтузиазм комсомольцев, их трудовой подвиг на благо любимой Отчизны. Сеговал, что вовлекшие меня в антисоветчину хиппи не дали влиться в трудовую семью. С тоской вспоминал в разговоре со шнырями пионерский лагерь, красный флаг, бьющийся по ветру в такт нашим сердцам и звуки горна...

Внимательно читал газеты, присутствовал на политинформациях и в разговорах с зеками, больными и косящими-мастырящимся, всегда занимал генеральную линию нашей партии, одобряемую не только мною, но и всем советским народом.

Психиатр-фашист зашел в тупик: осужден за антисоветчину, по 70, но кристально чист, искренне болеющий за благо Родины, всеми силами и устремлениями души поддерживающий завоевания социализма...

Зашел в тупик, но нашел выход. На двадцатый день моего пребывания в этом советско-социалистическом бреде вызвал меня к себе:

— Я решил направить тебя в городскую психиатрическую больницу. С диагнозом, для подтверждения или опровержения. Я не сильный специалист в психиатрии — я институт по сангигиене кончал...

Из кабинета вышел я ошизевший. Что это делается: или кругом сумасшедшие, или я один с ума сошел! Посудите сами: один санитар на воле слесарь, другой — грузчик, третий — бомж, четвертый — скотник! Один врач, капитан Горелов, ветеринар по образованию, другой, не помню фамилии, старлей длинный, — фельдшер, а начальник отделения — по санитарии специалист! Я от мамы знаю, что они тарелки в столовой проверяют, чтоб никто не усрался, как в тюряге... Все же воля!..

Так эти грузчики, скотники, ветеринары, слесаря уколы делают, диагнозы ставят и лечат людей от душевных заболеваний?! Ой, мама! Роди меня по новой!!!

Мало того, что лечат, так они, бляди, еще и пункцию берут. Жидкость из спинного мозга. Для проверки: дурак или нет, косит-мастырится. Потом — или паралич, или в лучшем случае — эпилепсия... Где вы со своим Нюрнбергским процессом, демократы и социалисты? Или страшен вам огромный Союз?! Вот и молчите?.. Я молчать не буду, они фашисты и власть у них фашистская, а что советской прозвали, так это от хитрости. Потому и живы, с семнадцатого по семьдесят девятый!

Поехал я снова на кичу. Хорошо! Не надо мне какао и белый хлеб. Я через день в трюме пониженку хлебаю с фунтом черняшки. Ну и что, что холодно и сыро. За теплый бокс платить надо. По полному счету.

На тюрьме все по прежнему: транзит, нары деревянные, сидора кругом, расспросы: что, кто, откуда, куда? Честно сказал, чтоб отвалили, еду на вольнячий дурдом, вечную койку шью мне, не до глупых базаров. Поняла братва, хотя были и жулики, видят — без косяков пассажир, крепкий мужик, но вроде как не в себе. И отстали.

Перекантовался я день и ночь, поел чуток из этих сидоров вольнячих харчей и поехал в дурдом. Один в большом, пустом автозаке. С двумя охранниками. При двух автоматах. И в кабине старший вагона, старлей. Вот это честь!..

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Каждый человек, совершивший тяжкое преступление или просто не желающий отвечать за совершенное преступление и начавший притворяться, косить, мастыриться, направляется на экспертизу в психоневрологический диспансер для освидетельствования. Вот там и выясняется: дурак или просто притворяешься.

Вот в такое отделение меня и привезли. Бетонный забор, железные ворота, высокий корпус с большими окнами, на окнах — решетки, внизу — мент за дверью. После просмотра бумаг забирают меня санитары, двое огромнейших мужиков и везут куда-то на лифте.

Загорается цифра «шесть», мы выходим, нас уже ждут. Два других санитаря, тоже приличных габаритов. Видно, здесь такова мода. Меня передают в торжественной обстановке, а дальше — все, как обычно. Душ, переодевание — и в палату. А палата под замком. И шконки в ней тюремные, двухъярусные. И морды. Разные... Прохожу к свободно-му месту, внизу, около стены. В тишине устраиваюсь и укладываюсь, белье постелено заранее — хорошо! Лишь бы не кололи гады, а уж с остальным я сам справлюсь. Тишину нарушает тщедушный мужичок, лет тридцати, с тонкой шеей, торчащей из ворота пижамы:

— Слышь, землячок, с каким диагнозом?

Я знаю, серьезные люди из уголовного мира редко мастырятся, да и морды, хоть и разные, но так себе морды... Решаю блеснуть эрудицией:

— Кинематическая шизофрения с непроходимостью левого нерва с ярко выраженными психическими наклонностями в правой плоскости четвертого дециметра.

В ответ — тишина. Тридцать два придурка переваривают мою галиматью. Наконец переварил самый грамотный:

— По-моему, вы гоните, молодой человек! Такого диагноза не бывает. Я уже четвертый год по дурдомам мотаюсь.

Внимательно гляжу на грамотея, он отводит взгляд в сторону, отвечаю:

— Это и видно. Насчет четырех лет.

От меня отстали. Через несколько дней мы все таки сошлись, и я рассказал, почему я тут. Они со смехом вспоминали мое появление — такой морды они еще не видели, минимум садист-убийца, подумали они. Уж такое тяжкое выражение лица. Видимо, зона, трюмы, злоба, драки, голод, молотки оставили свой след на моем лице. Не знаю только — навечно или нет.

Из всех больных в палате по-настоящему были сумасшедшие трое. Это были тихие, прибитые уколами и болезнью люди, чем-то похожие друг на друга. Что они совершили, когда сошли с ума, как долго они здесь, было неизвестно. Остальные более-менее косили-мастырились. Лучше всех получалось у Василия, грамотея. Его уже четыре года возили по дурдомам. Был он и в Москве, и в Питере, и в Киеве. И везде подтверждался диагноз. Он был длинен и я не старался его запомнить. Но сам Василий мог его оттарабанить без запинки, по-видимому, он им гордился. В палате он, конечно, не говорил, что косит, — и правильно. Среди придурков были осведомители, за обещание поддержать еще немного в больнице они исправно сообщали обо всем, что происходило в палате. Внешне сумасшествие Василия было связано с его преступлением. Застав жену с другом в постели, он убил обоих отверткой. И с тех пор во время якобы приступов, он разговаривает с обоими, плачет, просит друга не отнимать у него жену... В остальное время он совершенно нормален и общителен.

На следующий день начался цирк. И клоуном решили сделать меня. Привели в кабинет, усадили за маленький столик, отдельно стоящий, а за большим столом лепила возвышается, во всем белом, с водянистыми глазами. Усадили и начали:

— Ну-с, молодой человек, начнем с простейшего, с азов. Возьмите карандаш и нарисуйте дом.

Это я знаю. Прочитал в учебнике по психиатрии. Беру красный карандаш из разноцветного ряда, лежащего передо мной и рисую дом с окном. С трубой. Но без дыма. Я же не дурак, причем тут детализировка и натурализм. Видимо, удовлетворенный моим художеством, лепила переходит к следующему:

— А теперь составьте из этих кусочков рисунок.

Молоденькая сестра в коротком халате, с глубоким вырезом, куда приятно заглядывать, аж дух захватывает, со строгим и неприступным лицом, убирает карандаши и бумагу, кладет кусочки картона.

Я быстро выделяю из месива кусков несколько выпадающих по цвету и отодвигаю их в сторону. Из остального через некоторое время складывается рисунок Красной Шапочки, но не хватает нескольких кусочков. Внимательно рассматриваю отложенные — это ж надо, что придумали, ну, хитрецы — куски те, которых не хватает, но выполнены в другом цвете. Заканчиваю складывать Красную Шапочку и подмигиваю сестре. Но она неприступна и горда, преисполнена важностью момента — идет тестирование!

Следующее задание: из кубиков разного размера и цвета сложить стену. Ну что я, debil — на цвет наплюю, большие одного размера в ряд, следующий ряд из меньших, следующий, ого, одного не хватает, следующий, ого, на два больше, откладываю их в сторону.

— Нет, нет, молодой человек, найдите им место.

Кладу их друг на друга ровно посередине. Лепила оживляется, даже одевает очки.

— Интересно, интересно! Очень интересно! А почему вы выбрали, молодой человек, такую композицию, а не другую?

Смотрю на него как на придурка и пожимаю плечами:

— Симметрия.

— Интересно, интересно, а вы любите архитектуру, ну, дома разные, строения?

— Да.

— И какой стиль вам больше по душе, молодой человек?

— Я слабо разбираюсь в стилях. Но мне кажется, современные дома, которые строятся в нашей стране, высотные — наиболее красивые.

— А почему? Обоснуйте.

— Они наиболее подчеркивают устремление советского человека к созиданию, к творчеству. Они символизируют нерушимую поступь социализма, торжество идей великого Ленина и его последователей...

Я вовремя останавливаюсь. У лепилы глаза больше очков и он не сводит с меня взгляда. Я спокойно выдерживаю его пристальный изумленный взор и поворачиваю голову к сестре, как бы спрашивая ее, что с ним, с лепилой? Ведь сказать сейчас, что я несу вздор, абсурд, ахинею, значит, сказать, что советские газеты несут вздор, абсурд, ахинею. Ведь я говорил штампами, принятыми в советской прессе. А газет в лагерьной больнице я начитался до тошноты.

— Интересно, интересно, молодой человек! Очень интересно! Очень! Ну, а что вы можете сказать, ну, например, ну, я не знаю, ну, ну, ну например... о БАМЕ! — лепила оживает, глаза приходят в норму и он выжидательно смотрит на меня, развалясь в мягком кресле.

— Я дважды был на БАМе. И только отсутствие трудовой книжки помешало мне влиться в трудовую семью! Вы видели, доктор, как идет мостопоезд, а впереди висит огромный пролет, рельсы сразу со шпалами? Нет? Жаль, я тоже не видел, но все равно, тогда вы не полностью поймете романтику трудовых буден, когда ты, вместе со своей бригадой, собственными руками, строишь дорогу в светлое будущее, за которое сложили головы наши деды! Ведь мой дедушка погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками не для того, чтобы я сидел в тюрьме, доктор!! А для того, чтобы вместе со всей Родиной, со всем советским народом созидать! Строить!! Мечтать!! Дерзать!!!! А я совершил гнусность, участвуя в печатании этих пасквилей, но меня можно понять! Нет, нет! Простить нельзя, я правильно наказан, я должен полностью испытать чашу наказания за совершенное мною! Но понять меня можно! Я искренне верил, искренне заблуждался, печатая эти бумажки, я думал, что вкладываю кирпич в здание знаний советского народа! Но только теперь я отчетливо вижу и очень отчетливо — партия и правительство само знает, и намного лучше, какие кирпичи нужны, а какие — ни к чему!!! Ведь я не архитектор, я хотел быть рядовым строителем социализма, но увлеченный ложной романтикой, ранним пьянством в связи со смертью отца, я встал на скользкий путь правонарушений и преступлений! Закономерно приведший меня сюда к вам, доктор!..

Я лежу на шконке, выжатый, как лимон. У меня ощущение, что внутри меня ничего не осталось. Я рассказал доктору все, что знал. Или почти все.

После моего страстного монолога доктор пришел в себя только через день. И начались вопросы, тесты...

— Почему вам нравится эта картинка, а не другая?..

— Скажите, какого цвета слоны?..

— В чем разница между вороной и самолетом?..

— Покажите, что бы вы выбрали на этой картине? Почему?..

— Кто вам больше нравится — верблюд или паровоз? Почему?

Почему, почему, почему, почему, почему?

Завтрак — и почему? Обед — и почему? После ужина оставляют в покое. Лежу измочаленный, смотрю на стену. Я умер, меня нет, не трогайте меня!.. И меня никто не трогает. Не тцедушный мужичок, с тонкой шеей, убивший из ружья двух солдат, выкапывавших картошку у него в огороде. Не детина с косыми глазами, изнасиловавший и убивший десятилетнюю девочку. Не солидный мужчина, ловивший мальчиков в парках и показывавший, как можно играть с его членом. Не молодой парень, зарезавший парикмахершу за то, что она порезала его во время бритья. Она его, а он ее... Никто меня не тревожил после аудиенции у доктора. Все они понимали, что доктор вынул из меня все. Так же, как и вынимал и из них.

На десятый день моего нахождения в этом чистом, сытом, но заключении, все окончилось. Приведенный к лепиле, я услышал следующее:

— Поздравляю вас, молодой человек, поздравляю! Вы психически полностью здоровы. Есть, конечно, кое-какие отклонения, но несущественные, кто из нас не без отклонений. Ха-ха-ха! Одно удивляет, как вы с таким правильным мировоззрением, смогли совершить столь чудовищное и мерзкое преступление — антисоветская деятельность!

Соглашаюсь с ним, что, действительно, преступление ужасное, но осознал я это до конца только в заключении.

Удовлетворенно похмыкав, лепила отпускает меня, сообщив радостную новость — завтра меня выписывают. Я воздержался от вопроса: куда? Чтобы он не задержал меня еще немного в этом заведении. Санитар-гтромила проводил меня в палату к придуркам, совершившим нормальные преступления, в отличие от меня. А сестра ко мне не подходила, видимо, ее беспокоил мой нескрываемый интерес к покрою ее халата. А жаль...

На следующий день двое автоматчиков во главе со старлеем, увезли меня в тюрьму. В транзит. К братве. К простым советским зекам, к грабителям, хулиганам, насильникам. Совершившим всем понятные обычные преступления.

Я снова был среди сидоров и мне не грозила вечная койка! Я не был замкнут и задумчив, как раньше, жизнь во мне бурлила и искрилась, была ключом! Через час после моего прихода в хату от хохота сотрясались стены и звенела решка в окне. Это я в красках и подробностях, приукрашивая и привирая, между хавкой, которой меня угощали, рассказывал о лепиле, сестре и халате, и моих монологах. Наконец-то я встретил благодарных слушателей, свободные уши. Повеселив братву и набив сидор подарками, я отбыл на лагерную больницу. Порадовать специалиста по сангигиене диагнозом — здоров!

На лагерной больничке я пробыл всего три дня. И не жалею! И снова этап, автозак, снова на кичу, в транзит, к сидорам. Что мне здоровому делать среди придурков. И хавки мне не надо диетной, я больше к грубой пище привык. К салу колхозному, колбасе домашней, чесноку да луку. И все оттуда, из сидоров...

Главное слово заветное знать и вовремя сказать-промолвить! Ларчик и откроется. Главное — я здоров!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Снова столыпин, снова пьяный этап, пьяный конвой. Но в нашем купе-секции денег нет. Или попрятали и делиться не хотят. Правда, и в других не лучше, не больше. Ехали скучно, тихо. Лежу на золотой середке и думаю, думаю. Впереди — зона, трюмы, козлота да кумовья. Как же я выживу — не знаю... Хорошо думать под перестук колес, глядя на пластиковый потолок.

Ехали долго, нудно, еле-еле. Привезли в Волгодонск к вечеру, сразу в автозак — и на зону. Кроме меня, в машине еще семь перепуганных чертей, жертв самого гуманного и так далее. После Новочеркасска из них можно веревки вить, а они еще спрашивать будут — в нужную ли сторону крутятся...

Приехали, этап на распределение, а мне ДПНК майор Косарев кивает:

— Приехал? Получай шмотки и в барак свой дуй.

— Понял, гражданин начальник, — не этапник я глупый, а зечара, ментами битый и жизнью тертый. Все так и сделал.

Прихожу в отряд, братва радуется:

— Ба, Профессор приехал! Ни хрена себе!

— Где был, Володька?..

— Куда возили, что видел?..

Подождите, братцы-уголовнички, морды зековские. Матрац положу, вещи разложу и все расскажу. А кое-кого и харчами вольнячими угощу. Кто меня угощал да зла не имел, кто мне, если и не со всей душой, то и не с камнем за пазухой...

А это что за новости? Что за рыло сидит на моем месте и сетки путает?

— Земляк, ты не заблудился? Что ты делаешь, мил человек, на моем месте?

— Меня старший дневальный сюда положил...

— А я тебя в другое место положу — ляжешь? Свое мнение иметь надо. Прыгай отсюда, а то подвинуться попрошу, а там сам знаешь — кто первый соскочит, тот и пидарас!

— Да ты че, за базаром не следишь!

— Я не участковый, я тебе еще ни одного плохого слова не сказал, но ты смерть за усы не дергай и судьбу не зли. Снялся со шмотками и попылил отсюда! Ну!..

Рявкаю, делаю зверское рыло и стелю матрац на освободившуюся шконку. Откуда-то доносится голос старшего дневального Филипа:

— Это кто там блатует?! Что за блядь распоясанная?!

Началось, кончились золотые денечки, кончился отдых, начались суровые зековские будни. Ну почему козел этот за метлой не следит своей поганой, я уже устал, я не хочу!

Но нужно, иначе в петушиный барак загонят... Беру табурет тяжелый, запрыгиваю на верхнюю шконку у двери и сделав злобное рыло, жду. Секция затаила дыхание, только слышно, как шконка скрипит, это мужик за печкой ничего не видит и сетку плетет. А в коридоре все ближе и ближе:

— На-ка покажи мне этого черта, что мое распоряжение отменить вздумал! Убью тварь!

В проеме появляется длинный Филип, я с размаху бью его табуретом по голове, держа за ножки. Филип крикает и валится на пол, но передумав, хватается за шконку и с диким ревом уносится в неизвестность. В сторону штаба... На полу чернеет маленькая лужица. Братва ахает и начинается гомон:

— Ну ты даешь, Профессор!..

— Ни хрена себе, чуть не завалил козла...

— Бить будут!

— Ну дает, только приехал и...

— Так тот сам, метлой метет!..

Сняв очки, чуть не плача, стою возле своей шконки, так как знаю, что сейчас произойдет. Что за жизнь ломаная-поломатая! Не хочу в трюм, не хочу под молотки, так как все равно меня жизнь толкает, ну, суки, ну, менты, всю жизнь поломали, гады, за бумажки в лагерь, ну, твари, ну, мрази, ненавижу...

Тут и началось. Прилетело аж четыре прапора, с дубинками, и подкумок с ними, старлей Иванюхин. Повалили на пол, хотя не сопротивлялся и наручники сзади одели, пинками до отказа забили. Взвыл я зверски, терять уже было нечего, понял я — убивать будут, не меньше.

— Ну, бляди ментовские, пропадлы, ложкомойники, ненавижу, твари, ненавижу!..

Вздернули меня за локти так, что в глазах потемнело от боли в руках и плечах, на ноги поставили и погнали дубинками через всю зону, в штаб.

Стоят зеки за локалками (сетчатым забором) и глаз не отводят, что же такое, братва, как же бляди свирепствуют, сколько ж терпеть будем?! А меня мордой от дверь, хорошо очки в бараке оставил, заходи, сука! Сами суки, изловчился я и пнул подкумка в жопу — семь бед, один ответ! Взвыл подкумок от такого оскорбления, вцепился мне в куртку и поволол в трюм, в ад, в пекло! А сзади прапора дубьем подбадривают: ходи веселей, блядь зековская...

Сами бляди, вырываюсь у подкумка и кидаюсь оскаленным ртом в лицо прапору здоровому, по кличке Тимоха:

— Загрызу, тварь, глотку вырву, я и без рук, вас, пидарасов, уделаю! Ненавижу!..

Шарахнулся Тимоха, перепуганный моей яростью, а я ногами пинаю прапоров и подкумка, головой стенды, в коридоре штаба по стенам висящие, сметаю, звон, от стекла битого, треск от фанеры ломаемой, крик зверский и рев, как будто дикие звери насмерть бьются. Это я, худой и затрюмованный, бьюсь с пятью откормленными блядами, на смерть бьюсь, жаль, руки сзади скованы, я бы им такое устроил, я бы штаб поганый разнес и блядей этих поубивал!

Повалили меня на пол и давай пинать ногами в голову, в живот, в почки, в печень, в пах, в... куда попало пинают, воют, дубьем лупят, куда попада и режут! Я же в ответ только катаюсь по стеклам битым и тоже вою-ору!..

— Ненавижу, суки, бляди, твари, пидары, погань! Ненавижу!!

Прекратил безобразие хозяин, выскочил из кабинета и наверно ошизел от того, что увидел. Одно дело в трюме, тихо и спокойно избить осужденного до полусмерти, другое дело — крушить все чистом коридоре штаба, убивая зека.

— Прекратить! Немедленно прекратить! Старший лейтенант Иванюкин, доложить о происходящем!

Сбивчиво докладывает подкумок о происшедшем, тяжело дышат прапора и таким в его пересказе мелким оказывается мой проступок по сравнению с разгромом, учиненным нами, что сам старлей замолкает на полуслове, понимая, что натворили...

Лежу весь в крови, всхлипываю, ломит все тело, рук уже не чувствую, онемели и отпали руки, весь обоссанный, перед глазами красные круги...

— У, суки, ненавижу, ненавижу, — не говорю, а вою, чувствуя, что вот-вот помру. Глянул хозяин на меня и скомандовал:

— В одиночку, на пятнашку. Больше не бить.

Видимо, в моих глазах, кровью налитых и слезами, что-то прочитал. Или не знаю.

Отнесли меня в трюм, сняли браслеты еле-еле, руки разбухли и посинели, не переодевая, кинули в хату, в одиночку. И отсидел я в холоде, голоде, сумраке, сорок двое суток. На пониженке. Кровь из мочи исчезла дней через двадцать, дышать полной грудью я смог примерно через неделю, а жрать начал только на третий день.

От ПКТ меня по-видимому спасли две вещи: в ПКТ кормят каждый день и не так холодно, ну и была еще одна причина. Пришла бумага... С дурдома, здоров, но...

Вот они и решили, хоть и незаконно держать больше пятнадцати, затрюмовать меня напрочь. И добавляли, даже не знаю за что. Постановки на ознакомление и подпись, как обычно, мне не носили.

Вышел я из трюма, глянул на какого-то козла, спешащего по своим козым делам в штаб, глянул, а его шарахнуло от меня. Видимо, взгляд у меня совсем неласковый стал. Совсем.

Помылся немного и пошел в отряд, ничего не замечаю, ни какая погода, ни какой месяц на дворе. Ничего. Мой матрац где лежал, там и лежит. И очки под подушкой. Видимо, трогать страшно было. Радуетесь братва, улыбается, не забили менты, жив Профессор, ни хрена себе! Похавал немного с Сучком, на пару, чаек хапнули, кое-кого позвав. Сема присел, искренне радуется, сидим, чифируем. По три глата и по кругу, по три глата и по кругу... От древних времен, от диких народов, что, мол, не отравлено, сам пью и по кругу чашку пускаю. Чифирнули, взял я бельишко чистое, костюмчик на сменку, блатными подаренный и пошел по-новой в баню. Прихожу, раздеваюсь, а банщик ворчит — мол, мылся уже и снова... Подошел я к окошечку, неспеша подошел, чтоб кое-что сказать быку оборзевшему, но скрылся мент и ставней хлопнул. То-то!

Лежу я на шконке, кровью оплаченной, лежу и думаю. Надо рулить с этой зоны: или я кого-нибудь загрызу, или меня убьют. Сам чувствую — зверею. Уж очень много горя на меня одного свалилось, уж очень много несчастий. И трюмы, и молотки, и укол проклятый, и психиатр вольный. Въедливый... Еще немного, и не выдержу. Так и уснул. И проснулся аж по подъему, на следующие сутки. Даже на вечерней проверке отметил Филип меня у нарядчика. Помнит, видать, табуретку...

В зоне смех стоит. Вся зона хохочет: и жулики, и петухи, и администрация, и все, все... все! Старший лейтенант Пчелинцев вернулся! В строй! Решил смыть позор обосранных штанов. Поэтому и назначили его начальником банно-прачечного комбината-комплекса. Позор смыть и штаны состирнуть. Если снова замараются.

Через день снова зона хохочет, заливается. Ночью баня сгорела! До тла! Такое только в плохих романах бывает. И в жизни... И старшего лейтенанта Пчелинцева уволили. Из рядов доблестной Советской армии. И правильно. Засранцы и прожигатели бань коммунистам не нужны!

Незаметно осень подкралась. Что-то в этом году рано, не как в прошлом. Еще сентябрь, а уже дожди, дожди... И снова в трюме холодно, зуб на зуб не попадает. Но хохочет братва, я такой роман тиснул — аж упали от смеха. Сажу на корточках под окном, от пола бетонного несет, от стены сырой несет — и все холодом, холодом. Дали мне, как всегда, пятнашку, хорошо хоть, без молотков обошлось. Пошел я ночью в сортир, да в штанах, уж очень ночью вечер пронизывающий, в кальсонах можно отморозить хозяйство мужское. А прапора замели — и в ДПНК. Вот и пятнашка, как с куста. Хохочет братва, а мне взгрустнулось, Сучка вспомнил.

Спалился все же Сучок-Слава, на своих полтинниках, спалился до тла. И раскрутили Славу, добавили к его оставшимся двум годам пяте-

рик и поехал Сучок на строгач. Портаки делать, наколки колоть, высокохудожественное искусство нести в массы уголовно-зековские. Дурак, сам виноват, а жалко. Жалко Славу, жалко себя, жалко всех. И злорадствует, злорадствует на ментов, на власть поганую...

— У, суки! — срывается непроизвольно.

— Ты че, Профессор, на кого? — шарается зек, тусующийся по хате вместе с остальными.

— Да ты не ведись, это я так, мыслям своим...

Это я так, мыслям своим, грустным и печальным. Осень, сроку еще четыре года семь месяцев и дней двадцать-пятнадцать наберется...

— Какое сегодня число?

— Хрен его знает, но сегодня день летный, в обед горох должны дать, четверг...

Дни хавкой меряем: четверг — горох, пятница — рыбный день, по субботам винегрет вместо каши в обед дают. Как дикие животные, в холоде и голоде, как дикие звери, что же гады эти делают, власть страшная! Страшная власть, жуткая, все под себя подминающая... Неужели по всему миру расплодятся заразоу, неужели ни одного уголка не останется, чтоб рыла их вождей, ненавистные, не видеть, чтоб лозунги их дебильные не читать, не слышать!

Ведь в Африке уже за социализм борются и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии... Везде коммунисты бред свой несут, а дебилы слушают и за бредом этим бодро шагают. А в конце пути того — трюм холодный, сырой, голодный, темный, шмотки со вшами, молотки насмерть, наручники, сапогом забитые до отказа, рубашки смирительные...

Неужели не понимают, неужели не видят, не слышат! Как мы воем, стонем... Неужели думают, что здесь только преступники? Даже если и преступники, то обращаться так — фашизм! Ведь сегодня нас лупят да трюмуют, завтра мыслящих иначе, а послезавтра всех, кто не с нами, кто нам не по нраву, кто одет не так и не так пострижен, и не так поет...

Вышел я из трюма, пошел в библиотеку, взял сборник статей В. И. Ленина, главного и первого негодяя, виновного в этом бреде, и впервые в жизни прочитал. Прочитал и, отложив, задумался. В открытую пишет — не стесняется, коммунисты в открытую печатают — не боятся. А люди что — слепые?! Не нашел я ответа, то ли привыкли ко всему, то ли не надо им другого. Не знаю...

Осень, дожди, тоска... И никакого веселья в жизни поганой, никакой радости. Пошел со всем отрядом в столовую, по рылу вода бежит, ветер холодный стегает, телогрейка сырая и воняет... Воскресенье, между жратвой фильмы крутят, нет в зоне клуба, вот и крутят кино в столовой. Пришли, расселись, на экране придурки что-то строят! Ломнулся я, да не только я, много нас ломанулось, не выдержав блевотины этой. А в дверях сам хозяин, начальник колонии. Так сбили его с ног и

чуть не растоптали. Не знаю как, но я остался в стороне от этого дела, кое-кого в трюм, а я — ничего, боком пронесло и не задело.

Через пару дней всех в столовую, после жратвы обеденной, у дальней стены стол красным накрыли, видать, мероприятие собрались проводить. Плюнул я, и в двери. А там ДПНК — капитан Ефимов:

— Куда?!

— В трюм, гражданин начальник...

— Проходи.

И дали всего пять суток, я уж и забыл, что такие срока бывают. Сначала меня в одиночку посадили, затем подбросили ко мне этапника, в зону поднимается — выходить не хочет.

— Ты че, земляк, в чем дело, если не секрет? Че так, зона не по нраву?..

— Да нет, мне все равно, я ни в какую не хочу подниматься, у меня срока мало, шесть месяцев, вот я и подумал — проболтаюсь так...

— Сколько-сколько сроку?

— Шесть месяцев, осталось сидеть один месяц, двенадцать дней.

— За что столько дают?

— Я поссал в подъезде, а там прокурор этого района живет...

— Ясно. Так ты, земляк, засанец, оказывается. 206?

— Она.

Отсидел я пять и оставил молодого засанца одного. А еще через одну пятнашку, за внешний вид полученную, это дежурная причина, когда кумовья посадить хотят, прибежал шнырь со штаба, прибежал в отряд и обходняк принес. От нарядчика. Мне.

Я обходняк выбросил и начал этапа ждать. Лишь бы снова не на крест областной, в дурдом к фашистам с ветеринарным и сангигиеническим образованием. А остальное все я, наверно, вынесу. Написал письмо маме, бросил не запечатанное в ящик, хапнул чифирок, с кем хотел, собрал сидор. Вот я и готов. Долго ли советскому зеку собраться — сидор взял и пошел. Напоследок Раф с Семой дали мне малевку, на киче Ростовской отослать на хату два семь. Сделаю, зек я, а не портянка.

Спрятал малевку в вату, в телогрейку, нащупай попробуй.

— Иванов, Григорьев — явиться с вещами на вахту. Повторяю... — гремит из репродуктора, прощаюсь с братвой, иду.

— Иванов! — кричит старший конвоя.

— Владимир Николаевич, 22.10.1958, 70, 198, 209, 6 лет, 26.05.78 — 26.05.84! — и прыгаю в автозак. Следом еще рыла, наверно на этот раз прощай, прощай семерка! Твои трюмы, твоих ментов я никогда не забуду! Будь проклята!

— Поехали!

КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Снова Ростовская тюрьма, снова транзит, снова рожи, снова расспросы.

— Откуда, земляк?

— С семерки, браток.

— Куда, землячок?

— На дальняк, да далеко, на дальняк...

— Братва, мужик правильный, на дальняк едет, а сидор пустой! Не годится, братки, не годится! Арестанты мы или кто? Давай-давай, куркуль, морда колхозная, вытряхивай, что у тебя там заныкано-притырено... Ох, ни хрена себе, да здесь целый гастроним, и ты один собирался все это сожрать? Ну уж нет, мы бы все равно достали б, сзади, но достали!..

Хочочет братва, кривится куркуль-колхозник, за морду агронома поллучивший три года. Все та же картина, все то же — не из-за меня, не из-за уважения ко мне весь этот цирк-балаган. Нарабатывается авторитет: а как же, братву на дальняк собирал, а что с чужих сидоров, так это обычное в тюрьме дело. Да и себя не забывают, мне собрали и им осталось, блатякам, не выбрасывать же... Сели в кружок, меня позвали, вот и едим народное, незаработанное. Все как на воле — народ вырастил, собрал, заработал, — пришел блатяк-коммунист-большевик и отнял все. Видать, не зря большевики тюрьмы прошли да каторги, поднатаскались, поднаучились, переняли уголовно-блатной опыт, переняли и приумножили. Да и гнет еще тот создали, ни вздохнуть, не пернуть. Недаром, опытные, старые зеки подметили, что самые злобные менты-козлы из бывших блатных получают. Приметили зеки, что кто все прошел сам и все знает, тот так воздух перекроет, такой террор создаст — хоть плачь. Так и большевички. Ни чернильниц из белого хлеба с молоком, ни хождений днем в тюрьме из камеры в камеру свободного, ни писания книг. Запрещено в советских тюрьмах какая-либо писательская деятельность! А вдруг!.. Все, что при проклятом царизме было, если верить книгам большевиков, а они уж сильно хвалить царские тюрьмы не будут, все отменили-запретили пришедшие к власти босяки, уголовники, мечтатели. А я теперь расхлебывай!

Лязгает дверь, дубак с бумагой:

— Кого назову, на коридор с вещами!

Ясно, вот и моя фамилия мелькнула. Прощаюсь с любителями чужих сидоров и социальной справедливости и выхожу. Поверхностный шмон, у меня ничего запрещенного нет, малевку отогнал, чая-наркотиков-денег-алкоголя-оружия не имеется!

Автозак, вокзал вольнячий, столыпин уже под парами.

— Поехали!

Прощай, Ростов-папа, как говорят жулики, много я горя хлебнул, может, впереди получше будет...

Стучат колеса, по матовому окну в коридоре бегут струи осеннего дождя, вдоль решеток ходил узкоглазый и смуглый оплот власти, на полке рядом со мною похрапывает братва. Везут зеков, везут подследственных, везут женщин, малолеток, стариков... А не нарушайте Уголовный Кодекс, не совершайте преступлений! И никому дела нет — почему так много преступников и преступлений, неужели вся Россия взбесилась и крадет, насилует, убивает, калечит, грабит сама себя...

Слезаю с полки, стучаю по решетке сапогом. Узкоглазый близко не подходит, спрашивает с расстояния:

— Какая нада? Кому не спишь?

— На оправку давай, командир, в сортир.

— Сечаса серажата позову...

Жду сержанта. Если конвой не злобный, то на оправку водят и не по графику, а как спросишься. Но если наоборот, конвой лютует, то можешь жопу зашить...

Идут. Гремят ключи, лязгает дверь:

— Выходи. Руки за спину, не разговаривать, следовать впереди.

Сержант явно украинец, но по-русски говорит чисто. По крайней мере, эти слова. Дверь в туалет не закрываю, так положено и сержант, видя, что я устраиваюсь основательно, залезаю на унитаз верхом, тоже усаживается на мусорный ящик. Так мы молча и глазеем друг на друга, глаза пучим. Я-то с натуги, тюремный черный хлеб крепит, а что он — не знаю. Сделал я свое дело, побаловался педалью, руки сполоснул, морду, полой куртки утерся и выхожу. Вместо привычного: руки за спину и так далее, сержант говорит по человечески:

— Шагай назад.

Ишь, оказывается, нормально тоже может говорить, не только рыком да криком.

Лязгает дверь, залезаю, расталкивая зеков, укладываюсь. За решеткой, как маятник, ходит туда-сюда узкоглазый солдат. Ходи, ходи, а я посплю, мы все поспим. А ты наш сон охраняй, на то ты и солдат, защитничек.

— Приехали! Выходи! — слышу родную фамилию и вылетаю из столыпина прямо в автозак. Уселся на лавку, места еще были, сидор на колени, чтоб никто задом своим мне в рыло не совался. Набили плотно, но терпимо.

— Поехали!

Катим по городу. Братва переговаривается — Воронеж! Значит, правильно еду, в Сибирь. Ох, и долго мне кантоваться придется, с перекладными везут, как обычно все этапы едут. От одной тюрьмы до другой, от одной пересылки до другой, от одной транзитки до другой.

Но Воронеж не Новочеркасск, не гремит Воронеж, не славится. Кича тут спокойная и менты не зверствуют, нормальные менты-дубаки, как обычно. Значит, неплохо, что завезли.

— Приехали!

Выпуливаюсь вместе со всеми и даже без шмона этап в хату. Лязгнула дверь — вот мы и дома.

Хата большая, но не вокзал Новочеркасский, человек пятьдесят-шестьдесят уже есть, да нас с тридцать будет. В тесноте да не в обиде. Быстро залезаю наверх, на длинные деревянные нары, потеснив публику. Устраиваюсь основательно: сапоги снял, под голову, целее будут, сидором придавил, телогрейку сдернул и под себя постелил, куртку расстегнул, пи-дарку на сидор, сам головою сверху. Хорошо! Много ли советском зеку надо, немного. Прилечь в тепле, да чтоб не кантовали. Смотрит братва на мое устройство с уважением, сразу видит — человек бывалый, по жизни лагерной не замаран, вот и не жметя по углам и не ведется. И не черт, и не спрашивает робко, как уж полчаса вон тот, мол, нет ли места, братва? Взял и лег, где посчитал нужным, сразу срисовав, кто где лежит, чтоб ни ниже, ни выше своего звания не лечь. Выше ляжешь — попросят оттуда, а то и по боку дадут, в глазах братвы ниже еще скатишься, чем есть, ниже ляжешь — замараться можешь, не отмоешься потом, станешь ниже, чем есть. Тонкая политика — табель о рангах, кто где лежит, кто где сидит!

Устроился я и лежу, за жизнью камерной наблюдаю. А там все как обычно: блатяки мелкие брови сдвигают, губы выпячивают, друг друга кличками да знонами, ну если не пугают, то попутывают — мол, вон я какой, — и там был, и тех знаю, и с теми хавал. Смешно. Жулики повесомей сразу друг друга видят и щупать начинают — тот ли ты, за кого себя держишь, не подсадной ли, не кумовской ли, не фуфлыжник ли (проигравшийся и не отдавший долг)... А есть и совсем серьезная публика, жулье, но матерое, в транзите все режимы намешаны. Вон лежат рядом трое дядей, тоже наверху, на волков похожи, зубастые, лобастые, худые, взглядами по хате зыркают, жертву ищут, чтоб схавать ее, проглотить. И найдут. Тут булок с маслом, на двух ногах, навалом, так и ходят, так и просят: проглотите нас, чертей, а то мы и так уже напуганы. Вон мужички из колхоза, сидора как матрацы, волки те все на них зыркают, как рентгеном матрацы те просвечивают, да насквозь. Значит, делиться придется колхозничкам, это точно. Вон малолеток пятеро, с интересом зверинец этот разглядывают, видно им такое впервые. Вон дедок на нижних нарах на край присел, с палочкой, хотя не положняк ни костыли в хате, ни палочек иметь. Но уж сильно старый и ветхий дед, лет восьмидесяти на вид. И что-то сидора не видать у старого... Поддаваясь внезапному порыву, достаю из мешка шматок сала, луковницу и, не одевая, сапог, спрыгиваю с нар и подхожу к деду.

— Держи, старый! — грубовато сую ему в руку подарок. Дед растерянно моргает, глаза у него становятся влажными.

— Да за что, не надо, сынок!..

— Бери, бери, не последнее отдаю, у меня еще есть.

Возвращаясь к себе наверх, не слушая слов благодарности и не спрашивая деда, за что его-то, старого и ветхого, в тюрьгу сунули. У меня своего горя навалом, еще дедово братъ, пусть сам свой крест несет, а я подмогну, чем считаю нужным. Кое-кто заметил произошедшее в хате и не спускает с меня глаз. Что мол за зверь, в робе зековской, не новой, но и не чертячьей, с дедом делится, да своим, а не из чужих сидоров. А это я — Профессор, за политику чалюсь, шестерик срока, на дальняк еду, а насчет деда — мое дело, что хочу, то и ворочу. И никто мне в этом деле не указ. А насчет своего, не из чужих сидоров, это как посмотреть... Вообще, я ни к кому не лезу и ко мне лезть не нужно. Укусить могу, да пополам.

Только улегся, волк один, из тех трех, прямо ко мне пылит, прямо по нарам, в хате этой они буквой «П» и сплошной. Идет, через людей лежащих перешагивает. Дошагал, уселся. Началось обычное толковище.

— Откуда, землячок?

— С Ростовской семерки общака, а ты?

— Я местный, в четвертый раз к хозяину. Все за магазинчики-ларечки. А ты?

— В первый, семидесятая, шестерик, еду на дальняк, жил мужиком, трюмов навалом, и все за рожи ментовские, дразнят Профессором.

Оттабанил скороговоркой и зубы скалю, улыбаюсь. Он тоже денсы показал, поулыбался, понял мой юмор, насмешку над обычным базаром. Понял и оценил.

— Ты веселый, браток, хотя об рыло можно порезаться...

— А ты в зеркало давно гляделся?

Хохочем в голос, довольные собой и друг другом. Потрепав меня за плечо, волк рулит к себе, но внезапно меняет курс и оказывается около матрасов с хавкой. Началось. Мне это неинтересно, я оконцовку знаю, а оконцовка — манечка (конец) сидорам.

Лежу, кимарю, хорошо. Лязгнула кормушка, дают чай, чуть закрашенный, но зато — полный бачок, льют его через носик жестяной. Следом пайки: хлеб, на бумажках — сахар, селедку. Отдаю селедку и сахар деду, хлеб забираю себе, собираюсь отобедать. Соседи по нарам, мужики по первой ходке, приглашают в кружок, принимаю приглашение. Многие в хате объединяются в кружки, в семейки на обед, хавают. Все хавают не спеша и вдумчиво. У кого что есть, то и хавают.

После обеда — развлекательная программа. Первый номер: колхозные сидора половинятся. Но половинятся по-зековски, на большую половину и маленькую. Отгадайте, кому достается маленькая? Правильно, хозяину сидора. Большую волки уносят с собою. Законная добыча. А вот и основание для дележки, чтоб в беспределе не обвинили, хотя некому. Деду выделяют, да от души. И хавки, и белье теплое, и но-

ски шерстяные. Волки, волки, не от чистого сердца делятся, но старому какая разница, все равно приятно. Растрогался дед, глаза вытирает и кланяется. Во все стороны кланяется старый и благодарит:

— Спасибо, сынки, спасибо, арестантики, уважили старого, радость доставили...

А голос — срывающийся, дребезжащий.

Номер второй. Нашли петуха. Рядился под мужика. Бить не стали — сразу раскололся, штаны снимает, на парашу идет. Очередь страдателей выстроилась. Номер третий. Один из малолеток под крутого жулика рядится, стирь (карты) достал и тусовать начал. И правильно, со знанием дела тусует, видать, не впервой. Но только молод, есть люди в хате, они эти стирь двадцать лет в руках мусолят. Вон волки оживились, зовут малолетку к себе.

— Слышь, босяк, пыли к нам, по маленькой перекинемся...

Играют в буру, явно трое против одного. Дурак малолетка. Готово. Втюхался по уши, не заметил, как пять катек (пятьсот рублей) всадил.

— Чем рассчитывать будешь, орел?

Мнет печально неудавшийся жулик полтинник, не понимая, как же так? На малолетке всех обувал, обыгрывал, а тут... Забирают волки полтинник, забирают сидор тощий, но мало! Ой, мало! На пять катек столько надо, сколько у него, у малолетки никогда не было. Предлагают волки за расчет на выбор: или к ним ложиться, в середку или мойкой (лезвием бритвы) вены вскрыть и мойку дали. Не играл бы ты, браток, не ходил бы без порток! Не режется, не пилится, не коцается малолетка, жить хочет, и жалко себя, тело свое молодое, красивое, на которое уже волки глаз положили. Что им тот петух, которого все на параше дерут. Староват, потаскан, да и место свое знает, правда, напомнить пришлось. А этот орлик: молодой, глазастый, худенький, да и в жулика играть пытался, не на свое место лез. Ну, землячок, раз не режется тебе, значит, иди сюда, и дядя один, из волков, раз — и поднял его за шиворот зековской робы наверх. Положили его в середку, бушлатом накрылись. Дальше не интересно — не бился, не резался, плача под бушлат лег, значит, ему так хочется, значит, так ему в кайф. Жизнь волчья, поганая, и если ты не волк, и не другой зверь с зубами, а овца — значит, съедят! А перед этим отодрать могут.

Вечером деда и еще двоих выдернули. Старый в дверях встал и низко-низко поклонился, всей хате, всей братве. И волкам, и колхозничкам, и малолетке, на нижних нарах над судьбой своей плачущему, и мне. Поклонился и пошел.

А вскоре и отбой. Все спать улеглись, даже волки. Видно устали от трудов несправедных, дележа хавки и обыгрывании малолетки. Поспали, утром жизнь началась, кого сюда, кого туда, кого куда. В обед снова не горячее, на транзите каша не положена, редко дают, если в кухне осталась, да баландерам команду дадут — тащить. Хлеб, сахар, рыба соленая. Интересно, что за

блядь эту комбинацию придумала, этот комплексный обед на сутки? Хлеба пол-булки, сахару ложка столовая, рыбина одна, если длиннее ладони. Ржавого цвета селедка, которую, наверно, еще японцы поймали, а советские солдаты в сорок пятом отняли. Вот и кормят зеков ею до сих пор.

После раздачи пайки, снова дергать начали. И меня в том числе. Собрался, попрощался, у дверей стою, жду. Дернули, коридор, без шмона в автозак.

Повезли. Дальше повезли, на вокзал, велика Россия, много в ней тюрем, всей жизни не хватит, чтоб хотя бы объездить их, хотя б побывать. Да и на хрен только такое путешествие, кому оно нужно.

Столыпин. Слышу свою фамилию, бегу, отзываюсь, лязгает решка, сидор — наверх, сам следом, на золотую середину.

— Привет, братва, вместе ехать будем, вместе веселее!

Ворчит братва, но подвигается, если лезет, значит положено ему сюда лезть. Каждый знает свое место, свое стойло. И на воле, и в тюрьме. Каждый.

Стучат колеса, стучат, стучат, стучат...

Не стучите колеса,

Кондуктор, нажми на тормоза,

Я к маменьке родной

С последним приветом,

Спешу показаться на глаза...

Прямо про меня, про жизнь мою ментами поломатую, властью советской исковерканную. По коридору ходит морда рыжая, конопатая, сержантскими погонами посверкивая, желтым лантухом на темно-малиновом фоне, широкими плечами покачивая. Ходит и прибаутками сыплет, да все на «О» наворачивает:

— Вологодский конвой очень злой, шутить не любит, шаг вправо, шаг влево — побег, прыжок на месте — провокация. Стреляем сразу, без предупреждения, пуля-дура не догонит, сам сапоги сниму — догоню!

Хочочет братва, заливаается, аж слезы выбило, ну, отмочил, ну, рыло, ну, повеселил, ну, ну!...

А морда сержантская, братву повеселила и к главному номеру своей программы перешла:

— Граждане зеки, у вологодского конвоя имеется в продаже картофель отварной, огурцы соленые, помидоры ядреные, одеколон «Тройной», да в первом купе зечка едет одна, уж очень истосковалась. Двадцать пять рублей и туда отведу, на полчаса. Я думаю, за полчаса, она коня умоляет, уездит. Кому чего, говори, давай.

Гогот, хохот, гомон! Ай да конвой, а еще вологодский, ай да сказки про злобу его рассказывают! А он золотой, прямо брильянтовый!..

В нашем купе-секции денег не оказалось. Может и были, делиться не захотели. Так и ехали насухую, через решку смотря, как солдаты миски с дымящимся картофелем носят, с огурцами, с помидорами. Как «тройняш-

ку» таскают, пузырьками позванивая. Запах от одеколona того по всему столышину пополз, и всюду проник. И к зечке, истосковавшейся, человек несколько сводили. В очередь, как на opravку... Весь вагон интересовался:

— Ну как? В кайф или так себе?

— А ты сам сходи, попробуй. Я заплатил, а ты на халяву хочешь подробности знать!

— Ну уж нет, я лучше с петушком, дешевле и привычней!

Хохот, гомон, шум! Все знакомо, все привычно, все надоело. Лежу, смотрю в потолок, тоскую. Только уснул, крик:

— Приехали, готовиться к выходу!

Наш выход, мы как артисты в этом театре абсурда.

Лязгает решка, бегу по проходу, крик «Бегом!», поворот, солдат, прыжок, другой солдат, падаю на лавку в автозаке. Крик «Бегом!», поворот, солдат, прыжок, другой солдат, падаю на лавку в автозаке. Крик «Бегом! Следующий! Бегом!» стоит в ушах, звенит в голове. Набили, как селедку, под крышу.

— Поехали!

Славный город Нижний Новгород, обозванный большевиками в честь бродяги и мелкого воришки Алешки Пешкова, кликуху носившего — Горький. Где-то здесь и Сахаров проживает. В ссылке. Сюда мы, хипы, Лешку Корабля командировали. На связь. Хорошо, что на перроне ментов было больше, чем людей. И замели Лешу в спецприемник, постригли, отсидел он месяц, дали ему справку и домой отправили, в Омск. А не ездил, если ты не командированный и не в отпуску. Ежели каждый будет ездить, когда вздумается, это что же будет — это анархия будет, беспорядок. Хорошо, когда всех бы советских людей автозаками да столыпинскими возили бы! Вот тогда и наступил бы коммунистический порядок...

Леша же назад поехал, в Ростов-на-Дону, к нам. Хорошо, что его замели менты, иначе б Сахарова с нами по делу потащили бы да и себе навредили, так что уже не расхлебались бы. А так Сурок только пятнадцать получил, остальные кто сколько. Ну, суки!..

— Приехали!

Переключку по фамилиям, обзываюсь, шмон, хата. Маленький транзит, пустой. Нары от стены до стены в два яруса, в углу параша, над нею кран. Располагаемся. Тесно. Шум, гам, в углу уже драка. Два каких-то черта делят место. Под солнцем. Блатяки прогоняют обоих под нары. Все успокоилось, все вошло в норму. Интересно, как в зависимости от ситуации, от обстановки, делят места блатные, как гибко подходят они к этому делу, вдумчиво, не догматично, не закостенело.

В зоне, в бараке, лучшее место внизу, в двух дальних углах от двери. Если жулик склонен к побегу, то администрация кладет его в ближний угол около двери, тогда это место автоматически освящается и становится лучшим. На тюрьме, в камере, лучшее место противоположное от пара-

ши, в углу внизу, под окном. На транзите — верхний ярус, подальше от окна. Лучшее место — это лучшее! То есть — теплое, светлое, не вонючее, подобающее лицу, с гордостью носящему звание — жулик, блатной. Так-то. На транзите нижний ярус темный и холодный, вот и пусть там черти спят, им положено. Около окна в транзите тоже не сладко, значит туда — мужика, пусть решкой любитесь, ревматизм зарабатывает. Социальная справедливость в действии. На воле мой папа-каменщик квартиру имел-получил, в панельной хрущобе. Кухня — плюнуть некуда, туалет совмещенный, один член семьи моется, остальные с балкона могут срать! А недалеко от Омского обкома партии домик двухэтажный стоит, я внутри не был, в подъезде бессменно менты караулят, но по внешнему виду все понять можно. И туалеты там отдельные, и ванны побольше, и кухни, наверно, не как в нашей квартире. А все потому, что в домике том главный жулик живет, председатель обкома. Сам, жена и двое детей, деток. А в домике том восемь окон. По фасаду. На каждом этаже. Этажей два. И сбоку два окна. И проем стены между ними еще для двух окон... Но папа мой простой мужик и шконка ему полагается так себе, посередке. А жулику с партбилетом — угол почетный да теплый. Ну и все тоже остальное...

Лежу, смотрю, думаю.

Утром перекидывают всю хату в другую. Все разнообразие. Приходим. Хата как хата, раза в три больше и народ есть. Знакомимся, располагаемся. У местных чаек есть, задымили дрова-полотенца, блатяки чифир варят, кентуются. Я лежу на нарах и все думаю. Как досидеть, как дотерпеть, впереди еще срок четыре года семь месяцев с днями, а уже устал. Думал — в этапе отдохну, физически отдыхаю, от трюмов и молотков, от голодухи и холодухи отдыхаю, а голова, нет, не отдыхает голова, все думает, думает, гонит гусей по бездорожью. На немножко отвлекусь и снова гуси. Просто караул.

Просидел я в Нижнем Новгороде четверо суток. Попал на выходные... Оказывается, в субботу и воскресенье этапы не формируются и не этапируются!.. Порядок до абсурда. Не жизнь была, а малина, на киче в Нижнем. Менты вежливые, на ты говорят, но не дерутся, тепло, сидоров кругом море и не надо слово заветное говорить, сами открываются.

— Откуда, земляк?

— С Ростова-папы.

— Куда едешь?

— На дальняк везут, в Сибирь

— Лес валить?..

— Тот лес еще не вырос, который я пилить буду, — шучу я, а брат-ве нравится.

— Присаживайся, не стесняйся, перекусим, что будешь — сало, колбасу?

— И сало, и колбасу, а у тебя больше ничего нет?

Хохочет братва от моей наглости, все они местные, для них этапом с Ростова в Сибирь, как с Земли на Марс, вот и нравлюсь, да еще такое могу травануть:

— Помню, у нас один петух шар склеил из простынь, на кочегарку залез и дымом из трубы его надул.

— А дальше?..

— Взлетел, дым остыл и петух упал на веранду начальнику опер. части, куму. А дело было вечером, тот сидел, чай пил. Тут петух с неба и прямо на стол...

— Врешь!

— Вру, а вы и поверили!

Хохочет братва, заливается, вот очкарик дает, ну, Троцкий, ну, уморил!..

Посмеялись, утерлись, по новой рты раскрыли и уши развесили:

— Помню, было раз, один жулик проиграл сто тысяч, пряники подвинь, браток, знатные пряники, так вот, проиграл сто тысяч и что делать — не знает. Но придумал: нарисовал ночью бумажку в сто тысяч рублей и принес в расчет, это что за баночка, мед? Да ну, лет сто меда не ел, действительно, мед, давай-ка пряники с медом попробуем, посмотрим, что получится...

— Дальше! — не выдерживает братва.

— Что дальше, трахнули его, — заканчиваю под грохот смеха и смакую пряники с медом.

После чифирка роман тискаю, толстый роман про вора, ментов и судьбу наковловшего, обманувшего, с наволочкой сотенных бежавшего на торпедном катере из Владивостока в Америку...

Тут уж и из-за дверей хохот раздался да звон ключей. Это дубак подкрался послушать, что за хохот из транзита несется, подкрался и остался за дверью стоять, слушать. Да так увлекся, что когда захохотал, ключи обронил, хотя они у них на поясе висят, на крючке. Так хата от дубака этого со смеху чуть не уссалась. А я еще керосину плеснул:

— Его подставили подсматривать, а он — подслушивает. Видно хочет тоже катер торпедный стырить и в Америку свалить!

Братва так и легла от хохота, с поддвываниями. Так и просидел четверо суток.

На следующий день меня на этап. Попрощался с братвой и снова — автозак, снова столыпин.

Стучат колеса, стучат на стыках, трясет столыпин, качает. Уснул, проснулся, а братва уже другая. Это я да еще человек пять-семь от одной кичи до другой едем. Остальные в пределах своей области с Нижнего выехали, кто на зону, кто на КПЗ районное, на следствие, на суд. Границу области перевалили, в обратном порядке началось: кто с зоны, кто с суда, кто на пересуд, кто в обл. больницу, кто со следствия

и все в тюрьму. Иногда я оставался один в секции, а во всем вагоне от силы человек пять, но столыпин переваливал через границу области и вагон снова заполнялся. Снова стоял шум, гам, хохот и гомон.

Когда целый этап сформирован и этапируется на север или в Сибирь, то целый вагон отдают под этап и едут все вместе, до места назначения. Если же как я, один, то везут на перекладных. От тюрьмы до тюрьмы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

По мордам, по рылам зековским, можно географию изучать нашей великой Родины. Вот пошли скуластые, но с широкими глазами, с гортанной речью зеки. Все ясно, братва, в Башкирию въехали. Это ж надо, как наш столыпин петляет, — как бухой. Ну ничего, уфимская пере-сылка неплохая, менты не злобные, а братва не быки, с понятием. Знаю это все понаслышке, но из первых рук, братва тут была, рассказывала.

К вечеру доехали до Уфы.

— Приехали! Выходи! — бегу бегом, да как не бежать — крик стоит и рев:

— Бегом! Бегом!

Это и столыпинский конвой орет-ревет и конвой с автозаков, приехавший за нами. Откуда это повелось — не знаю, от чего это повелось — не ведаю. Но испокон, от истоков Советской власти, ревет конвой:

— Бегом! Бегом!

Это при царе пешочком ходили и исправнику говорили:

— Вы мне, батенька, не тыкайте, я с вами свиней не пас!

Сейчас, если так сказать, то могут просто сторяча забить. Насмерть. Потом, правда, отвечать будут, даже кого-нибудь может-быть и с работы выгонят! Ужас! Но чаще всего бывают выговоры, лишение премий, передвижение вниз в списке на очередное звание, награды, квартиры, дачного участка... Ненавижу!..

Гремят ворота, лязгают двери и решетки.

— Приехали! Выходи!

Шмон и переписывание шмоток. И подробное, — что на тебе. Это нам знакомо, в Новочеркасской киче практикуется, чтоб сразу видеть, кто что у кого отнял. Уезжать будем — тоже проверять будут. Но здесь не кича Новочеркасская, здесь транзит, этап. Хитры менты, но зеки хитрей. Будем уезжать, проверка шмоток, а ты:

— Гражданин начальник! Я старые в камере выбросил, они совсем негодные стали, а эти я из сидора достал-вынул, там они и лежали!

И невинными глазами корпуснику в рыло смотришь. Поди про-верь — сидора устанешь переписывать, много этапников, у всех по

сидору. У некоторых вообще два. Но к таким пристальное внимание, особый интерес — и что это можно возить в двух сидорах? Так что начальнику не узнать — из своего сидора вынул или из чужого...

Переписали шмотки — и в душ. Вот это сервис! В большинстве тюрем дубаки говорят — приедешь на место, там и мойся.

Моемся от души, никто не гонит. Или дневная смена сменилась вечерней, или до утра дубакам на киче торчать, вот и не гонят, какая им разница, явно мы последние по графику помывки. И не плохие дубаки, не злобные, жалко им что ли воды, мойтесь зеки, полоскайтесь!

В большинстве тюрем баня — это душ. В большом зале трубы под потолком и рожки, где течет то густо, то не очень, жмутся зеки, толкаются, а вода то кипятком ошпарит, то льдом голимым... То взвоет братва, то матом покроет и банщика, и ту блядь, кто баню строил. Но есть и душевные бани. На Ростовской киче знатная, но и на Уфимской не хуже. Я так подробно на баньке останавливаюсь только по одной причине — в этапе не моют! А ехать ты можешь и месяц, и два...

Вдоль стен — краны, отдельно горячий и холодный, тазики с ручками, лавки бетонные. Красота! Я сразу пару тазиков прихватил и один в другой поставил. Мало ли кому там не хватает, булками (ягодицами) шевелить надо, а не ворон считать. Кича тут, а не курорт! Кипяточку крутого набрать и подальше от кранов, к дальней стенке, куда жулики лезть ходят. Окати бетонное сиденье, чтоб грязь и заразу смыть. Окати, мыло, бельишко, какое хотел постирать, положил, соседу, который уже мылится:

— Глянь браток, одним глазом, что б не залез черт какой-нибудь, я водички налью.

А ему и приятно, значит его то точно за черта не держат. Я к кранам, воду набираю такую, что рука не терпит. Ничего, я хитрый. Отнес тазик, поставил, из под него второй вынул и снова к кранам. Набираю горячую, но терпимую. Принес, второй таз на пол, ноги туда. Ах! Хорошо, браток, ох, хорошо!.. Ну, а теперь мыться можно, потихоньку. А потом и состирнуть.

Идем в хату разомлевшие, распаренные, подобревшие. Кто-то крикнул-крякнул:

— Сейчас бы грамм сто, на каждый зуб!

Засмеялась братва, у, губа не дура, это ж сколько наберется, ух, хорошо бы... В хату пришли, а там чудеса продолжают. Только вошли, транзитка как транзитка, нары буквой «Г» деревянные, в два яруса, два окна узких, полуподвал все-таки, в углу параша, — как кормушка распахнулась и зек скуластый, в пидарке заглядывает:

— Жрать будете?

Вечером по всей России рыбкин суп полагается, страшное месиво. По всей России лагерной, тюремной, Поэтому мы не очень заинтересовались, уж лучше сало с луком, намного приятней и полезней для зековского здоровья.

А зек не унимается:

— Гороховый суп с тушенкой?

Мама моя родная, куда привезли? Моют, не бьют и жрать дают! Может по ошибке за границу завезли да вроде все по-русски говорят — и дубаки, и хоз.банда.

Наливает зечара из коридора по полной миске, аж до краев, да не баланды жидкой, а наваристого густого супу и с мясом, с тушенкой разваренной, развалившейся!

Нажрались, чуть не лопнули, разлеглись по нарам и спать. Хорошо, когда хорошо, хорошо, когда тепло, сытно и не бьют! Еще на воле хорошо, но это из области фантастики. А советские зеки реалисты.

Утром хлеб, сахар, селедка. Как обычно. А через часок и на этап.

Автозак, столыпин.

— Поехали!

Едем, стучат колеса, входит и выходит братва, а я лежу и думаю, лежу и смотрю. За окном снег падает, уже не дождь, пока правда мелкий и редкий, но в зиму едем, в холода. Надо свитерок повстречать, бельишко теплое, носки, портянки. Шарфа нет да шапка нужна, в пидарке уже уши мерзнут, гляди отвалятся. Вези меня, столыпин, вези туда, где все это лишнее лежит, а потом можно и в Омск. Назону... В зоне то же шапки дают и портянки, только шапки те на рыбьем меху, ну а портянки — у меня платок толще, носовой. Уж лучше я сам все приобрету, самостоятельно.

— Приехали! Выходи по одному! — режут солдаты и прапора, жутко режут:

— Бегом, бляди! Бегом!!!

Бегу, прыгаю, падаю. На скамейку. Едем. Тесно, темно, холодно. Урал! Свердловск! Еще одним бандитом город обозван... Все слышаны про Ивдель и Златоуст, Копейск и Пермь, но одно дело слышать, другое самому увидеть.

Шмон, зверский и тщательнейший, в жопу фонарем светят, а ты булки раздвигай!.. И в хату.

А! Ой, мама... Куда попал, дыхание перехватывает, ноги к полу примерзают... Это что же за хата!.. Куда там Новочеркасскому вокзалу до этой хаты!! Да тот многолюдный вокзал, боксик тесный, по сравнению с этой хатой! Здесь убьют и никто не узнает!

Длиной шагов сто-сто двадцать, шириной чуть меньше и с двух сторон, вдоль двух стен, нары деревянные, но какие нары, и в три яруса! Да между ярусами стоять можно! Кое-кому в полный рост! Например мне... И шириной метра четыре, в расчете на два ряда... И народу как, как, ну не знаю как, как будто две зоны, где я сидел, в одну хату загнали!.. У дальней стены ряд параш возвышается, двенадцать параш и все равно у каждой очередь... Да, приехали, дальше некуда...

Залезаю на левые нары по деревянной лестнице, сколоченной на века, отполированной ладонями десятков, сотен тысяч зеков, прошедших этот вокзалище, залезаю на второй ярус и оглядываюсь. Картина впечатляет! Наш этап, тридцать с лишним рыл, просто растворился среди хаты, захочешь кого найти и не сможешь. Между нарами на широченном проходе тусуются, спят, сидят, хавают, лежат, дерутся, делят сидора, трахают петухов, одновременно месиво из людей, это ж сколько нас здесь, неужели за тысячу?!

Лезу на третий, сидор не оставляю, понимаю, что если свистнут мой сидорок, то концов уже не найдешь. На третьем ярусе, не так плотно как на втором или тем более на первом. Социальная лестница в материальном воплощении. Решаю остановиться здесь, на третьем ярусе. Подхожу к одной группе блатных, обходя спящих и лежащих. Здесь пристроюсь. Все же лучше рядом с хищниками, чем с шакалами. Хотя какие-то сами собою придуманные правила соблюдают. Здороваюсь:

— Привет, братва! Примите в компанию, а то одному тоскливо.

— Подсаживайся браток, подсаживайся, мы тебе тоску мигом разгоним! Откуда?

Рассказываю честно: кто я, что я по этой жизни поганой, мимоходом, но к месту Костю-Крюка упоминаю, куда везут — не знаю, за политику сижу, зачем везут — бог его знает. Встрепенулся один зечара, чем-то на Ганса-Гестапо похожий, только злее и примитивней. Встрепенулся и:

— Костя-Крюк говоришь, домушник, вор, знаю-знаю, мелкий и такой лысый...

— Это ты его с Лениным спутал, — под общий смех рассказываю как по натуре Костя выглядит. А зечара не унимается:

— Слышь, Профессор, складно ты брешешь, а какой портак на клешне правой у Крюка?

Вспоминаю и рассказываю подробно:

— Горы, солнце, внизу надпись «Колыма», а над солнцем буквы «М» и «Н».

— Ну точно, я проверял тебя, на туфту брал. Мы с Костей кенты, на Колыме пятерики тянули, он зону держал, а я седьмой барак. Эх, время золотое было...

Воспоминания его прервал один из жуликов, длинный, худой, рыло в шрамах, зубы железные:

— Слышь землячок, а че у тебя сидорок пухлявый, че набил?

— Ты че, черт, зубы жмут?! — резко, с пол-оборота вступается за меня кент Кости:

— Уми, чахотка, ниже от сидоров плонуть некуда, браток сам пришел, жизнь правильно понимает, а ты, погань, беспредельничать тут вздумал?.. — и глаза с прищуром, рот в оскале, кулак наотмашь, одно плечо вперед и ждет. Не стал зубастый бодаться, за слова цепляться, отодвинулся:

— Че ты взбесился, что ли? Пошутил я насчет сидорка...

— С бабушкой своей шутки шути, здесь я пахан, понял, чем дед бабку донял?

— Понял, Махно, не буду больше. Держи пять, Профессор, не таи зла.

— Да я и не таю, я сам хотел угостить, чем бог послал и колхознички поделились.

Общий хохот одобрил мою шутку. На третьем ярусе снова воцарил мир.

Я знакомлюсь с братвой. Воров нет, но жулики авторитетные, и крытые прошли, и особняк. Я правильно сделал, что рассказал как есть, а не начал под жулика-блатного рядиться, как сдуру сделал бы какой-нибудь черт. Меня приняли в компанию. Не совсем, не полностью, если буду свое пассажирско-мужицкое место знать и помнить. А я не люблю, когда мне напоминают, и удар Рафа у меня в душе отпечатался, поэтому я и не делаю ничего такого, за что меня могут снова по рылу. Я хитрый и ученый.

Достаю гостинцы, угощаю, они подбрасывают свои, из тех же источников, хаваем. После хавки спрашиваю Махно:

— А как ты узнаешь, что тебя на этап кличут? Сверху не слышно, черта что ли пошлешь?

— Мне нужен этап? Как зонтик рыбке. Я, Профессор, уже четыре месяца здесь кантуюсь и мне нравится, думаю зиму пересидеть, а весной в зону. Весной подрую к двери и скажу — начальник, что про бедного Махно забыли, парюсь в душегубке, без воздуха свежего, без света живого, почти год, а вы не кричите да не кричите, у нас наверху вас совсем не слышать!..

Хочет Махно своим словам, улыбаюсь я:

— А что, здесь совсем не ищут?

— А попробуй! — махнул рукой Махно на месиво людей, везде, где глаз достает.

— Менты поганые, пугают, мол кто не откликается — с пайки снимаем, но это брехня. Мне на полосатый ехать не с руки, зимой там караул. Слышь, Профессор, а тормозись тоже, до весны! В компании веселее, сам же говорил. Братва как надо, жратвы валом, мальчишек хватает, а в зоне караул — мороз, проверка по часу, два раза, если развод на пахотьбу, то тоже подолгу, пахотьба на промзоне — караул, железо кругом, мазут, если лесоповал, то вообще смерть! А трюмы, а хавка скудная, а молотки!.. Здесь же сидора приятно глядят глаз! — поэтично закончил зечара свой монолог. Я помолчал и ответил:

— Здесь неволя, там тоже, но там хоть воздух свежей, чем здесь, деревья, звезды, солнышко. Здесь же даже окон нет, одна вентиляция гудит...

— Это точно, — пригрустнул Махно:

— Балдоха там не греет, но хоть светит.

И замкнулся.

Окон действительно нет, часов тоже да и зачем. Полдень узнаешь по лязгу кормушки да крику:

— Хавка! Хавка!

И зек с хоз.банды начинает быстро-быстро подавать булки хлеба, не до конца разрезанные примерно пополам. Падает быстро, а еще быстрее считает — уследи попробуй, проверь, явно дурит. Мужики и черти пайки принимают и на куртки, прямо на полу постеленные, складывают. Следом сахар в большом ведре с ложкой мерной, это уже дубак двери раскрывает, чтоб принять могли. И следом рыба в нескольких жестяных ящиках. Полуразвалившаяся, гнилая, в черной жиже — ешьте, не хочу! Дележ происходит всегда следующим образом: кто-нибудь из семьи Махно неспешно спускается вниз с пустым сидором и мешочком под сахар. Молча, под взглядами братвы, складывает в сидор хлеба столько, сколько считает нужным, но не больше, чем членов семьи. Иногда демонстративно заявляет:

— Сегодня возьму на три меньше, у нас есть чем догнаться, пусть братве будет! .

В мешочек сахар насыпает горстями, под завязку, заведомо больше, чем положник. И, не обращая ни на кого внимания, возвращается наверх. Затем берут хлеб и сахар жулики-блатяки с противоположного яруса третьего. Затем хватают все кому не лень, в первую очередь хозяева курток, блатяки мелкие, сильные отталкивают более слабых. И каждый день остается до пятидесяти человек, не получивших ничего. И чаще всего это одни и те же. Такая процедура раздачи паек очень стимулирует желание уехать отсюда. И черти с мужиками уезжают, Дверь открывается, зек забирает ведро, ящики с жижей, процеженные руками голодных чертей. Обед окончен, следующий через сутки.

С противоположным третьим ярусом у Махно интересные отношения сложились. Он пахан вокзала и это признается безоговорочно. Но ходить туда, к соседям, побаивается и не скрывает этого. Оказывается, Махно трон свой переворотом занял, сбросив прежнего пахана, свергнув его. Сбросив в прямом смысле, с третьего яруса. Труп черти оттащили к дверям:

— Командир, уснул, сам упал! — заявили и вытащили в коридор прежнего властителя. Дубак не спорил, революция свершилась, ура, товарищи! Очень знакомо, вот откуда эта славная терминология, — сбросить царя и так далее...

Я умный, я хитрый. Я не стал спрашивать-интересоваться, какие доводы и приводы сказал и привел Махно. Мне это надо? Нет! Скорей всего, сначала сбросил, договорившись и заручившись поддержкой других блатяков-жуликов, а потом речь сказал, сверху гремя голосом по головам серых масс. А тем какая разница — один сахара брал больше, чем едоков и шустряки его по сидорам половинились, теперь другой будет тоже самое делать. Мужикам-народу все едино.

Но вот Махно и побаивается туда ходить, но руку на пульсе противоположного третьего яруса держит. Через осведомителя. Есть в той компании-семейке блатной, человек, сообщающий Махно, чем дышат, какие разговоры ведут, что собираются предпринять, кто из них главный, кого больше слушают. И сообщает эти новости, умереть от смеха можно, на параше. Семьянин Махно знак подает, на краю нар становясь и подтягиваясь. Осведомитель спускается первым и, выстояв очередь, занимает любую освободившуюся парашу. Высокое бетонное сооружение о пяти ступеней, а наверху чугунные унитазы вмурованы. Наверно, антиквариат. Махно попозже спускается не спеша, с тремя телохранителями! и к параше вышагивает. Очередь почтительно расступается — пахан идет. Один из телохранителей рывкает, указав пальцем на соседнюю, рядом с осведомителем, парашу. Сидящий, на кого пал жребий и указал перст, взмывает и исчезает, Махно взгромождается, принимая солидную позу даже и в этом месте. Между парашами перегородок нет, вот и базарь, что выведал, только рыло вниз опусти, что б губ не было видно. Смех и только, конспираторы! Я спросил у Махно:

— Почему сам на связь ходишь, почему не пошлешь кого-нибудь?

— Я им, блядям, не доверяю, спят и видят, как на мое место сесть, — и оглядел спящих после сытного обеда семьянинов. Меня поразила злость и откровенность слов. Махно продолжил:

— У тебя мозги не прочищенные, может подскажешь еще чего-нибудь, чтоб не спалить стукача?

Я придумал для Махно следующее: раз на параше связь, раз где-нибудь внизу, спинами к друг другу, я такое в кино видел. Где в следующий раз встреча, можно договориться в предыдущий. И сигналы надо менять. Сегодня потягивается, завтра бреется... Махно согласился со мною и серьезно поблагодарил меня за ахинею.

Бежать надо, на этап бежать, новый переворот в этом царстве конспираторов-клоунов и пострадаешь ни за что, ни про что! Игры клоунские, но играют всерьез. И последствия могут быть серьезные.

Стал я чаще у двери караулить, в толпе желающих уехать простаивать. И дождался. Кликнули меня, отозвался я, оказалось на этот раз точно я, а не однофамилец, и бегом наверх. Сидор забирать и прощаться.

— Да не гоношись, Профессор, не гоношись. Через часок дверку отомкнут, не раньше. Так что успеешь. Ты лучше вот что скажи — не надумал случаем тормознуться?

— Нет, Махно, не надумал. Не таи зла, воли хочется, пусть урезанной, зоновской, но воли. А тут дым висит, как над Лондоном туман. Поеду!

— Ну, решил, так решил, спасибо за советы! Эй, Зуб, Вадька, Шнапс, покидали что есть понемногу Профессору в сидор. На этап едет пацан, собрать надо. Держи пять и не поминай лихом!

Я и не поминаю лихом. Поминаю как есть. Стою у двери, сидор потяжелевший на плечо повесил, на лямку, иду. Зеки вокруг тоже ждут. И дождались.

— Кого назову — обзывать и на коридор! — крикнул рослый дубак с красным рылом и началось...

Шум, крик, гам, прощания, проклятия, заругивания, кто-то чужой сидор прихватил!..

Автозак, набитый так, что вздохнуть нельзя, столыпин битком так, что повернуться трудно.

— Поехали! Поехали! Поехали!!!

На воле снег лежит, я мельком видел, когда в столыпин из автозака под рев солдат, сигал. В вагоне холодно, тесно... Закемарил сидя, внизу, прижатый в угол. На второй полке тоже сидя ехали, теснотища. Закемарил и вспомнил, как Махно меня уговаривал остаться... Долго я не мог понять, чем импонирую умным жуликам, босякам крутым. А общаясь с Махно — допетрил. Нравится жулью, что я всем своим поведением и жизнью говорю, что могу и я до блатяка дотянуть, нема косяков, ментов ненавижу и долблю их, как только возможность выпадает. Но! Но так, как судим я за политику, а раньше не сидел и блатным не был, то знаю свое место и выше мужика никуда не лезу... И настоящим блатным, с головою, это по душе.

Заснул я и проснулся от рева, заглушающего все. Сначала не разобрал в чем дело, а потом сообразил — это мы приехали. Просто приехали.

— Приехали!

— Выходи!!

— Бегом!!!

Лязгает решка и у нашей секции, все выпуливаются по одному, солдат даже не прикрывает решетку и стоит рев:

— Бегом! Бегом! Бегом!!!

Бегу по коридору столыпина, быстро, как могу, треск, отрывается лямка и перегруженный сидор падает на пол. Нагибаюсь, подхватываю его и бегу дальше. Под рев:

— Раззява! Беггом!!! Сука, бегом!!!

Бегу, поворот, прыгаю в автозак и чтоб не терял сидора, не тормозил конвейер, получаю ощутимого пинка. Сапогом по жопе!.. Ну, бляди!

Сажу на одной половине, так как другая горит, отнимается и сидеть на ней невозможно... Ну, гад!

Везут. Холод. Темно. Лязг ворот, лязг дверей, лязг решки. Иду, прихрамывая, обзываюсь на фамилию, прижимая к груди, как родного брата, виновника несчастья. Так в обнимку и вошли в хату.

Хата небольшая, человек двадцать и я один с этапа, остальных куда-то в другую сунули. Нары от стены до стены, в два яруса, одна параша, неужели бывают такие хаты, после Свердловского ада даже и не верится.

— Откуда, земляк? — с излишне блатными, протяжными нотками все тот же надоедливый вопрос.

— Оттуда, — показываю на дверь и располагаюсь наверху, посередке.

— Тебя по-человечески пытаются, ты, в натуре...

Внимательно смотрю на «пытальщика» и мгновенно все срисовываю. Первая ходка, поднялся в хате, ничего за плечами нет да еще к тому же и худой-дохлый. Пялит глаза, губы растягивает в презрительную ухмылку, сдвигает брови. Клоун! Набор знакомый, только в его исполнении вызывает смех. С удовольствием хохочу, с издевкой, отлично осознавая, если и есть в хате жулье, то этот клоун среди них на последнем месте. Поэтому и хохочу. Блатяк растерялся:

— Ты че, ты че?

— Ниче, я тебе должен? — перестаю хохотать и спрашиваю. Он еще больше теряется:

— Ну я спросил...

— А кто ты, чтоб пытаться, обзовись?

— Как, обзовись?..

— Ты кто?

— Валет...

— Вот и будь им, а меня не трожь!

Ложусь на брюхо, так как жопа побаливает. А блатяк не унимается:

— Слышь, Мартын, он с нами говорить не желает!

Ого, есть еще и Мартын, яйца повесил на тын. Второй подает голос:

— А мы его попросим!

Я чувствую, как кто-то дергает меня за сапог. Резко сажусь на край нар и вижу еще одного кандидата в повелители. Смотрю на него, худого и длинного, с невыразительным плоским рылом и думаю: вот черти, возмнили о себе, а сами даже по фене не ботают. Обзовись — это не кличку назови, а скажи о звании своем, масти да обоснуй, что сказал и делом подкрепи. Нет на них жуликов серьезных, вот и блатуют, перхоть поганая. Решаю не доводить дело до драки, двое против одного все же, решаю задавить толковищем:

— Как тебя звать?

— Здесь я буду спрашивать, слазь говорю!

— Ты по фене ботаешь, музыку знаешь?

— Какую музыку, а по фене ботаю, ты, в натуре, слазь, черт, базар есть!

Злоба потихоньку просыпается во мне, но я еще пытаюсь решить дело миром:

— Ты меня чертом обозвал, а ты меня знаешь? За базар отвечаешь, человеке или получать придется?

— Че, че? Че значит, получать, да кто ты такой?!

— Человек прохожий, обшитый кожей, прозываюсь босяком, а живу кувырком! Ты по какой венчался?

— Че?

— Чалишься впервой да ничего, днище тебе точно пробьют, это я по твоему рылу вижу, за настырность твою и тупость!

И резко, сильно, со злобой, бью блатяка сапогом в плоское рыло. Он охает и отлетает. Ударив, соскакиваю с нар, сдергиваю на ходу очки и швыряю их на нижние нары:

— Покарауль, братки!

Мартын лежит на полу, держась обеими руками за рыло, второй подсакивает ко мне, я не успеваю увернуться, скулу ожигает удар, голова мотнулась. Кидаюсь к двери, в спину крик:

— На лыжи встал, лови его!

У порога стоит миски, стопка мисок, я их раньше заметил, не отдали в коридор, не успели, хватаю верхнюю и резко поворачиваюсь. Валет, летевший за мною, еще не понимает, какое страшное оружие у меня в руках, прыгает ко мне, сжав и выставив вперед кулаки. Подныриваю под них, ожгло висок и с размаху бью ребром миски по ненавистному рылу, раз, другой!.. С воем, обливаясь кровью, чуть не сбив меня с ног, ломанулся блатяк, да на дверь напрямиком! Ай да блатяк!.. Воем, дубасит кулаками, а голова в плечи втянута, ждет третьего удара, по чайнику. А где же Мартын с яйцами? Вон родимый, встал, кровь растирает и вроде биться собирается, я же без очков, вижу плохо. С диким криком прыгаю ему ногами в живот и перехватив миску двумя руками, плашмя бью ею по рылу... Изю всех сил! Мартын с воем катается по полу, держась за морду. Пинаю его еще пару раз по ребрам. На память.

— Прекратить! — стегает меня окрик. Оборачиваюсь, дверь распахнута, лыжник в коридоре, а в проеме стоит майор, корпусняк. Невысокий и без дубины. Дубак придерживает двери и заглядывает с любопытством в хату.

— Прекратить! Что за безобразие?!

Мгновенно соображаю, как постараться избежать молотков.

— Все в порядке, командир! Просто ребята попросили немного — и я им дал, но конфликт исчерпан полностью! Шума больше не будет — клятвенно заверяю. А этих чертей даже можно оставить. Все будет правильно.

Корпусняк внимательно смотрит мне в лицо, явно видя и на нем следы битвы. Да еще двое против одного... И слова мои ему явно нравятся.

— Фамилия, статья? — спрашивает меня корпусняк.

— Иванов, семидесятая!

— Заходи назад! — это он командует уже лыжнику и громко объявляет свое решение:

— Будет продолжение — под молотки всех пушу!

— Да, командир, ясно, — отвечаю за всех к двери закрываются. Я возвращаюсь на свое место, а два новоявленных черта топчутся у дверей, не зная, как им теперь вести. Я подсказываю:

— Ложитесь внизу и чтоб я вас не слышал и не видел! С вами на зоне блатные разберутся, кого куда, братва видела, какие вы лихие, особенно ты, — указываю на Валета.

Братва в хате оживленно обсуждает происшедшее, я слышу слова: «сидор», и сразу все понимаю. Не первый день баланду хлебаю.

— Где сидора чертей? Живо сюда! — привстав на локоть, рывкаю, изображая крутого. Мужики, выхватывая друг у друга мешки, доставили их ко мне. Вываливаю содержимое из обоих на нары.

— Забирай, что кого!

Братва с радостью разбирает отнятое. А мне приятно, отдавать всегда приятней, чем забирать. Но добровольно, без принуждения...

На нарах остались сиротливо лежать не востребованными шесть пачек махорки, черный шерстяной шарф, увесистый шмат сала копченого и из толстой шерстяной нитки носки.

— Это ничье? Хозяева на этап ушли?

— Да.

Забираю себе шарф и носки, сало и махорку кладу на край нар.

— На общак!

Значит, на всех — все, кто желает, могут пользоваться. Братва оживленно потянулась к махорке:

— Вот это по-арестантски!

— А те черти под себя да под себя!..

— Лихо он их рубанул, лихо!

— Пошинковал, как капусту!..

Лежу на лаврах, наслаждаюсь плодами победы, пью фимиами лести и похвал, нюхаю...

Вот черт, главное забыл!

— Братва, а что за кича? Какой город?

В ответ смех. Хохочет братва, хохочу я. Смех и только!

— Ну дает, перерубил полхаты и интересуется, какой город! Ну, и парень, ну, и хват!..

Узнаю, что Челябинск. Недалеко совсем уж, немного осталось кататься мне. Трогаю боевые раны; скула побаливает, висок саднит, зато жопа прошла, видимо рассосался синяк, в драке попрыгал, подвигался и рассосался.

Вечером еще братву кинули, и сверху, с хат, и с этапа, были волки и со строгача, я с ними цифирок хапнул, братва поведала о славной битве, и потащили лыжника на парашу. Любишь на лыжах кататься, на коридор, надо и отвечать за это. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Это тюремный фольклор. Как всякий фольклор, он точен и емок по смыслу.

Через день меня дернули на этап. Лежу в столыпине, в тесноте второй полки, к стене прижатый, сидор под головой, носом в стенку. Базарит братва о воле, о бабах, о деньгах... пустые базары — они на воле ни денег, ни женщин не имели. Да и воли они не видели. Один — два месяца на свобо-

де, другой — три. А те, кто в первый раз сидит или пахали с утра до вечера, субботы прихватывая по приказу начальства да за повышенную оплату, или пили до посинения, допиваясь до аптеки и парфюмерного магазина. Или совмещали первое и второе. Видимо, выгодно Советской власти народ такой иметь — пьющий да работающий. Ни революций от него не дождешься, ни бунтов. Быдло, одним словом. За исключением единиц — быдло!

— Приехали! — прерывает мои мысли рев конвоя и все началось, как обычно. Даже скучно...

Вот я и в хате. Много казахов, Петропавловск все же, Казахстан. География страны в тюрьмах и лагерях, учебник для младших классов. Издание новое и дополненное.

Устраиваюсь. Ни у кого не вызываю интереса. Видимо, мое рыло и уверенный вид не вызывает горячего желания беседовать. Немного погода сам подруливаю к группке блатяков и жуликов. Представляюсь, базарю, смеемся. А вот и чифирок. Зовут и меня. Пьем. По три глата, по три глата, по три глата. Ритуал древний и нерушимый.

Настроение отличное. Следующая тюрьма — Омская, дом родной... Смешно так говорить, я ни разу не был в омской тюрьме. Настроение отличное...Скоро Омск!

Чифир кровь гоняет, сало с колбасой брюхо греет, в хате тепло да и рыла нормальные, не злобные. Решаю тиснуть роман...

— Случай братва, читал я одну книгу. Жил один граф, это кличка, был он воров, — хохочет братва и затахает, вспыхивают глаза и затаивает дыхание, голову в плечи втягивает, кулаки сжимает и облегченно вздыхает-хохочет, когда я героя своего романа и нашего времени благополучно отправляю с чемоданом драгоценностей за границу. В солнечную Италию. Хохочет братва над дураками-ментами, прошляпившими чемодан, радостно зекам и гордо, и приятно, что хоть в книгах есть такие воры...

Укладываемся спать далеко за полночь. Негромко говорит мне Рустам, жулик раскосый:

— Ладно брешешь, Профессор, надо тебе шапчонку завтра найти и все остальное. В Сибирь едешь, в холода, а там снег, мороз. Ладно тискаешь, в кайф!

Вот и гонорар не замедлил, не задержался. Просидел я в гостеприимной тюрьме города Петропавловска аж пять дней! Я б за это время пешком бы мог дойти до Омска. Но куда мне торопиться, впереди срок, дни идут, года летят.

Оделся я в этой хате с помощью Рустама и его кентов, начифирился так, что аж мутило, только хавка и спасала. Романы тискал, в розыгрышах участвовал:

— Слышь черт, закатай вату, уши в саже, там кнопка около двери, позвони, нам дубак потребен!

И идет черт с первой ходкой, не смея послушаться, несуществующую кнопку под хохот всей хаты.

— А где кнопка? А? — пытается черт, когда братва уже просмеялась и забыла.

— На сраке у тебя!

Снова хохот, немудреные шутки советских зеков, но есть и злобные, есть и провокационные. Мне таки не по нраву.

— Слышь, черт, попроси у дубака тазик, бельишко постирнуть надо, да с кипятком!

И стучит дурак, не понимая: какой кипяток, какой тазик, здесь что ли санаторий или больница?

— Че долбишься, пидар, себя в сраку подолби, че надо? — это дубак, интеллигентен аж до не могу.

— Тазик надо, с кипятком...

— Че?.....!

Это в лучшем случае, ну а в худшем — в коридор. И по боку... Чтоб не злил и не издевался над надзирателем.

Возвращается в хату черт понурый и заплаканный, а следом гремит:

— Может тебе еще и вилку подать с салфеткой белой, погань — и так далее!

Мне такие шутки не по нраву.

На шестой день лязгает замок, дверь нараспашку, два дубака-казаха, один со списком, другой — так улыбается. А в коридоре корпусняк маячит.

— Кого назову — на коридор с вещами!

Слышу свою фамилию, собираюсь, прощаюсь. С вами весело, но пора и доехать уже. Сколько можно.

Автозак, лязг решеток, темнота, ногам холодно, забыл надеть толстые носки.

— Бегом! Бегом! Бегом!!!

Бегу по проходу в столыпине, ныряю в открытую солдатом секцию.

— Следующий!

Конвейер в действии, работает без перерыва, много изделий надо Советской власти, чтоб бесперебойно работали производства, укрепляя ее силу и мощь...

Лежу, стучат колеса, за матовым стеклом явно пурга. По проходу солдат ходит, морда русская, на погонах «ВВ» блестит.

— Когда в Омске будем, командир?

— Когда надо — тогда и будем!

Вот и поговорили. Его бы власть — перестрелял бы всех, ишь морда злобная, интересно, что ему зеки сделали, может свинью украли или за жопу пощупали? Лежу и засыпаю. Что еще делать? Хлеб с сахаром получил и съел-спрытал в сидор, рыбу подарил, водички попил, на

оправку сходил. Нечего больше делать, скучный конвой попался, но хоть не очень злобный. Только морды командир делает ужасные. Засыпаю под стук колес...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

А вот и Омск. Доехали! Выгружаемся из столыпина и все бегом. Везут. Автозак полон, но не привыкать.

— Приехали!

Лязг, шмон, транзит. На подвале. Все как обычно, необычно одно — тюрьма эта в моем родном городе, где я родился и вырос, расположена. Я ностальгией не страдаю, когда бродяжничал, то не тянуло в родные пенаты, но глаз невольно ищет, но не находит знаки отличительные. Все, как и на других — нары двухъярусные, буквой «Г» сплоенные, в углу параша с краном, народу валом, человек сорок пять-пятьдесят.

— Привет братва, привет земляки! — звонко, особенно, здороваюсь с хатой. Все бросили свои дела и смотрят, что случилось, что за шум, а драки нет! Прохожу, закидываю сидор наверх, залезаю сам.

— Привет! — здороваюсь еще раз с жульем, сидящим в кружке и с любопытством рассматривающим меня.

— Привет, привет, откуда?

— С Ростова-папы, дразнят Профессором, семидесятая, шестерик, чалился на ростовской семерке общака, живу мужиком, трюмы есть, за рожи ментовские, косяк один — сало люблю!

Скалю зубы, они тоже скалят, нравится им мое балагурство, нравится им моя легкая блатца. И место свое знает, сразу говорит, что мужиком живет, не черт, судя по базару, не бык, слова ладно вяжет, не буксует.

— Есть с Нефтяников кто? — громко вопрошаю, жулье удивляется:

— А откуда про Нефтяники знаешь?

— Да как сказать, я до семьдесят четвертого года в общем-то в Нефтяниках жил, на Ермаке. И шпану кое-кого знаю.

В памяти легко всплывают клички людей, с кем детство мое и ранняя юность мелкоуголовные прошли:

— Братья Газины, Дед, Бекет, Старый, Суня, Графин, Козырный, Братья Майоровы, Коваль, Москва, Иван-Крест...

Сижу в кругу с жуликами, пью чифир. Идет толковище на совесть. Если б я назвался никем и никого б не назвал, ну и с меня взятки гладки. Но назвался я никем, мужиком, а кличек знаю много, и разные — громкие, и так себе... Вот и пытаются меня жулики — не подсадной ли я, тот ли, кем назвался, не кумовский ли. Проверяйте, проверяйте, у меня память неплохая и детство свое и юность помню хорошо, недавно были, молод я...

— У Спинки собирались на хазе...
— Ната малину серьезную держала...
— В «Рваных парусах» часто бухали...
— «Поганка», «Бабы слезы», «Кильдым», «Селедка» «Мухомор» — я наизусть винные лавки помню...

— На Слободском базаре, у тети Дуни, в рыгаловке...

— На Советском рынке, у Артема пиво...

— Убили Артема...

— Что так?

— Разбавлял сильно, вот и убили...

Молчим, не жалко Артема братве, мне все равно, но все равно молчим. Все же человека хлопнули, не муху.

— Ну, браток, с приездом! — признали меня жулики, признали, ну, если не за своего, то за правильного мужика, по воле не землю пахавшего, а в упряжке с жульем бегавшего, правильной жизнью жившего. И положиться на меня можно, трюмы за ментов точно тянул, не брешет. Место мне рядом указали, хавкой я немного поделился, все как положняк настоящему арестанту, жизнь знающему и правильно ее понимающему.

Может кто-нибудь и не поймет, зачем самому лезть к жулью, поближе к огню. Не проще ли в втихаря, пересидеть, а спросят — ответить? Видал я и таких хитроумных пескарей. Видал. Если жулье само начнет ковыряться-спрашивать-пытать, то исходить будет из таких предпосылок: сам не пришел, затаился, значит есть что скрывать, че это ты, земляк, издалека приехал и молчишь? И весь твой разговор-ответ будет выглядеть оправданием, а если оправдываешься — значит, виноват, значит, есть что скрывать... И все твои паузы, запинки, попытки вспомнить или букснуть, будут яркими свидетельствами твоей неправоты или, по крайней мере, попытки утаить что-то страшное в своей биографии, а тот ли ты, за кого выдаешь, под кого рядишься-сухаришься? А может ты черт, закатай вату?.. Или днище, милок, пробито, так ты не стесняйся, говори как есть, все равно узнаем — хуже будет. А?! И все — прощай молодость, а то и девственность... Повидал я таких, и недолго братва разбирается, повидимому считает — лучше пару раз ошибиться, трахнуть не того, невинного, чем тихой сапой прокрадется в их ряды или не в их, но будет жить рядом вражина... Береженого бог бережет, а не береженого конвой стережет! Исходя из этой поговорки и поступает братва. Вот я не ждал.

Незаметно, за базарами, знакомствами и трепом, пролетел день. Вечером еще людей кинули, сверху, со следственного, с хат. Значит завтра по утру на зону. Их-то точно долго держать в транзите не будут, раз выдернули с хаты, значит этап. И я с ними.

Один из прибывших сразу привлек мое и не только мое внимание: рослый, плечистый, с хитрым, угрюмым, смуглым рылом, в синем зек-ковском костюме, где-то приобретенном. Братва сверху его Шурыгой называла. Шурыга по хате тусуется, всех расспрашивает, как будто кого-то ищет. Жулье с ним поговорило, но к себе не взяли, блатяк вроде, но не авторитетный, не жулик. Да и че семью сколачивать, завтра на зону.

Утром Шурыга и до меня добрался:

— Слышь, очкарик, говорят ты с Нефтяников?

Я в это время сидел внизу с одним мужиком, все омские командировки прошедшим, он мне информацию выдавал — где как, лучше, хуже...

— Говорят, только меня Профессором дразнят.

— Да мне плевать, как тебя дразнят, черт, ты где на воле жил?

Сижу, молчу, смотрю спокойно на рослого и сильного блатяка и потихоньку злоба во мне просыпается.

— Че молчишь, я с тобой базарю?!

— Я думал нет, я не черт, а ты к какому-то черту обращаешься...

Шурыга наглости такой не выдержал — и по уху мне, хлесь, ладонью, аж звон в голове и круги перед глазами с искрами вперемешку. Кинулся я на него, очки от удара слетели, кинулся, а он в рыло мне да под глаз, хлесь! Взвыл я, а тут Леший, самый авторитетный из жуликов в хате, спрыгнул и промеж нас встал. Если по правде, Шурыга меня убил бы, здоров бычара.

Одел я очки, вытерев глаза от слез злобы, ярости и боли, и срывающимся голосом спрашиваю Лешего:

— Хату беспределщик держит или жулье авторитетное?!

Согласился Леший со мною — непорядок это, за не за что по рылу бить и негромко сказал:

— Гак.

Сверху зек спрыгнул, тоже с нами вчера чифиривший. Лет под сорок, как и Лешему, только поплотней, пошире и повыше.

— Га? — спрашивает Лешего Гак. А тот на Шурыгу рукой показывает:

— Сделай его.

Шурыга стоит, руки опустил, рыло злобное, но ни ломиться, ни биться не готовится. Правила игры социальной знает и их придерживается. Гак размахнулся из-за плеча и по рылу Шурыге — хлесь! Да так, что тот и отлетел и в стенку впечатался. Гак с Лешим на нары, я следом, а Шурыга — умываться, на парашу. Гак ему рыло в кровь разбил. В хате мир и порядок.

Лежу, трогаю синяк, ухо, как пельмень и слышать хуже стало. Что это он так ведется, что он такой нервный, ну, мразь беспредельная!..

В это утро не дернули никого. Наоборот, после обеда еще людей на этап кинули. И сверху, и с этапа. В хате все после суда, все на зоны ждут этапа, все наши, омские. Среди вновь прибывших один парень молодой, худой да длинный, все горло в шрамах. Как вошел, так сразу с порога и объявил:

— Братва, меня звать Шрам, с Новосибирска, за грабеж, я сейчас чудить буду, мне на крест положник, а менты-суки в транзите трюмуют.

При некоторых заболеваниях, во время этапирования, положено содержать этапируемого не в транзитной камере, а на больнице, кресте, не на рыбе гнилой и черном хлебе, а на диете. Но это правило повсеместно нарушается.

Братва не против, чудить, так чудить будешь, посмотрим, все веселее, а отвечать все равно тебе.

Разделся Шрам по пояс, братва и ахнула — живого места нет на нем. Не только горло исполосовано, но и брюхо во все стороны, и дырки какие-то заросшие, а руки, руки, от запястья до плечей так густо исполосованы, как будто чешуя из шрамов.

— Это ж кто тебя так порубил?! — вырвалось у кого-то, но в ответ Шрам ни слова, приготовлениями занят. Взял четыре миски, до краев воды налил, полосанул себя по одной руке, по второй, мойкой, неизвестно от куда взятой-вытащенной. Льется кровь, как из крана, а Шрам ее в миски. Налил поверх воды, пальцем размешал, еще до того, как свернулась. Готово! Затем на животе складку оттянул, на край нар пристроил, ложку с обломанным черенком, из кармана вытащенную, на складку поставил и сверху кружкой — раз и насквозь, в другом месте оттянул и... Готово. Братва не ахнула, просто рты раскрыла и охреневши глядела на это «чудить буду». Многие в жизни они видели, ой, много, но такое! Не часто. Шрам голову склонил, пробои осматривает, а складки разошлись и дырки, как вонутры выглядят! Затем себя по брюху раз, да другой, раз и полоснул! Но пленку не тронул, только кожу... Разошлись порезы, белое виднеется, кровь, как с барана хлещет! Ужас! А Шрам разошелся, то ли в раж вошел, то ли решил братву до конца удивить, но на горле кожу оттянул и... Вот тут и не просто ахнула хата, а подпрыгнула — кожа разошлась и в порезе трубки видны да сонник... Оглядел себя Шрам, как художник картину — красавец! Воду с кровью по хате, по полу разлил и выбрав место поэффектней, лег в нее, в лужу кровавую, руки раскинул и глаза закатил! Лег и просит:

— Стукнете кто-нибудь в двери, — и затих. Вид не просто жуткий, такое впечатление, что его шашками рубали, ужас. Рывкнул Леший, черт один в двери стучит да со страхом оглядывается, на Шрама.

Дубак так лениво спрашивает:

— Какого хрена надо?

— Здесь один вскрылся, командир...

— Как вскрылся, так и закроется!

— Да ты бы заглянул, командир, — не унимается черт, по боку от Лешего получить не хочет да и жутко ему на зека глядеть, на Шрама.

Лязгнул глазок на двери и слышно только — «Ох!» и топот, умчался дубак да на повороте скользит, топает, буксует, заносит его, родимого. Только стихли его сапоги, как гром, топот, шум, гам!

Двери нараспашку, а там все! Два-три дубака, корпусняк транзита, кум с дубинкой, зеки-санитары с носилками, ДПНС (дежурный помощник начальника СИЗО) с повязкой, еще какие-то офицеры... И у всех глаза квадратные и увеличенного размера! Видимо, нечасто на Омской киче такое. А кум на корпусного в крик:

— Если у него на деле пометка (смотри в конце главы) есть — сгною! Или в дубаки пойдешь...

Уволокли Шрама на крест, пол помыли черти, пришел кум — пытается, кто Шраму помогал резаться. Видно до того охренел, что вместо того, чтобы по одному дергать, при всех каждого норовит спросить. Братва в крик — куда такому помогать, он сам без помощников побыстрому исполосовался... Кум ушел, то ли поверив, то ли понял, что правды не добьешься. Братва еще долго обсуждала происшедшее. Надо же, ну и почудил, ну и отмочил, всякое видели, но такое!..

На следующий день дернули на этап. Всю хату. Впереди зона! Ехать мне на восьмерку. Общак. А там караул. Братва ее называет «Кровавая восьмерка»! И столько ужаса про нее мне наговорили, что даже и затосковал! А не зря ли я поехал от сеток, из Ростовской области? Уж очень страшные вещи братва поведала...

Но делать нечего, сам себе судьбу выбрал. Если б не менты, не власть поганая, за бумажки на шестерик загнавшая, то сам... Выхожу на коридор. Похоже, я один на общак, остальные на строгащ. Вон Шурыга стоит, на меня волком смотрит, морда синяком распылась. У него третья ходка. Вон еще мужик, что мне про зоны рассказывал, у него четвертая... Леший, Гак, Тимофей...

— Пошли!

— Пошли!

Идем. Автозак. Набили, как селедку, поехали. На зону...

На каждого зека-осужденного заводится дело. Не следователем, уголовное, а другим, личное. Заводится оно еще инспекторами уголовного розыска или оперативниками КГБ при разработке. Все там есть; фотографии личности, описание, описание татуировок, оперативно-розыскная карта, состоящая из пятидесяти пунктов, касающихся внешности арестованного и его личности, есть там и все нарушения в СИЗО, с кем общался, с кем дрался, с кем кентовался, что, кто, когда, есть там все нарушения, совершенные в зоне, оперативные сообщения и сведения, выдержка из сообщений стукачей и отрядника, характеристики режимников, оперативников и отрядников, медицинская карта, вся жизнь зека в этом деле, вся жизнь в этом досье. Вся жизнь за забором. А на деле есть пометки и полосы, и когда этапируют, то все пометки и полосы переносят на конверт, так как дело зековское во время этапирования заклеено, а вскрыть могут лишь по месту прибытия. Пометки помогают оперативникам в транзитных тюрьмах, конвою

в столыпине, да и всем остальным, кому нужно, сразу видеть: кого везем, что от него ожидать можно, что учудит, какое коленце выкинуть может.

Красная полоса означает склонен к побегу. Внимание! Может убежать — повышенное внимание! Синяя полоса — гомосексуалист. Зеленая полоса — склонен к членовредительству. Как Шрам. Черная полоса — склонен к убийству. Вдумайтесь — склонен к убийству! Мол, поймать мы его еще не поймали, но трупов за ним много... Или уже замечен за этим делом, режет потихоньку, помаленьку. И действительно — у всех акул, грузчиков, такая полоса на деле присутствует.

Но есть еще и пометки. «Р» видимо латинская — политический, у меня такая буква имелась. Круг или буква «О» — активист, поэтому в Новосибирске их и зовут «баллон». Треугольник — склонен к организации массовых беспорядков. Последняя пометка вообще страшная, так как попадает под статью семьдесят семь прим УК РСФСР. Организация массовых беспорядков и бунтов в местах лишения свободы. По-зековски — лагерный бандитизм. От пятнадцати лет и до расстрела...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Приехали! Выходи! — что за черт, я же на обшак должен, а выгоняют со строгачом?! Вон и Шурыга!..

Обращаюсь к майору, с повязкой ДПНК, принимающему этап:

— Гражданин начальник! Я вроде не по адресу...

— В отказ от зоны?

— Нет, просто...

— Тогда вперед, не задерживай!

Ох, и холодина, через телогрейку, свитер, белье толстое пробирает, снег скрипит под сапогами, изо рта пар клубом, на ресницах иней и рыло стянуло. Ну и мороз, ну и колотун!

Переключка, и повели. Солдаты открыли в кармане калитку, на запертку, по деревянному очищенному тротуару, меж двух высоченных заборов и повели. Мало того, что два деревянных забора — метров восемь, так еще несколько рядов столбов стоит, от тротуара к внутреннему забору, а на них чего только нет! И сигнализация, и ток, вон провод на изоляторах натянуты, и колючая проводка, и путанка спиралью! А венчает все сетка-рабица, натянутая метра на три выше внутреннего забора, ну еще фонари, прожектора в рост человека, но сейчас день — не горят. Ну еще вышки с автоматчиками... Сильна Советская власть!

Идем, братва переговаривается, она местная, командировки знает, мелькает девятка, «пьяная зона». Мужик в транзите про нее много рассказывал, и хорошего, и плохого. Поживем-увидим.

— Пришли!

Входим, бетонный коридор, по обе стороны железные двери с глазками, кормушками, номерами, фамилии мелом написаны. Трюм — это ясно всем. По-видимому, психологическая обработка, этапу сразу трюм показать. Поворот, еще одна решка, коридор и одна дверь распахнута.

— Заходи!

Заходим, а там предбанник, баня! Живем! Думали, хата...

Раздеваемся в предбаннике, холодина, стрижемся, бреемся, материмся — и в баню. Баня так себе — душ. Пополоскались под чуть теплыми струями, чуть не замерзли, и назад. Парикмахер уже ушел, мужик хромой, пришел шнырь с каптерки, мордастый и толстый, шмотки принес — получай. Глянул я, все у меня есть, и все неприметное, или разрешенное для ношения в зоне или не сильно отнимаемое. Шапка у меня с тряпкой поверху, солдатская крашенная в черный цвет, из искусственной цигейки, но все теплей зековской, телогрейка черная, рабочая, сапоги, шарф в темных тонах выдержан. Свитер не положняк, так его можно поверх белья одеть, а сверху толстое белье, ворот у свитера отпорот — не видно. Куртку на пуговицы, телогрейку нараспашку, шапку на голову, сидор в руки. Готов. Здесь, так же как и на общем, шмона не было. с чего бы это, наверно думают, что можно отместить — уже отдели.

— Все готовы? Пошли!

Идем по коридору трюма, ШИЗО. Три ступеньки вверх, железная дверь с глазком, прапор с повязкой «дежурный по ШИЗО» отпирает. Вываливаем за майором, уверенно чеканившим впереди шаги. Невысок, худ, носат, небольшие седые усы. Уши у шапки подняты, хотя холодина, виски седые. Видать давно служит, собака!

Поднимаемся по неширокой лестнице на второй этаж. Штаб. Коридор чистый, пол линолеумом выстлан, двери с табличками, кожаным обиты. Все, как в любом советском учреждении, буднично и спокойно.

— Стой!

Падаем на сидора, на корточки, ждем. Распределение. Вызывают по одному, но что-то быстро, Зашел и уже выходит. Называют мою фамилию, выкрикивает ее зек с бумажкой, иду за зеком, мордастым и рослым, на рукаве лантух. Шнырь хозяина.

Вхожу, сдергиваю шапку с головы и останавливаюсь недалеко от стола. В кабинете, кроме хозяина зоны, никого нет. Вот это распределение! Хозяин высок, огромен просто, грузен, лет под шестьдесят, сидит в кабинете в накинутой на плечи шинели с погонами полковника. Холодно. Седые косматые брови, шапка густых седых волос. Похож на старого пирата, дополняет сходство красный нос, толстый и большой. Невольно улыбаюсь своим мыслям, пират негромко и неторопливо басит:

— Чего веселый, сынок? Шесть лет за политику, плакать впору, а ты зубы скалишь. Нехорошо!

— Нехорошо, гражданин начальник, — соглашаюсь с ним, держа руки с шапкой за спиной.

— Эх, ребята, ребята, что же с вами делать, так и лезете в зону, не живется вам на воле, не живется...

Стою, удивляюсь мирной речи, спокойным словам.

— Ну ладно, пойдешь в девятый. Гляди и не сильно блатуй, сынок. А то в трюм, а там холодно, сам знаю.

Выхожу ошарашенный распределением и забыв то, что я не по адресу. Беру свой сидор, киваю братве и иду по коридору. Стоящий у стены прапор, подсказывает:

— Выйдешь со штаба, и по стене налево. Там каптерка.

Спускаюсь по лестнице, толкаю тугую дверь, зона! Тусуются люди по плацу, налево — двухэтажное здание, кирпичное, как и штаб. Впритык к штабу построение. Прямо тоже впритык к штабу двухэтажный кирпичный барак тянется вдаль, а там к нему такое же здание и тоже впритык. Это что же, зона буквой «О» построена? Оказалось, я немного ошибся, буквой «С», но с очень маленьким разрывом, метров десять. Холодина, бр-р-р!

Иду по плацу, вдоль сугробов, наваленных к стене здания, сугробы с меня ростом, ни хрена снега, первая дверь «Баня», был уже, дальше иду. Вторая дверь «Прожарка», вшей у меня нет, мимо, третья дверь показала, ну и холодина, пальцы сводит и рыло стягивает. «Парикмахерская». Что можно было, уже постригли. Дальше иду. Дверь с надписью «Каптерка». То, что и нужно. Открываю и вхожу. Крохотная комнатка без всего, прямо дверь с оконцем закрытым, а сверху график. Он мне побоку, я с этапа, положено — отдай! Стучу. Оконце почти мгновенно распахивается. Мордастый, как и все в мире зеки с хоз.банды, в вольничей шапке, из кролика, а на шее шарф мохеровый, ярко-зеленый. Ого! Видно здесь менты блатуют в шмотках, им не указ правила.

— Чего тебе?

— С этапа, матрац и все остальное давай.

— Заходи — бери.

Распахивается дверь, и я иду. Огромное помещение, у стены полки с вещами, куча матрасов. Беру один, перевязанный и скрученный, выбираю поновей и поровней, не бугристый, несу. Получаю две простыни, одеяло, наволочку, полотенце, кружку с ложкой, кусок хозяйственного мыла. Белье серого цвета и усиленно штопанное.

— А подушка?

— В матраце, — равнодушно и лениво сообщает зек. Не ленюсь, проверяю, достаю. Терпимая. Засовываю назад, расписываюсь, беру все хозяйство в охапку и выхожу. Холодина, бр-р. Мимо летит зек, телогрейка в разлет, шапка набекрень, уши у ней не подвязаны, болтаются. Держит зек кружку варежкой, а из кружки пар валит.

— Слышь, земляк, где девятый отряд?

— Там, — неопределенно машет рукой зек и скрывается за дверями около штабного входа.

Иду назад, вдоль дверей с прочитанными надписями, дохожу до тех, за которыми скрылся зек. «Отряд третий и четвертый» — надпись рядом с входом, ясно, неясно только где девятый отряд. По плацу много зеков тусуется, туда-сюда, и по делам спешащих, и так гуляющих, вон двое зеков ведро с водой тащат, пара над водою нет, значит холодную тащат. В соседних дверях скрылись, пальцы уже не чувствуют холод, наверно отморозил, кожу на морде стянуло так, что того и гляди — лопнет. Брр-р-р, холодина, морозище, наверно градусов шестьдесят... Внезапно вижу на штабе часы и большой термометр. Время одиннадцать часов двенадцать минут, температура двадцать два градуса. Ох, ни хрена себе, ноги заоченели, сейчас дуба дам, пританцовывая, бреду дальше, вдоль сугробов с меня, вдоль стены с окнами заледеневшими... Около дверей, в которые ведро протасили, зеки стоят, покурить вышли, тележки набросили на плечи, головы не покрыты.

— Привет, братва, где девятый? — еле-еле выговариваю непослушными, замерзшими губами. Они смотрят с сочувствием, но хохочут:

— Прямо шпарь, не ошибешься, вдоль барака и дуй. Только потопишь, засохнешь на корню!

И хохочут во весь голос. После слов «прямо шпарь» я уже с места сорвался, так что все остальное мне в спину сказано было. Матрац прямо на глазах ускользает, из негнущихся пальцев серо-сизого цвета с белыми ногтями, сидор вывалиться норовит, простыни с наволочкой из под локтя выпорхнуть. Караул!

Слева дверь, надпись «Отряд седьмой и второй», ни хрена, мать вашу, кто же так перепутал всю нумерацию?! А где же девятый?!

Следующая дверь и без надписи. Зек оттуда вывалил, на ходу запахиваясь, в нос ударило запахом мочи, дерьма, хлорки. Сортир. Поворачиваю налево и через несколько метров вваливаюсь, буквально впадаю в подъезд, стуча деревянными сапогами. Брр-р-р!!! Дальше не пойду, даже если не по адресу, перекантуюсь тут, оттаю. Поднимаюсь по деревянной лестнице в сумрачном тумане, на площадку первого этажа, Негнущимися пальцами пытаюсь протереть запотевшие очки, получается с трудом. Сквозь туман проступают буквы «Отряд девятый» и стрелка вправо. В глухую деревянную дверь.

Толкаю дверь и протискиваюсь со своим скарбом. Квадратный коридор с несколькими дверями и одним проемом в умывальник. На дверях надписи: «Старший дневальный», «Комната политиковоспитательной работы», «Начальник отряда № девять». На четвертых дверях надписи нет и не надо, сквозь остекление видны шконки двухъярусные и тумбочки. Барак.

Дверь с надписью «Старший дневальный» распахнулась и оттуда появляется зек, судя по морде и шмоткам, жулик, а следом другой, ну, этот точно мент, наверно сам старший дневальный. Первый останавливается и глядя на меня, пытающегося растереть онемевшие замерзшие пальцы, спрашивает:

— Откуда, земляк?

— С этапа, с Ростова приехал...

— Издалека, то-то тебя скрутило!

— Да нет, я местный, с Нефтяников, отвык немного да мяса с салом нет, по трюмам растерял, вот кровь и не греет.

— Мужик?

— Мужик, за политику...

Блатяк поворачивается к менту с лантухом на левом рукаве:

— Недалеко от меня наверху есть место, положишь его туда.

— Да, Кожима.

Блатяк уходит в барак, мент следом, я за ментом. Укладываю матрац на указанную верхнюю шконку, возле глухой, без окон, стены. Хорошо. Подальше от этой страшной зимы, от мороза, от снега.

Устраиваюсь, выкладываю часть вещей в свою половину тумбочки, сидор несу в каптерку к старшему дневальному. Пишу на бумажке ему свою фамилию, инициалы, статьи, он потом красиво нарисует-напишет и в рамку, висящую у меня в ногах на шконке, повесит. Как у всех. Вместо паспорта. Или адреса. Получаю две бирки нагрудных, на куртку и на телогрейку, тут же пишу спичку, макая в хлорку. Некрасиво, но разборчиво. Пойдет.

Мент любопытствует:

— Семидесятая — это политика?

— Да.

— Ох, ни хрена...

Ухожу, оставив козла с открытым ртом. Залезаю на шконку под одеяло, не раздеваясь, сверху телогрейку, до сих пор не могу согреться, колотит меня, как компрессор. Караул!..

Только согреться стал, крик истошный:

— Выходи строиться на обед!

И в ответ ласковое:

— Пасть закрой, жопу застудишь!

Началась моя жизнь на новом месте. А обед препоганый был. Я из столовой голодный вышел, а от качества приготовленной, так называемой, пищи, даже мутило.

Вечером, побазарил в блатном углу, представился, познакомился. Поскалили зубы, посмеялись. Поудивлялись, что так — с первой ходкой да на строгач. Но согласились со мною, что ментам виднее. За политику сижую. Сообщили мне блатяки, что не один я за политику, не один Троцкий, есть и еще несколько человек в разных отрядах. Ну ладно, сроку много, время

еще хватит познакомиться с ними. На чифирик меня блатяки не пригласили, ну и не надо. Мало ли, вдруг за чифирик тот пристегивать за что-нибудь начнут. Строгач все же, а я до сих пор не пойму, почему я здесь, а не на общаке, не на восьмерке кровавой? Упомянул, что видел, как ведро воды несли два зека, да вроде умывальники в отрядах есть, все же зона прямо в городе стоит, — сортир с унитазами чугунными, а не с дырками.

Обхохоталась братва и пояснила:

— Это водку несли, в ведре, из столовой, Фима торгует, в стекле не дает, в посуду наливает. В шестом отряде у Консервбанки именины!

Не поверил я, в зоне водку ведрами через плац носить, когда над ча-сами и термометром, в скворечнике с окном, ДПНК сидит... Не укладывается это у меня в голове, да и ладно, шутит братва, ну и пусть! Пошел я спать, завтра на работу, а девятый отряд — это механический цех. Какие-то сеялки делают. И мне придется. А иначе трюм! Уж там какая холодина я и представить не могу. За черным окном рев:

— Зона, отбой!

Да так громко, что мертвый проснется. Интересно, людям вокруг живущим, в кайф такое каждый день слушать, каждый вечер. Ровно в двадцать два часа. Если в кайф, то я им не завидую, я уже сейчас с трудом переносу. А впереди еще четыре года. Ну, суки...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Проснулся я ночью от того, что кто-то по мне пробегал. Усевшись на шконке, я непонимающе уставился в сумрак барака. В свете тусклой лампы, покрашенной чернилами, увидел, как один человек гонится с ножом за другим, они бежали по верхним иконкам, перепрыгивая проходы, то и дело наступая на спящих зеков. Первый с размаху прыгнул в окно, выставив вперед руки. Как в воду. Раздался звон и хруст ломаемой рамы. Это были единственные звуки в происходящем действии, не считая вскриков и ругани зеков, на которых наступили.

Все происходящее было так нереально, что я подумал — сон. Один из блатяков вырвал матрац из-под спящего недалеко от двери зека и заткнул им окно, выбитую раму, чуть перестало. Зек по приказу блатяка лег к другому, спящему рядом. Черти — мелькнуло в голове и угасло. Я вновь провалился в сон.

— Зона, подъем! Зона, подъем!

Вскакиваю и смотрю на окно. Нет, не приснилось, матрац на месте. Орет старший дневальный, здесь его называют — завхоз. Орет, но не очень громко:

— На зарядку выходи!

Блатные в ответ:

— Заслонку закрой, сраку застудишь!

Видимо, здесь это традиционное приветствие. Шум, гам, крик. Выхожу на свежий воздух. Брр-р! Мороз страшный, нечеловеческий, из простуженного репродуктора гремит нечеловеческим голосом:

— Делай — раз, делай — два, а теперь...

Черное небо, шесть часов утра, зона залита светом, голубым от прожекторов, желтым от фонарей. Стоит скрип снега, хруст, ресницы обмело инеем, глаза слезятся, очки примерзли к носу! Бррр! Колотун, ну и мороз! Ломлюсь в барак, благо менты в первых рядах крыльями машут, во главе с завхозом.

— ...А теперь переходим к водным процедурам! — гремит на улице. Ни хрена себе, шутнички, на магнитофон такое записали и веселятся. Водные процедуры...

Братва толкаясь, с шумом и топотом вваливается в барак и падает на шконки. До меня доносятся обрывки разговоров сплошным гулом:

— ...Ночью Пижон красноярский выломился, влетел в стирки за двадцать восемь косых и на лыжи. Курский гнался за ним, хотел пошинковать, куда там! Рыбкой в окно, сохатый и на хода, в штаб. Вывезут...

— ...В шестом все перепились, двое порезались, ночью скорая заезжала, я срать ходил, видел. Один кони бросил, другого увезли. Братва говорит — петуха не поделили...

— ...Сейчас бы чифирку!..

— В третьем у спикюля по пятакчу...

— Где же бабки взять?..

Сижу, слушаю, шизею. Это куда же привезли, может правда, водку здесь ведрами тягают, раз тут так топор гуляет! Ни хрена себе, раму на ушах вынес, в штаб убег и ни один прапор не пришел, никого ни дернули. Дела...

Выходи на завтрак! — это завхоз орет, глотка луженая. Выпуливаемся, толкаясь, следом не спеша идут блатяки. Жулики спят. Уважающий себя жулик или блатной на завтрак не ходит, в такую рань переться за пайкой и давиться кашей, что он, черт. Ну или мужик, что ли... Шестерка принесет и хлеб, и сахар. А что пожрать — найдется.

До столовой метров двести. Почти бежим, вваливаемся, толкаясь в узких дверях. Холодина... В столовой холод собачий, грязь, полутемно, воняет. Падаю за стол, указанный шнырем, чай в кружку из огромного чайника, у, паскуда, чуть теплый...

— Шнырь! — не один я ору, вон еще мужики:

— Шнырь! Чертов!

— Че блатуете?

— Чай ледяной, черт в саже!

— Да он весь такой, что я, жопой греть буду?!

На пайке сахар, еле видно, в чай его, ну и чай, как помои. Каша сечка, терпимо, но жидкая и без масла. Ну, суки!.. Продукты в сидоре кончатся, совсем опухну с голодухи.

— Выходи, другим жрать надо! — орет прапор. Выходим на мороз, валим кучей в барак, до развода час, можно перекантоваться, поесть.

Достаю из тумбочки сало, лук, из кармана телогрейки хлеб, родную пайку. Маловата... Усаживаюсь на нижней шконке, пытаю мужика, спящего подо мною:

— Будешь немного?

— Буду, благодарю...

Режем самодельным ножом из пилки, мужик из тумбочки достал, молчим, мы вчера с ним познакомились. Звать Тимоха, лет сорок, третья судимость, все за кражи по пьянке. Маленький, худой, с изможденным лицом. Подскакивает какое-то рыло, жизнью помятое:

— Слышь, браток, дай немножко лука.

— А где взять?

— Так в тумбочке!

— Так у меня в тумбочке и икра черная есть, может поделиться?

Зек отваливает, что-то ворча, под гогот тех, кто услышал. Отрезаю еще один шматок сала, небольшой, но увесистый, добавляю луковицу и отношу в проход к Кожиме, сказавшему завхозу про место для меня. Жулик открывает глаза на мое появление и видя подарки, говорит:

— Благодарю, Профессор, — и закрывает глаза, интересно, он что ли на пахотьбу не собирается, жулики здесь не ходят что ли на пром. зону?

Отнес я не за боюсь, а у меня — есть, сожру — не будет и пользы от этого мало. А так поделился с кем считаю нужным, с авторитетным, уже братва знает — мол, правильно Профессор жизнь зековскую понимает. Есть конечно в этом и что-то от задабривания, но иначе в лагере нельзя. Лучше самому дать, да тому, кому следует, хоть видимость, что сам такое решил, не по принуждению, чем обкатают или вынудят дать, поделиться. Все в зоне на «я — тебе, ты — мне» поставлено. Кожима мне — шконку в неплохом месте (а есть в отряде пустые и гораздо в худшем месте), я ему — сало... Так и выживают хитрые.

— Выходи на развод, пошевеливайся! — это уже не завхоз кричит, бугор, бригадир хренов. Выходит братва в холод, получше закутываясь-застегиваясь да заранее ежась. Холодно, темно еще на небе, фонари с прожекторами зону светом заливают. Выстроились более-менее в колонну, не армия — пойдет, пошли.

Слева наш барак, на первом этаже, на втором — школа. Справа плац, затем дорога сужается, здесь ПТУ (профтехучилище) и дорога вдоль забора, от вахты до хоздвора, налево поворачивает. Нам — прямо, в забор, а в заборе калитка узкая, около нее и останавливаемся.

Зек-нарядчик приплясывает, мент лопухий, ящик с карточками на табуретку установил. Рядом ДПНК вчерашний, фамилия Москаленко, два прапора. Нарядчик достает стопку карточек, отряд, из ящика своего и ДПНК сует. Тот берет и фамилии читает, по очереди перебирая карточки. А зеки отвечают не как положено — имя-отчество, а кто как — или «здесь», или «тут». Бардак, но хорошо! Рядом с ДПНК наш бугор встал, татарин с угрюмым лошадиным рылом, длинный и худой. Слышу свою фамилию, выхожу из строя, шевелюсь, холодно. А бугор, Шарапов, взбесился, взвился и орет на ДПНК, на майора:

— Положь его в жилую зону, нет у меня работы, я не Форд, всех обеспечить не могу!

А ДПНК — нет, чтоб рывкнуть, плечами пожимает и мою карточку нарядчику в короб:

— В невыводные...

Пылю в барак, тороплюсь, уж очень холодно. Все понимаю, не первый день в зоне, нет для меня работы у бугра, нет и не надо. Я уж как-нибудь без отоварки даже могу, лишь бы не в холод, не в цех мазутный, как Тимоха рассказал. Я лучше на шконочке поваляюсь да по зоне погуляю, познакомлюсь. Гляди — и встречу кого, земляка какого-нибудь. Может, и чайком угощусь. А пока греться.

Вот и повстречал я безработицу... Самую настоящую, на шестьдесят третьем году Советской власти, в период развитого социализма...

Погрелся — и по зоне гулять. В клуб заглянул — убогое зрелище, но завтра воскресенье, кино будет. Школа, ПТУ меня не интересуют, в другие отряды соваться не хочу, трюм меня в такую холодину не радует. На крест сунуться, понюхать, как там. Сунулся, понюхал — мне ничего не светит, здоров.

Вернулся в барак, достал из сидора сетку одну маклеванную, приныканную. Достал, сижу внизу, Тимоха пашет, прикидываю, что да как. И прикинул-додумался. Оделся и в столовую. А она не закрыта, хоть и кончился завтрак давно. В полумраке низкого зала идет своя жизнь — кто-то что-то хакает, кто-то просто сидит, треплется да базары ведет.

Стучусь в дверь рядом с закрытой раздачей. Раз, другой. Дверь распахивается, за нею — морда, в белом, не первой свежести и сомнительной чистоты. Белое.

— Че надо?

— Слышь, мне к зав.столовой...

— К Фиме? Проходи.

Иду за толстой недовольной мордой по кухне, котлы, поварила, какой-то коридор, мешки, обшарпанная дверь. Морда очень почтительно и деликатно стучит, склонив голову на бок. Оттуда доносится еле слышно:

— Что надо?..

Зек двери приоткрыл и туда:

— Фима Моисеевич, к вам.

— Впускай.

Захожу. В крохотном кабинете без окон, за старым ободранным столом, сидел полулежа, развалившись, зек в хорошей новой телогрейке и кроличьей шапке, надвинутой на глаза. А на столе перед зеком стояла бутылка коньяка, наполовину пустая и закусь, сыр, колбаса, свежие помидоры на металлическом блюде, на фаянсовой тарелке остатки курицы и жаренной картошки... Несмотря на обильную пищу, зек был худ и желт, кожа на рыле дряблая и висела складками, глаза смотрели печально-печально. И было ему лет шестьдесят примерно.

— Что тебе нужно? — вяло, через силу, спросил зав.столовой. Он был пьян в утратину.

Кладу сетку на стол и присаживаюсь на стул, стоящий у двери, стараюсь не смотреть на хавку. Зек не меняя позы, посмотрел на цветную сетку с прежним выражением на рыле, а я разглядывал кабинет-каптерку. Магнитофон и кассеты, часы на стене, стопка ярких иллюстрированных журналов, на стене плакат с полуголой девушкой... Кому тюрьма — кому дом родной!

— Что ты хочешь? — проснулся наконец пьяный зек-заведующий.

— Продать хотел бы...

— Эй, кто там?

Распахивается дверь, на пороге застыл повар, который меня привел, на рыле почтительность.

— Запомни этого зека, в течение тридцати дней, после обеда, будешь давать ему тарелку блатной диеты. Годится? — перевел он на меня свой печальный взгляд.

— Годится, благодарю!

— Не за что, статья?

— Семидесятая...

Впервые за весь разговор на лице Фимы Моисеевича появилось хоть какое-то другое выражение. Смесь удивления с любопытством.

— Ты в каком отряде? Я не вижу, — кивает на бирку с фамилией и номером отряда на моей телажке.

— Девятый.

— Я как-нибудь, когда потрезвее буду, пошлю за тобой, мы похаваем и побазарим. То есть, покушаем и поговорим. Как интеллигентные люди. А сейчас выпей и не мешай мне думать.

Меня не нужно было упрашивать, когда еще в зоне за так плеснут, налил полстакана и опрокинул. В себя. Ожгло так, что слезы брызнули из глаз! Да... Ох, ничего, отборный коньячок пьет заведующий, пять звездочек... Перебил сырком, попрощался и пошел. Повар мордастый за мною дверь закрыл на огромный крюк, побежал я в барак скорей, быстро-быстро. Что б кайф не растряссти... Упал на шконочку и жизнь мне показалась не такой мерзкой, не такой поганой... Кайф!..

Так и покати́лась не спеша, не торопясь, жизнь моя зековская, полота́тая. Разнообрази́я было́ немного, на работу́ меня́ не водили́, по чужим отрядам я не шаста́л, остерега́лся, в трюм не стреми́лся. Отда́л второ́ую и последнюю́ маклеванную се́тку за́вхозу, он меня́ и не кантова́л. Не на кухню́, не снег убирать, ни е́ще в какой ге́моррой. Не жизнь — малина!

Жру, в том числе и лишнее, хорошо́ пригото́вленное, треплю́сь, никуда́ не лезу́, никого́ не трогаю́ и меня́ никто́ не трогае́т... Почти́.

На пяты́й де́нь моего́ прие́зда в «пьяную́ зону́», вызва́л меня́ кум. За́вхоз пере́дал, я в это вре́мя в сорти́ре бы́л, когда́ шны́рь кумовский прибега́л. На всякий случа́й, сдерну́л я свите́р, суну́л его́ под одеяло́, за́правил шконку́ и поше́л знако́миться.

Наше́л в шта́бе де́рвь с табличко́й «За́местите́ль нача́льника ИТУ по опера́тивно-режи́мной рабо́те полковни́к Ямба́торов Т. А.» Кум! Ну и фами́лия у кума, интере́сно — кто по национа́льности? Оказа́лось, яку́т!

Стучу́сь, слышу́:

— Да, да, войдите́!

Вхо́жу, предста́вляю́сь, сдерну́в ша́пку, все как положе́но.

Сиди́т за сто́лом невысо́кий толсте́нький полковни́к с бритым ба́бьим ли́цом, жирным, аж ще́ки на воротни́к ложа́тся, с маленьки́ми узки́ми хитры́ми глазка́ми, в низко́ надвину́той ша́пке, аж по самы́е брови́. У зеков что́ ли научи́лся? Сиди́т и смотре́т на меня́ изучающе́. Смотри́, смотре́, с меня́ не убуде́т. Полковни́к посмотре́лся и нача́л:

— Так вот ты ка́кой, Профе́ссор!

Все знае́т, на то он и кум. Молчу́.

— А что́ же ты на стро́гач приеха́л, мразь, мразь! — и пухло́й ладо́нью по сто́лу, хлоп, хлоп!

— Так я не сам приеха́л, привезли́, гражда́нин нача́льник, и не мразь я...

— Это́ у меня́ погово́рка та́кая. Ты знае́шь, кто я?

— Да.

— Не́т! Я кум, кум, кум! И всех здесь де́ржу вот здесь, — и показыва́ет мне пухлы́й кулак. Я молчу́, что́ скаже́шь.

— Молчи́шь? Прави́льно! Ну, в сту́качи не зову́ — ты ниче́го не знае́шь, не жули́к. У меня́ жули́ков-сту́качей хвата́ет. Но если́ ты, мразь! — сно́ва пере́ходит на кри́к полковни́к, большо́й что́ ли. — То я те́бя сгною́, сгною́! Виде́л? — показыва́ет мне сапо́г, хро́мовый начи́щенный до бле́ска сапо́г.

— Виде́л.

— Так вот, э́ти сапо́ги пина́ли Серге́ Орджони́кидзе! По ребра́м, по ребра́м! — вно́вь кри́чит и мгно́венно успока́ивае́тся полковни́к. — Я тогда́ конво́йный бы́л. Поня́л?

— Да, э́тими самы́ми сапо́гами?..

— Мразь, мразь, я тогда́ в я́ловых ходи́л, нога́ми, нога́ми, мразь, мразь!

— Поня́л, гражда́нин нача́льник!

— Ты напиши заявление в суд, пусть пришлют на управление бумагу-определение, подтверждающую твой режим.

— Я писать не буду, вы сами напишите.

— Я?! Ты что, с ума сошел? — и хохочет, залиvisto, залиvisto, прикрывая глаза пухлой ладонью и раскачиваясь. Насмеялся, вытер слезы и:

— Тебе может кто надо написал режим другой, а я голову подставляй? Да ты шутник! — и вновь залился смехом, как колокольчик. Полковник-колокольчик... Насмеявшись вволю, под прикрытием пухлой ладони, неожиданно предлагает:

— Может, будем работать? Напиши заявление, я продиктую, я ведь не только кум, я и КГБ в зоне представляю, а?

— Я работать ни на кого не буду. Я не козел!

— Ты — мразь, мразь! А я тебя сгною! Мразь, мразь!

Стою, молчу, неужели в трюм ледяной мне собираться...

— Все! Иди и подумай!

И отпускает меня в зону, в барак теплый...

Бегу через плац, тороплюсь, вдруг передумает. Вот и дома, на школочку, под одеяло, да холодина, а кум странен, еще Серго Орджоникидзе помнит, может переслужил?

У каждого осужденного в личном, тюремном деле, есть кроме всего прочего, еще две бумажки от народного суда. Первая — копия приговора. Вторая — определение суда. Не путать с частным определением — направить лечиться от алкоголизма или направить на место, где ранее работал подсудимый-осужденный, бумагу с какими-либо выводами или рекомендациями. Определение суда — это: с какого числа, месяца, года исчислять срок, по какое число, месяц, год исчислять, какой режим определил суд, исходя из буквы закона. Ранее несудимые, в первый раз совершившие преступление и осужденные впервые, направляются в ИТУ общего режима. Или, в случаях, предусмотренных законом, за совершение тяжких преступлений — убийство, изнасилование с отягчающими обстоятельствами, нанесение тяжких телесных повреждений и прочее, определяется усиленный режим. Лицам ранее судимым, определяется строгий режим, лица, признанные рецидивистами направляются на особый режим. В отдельных случаях, как дополнение к основному наказанию или за совершение преступлений в зоне, или за систематические нарушения в зоне, суд выносит меру наказания в виде направления на тюремный режим. Естественно, это все на бумаге, а бумага, как известно, все стерпит.

Дают и в первый раз строгий, и за убийства — общий, и неоднократно судимых направляют на общий режим. Много у братвы есть в памяти случаев. Но есть и вообще курьезные. На одну зону особого режима, к тиграм на двух ногах, привезли мужичка с первой судимостью. Срок два года... Ему секретарша суда, вчерашняя школьница, перепу-

тала режимы — вместо общего напечатала особь. А на определении подписи и печати стоят... Так и отсидел два года, сколько ни писал, с рецидивистами. Хотя и прокурор по надзору существует.

Так вот. В моем деле, как сказал мне кум-шизофреник Ямбаторов, такая бумага отсутствовала... Хотя если судить по порядковым номерам — была. А на конверте, в котором было мое дело вовремя этапирования, указано — строгий! И кто это такой шутник — я не знаю. Вот и привезли на строгий режим...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Холода, холода... Одна радость — я не в трюмах и не на промзоне. Безработный я. Хорошо! Лежу целыми днями на шконке и думаю. Думаю, думаю... Обо всем. О зоне, о друзьях-хиппах, о себе. Целыми днями.

Развлечений в зоне много. Но не про меня. Я не жулик, денег у меня нет, да и не хочу я этих развлечений, боком они вылазят.

В пятом отряде пьянка была, без повода, одному жулику, Марку, глаз выбили. Без повода подрались, — вот и нет глаза. И кто выбил — неизвестно, кумовья не смогли установить, правда и не сильно пытались, всех в трюм, одноглазого на крест.

В одиннадцатом отряде происшествие. Были два жулика; постарше и помладше. Петр и Петрусь. Оказалось, старший драл младшего. Петр Петруся. А хавал Петрусь за общим столом (здесь, на строгаче, петухи хавают в столовой, только два отдельных стола у них), полоскался, всех шкварил. Шум, гам, кипез! Это что же такое! Это же косяк! Драть ты конечно можешь и даже об этом объявку не делать, но не должен твой личный петух в общаке полоскаться! Так он, Петрусь, еще и в разборках участвовал, и в толковищах! И смех, и грех... Взяли Петра за горло, получать хотели, а он за нож и троих порезал. Слегка. Так его и петушка его, кумовья в трюм закрыли, до этапа. На другую зону. Порядок.

А в первом отряде, хоз. obsлyгa — первый отряд, совсем смешной случай приключился, произошел! Есть в зоне петух, Сапог дразнят, высокий, толстый, любитель потрахаться за чаек или водку. Позвал завхоз первого отряда Сапога к себе в каптерку, на всю ночь. Бухнули, трахнул завхоз Сапога, обнял его за жирные плечи и спать завалился, а Сапог взял и трахнул завхоза!.. Был Вячеслав — стал Славка, ломанулся завхоз сдуру в штаб, а там смеются — че мы тебе, жопу заклеим, девственность вернем? Что еще сделаешь... Завхоза нового назначили, Сапогу совсем ничего не было. Порядок...

Каждую неделю, кроме из ряда вон выходящих случаев, в зоне еще слушаются повседневности, мелочи. То трахнули сэвэпашника, надоел, пишет

да пишет докладные, когда дежурит или увидит что. То три-четыре-пять и более драк случается, половина с поножовщиной и тремя-четырьмя-пятью порезанными и двумя-тремя трупамии... В неделю... Трупы на хоз. двор, к помойке, их потом за зону вывозят, в лагерную облбольницу, порезанных на крест, виновных (если известны, но такое редко) — в трюм или в ПКТ. В зависимости от социального статуса потерпевшего или убитого. Чаще всего наказание бывает следующим. Если убили рядового мента, то виновный едет на тюремный режим без добавки к сроку. Если председателя СВП зоны, то добавка к сроку, раскрутка и крытая, тюрьма, на три-пять лет. Как, например за Плотника... Сидел Александр Плотник у себя в кабинете, а двери закрыть забыл. На замок. Сидел и думал, по-видимому над наведением порядка в зоне. Тут его мысли спугнул зек, акула с четвертого отряда, Савось из Закарпатья. Зашел Савось и воткнул Плотнику электрод заточенный, прямо в сердце. И вышел. Добавили пять лет и поехал на крытую. Блатяком. Поднялся на следующую, но последнюю ступень. Выше всего на одну... По трупам, по крови. Но если жулик жулика залезал, блатяк жулика, жулик блатяка, акула обоих или вдвоем акулу — то только ПКТ. Помещение камерного типа, здесь же в зоне. На шесть Месяцев. Еще В. И. Ленин очень метко подметил, что преступный мир сам себя уничтожит. Вот ему и не мешают.

И самое поразительное — без молотков обходится. Это у меня в голове не укладывается! Булан говорит, что это Иван Иванович сделал. Хозяин. Ходит он не в сапогах, а в валенках (зимой, конечно), приволакивая ноги. Говорят — поморозил на севере, где прослужил всю свою долгую жизнь, видимо там, на Севере, на дальняке, среди вечного снега, высоких сосен и тигров полосатых на двух ногах, понял Иван Иванович мудрость житейскую — на все воля божья. И не надо вмешиваться во внутренний мир ребят, как он зеков называет, в темный страшный мир, живущий по своим диким, но логичным и обоснованным законам. Ничего там не изменишь, ничего там не переделаешь, есть там своя власть, судьи, палачи, есть народ, есть отверженные. И не ему, Иван Ивановичу, менять этого порядка, давно установившегося. Не ему. Вот он и не вмешивается, только с офицерами и прапорами рядом живет, на работу водит тех, кто работать будет да деньги делает. На чае, на водке, на жратве... Так и живет зона, прозванная в управлении и области «пьяной».

И помогают делать деньги хозяину и офицерам зеки. На больших постах стоящие, да в активе состоящие. Кроме Фимы Моисеевича водкой еще торгуют несколько спекулянтов. На пром.зоне Демчук Коля, кладовщик пром.зоны. Завхоз шестого отряда, Прищеп, заместитель председателя СВП зоны (!) Тляскинский. Есть и еще несколько спекулянтов, — и откуда водка? Оперативники да режимники заносят, полковник Ямбаторов да капитан Шахназаров. Ну и по их приказу подчинение им оперативники да режимники. Больше никто в зону водку

занести не имеет права. Монополия на водку. Как на воле. Иначе могут быть последствия. И плачевные...

Прапор один, Усачов, понес в зону пять бутылок водки. Больше мы его не видели, а прапора сказали — уволен. Начальник одиннадцатого отряда, здоровенный жизнерадостный Порковцев пал жертвой интриги и провокации, сделанной полковником Ямбаторовым и получил за четыре бутылки водки четыре года лишения свободы. Незаконная связь с осужденными...

А Фима Моисеевич водку на машине завозит ящиками! Опера затаскивают портфелями, режимники волокут в сумках хозяйственных, брякая и звеня на всю зону. На воле водка стоит три рубля шестьдесят две копейки, а в зоне пятьдесят рублей! Огромный бизнес — советская зона! И горе тому, кто попробует нарушить его плавный ход. Плавный и нарастающий...

Ну а чай — пожалуйста. На чай монополии нет. И это естественно — сам живи, но и другим жить давай. И несут чай все, кто не ленивый. Отрядники заносят чай в портфелях, двадцать-тридцать плит чая. Мелочь пузатая. ДПНК ночью заносит мешок, сто-сто пятьдесят плит. Ну средний уровень. Ротный, майор, длинный и худой, раз в неделю завозит на машине с продуктами ящик-другой. Шестьсот-тысяча двести плит чая. Фиме Моисеевичу, в нагрузку к водке оперов. Естественно, и Фиме с того чая перепадает, иначе в зоне нельзя... Но настоящая акула капитализма, большой босс, чайный король, это Коля Демчук! Рассказывает про него взалхлеб братва такое, хоть стой, хоть падай... Загоняет Коля чай только машинами! Раз в месяц завозит кладовщик Коля все, что ему нужно, с вольного зековского склада. И среди всякого барахла десять ящиков чая! Шесть тысяч плит чая!! По пять рублей плита!!! Считать умеете — считайте, естественно делится и с ротным, и с Ямбаторовым, и с хозяином... Иначе нельзя, зек все же Коля... А на воле чай стоит ноль рублей девяносто восемь копеек! Большой бизнесмен, Коля Демчук! Сроку у него двенадцать лет, на воле тоже был кладовщиком, за что и сидит. Опыт у него большой, вот и работает с размахом!

Много развлечений в зоне, много. В среду можно три раза в клубе фильм посмотреть. «Агенты империализма» или «Я встал на путь исправления». В среду крутят документальное кино. По воскресеньям художественное. В основном говно. А в перерывах между средами и воскресеньями, да и включая их, кино крутят зеки. И боевики, и детективы, и комедии, и порноленты. Смотри на выбор, любуйся, выбирай по вкусу.

Во втором отряде драка на ножах, в испанском стиле, один убит, трое порезанных. В третьем отряде коллективное насилие жуликами проигравшегося и неотдавшего вовремя жулика. В комнате политико-воспитательной работы. Под ласковым прищуром Владимира Ильича. В четвертом просто пьянка. В пятом просто две пьянки. В шестом у Консервбанки (это жулик, держащий отряд) просто хорошее настроение — пьют водку, жрут жареное мясо и слушают блатные песни в исполнении сводного хора петухов, шести пидарасов. В сопро-

вождении гитары... Люди отдыхают! В седьмом — казино — большая карточная игра. Пришел этапом грузин-расхититель. Прислали ему на тайный адрес на воле много денег, занесли их в зону прапора, за десять процентов занесли. Вот и казино образовалось. За неимением шампанского наливают грузину водку, за его же деньги и проигрывает расхититель с Кавказа, ой, как быстро проигрывает, наверно ему не везет.

В восьмом отряде, тихое чаепитие, с конфетами и шоколадом. Один жулик письмо получил, мама у него умерла, вот и горюют всей семьей.

У нас в девятом повеселей, но конечно не так, как во втором или третьем, поспокойней. Косима водку пьет со своею семьей и гостями. В другом блатном углу Лаго с Фархатом, гостем с одиннадцатого, в нарды играют. Оба жулики, игра серьезная, на крупные деньги. А около двери, в углу, блатяк Рыло живет, побегушник. Кличка Рыло. Он собрал бывших малолеток, блатяков с отряда, чифир хлещут и он им про крытую Тобольскую травит. Рыло там аж два раза был. Остальные кто чем занят: играют в шахматы, читают, думают, спят, смеются. Вон мужики, всем за сорок, под гитару негромко песни поют да старые. Блатные. Русские-народные, блатные-хороводные...

И хорошо поют, душевно:

— Помню, помню, помню я,

Как меня мать любила,

И не раз, и не два

Она мне говорила -

Не ходи на тот конец,

Не водись с ворами,

Рыжих не носи колец,

Скуют кандалами...

В зоне я уже освоился, к морозу привык, вот и бегаю по отрядам, только шум стоит. Здесь за это прапора вообще не кантуют. Не замечают тебя, сидишь в чужом отряде, ну и сиди. Пройдут с обходом, стуча сапогами, громко переговариваясь со знакомыми зеками и зависая в проходниках у жулья, что-то отдавая и забирая и пойдут дальше. Ну пошутят над каким-нибудь пидарасом:

— Сколько берешь? Мне скинешь?

И хохочут, придурки... Ходят по двое, так положено. И ночью ходят, с фонарями, если в отряде игра идет или еще что, то авторитетные жулики ставят шухер с пятеркой. То есть шестерку с пятью рублями. Обход появляется, шестерка пятерик в лапу служивому, тот мимо идет. А в следующий обход, через два часа, если видит, что шухер еще не сняли, то просто проходит мимо... Поразительно для меня, приехавшего от других порядков.

Я уже и кентами обзавелся и даже крутнутся сумел. Оказывается и на строгаче булок с маслом хватает, о двух ногах... Аж сам удивился, как

лихо вышло. Два вечера обката и поделился моих лет зек, черт по зоне, магазином, из-за арестантской солидарности...

— Зона, отбой! Зона, отбой! — по страшному орет репродуктор на ДПНК, свет в отряде выключают, только над дверью лампа горит, чернилами обмазанная, но жизнь как шла, так и идет. Не переставая, пьют чифир и водку, играют в нарды и на гитаре... И правильно делает Иван Иванович, что не лезет в это болото, в эти джунгли, в этот омут. Правильно. Пусть жрут друг друга, пусть. На то они и зеки... Ну, суки! Власть поганая..

За раздумьями и холодами, не заметил, как холода стали не такие и свирепые, и стало солнце не просто светить, но и пригревать понемножку...

Вышел один раз из барака под рев:

— Зона! Подъем!

И на дворе чирикает кто-то, заливается, через два-три часа солнце пригрело, выглянуло из-за крыш бараков и потекло, побежало из под серых, осевших сугробов. Весна! Весна...

Вот и пролетела зима незаметно, первая зима на строгаще, первая зима без трюмов. Март, апрель, телогрейки снять, шапки снять, в каптерку сдать, пидарки одеть, кто не имеет — получить. Капитану Шахназарову проверить исполнение. Начальник ИТУ полковник И. И. Нефедов. Кайф!

Сижу возле барака на лавочке, солнышком наслаждаюсь, на жизнь смотрю. На театр абсурда. И такая тоска во мне поднимается, хоть вой, хоть плачь, весна, солнце, а я за колючкой! Ненавижу...

Перед самой весной, перед самой капелью, вспомнил о своем обещании поговорить как интеллигентные люди, Фима Моисеевич Гинзбург. Вспомнил и послал за мною.

В маленькой каптерке, кроме него, сидел еще один зек, с лантухом на рукаве. Оказывается, это сюрприз для меня. Зек-мент был осужден тоже по семидесятой... Посмотрел я на хавку и выпивку, стоящую на столе, посмотрел на антисоветчика-мента и честно сказал Фиме Моисеевичу, что хоть он мент, зав.столовой, но меня от него не мутит. А вот от мусорилы этого, Троцкого сраного... И ушел. Больше меня Фима не приглашал. Ну и хрен с ним. И с его хавкой-коньяком. Мне и так в кайф. Только тоскливо...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не только у меня тоска, не только мне на волю хочется. В зоне побег! Дерзкий, отважный, как все побеги в мире. Зек из пятого отряда, Левченко, срок семь лет за разбой, приглядел, как начальник цеха шинель свою в кабинете вешает и одев халат, по цеху шныряет, за выполнением плана следит. А кабинет ключиком на замочек закрывает. Так здесь зона, не пионерлагерь! Зек кабинет отпер, фуражку-шинель напялил и на вахту, время

удобное подкараулив, только что за зону, в штаб вольный, хозяин прошел с офицерней, Иван Иванович с большими ногами. Зек к вахте, сапогами стучит и во весь голос матерится. Солдат-узбек дверь отпер, зек к окну и орет, мол открывай решку, срочно хозяин нужен, ей срочно, и бумагу показывает. Какую-то. Узбек перепугался, майор на него орет-кричит, и не проверяя пропуска, отпер решетку, проскочил зек, солдат запер да другую отпирает, в таком же порядке остальные и зек на воле оказался. А недалеко остановка автобусная, зек вскочил в автобус, больше его и не видели.

Хватились в полдень, когда настоящий майор на обед хотел идти и за шинелью в кабинет заглянул...

Вот бы и мне, как-нибудь изловчиться и выскочить, да ведь поймают менты, вся страна у них под сапогом, люди все на них стучат. Помню я слова следователя, что большинство наших листовок граждане в КГБ отнесли. Вот быдло!

Кроме этого удачного побега, было еще несколько неудачных. Видимо весна многих будоражит, на свободу зовет, на волю! Воля! Много в этом слове и лихости, и простора, и удалства, и хмельного, в голову бьющего, как крепкое вино! Воля! Волюшка-воля, воля золотая! эх...

Ползли трое петушков внаглую через забор, на что надеялись, неизвестно. Одного в запретке застрелил солдат с вышки, двух других с забора сняли прапора. Это в пром.зоне было, после этого ментов прапора погнали поверх забора восьмиметрового еще сетку-рабицу три метра вверх тянуть. Петушки на забор по веревке залезли, а кидали с цеха пластмасс. Вербку с крюком железным...

То солдаты с обходом по запретке шли и двухметровым штырем землю тыкали. Тут один солдат и провалился. Подкоп! Из цеха рыли, из механического. Кто — не нашли.

А то менты спалили, сдали с потрохами куму, жулика Ворону и петуха Сидорку... Они по воле земляки и на пару рыли подкоп из-под шкафчика для переодевания. А землю выбрасывали за цех, на этом и спалились. Вот обоим и дали ПКТ, по шесть месяцев и в одну хату посадили. Чтoб нескучно было.

Лежу на шконке, не радуется ни весна, ни солнце. Где же ты, воля?! Где же ты? Скоро будет, как я два года в неволе, в плену, в казематах, а впереди еще четыре, ой, мама, караул!

То прапору по рылу дали в сборочном, то в гальванике петух старый, Соринка, отвертку в жопу воткнул начальнику цеха, то жулик Клим прапора с роты погонял, то солдат в зону ввели, шмон по графику делать, солдат один у Консервбанки водку нашел, а тот солдату бутылкой по голове, то жулик жулика на нож, семьянина, кента своего, да на смерть. И ни за что... Тоска! Тоска в зоне, весна на воле, а воли нету! Украл волю менты, украл гады! Вот и загуляла братва, нервы на пределе... А тут комиссия из управы приехала посмотреть, как зеки, рабы их, пашут. Жулик

Кирилл выпил с горя, весна, сроку десять, взял молоток и подполковнику из управы, хлесь по фуражке! А фуражка-то на голове... Умчался подполковник на вахту, еле-еле следом за ним поспевала комиссия. Кириллу срок добавили, пять лет и на крытую, на три года... Тоска!

Пошел я на хоз.двор. В куче строительного мусора нашел дрын деревянный, подходящий, с полметра длиной, в руку толщиной. Нашел, в барак принес, под матрац положил и на всех стал волком смотреть. Уж очень я устал и от рож, множества да неприятных, и от весны без воли. Уж очень устал от мельтешения зеков, от месива людского, от тупости и серости, от неволи устал! От неволи!

Честно скажу, жулье да блатных я трогать не собирался, мне еще четыре года, один месяц и два дня сидеть, я жить хочу, а у жулья просто, чуть что — на нож. Правда, несмотря на резню, беспредела не было, ни одного мужика за зиму, ни одного зека ни за что не порезали, не убили, не побили. Всегда была причина. Конечно, если захотеть, можно и до столба докопаться, но в тех случаях, когда я знал что почем, беспредела не было. Но если я дубьем блатного трону, то могут и на нож, запросто. Но и без блатных мрази хватает, есть на ком злобу сорвать да за счет него в трюм сесть, отдохнуть. Смотрел я волком, смотрел и досмотрелся.

Завхоз видимо посчитал, что плата сеткой кончилась, не вечно же за одну сетку можно не ходить в наряды. И подойдя к моей шконке, ударил по ней и рывкнул:

— В наряд на кухню сегодня идешь. После ужина.

Рывкнул и пошел другим рывкать. Если бы он был поумней или физиономистом, он бы совсем ко мне не подходил бы, обошел бы за пять метров. Проводил я угрюмым взглядом завхоза, дождался, когда он из барака выйдет, к себе в каптерку пойдет. Дождался, слез со шконки и дубину достал. Кто увидел, ничего не сказал, ну идет и идет себе зек с дубиной, никого не трогает, ну и пусть себе идет, вон у него рыло какое, нехорошее, может плохо человеку, может у него душа болит... Зашел я в каптерку, руку с дубьем за спиной держу.

— Чего тебе? — высокомерно завхоз спрашивает. Ну, блядь!..

Взмахнул я дубиной, завхоз взвился со своего места и как попугай в клетке, биться об стены начал, тесно ему, толстому, в углу. Вдарил я раз по чайнику, вскользь вышло, руки подставляет и бьется, вдарил второй, по-лучше вышло! Видят завхоз — смерть пришла, очкастая, ломанулся прямо и сшиб меня с ног. Выскочил в коридор и с ревом умчался в штаб.

Встал я, дубину брать не стал и пошел в трюм собираться, да, наверно, молотки. Не простит мне кум, Анатолий Иванович, мразь, мразь, головы завхоза, ой, не простит.

А братва в бараке негромко обсуждает, хоть и гуляет топор по зоне и драки обычное дело, резня да избиения, но я-то спокойно зиму жил, вот и непонятно зекам — че так, не взбесился ли. Но ко мне никто с распро-

сами не суется, Кожима, тот вообще сделал вид, что ничего не произошло. Ну вдарил зек завхоза по чайнику, значит надо было. Что толочь, переливать из пустого в порожнее. Понятие беспредел не распространяется на ментов, их любой может долбить, когда посчитает нужным...

Вижу в окно прапор идет и прямиком к нам, в девятый отряд. Заходит и мою фамилию кричит. Отозвался я, не прятаться же. Идем в штаб, прапор что-то дожевывает и меня пытается, что такое?

Поведал я ему, мол, завхоз меня оскорбил, вот я и обиделся. Прапор на полном серьезе советует, на будущее, что, мол, надо было кентов поставить, дверь держать, а самому получить с завхоза! Ну и чудеса! Прапор мне говорит, мол, все блатные так делают. Да знаю я, но чтобы прапор советовал... Ну и дела!..

Приходим в штаб, в ДПНК, завхоз бумагу пишет, как я его бил дубьем, ДПНК вредный, который нас встречал, майор Москаленко, кричит:

— Ты что? Ты что? — и гневно усы раздувает. Я в ответ бойко:

— Гражданин начальник, посудите сами — он меня оскорбил!..

— Я! — взвился завхоз с шишками на голове.

— Да я сидел в каптерке и не одним словом к нему не касался!..

— Посудите сами, гражданин начальник, — гну свое:

— Сидите вы здесь, в ДПНК, прихожу я и бью вас дубьем по голове...

— Меня?! — ДПНК ошизел от такой наглости.

— Вот и я говорю, что я вас буду бить, вы мне ничего плохого еще не сделали, так и его, если б он меня не оскорбил — я б его никогда не вдарил бы в чайник пустой...

— В трюм! — орет-надрывается Москаль, вытаращив глаза на мою дерзость и скрытую, но плохо угрозу.

Иду в трюм. Что и требовалось. Рож там будет не сто, как в бараке, не тысяча, как в зоне, а поменьше.

Посадили меня в блатную хату. Пятым. И отсидел я там пятнашку. От трюмов на общаке здешние трюмы не сильно отличаются. Вроде все тоже: темно, сыро, грязно, тесно, прохладно. Только кормят, хоть и через день, но как на убой. Бойтся трюмный шнырь, что оттрахать могут, как с его предшественником поступили. Но главное отличие — цифиру море, без краев, трава часто, колеса закатываются, конфеты — и шоколадные, и попроще — килограммами! Несут в трюм и прапора, и ДПНК, и даже кумовья-оперативники, подкумки по фене, все тащат в трюм, все хотят денег, а в ПКТ бабок хрустящих валом!

Во всех бараках зоны жулики авторитетные, бараки держащие, собирают грев-общак, на трюм. Сигареты, сладкое, чай, деньги, наркоту... Собрал, платят или ДПНК, который в этот день дежурит или прапору, старшему по трюму. Такса твердая — сто рублей. Ну а если присвоят... Братва поведала, что три года назад был случай, прапор один, из грева взял себе половину денег. Через месяц шел с обходом по ночной зоне,

вместе с другим прапором, в паре положняк им по зоне тусоваться, и из темноты, со свистом, прилетел электрод... С одной стороны шишка из гудрона для веса, с другой заточенный. Почти насквозь прапора пробил, электрод тот, помер на кресте прапор, даже не дождался машины скорой помощи... С тех пор передают все в исправности. Одним словом, хоть и трюм, но жить можно. Досидел, романы потискал — и в зону.

А там закрутилось-завертелось, главное распечатать, следом само пойдет. Дней через пяток после выхода, я с мужичком подрался, в третьем отряде. Он на меня не так посмотрел. Отсидел десять. Выскочил, помылся, пожрал чуток — и по новой. Шнырю отрядному, в столовой, миску с баландой на голову одел — жидкая баланда, не вина в том шныря, но он рычать вздумал, черт, мол не блатной, хлебай такую, ну, тварь, ну, мразь!

Дали пятнадцать. В трюме я вновь с Шурыгой столкнулся, тесен мир в зоне. Сначала ничего, все нормально было, первые дни сидели спокойно, и ведь, когда в зону пришел, сразу за Шурыгу Пашу подузнал, подспросил, что, мол, это за чудо такое, Паша? Вот и рассказали мне простую зековскую историю. Шурыга прежним сроком на семерке сидел, здесь же, в Омске, был блатным и проиграл немного денег. И не отдал в оговоренные сроки. Поступил не по-дворянски. Резать-трахать не стали, подождали немного, Паша напрягся и вернул долг чести. Но... но сроки прошли! И стал Шурыга фуфлыжником, фуфло двинул. Из блатных, из дворян, конечно выгнали. Вот Шурыга этим сроком и не блатовал, жил мужиком, даже работал... На меня, встретив в зоне, пытался шипеть что-то. И когда мне надоело, я ему прямо сказал — мол лихо ты стирай на семерке задвигал, только шум стоял! И Паша отвял и перестал меня замечать.

Так вот, первые дни в трюме было все мирно и нормально. Потом втемяшилось в голову жуликам пол помыть, а чертей в хате нет и жулики на меня глаз положили. Мужик-то я один был в хате. Ну не считая Шурыги. Значит по неписанным лагерным законам, мне и мыть. Хотя будь в хате авторитетный жулик, никогда бы он не стал мужика ломать, черта из него делать. Вместе бы с мужиком и помыл бы, только мужику работы побольше да погрязней. Ведь черт не тот, кто пол моет, а тот, кто оборотки дать не может, кого заставили...

И Шурыга туда же, мол, да, грязновато в хате, Профессор и помоет. Тут я не выдержал и говорю, мол, в хате есть и похуже меня. Мужик — это ведь не оскорбительное звание, а есть в хате и фуфлыжник. Шурыга сник, а блатные взвились:

— Ты че буровишь, Профессор?

Рассказал, что знал и клички назвал, кто в зоне подтвердить может. Поверила братва и — Шурыге:

— Может, правда, Паша, пол помоешь, звание у тебя подходящее?

Шурыга на меня волком смотрит, а им так отвечает:

— Я биться буду.

Не трус Шурыга, но и не дурак. С четырьмя биться стал, но стоя спиной к двери. На шум прапор прилетел, ДПНК. Хату раскопали — что за шум, а драки кет? А драка налицо, на рылах у всех пятерых. Пашу к куму Ямбаторову, на исповедь. Мы ждать стали, не до пола. Тут и возмездие грянуло, жуликов в хаты разные раскидали, меня в одиночку. Там я и отдохнул. По-настоящему. Всей душой.

Тихо. Никого нет. Только я и мои мысли. Там я и начал впервые, самостоятельно писать, не составляя из других книг, романы, там я и начал впервые сюжеты придумывать. И разрабатывать сюжетные линии, монологи и диалоги, описания различные, канвы вести, лежу и пишу. В голове. Потому что не при проклятом царизме сижу, при власти советской, народной. Не полагается в ШИЗО ни бумаги, ни ручки, ни карандаша. Ни тем более чернильниц из белого хлеба с молоком. Там, в первой моей одиночке, на строгаче, и родилась идея написания этой книги. В темной, сырой, узкой камере, с пристегнутыми к стене нарами, маленьким столом, из стены торчащим, а ниже другой торчит, табурет, по-видимому. В углу параша и кран. Лампа тусклая, в нише над дверью, напротив окно с двумя решетками и сеткой-рабицей. Под окном, в метре от пола, труба — батарея. И все. Хожу, думаю, пишу. И посторонние мысли тоже голову посещают.

Шурыгу я подкусил лихо; информация — главное в зоне, вон Консервбанка повздорил с одним жуликом молодым, тот к власти рвался, в шестом отряде... Узнал Консервбанка про него если не все, то многое, и такую комбинацию прокрутил, что вся зона охнула... Помирился с врагом, поручил ему в виде доверия грев на трюм собирать, купил у одного мужика халвы из посылки и через своего шустряка подбросил в общак, а такие вещи через весы принимают, пошли в хлеборезку, взвесили. А Консервбанка слушок пустил, что, мол, ожидается на днях завоз халвы в ларек, и шныря с ларька подкупил, чтоб такое же базарил. А жулик тот, Серый, халву любил до помрачения... И не удержался, смолотил с чайком, ведь завтра привезут в ларек-магазин, отоварюсь и положу... Не привезли, Консервбанка с жуликами пришел и говорит: давай грев, передаем на трюм... А халвы-то нет... оттрахали жулика, не лезь на трон, не претендуй...

В двенадцатом отряде Граф проиграл двенадцать косых, двенадцать тысяч... что делать, стреляться надо, раз отдать не можешь, а не из чего... Граф придумал, за пятьдесят рублей договорился с прапором, что он у него якобы отнимет, отшмонает деньги и заберет себе... бред, ну, Граф, фантазер, ведь за такую сумму убить могут, прямо в зоне... Прапор не дурак, полтинник взял и к жуликам двенадцатого отряда пошел и за пятьдесят рублей (дополнительных) сдал Графа и его придумку... Граф к куму, кум бумагу на сотрудничество, Граф — упираться, остатки чести взбунтовались, дворянина — и в доносики, кум Графа в трюм да в блатную хату!.. Одним петухом больше... Ай да прапор, ай да молодец!.. Пришел этапом петушок, золотой гребешок, глаза огромные голубые, сам маленький и пухлый, Денисов, Де-

ниска, петушок с воли, вся зона на рога и мечтает, чтоб распределил хозяин Дениску в его отряд, а Консервбанка пошел к нарядчику, дал пять рублей и поехал Дениска в шестой отряд — по производственной необходимости... Ахнула зона, ахнула и руками развела... Ломанулись жулики и блатные в шестой отряд, может и им немного перепадет, но... Но Дениска уже одетый с щегольством зоновским, нос кверху, важный такой и счастливый, конфеты шоколадные жрет и глазами поводит, поздравили жулики Консервбанку с законным браком и стали ждать, когда Консервбанка прогонит его от себя, и дождались, через два месяца Дениска изменил Консервбанке с молодым жуликом из третьего отряда... Не за плату, все у него было, все ему Консервбанка давал, а из любви... узнал Консервбанка про измену, дал побоку Дениске и прогнал ветреника от себя... Тут уж вся зона в очередь выстроилась, наперебой стали Дениску посулами заманивать, авансами одаривать... Что-то обед запаздывает... Сегодня день летный, сию, жду баланды да каши, сию в одиночке, но и меня братва греет, свой я, свой, от народа...

...Топчусь у двери, разглядываю решку, ишь сколько нагородили в ШИЗО, решка, потом дверь, тоже железная, электрозамок на ней... Кормушка распаивается, рука с обшлагом мундира бросает в камеру приличных размеров пакет, кормушка захлопывается, прапор дальше идет... Кричу в коридор, в сторону поворота, там за углом ПКТ, на другом коридоре.

— Братки, девятка, девятка, передай «благодарю» с тройки!

— Это ты, Профессор?

— Я, собственной персоной!

— Все один чалишься?..

— Один, Кузьма, как перст!

Кричит девятка (это номер камеры) в сторону ПКТ, у них двери прямо около угла расположены.

— БУР, БУР, братва, тройка благодарит!

А затем мне ответ, хотя я и сам его расслышал:

— Не за что, пусть поправляется, встретимся — роман тиснет, своим мы всегда рады помочь.

Шум, крик, кипез, переговоры, расспросы...

Так отсидел я пятнашку в одиночке, добавили мне за Шурыгу, выскотил в зону, а тут такое началось, такие события повалили! Голова кругом!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

День, когда появился новый начальник колонии, я запомнил на всю жизнь. И, наверно, не только я. Такое забыть невозможно. И дело не в дате, дату я как раз не помню, где-то в начале мая 1980 года. Но сам день отпечатался навечно в голове.

Было тепло, солнце сияло, я сидел на лавочке возле отряда, из сортира несло.

На плацу, на котором тусовались, сновали, стояли сотни две-три зеков, неторопливо прошел какой-то незнакомый офицер. Невысокий, ничем не примечательный, он пересек плац наискосок, от ворот к штабу, и остановился около зеков, сидящих возле подъезда третьего и четвертого отрядов. Что он говорил, мне было не слышно, расстояние метров двести, но когда офицер скрылся за дверями штаба, буквально через секунду оттуда вылетели ДПНК и прапора и уволокли зеков в штаб. Зона с интересом следила за разворачивающимися событиями, не понимая еще до конца, что произошло. Через час загремело:

— Зона, построение! Зона, построение! Старшим дневальным вывести отряды на плац для построения! Начальникам отрядов, прапорщикам и всем офицерам обеспечить общее построение зоны!

Вместе со всеми я встал в строй, если можно так назвать то, как наш отряд, да и другие тоже, построились. Зав. клуба вынес микрофон на штативе, шнур протянули в ДПНК. Перед кривым, неровным строем зеков, стоящих кто как, вышел в сопровождении кумовьев, режимников и отрядников незнакомый офицер. Невысокий, среднего телосложения, но спортивен, с хорошей офицерской выправкой — прямые плечи, выставленная вперед грудь. Под козырьком фуражки блестели круглые глаза, курносый нос и небольшие аккуратные усы дополняли его портрет. Офицер был майор. Широко расставив ноги, обутые в блестящие сапоги и засунув руки за ремень, сильно стягивающий китель, майор выставил вперед упрямый подбородок и загремел через репродуктор:

— Я новый начальник колонии майор Тюленев Юрий Васильевич. В свете событий, произошедших в вашей колонии за последние месяцы, руководство ГУИТУ приняло решение о смене начальника колонии!

По рядам зеков зашумело — ни хрена себе, не с управы прислали, из Москвы... Но шум перекрыл голос, казалось он вдальблывает прямо в мозги.

— Прежний отправлен на пенсию. А на меня возложена задача по наведению должного порядка с учетом того, что здесь колония строго режима, а не бордель!! С сегодняшнего дня передвижение в колонии только строем! В баню, столовую, клуб только строем! Как положено на строгом режиме! Сейчас проведем репетицию! Первый отряд! Вперед, шагом марш!!

Вся зона, включая и самого начальника колонии, упала от смеха, глядя как толстые повара, старые деды-посудомой и столотеры, каптерщики, банщики, парикмахеры, одним словом вся хоз. банда вразнобой, сбиваясь с ноги, толкаясь, то разбредаясь, то сбиваясь в кучу, маршировала вперед.

— Ладно! — отирая слезы, смиростивился новый хозяин.

— На первый раз пойдет! Второй отряд! шагом марш!

Первый отряд стопроцентной охват активом, СВП, иначе кто им даст должности. Но во втором активистов-ментов от силы человек двад-

цать, вот они и вышли из строя и попробовали маршировать. Майор Тюленев выкатил глаза:

— Оставшиеся в строю! Кругом! Шагом марш в ШИЗО!

И весь отряд, почти в полном составе, отправился в трюм.

Хозяин заорал по-новой:

— Третий отряд! Вперед шагом марш!

В третьем отряде ментов было человек семь... Вот они и вышли из строя. Тюленев воспринял это как вызов:

— Все оставшиеся кругом! В ШИЗО шагом марш!! Я вас научу ходить строем!!!

А из ДПНК, из штаба, уже бежит майор Парамонов, ДПНК:

— Товарищ начальник колонии! Трюм переполнен, зечню девать некуда!

Взбесившийся хозяин напустился на ДПНК:

— Где головной убор, что за вид, почему ремень на яйцах, сапоги не чищены?! Почему на жаргоне говорите?! Вы офицер или осужденный?! Равняйся! Смирно! Кругом! В ДПНК шагом марш! Раз-два, раз-два! Ногу, ногу, носочек! Раз-два, раз-два!

Начались черные дни. Полные ужаса. В трюм сажали за все: не брит, сапоги не чищены, бирка коряво написана, вышел на улицу в неположенном виде (растегнутый или без пидарки), не встал и не снял пидарку, приветствуя офицера или прапора. Чай можно варить только в комнате для варки чая и пить тоже только там. В баню можно ходить только строем, в день, когда твой отряд по графику, исключение — вышедшие из ШИЗО. За плиточный чай — трюм. За водку и наркотики — ПКТ. За драки — трюм. И молотки, молотки, молотки... Прапора стали все ходить с дубинками и баллончиками со слезоточивым газом. Спасибо, хоть не с нервно-паралитическим... Оперативники принимали стукачей круглосуточно. Ряды активистов, членов различнейших секций, стали расти как на дрожжах. За хождение без цели по зоне, по плацу — трюм! Всех безработных стали выгонять в пром. зону и запирать в старую столовую под замок. Нет работы — так сидите! В жилой зоне за лежание на шконке в одежде, после команды «Подъем» — трюм... И молотки, молотки, молотки... Прапора с дубинками, режимники с дубинками, подкумки с дубинками... Один кум Ямбаторов да еще начальник колонии, взбесившийся Тюленев, без дубинок.

Началось грандиозное строительство! Строили новый клуб, новую столовую, три новых барака. Один над одноэтажной санчастью, два других на месте сломанного ПТУ. Два новых цеха сетки (вот и догнали меня сетки поганные) и сборочный пластмассовых изделий. Не зона, а комсомольская стройка. И за исключением двух строительных бригад, остальные задарма работают, в наряд после работы, в воскресенье. За отказ — трюм. Но сначала молотки...

Пролетела неделя после всем памятного выступления хозяина. Я успел сделать у майора Безуглова, нач. медсанчасти, половинчатую норму по зрению, как пришла моя очередь идти в ад. Принимать муки.

Два прапора доставили меня в ДПНК, подбадривая на первый раз только криками:

— Давай, давай, шевелись, нам еще многих притащить надо!

Стою навтыжку перед майором Москалевым, сжимая за спиною пидарку.

— Пол будешь мыть, мразь?

— Нет, гражданин начальник!

Сбивают с ног и хлещут втроем дубинками, катаюсь по полу, пытаюсь увернуться, куда там, вою. Что еще остается.

— Встать!

Встаю еле-еле, спина отнимается, в голове гул, все болит и горит.

— Писать заявление в СВП будешь?

— Пошел в жопу, фашист проклятый!

— Что?

Удары сыпятся друг за другом, летаю из угла в угол, наконец встречаю головой чей-то сапог, вырубаясь. Очнулся от холодной воды, которой меня щедро поливают. Лежу без очков, вижу плохо, да где очки, вдребезги разнесли... Лицо опухло, глаза заплыли, дышать тяжело, все горит, саднит, ноги не чувствуются... У, суки. У, бляди!! Слезы бегут сами собою, от боли, ненависти, бессилия...

— Встать! — гремит над головой. Пытаюсь, но не могу, тело не слушается, все отнимается...

Прапора помогают пинками и дубинками, тащат по коридору штаба. Дверь хозяйского кабинета, меня втаскивают, придерживая, чтоб не упал. ДПНК докладывает:

— Товарищ майор! Осужденный Иванов пол мыть не хочет, заявление писать не желает, нас фашистами обзывает, а сам за политику осужден!

— Фашисты, говоришь? — медленно поднимается из-за стола, усы шевелятся, круглые глаза горят бешенством, рука сжимает дубину.

— На советскую власть руку поднял и здесь не хочешь на путь исправления встать?

Удары сыпятся куда попало, со страшной силой и быстротой, я удостоен высшей чести — меня лупит сам хозяин, валюсь на пол, катаюсь, пытаюсь забиться под стулья, под стол, везде достают дубинки, сапоги хозяина, прапоров, ДПНК... Убить что ли решили, вою, вою, вою! А-а-а-а!!!

— Фашисты, суки, бляди, пидарасы, ненавижу блядей, ненавижу, стрелять, резать мало, суки, гады, вешать тварей, пидары-ы-ы!!! А-а-а-а!!!

Очнулся от страшной боли во всем теле и в спине. А-а-а-а!!! Кричу так, что казалось, лопаются сосуды в голове, жилы на горле рвутся! А-а-а-а!!! Снова теряю сознание, не понимая, что меня так корежит-ломает, по-

чему дышать невозможно, уже крик застрял в глотке, только хриплю а-а-а...

Вторично очнулся от холода, лежал обоссанный, обосранный, истерзанный. Казалось, не было ни одной целой кости, ни одного не вывернутого сустава. Я понял — напоследок закатали в смирительную рубашку, пытаюсь встать, не понимая, где я, жгучая огненная боль, как будто вонзили в позвоночник огненный раскаленный штырь и я ваюсь на пол с воем. А-а-а! Ну, суки, ну, бляди, ненавижу!..

Отсидел я в одиночке тридцать девять суток. И хоть мне самому не верится — не сломался. Честно говорю, останавливало меня от написания заявления в СВП, как от меня требовали, только одно. Ненависть! Ни зоновские расклады, ни страх потерять какое-то уважение, нет! Только ненависть! К этим блядям, к этой власти, к этим тварям... Стать одним из них — лучше удавиться! Или еще лучше задавить кого-нибудь...

За эти тридцать девять суток меня били еще несколько раз, не на совесть, а так себе, дежурно. Но каждый раз от души... Три-четыре раза дубьем по спине так, что чуть глаза не лопаются и ссышься мгновенно, и в хату... Спина отнимается, вздохнуть полной грудью не можешь, только зубами скрипишь и всхлипываешь: бляди, пидарасы, твари, козлы, мрази...

На всю жизнь я запомнил те побои и фамилии фашистов, избивающих меня — майор Тюленев, начальник оперативной части майор Остапенко, офицер оперативной части старший лейтенант Марчук, начальник режимной части капитан Шахназаров, офицеры режимной части лейтенанты Саакаев и Урусов, ДПНК майоры Москаленко и Сидорович... Этих я запомнил особо. Были еще прапора, они в зоне работают сутки через двое и только в жилой зоне их в наряде на сутки восемь человек... Пойди узнай их фамилии, у офицеров хоть кабинеты есть, с табличками на двери, ДПНК вся зона по фамилиям знает, а эта блядва массой осталась в памяти.

Вышел я в изменившуюся, затаившуюся зону. Притихшая, задавленная, но еще не сломленная. Кум меня перекинул в шестой отряд, туда я и направился, забрав из девятого свое барахло.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Собрались жулики гулять. Почти со всей зоны собрались в барак шестого отряда. Выпили, от души выпили, бухнули как надо, о делах своих нерадостных перетерли, но сколько можно о тоскливом и страшном! Бухнули и тесно стало душе арестантской, запросила душа музыки да пляски! Да не чертячей, по принуждению, когда играют да пляшут за чай, а своей, блатной, от всего сердца босяцкого!

Повалили жулики и блатяки в комнату политико-воспитательной работы, сдвинули столы и табуретки, и не обращая внимания на портрет самого гуманного в мире, как дали жару, как дали копоты, аж небесам стало тошно!

Плачет, заливаясь гармошка, то захохочет, то зарыдает, растягивает меха жулик Зима, не жалеет ее. Что гармошку жалеть — жизнь пропадает! Эх... По тюрьмам, зонам, лагерям, трюмам, транзитам, пропадает жизнь поломатая! Поломатая, исковерканная жизнь, сломанная судьба, надломленная собою, ментами, властью поганой!

Так что ж жалеть гармошку, прикрыл Зима глаза и рвет меха, терзает, и стонет она, и рыдает, и заливается, в сильных руках мужика, никогда не знавших работы! Ноги сами ходят и не выдержала братва — эх, жизнь копейка! Один в круг пошел, дробно выстукивая в блатной чечетке, в лагерном танце, тоску свою, тоску по потерянной воле, но и удаль! Второй, третий... Нет, это не танцы на воле, не твист, не танго, не буги-вуги! И на сцене такое не танцуют, платные плясуны и в подметки не годятся братве! В танце том, в чечетке дробной, во взмахах рук, в фигурах сутулых злоеющее видится, языки пламени костра в чаще лесной да заросших бородами до глаз разбойников! Эх, братва, нам бы кистеня, ножи есть у нас! Эх, братва, эх, блатук с вывертом да с подстуком, не подходи, браток — обрежешься!

Разошлась братва — пополам мороз, завтра всех в трюм, под молотки! Завтра Тюлень придет, перо ему в бок, но сегодня наша ночь! Гуляй, братва! Эх...

Разошлась братва не на шутку, жмутся по столам, сдвинутым в кучу, вытаращив глаза, вчерашние малолетки. Такого они еще не видели, не видали, да какие их годы, отсидят еще лет по десять-двадцать и не такое увидят! Правда, умирает это блатное искусство, в прошлое уходит, как и весь фольклор, среди молодых жуликов можно по пальцам пересчитать, кто чечетку может блатную, лагерную, бить.

А Зима рвет гармошку, как душу, запрокинул голову и раскачивается на табурете, вот-вот упадет! И плачет гармонь, и рыдает! Волю братва пропивает! Волю!..

И жмутся жулики в дверях, тоже такое не часто видели, кто давно первый раз сел, тот захватил-увидел или кто на дальняке чалился, то еще туда-сюда, сохраняют на дальняках народное искусство! Ну, а кто по второму разу сидит, да не был в лесу, то и не видел пляски такой, чечетки блатной, удалой да злой! Эх...

Эх, братва, гуляй каторжане, наша ночь, пусть бляди знают, — не давили! Волю пропиваем, ту малую, что в зоне имели, да Тюлень забрал! Затаились ДПНК с прапорами, режимники с операми, хотя уже не один стукач прибежал, мол, пьют жулики и гуляют, пляски устроили после отбоя, непорядок! Не идут прапора с офицерней, жизни свои поганые берегут, боятся, много жулья да блатных собралось в одном месте, пья-

ные они да злые, да при ножах все, биться будут, ни дубинки не помогут, ни баллончики с газом... Притаились, бляди, ждут своего часа.

Хорошо танцуют блятики, ой, хорошо, но и у старого арестанта, ноги сами просятся, сами ходят, в пляску просятся! Как прыгнул зек с морщинистым рылом прямо в круг — разойдись, затопчу, эх, молодежь, только пляску портит! Шарахнулась молодежь, зеки лет сорока с лишним, дали место жизнь повидавшему блятяку — а ну-ка, старый, покажи, как надо! Всклипнула гармошка, пробежал Зима пальцами по кнопкам, проверил — все ли на месте, не растерял ли! И... и зарыдала, вздохнула зарыдала, заголосила, а зек пустил руки колесом, вдарил по голенищам, голову запрокинул, подмигнул левым, правым глазом и пошел, пошел, пошел мелко выстукивать, чечетку выкаблучивать, пятка-носок, пятка-носок! Да все с вывертом, да все с подковыркою, да все с подначкою, то плечом дернет, то руками дробит по груди выбьет, то ногу об ногу — стук! Эх, ахнула братва, ай да, зечара, ай да, старый, ну, хрен, ну, дает! А зек не унимается, то с поклоном да перестуком, да по кругу пройдет, то на месте такую чечетку запустит, да с вывертами, да что им пересказать невозможно!

Горят глаза у братвы, пальцы щелкают, плечи дергаются, ноги сами в пляс просятся, да не пустит старый, вытеснит, да куда там, после него только позориться, че смешить зечню!

Всклипнула гармошка и замолкла. А старый зек напоследок в линию танца похабный жест вплеет — на вам, менты!

Задохотала братва, захопала, эх, хорошо, эх, в кайф, эх, старый, порадовал-повеселил!...

А зек разошелся, куртку сдирает да об пол! Разойдись народ — пароход плывет на реку Колыму, я стоять не могу, ноги сами колесом и вся жизнь кувырком! Ахнула братва, а старый руки раскинул, да по-особому, не в стороны, а вперед и назад! Колымская — с побегом!.. Засмеялись зеки, зарыдала гармошка, заплакала, еще больше закачался Зима, рвет ее, родимую, не жалеет, рвет-терзает... А старый пошел чечетку бить, да такую, да с подстуком, да с вывертом, да с подтягом, да ногу об ногу, да... А руками рассказ ведет — то зеки бегут, то конвой стреляет, то погоня, то олени, то снег, пурга, сосны, холод! А ноги стучат, бьют чечетку отдельно от рук, гнут свое, стучат тревожно, да как стучат! Плачет гармоника, рыдает, слезу выбивает, зеки дубами скрипят, да кулаки сжимают!.. Эх, жизнь поганая, менты продыху не дают, эх, бляди!

Всклипнула гармошка, упал старый на колени и руки раскинув, опрокинулся назад, изогнулся. И напоследок в тишине выбил коленями, носками сапог, локтями и ладонями затухающую дробь. Все.

Минуто стояла братва молча, пытаясь найти те слова, которыми можно оценить увиденное. Нет таких слов у зеков. Вот и взвыли, как обычно:

— Ух, старый, ну, дал, ну, в кайф, ну, в цвет, ну, в натуре! Ладно как! А! Эх, хорошо, эх!..

Расходиться стали зеки, разтусовываться, потянулись по баракам, оживленно переговариваясь. По баракам, по шконкам...

В комнате с портретом шум, крик, кипез, гам, рев, грохот опрокидываемых столов, звон разбитого стекла! Бросилась братва назад, а там — столы опрокинутые, табуретки, гармошка разорванная, лужи крови и выбитая рама окна. А этаж второй.

Разбежались зеки по бараку, по шконкам — и затаились. Только базар и летит:

- Зиму порезали...
- Две дырки...
- Кумовский, говорят...
- Убег в штаб...
- Консервбанку расколол...
- Бить будут!..

Прибежал осмелевший ДПНК с прапорами, утащил Консервбанку с семьяниками в трюм.

Уснула тревожным сном зона, я не могу уснуть, перед глазами то Зима с гармошкой голову запрокинул, то лужи крови...

У, жизнь поганая!

— Зона! Подъем! Зона! Подъем! Выйти всем на физзарядку!

Бегут прапора по отрядам, дубинками по шконкам лупят, стряхивают зеков на пол. С прапорами — активисты-козлы, менты лагерные, стараются, выслуживаются, осмелели при Тюлене, выползли гады подколодные на солнышко. Много среди новых активистов бывших блатных, бывших жуликов, ой, много! Поломались они или раньше рядились, какая разница. Рычат, шконки трясут, прапорам помогают:

— Выходи на зарядку, черти, выходи на зарядку, тварье!

Вцепился в горло менту-сэвэпэшнику блатяк один, Блудня, не потерпел заругивания:

— Сам ты черт, сука ментовская!

Уволокли Блудню, подбадривая дубинками, уволокли прапора. К Тюленю на расправу. Ой, держись, блатяк!

После физзарядки в барак — шконки заправлять. Лежать нельзя — нарушение режима содержания. Террор!

— Выходи строиться на завтрак! — орет завхоз во все горло.

Выходим, строимся, идем.

— Что за стадо?! — орет в репродуктор ДПНК.

— Вернулись к отряду, выстроились по пятеркам и снова!

У, сволочи, у, менты, у, фашисты!..

Около дверей столовой режимник Шахназаров и два прапора:

— Что за стадо?! Разобрались по пятеркам! Слева по одному в столовую шагом марш!

Хавка стала погуще и блатную диету убрал Тюлень. Но за все надо платить, за все. И за хавку тоже. Вот и террор в зоне, гнут зону, ломают, ментовскую делают. У, суки!..

Не успели похавать, крик:

— Выходи строиться, че зажрались, ресторан что ли?! Другим тоже надо жрать!

Выходим, строимся, идем. Из ДПНК рев:

— Что за стадо! Вернуться и построиться!

Бляди...

В бараке посидели и на развод. Строем. По пятеркам. На пром.зону.

Плету сетки, благо и опыт есть, и сноровка. Очков только нет, маме написал, вышлет на адрес медсанчасти зоны.

Норму делаю до обеда, затем так сiju, на зеков смотрю, думаю. И так на душе у меня пакостно стало, аж выть хочется. Не выдержал я и пошел, пошел куда глаза глядят, по цеху пошел, сеточному, кругом зеки мешки путают, вон и мент сидит, норму вяжет, бывший блатяк, Сава.

— Че жопу развалил, пройти нельзя? — спрашиваю Саву, наливаясь злобой. А тот ментом стал, а прежнее еще не забыл, вот и взвился:

— Ты за базаром следи!

— Мусорила поганая, пидарша!.. — и по рылу хлесь, хлесь, хлесь! Взвыл Сава и на меня, я его за горло хватъ, тут и зек подскочил, рядом сетки вязал, Булан Сашка. Как начали мы в двух блатяка бывшего охаживать, только шум стоит. Видит Сава, на совесть бьем, от души, и никто больше из ментов не заступаетея, понял, что и забить можем, да и ломанулся к двери цеха, на выход. А цех-то заперт! Распоряжение Тюленя. Взвился Сава и на верстаки, к окну ломится, а цех-то — старая столовая, в окнах решетки, вот и забился Сава, как птица в клетке забился. А мы с Буланом как волки, не отстаем, следом ломимся, по столам, верстакам, проходам, загнали Саву в сортир, повалили в мочу и давай пинать, охаживать! За все: и за жизнь поганую, и за Тюленя, и за ментов. За все. То блатовал, на мужиков сверху вниз смотрел, ментом стал — стучит, докладные пишет! Ну, сука! Воет Сава, смерть свою чувствует и ничего сделать не может, а зеки еще керосину плескают — трахнуть мусорилу, ткнуть его!

Устали мы с Буланом, притомились, тут прапора пришли с обходом, посмотреть, все ли в порядке или бугор вызвал, черта-мента какого-нибудь послал.

Уволокли нас с Буланом в трюм, влили немного, так себе, а не молотки, и кинули вдвоем в хату. Маленький двойник.

И дали нам по пятнашке, как обычно. На третий день отсидки вызвали нас по очереди к Тюленю, к хозяину на глаза.

Стою посередине кабинета и такая меня ненависть захлестывает, что сам дивлюсь, предстоящих молотков не страшусь, только спина немного заныла, помнит спина рубашку смирительную и дубинки.

Посидел майор Тюленев, покурил, на меня посмотрел и все молча. Затем изрек:

— Позови ДПНК!

— Слушаюсь, гражданин майор!

Пришел ДПНК майор Парамонов. Неплохой мент, незлобный и справедливый, наверно, один такой. Только лютой ненавистью блатных ненавидящий.

— Майор Парамонов прибыл по вашему вызову, товарищ начальник колонии!

— Возьмите этого мерзавца и посадите в одиночку!

— Слушаюсь!

Но на этот раз обошлось без молотков, и что тому причиной, до сих пор не знаю. Сижу в одиночке, думаю, сочиняю и придумываю...

Тихо, тихо, безмолвно... Так и отсидел пятнашку.

А с Буланом мы стали кенты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

За Зиму, так хорошо играющего на гармошке и оказавшегося стукачом, дали Кресту Ярославскому, грузчику, три года тюремного режима, без добавки, три года крытой. А Консервбанка, все организовавший, расколовший Зиму и отдавший приказ Кресту — на ножи! получил шесть месяцев ПКТ. Помещение камерного типа... Каждому свое!

Отсидел Консервбанка два месяца и уехал на областную лагерную больницу, на крест областной... Туберкулез лечить, он у него, видите ли, резко обострился. И повезли... Решил Консервбанка отдохнуть от трюмов, молотков, Тюленя, террора. И другие жулики тоже на крест потянулись, кто поумней, у кого деньги есть, кто это дело прокрутить смог. Там спокойней. А мы остались...

В трюме совсем караул стал. Тюлень двух зеков к себе приблизил, шнырями в трюм назначил. Слива и Фома. Так эти бляди кислород совсем перекрыли, на трюм ни крупинки махры, ни чайники не проскакивает, прапора их боятся — они и за прапорами следят. А что эти твари с хавкой делать стали — рассказать невозможно. Хлеба стали давать меньше, чем положено, треть полбулки восемьсот граммовой. На день! Баланда обезжиренная, специально для трюма на кухне варят, так мало им, они его еще через наволочку и крупу в парашу! А в воду четвертинки зеленых помидор, по количеству сидящих в трюме. Каждому зеку по одной четвертинке. Социальная справедливость! На пол Тюлень приказал уголок наварить металлический, получилось квадраты сорок на сорок примерно и высотой пять сантиметров, не лежать, не гулять — фашист и только!

К осени активистов стало восемьдесят с лишним процентов. Кругом козлы — в бане, в парикмахерской, в клубе, в магазине. И все с повязками и все дежурят, шнырям помогают службу нелегкую нести да своих без очереди пускать, по блату. Террор и блат, как на воле.

Я за лето и сентябрь побывал в трюмах семь раз. И по пять, и по десять, и по пятнадцать, и добавляли. Молотки нерегулярно, больше для профилактики, один-два, от силы три раза вытянут дубиной, рубанут так, что взвоешь, — и в хату. А там братва, надоевшие рожи. Я им сразу:

— Братва, сейчас чудить буду!

Братва не против, чуди, тебе получать. Я по двери стучу, песни ору, праторов ругаю. Вызывают они ДПНК, хату расковыряют, меня — в коридор, хлесь дубьем, хлесь другой — и в одиночку. Я слезы ототру, кое-как с дыханием справлюсь, спину разомну и порядок. Я в одиночке, что и нужно.

Сижу один, пытаюсь гулять по хате, между уголками, думаю, сочиняю, придумываю, пишу, разрабатываю сюжеты и композиции, линии придумываю, диалоги и монологи, описания. И все в голове. Только отощал сильно и болеть начал, то одно, то другое.

Вышел из трюма очередного, на дворе слякоть, холод, дождь моросит, мелкий, холодный, противный. Булан тоже в трюме и надолго, дали ему три месяца ПКТ, его в очередной раз хотели блатные побить. Он в социальные игры не играет, не признает за ними ни иерархическую лестницу, ни авторитет силы, на все плюет! У него за спиной бунт на общем, побег, четыре года на свободе провел, сидит за разбойные нападения, сроку дали ему двенадцать лет, из них три крытых. И уже за семь отсиженных лет у него одиннадцать трупов (!). Ну, а просто порезанных — море. И никогда не раскручивают, только ПКТ и вывозят в другую область. Во-первых, большинство зарезанных блатные и грузчики, во-вторых, они всегда нападающая сторона, а он потерпевший. И всегда три, пять, семь человек на одного! Ну и еще, если крутить-раскручивать, то на суде встанут неприятные вопросы: где была администрация, прапора, кумовья, режимники, во время совершения преступления? Почему оперчасть не разоблачила подготовку и так далее. Проще дать ПКТ. Так и в этот раз. Его хотели побить впятером, а он их на ножи, два в разных руках, приличных размеров, и только резвые ноги спасли блатяков от неминуемой смерти.

Нет Булана, никто меня с трюма не встречает, никто чайком не угощает. В отряде ни одного блатяка, ни одного грузчика. Кто в трюме, кто в ПКТ, кто на крытой, кто на кресте областном, кто в ментах. Последних большинство.

Поухавал я хлеба с водичкой, горло болит, попил водички и спать завалился. Утром встаю, под рев репродуктора, а говорить не могу, один хрип стоит. И горло так болит, слюну глотать больно. Пошел на крест, к Безуглову, лепиле, а он, скотина:

— Теплым пополоскай и пройдет!

И шнырь меня под руки и в двери. Гуляй!

Три дня я гулял, все хуже и хуже, уже пить не могу, а когда жрал — так уже и забыл.

Прихожу снова на крест. И на счастье мое, в коридоре незнакомый капитан встретился.

— Вы почему такой бледный?

Хриплю в ответ и руками показываю, где мне плохо. Он меня в кабинет, в кресло усадил и рот пытается разжать ложечкой. А он, рот, не открывается уже... Кое как разжал и сам белый стал. Видно, непривычный еще или жалостливый больно.

— Немедленно ДПНК сюда! — орет на шныря. Прибежал ДПНК, капитан-то из управы оказался, инспектировал Безуглова, так он на ДПНК в крик:

— Он сейчас помрет! У него гнойный абсцесс, вы у меня отвечать будете!

Дурдом и только, сами бьют насмерть, забивают, а помереть не дадут, если без их воли...

На вольной «скорой помощи», под вой сирены, в наручниках и с двумя автоматчиками доставили меня на крест областной. Доставили в операционную, лепила железяку в горло сунул, еле-еле рот раскрыв, дернул и пошел гной. Я склонился над раковиной, а из меня так и хлещет! Помазал хирург йодом и в палату. На диету. После воды с помидорами... Я и усрлся. Так они меня сразу в инфекционное, думали, дизентерия.

Пролежал я на кресте областном аж целый месяц. Но мало. Тут и зиму встретил, первый снег. Отдохнул от Тюленя, молотков, трюмов... Душевно отдохнул.

И назад повезли обычным образом, автозаком, через транзит. Там с сидорами повстречался, похавал разок вольнячьего — и в зону. К майору Тюленеву Юрию Васильевичу. И к прочим фашистам поганым, ге-стаповцам. На исправление.

В зоне много новых рыл, много новых морд и совсем немного новых лиц. Совсем немного.

Знаменский. Бывший референт группы социологов-экономистов ЦК КПСС. Ни хрена себе! В 1965, когда пришел к власти Л. И. Брежнев, написал Знаменский заявление об уходе по собственному желанию. Представляете себе! С места, от кормушки, куда миллионы мечтают попасть! Так его сильная Советская власть сначала в дурдом. Полечиться, не псих ли, такое учудить! Затем на него на улице трое напали и давай бить, но в разгар избиения двое убежали, а третий упал и в крик — бьют, товарищи, убивают! Свидетели набегали, Знаменского под руки, все плечистые да мордастые. И милиция случайно рядом оказалась, тут как тут... Три года лишения свободы за хулиганство, по статье 206, часть вторая. А Знаменский худой, с толстыми очками, невысокого роста, ну такой типичный хулиган.

Освободился, тут его и снова в дурдом, полечиться. Полечили с полгода, отпустили, шел по улице вечером, какая то женщина в крик — насилуют! Свидетели мордастые, милиция, все как обычно... Пять лет по статье 117 через 15, мол, попытка была, хотел, но вовремя остановили. Отсидел, вышел и... правильно, в дурдом. Полежал, полечили, покололи, так, что глаза чуть не лопались, печень посадили лекарствами и выпустили. Гуманизм! Устроился Знаменский работать в кочегарку. Кочегарка на мазуте была, не тяжко. Только чуток освоился на воле, как к нему гости пришли. Вечером пришли менты, положили в шкафчик пистолет и позвали понятых. Мордастых, плечистых... Пистолет нашли во время тщательного обыска, хотя Знаменский неоднократно предлагал им добровольную выдачу, но видать, менты глухие попались, но около шкафчика мент стоял, как бы часовой. Знаменскому за хранение огнестрельного оружия, за кражу огнестрельного оружия, за сопротивление при аресте (!) и попытку ограбления сберкассы (!) дали восемь лет! Уликой в попытке ограбления служил план, выполненный на синьке... План подвала дома, где была расположена котельная. Он на стене висел, в котельной, на нем подпись начальства, но... На первом этаже этого дома, где располагалась котельная, находилась и сберкасса! Достаточно для суда. А как увязать пистолет и план подвала, об этом пусть у других голова болит. На вид Знаменский такой невзрачный, очки с толстеннейшими стеклами, а чего только не натворил, и не подумаешь.

Савченко. Сектант. Руководитель секты евангельских христиан-баптистов. Ну, здесь все просто. Верит в какого-то бога, которого нет, людей с толку сбивает. Отвлекает массы от строительства социалистического рая на земле. Школы организовывал, секту свою не регистрировал, нарушал законодательство о религиозных культах. В третий раз в зоне. И все за веру. Бога нет, а он страдает...

Смирнов. Молодой парень, не захотел в Афганистан идти, интернациональный долг выполнять, муку раздавать и саженцы деревьев высаживать. Уклонение от воинской службы. Три года. В тюрьме кинули в пресхату. Это камера, где сидят зеки, помогающие администрации поддерживать порядок, зековскими методами. И гестаповско-советскими тоже. Там его избили и изнасиловали. А он ночью взял и разбил голову главному в той хате. Разбил бачком из-под чая. Добавили еще три года и на строгаж. Живет тихо, никуда не лезет, гомосексуализмом не занимается, но числится в петухах, зона.

Завойлов. Тоже дезертир. Привезли в армию, в мотопехоту. А там — дедовщина, бьют, унижают, жратву отнимают. Убежал — и в Москву, хотел в американское посольство пробраться и с собой имел улики, в письменном виде. Те улики на суде большую роль сыграли. Список фамилий командиров и номера частей, места дислокации, перепись бесчинств, со списком служащих — военных и вольнонаемных, случаи

использования солдат в своих целях, строительство дач, чистка снега во дворах особняков... Дезертирство, измена Родине, сбор сведений, являющихся секретными. Срок — восемь лет! И хоть ранее не судим — на строгий режим. Но и к лучшему, здесь порядка больше, чем на общаке... Было до Тюленя, жулье да блатяки между собою резались, а сейчас — террор, резни нет, менты гуляют, только шум стоит.

Потапов. Кличка Математик. Этот вообще ни в какие ворота, и смех, и грех! Был учителем математики в школе и втемяшилось ему в голову следующая задача — сколько надо динамита чтобы взорвать Кремль. Просто теоретически. Нашел всю нужную информацию: площадь и масса Кремля, взрывная сила одной единицы динамита и прочее. Получил ответ и на радостях поделился с коллегой по ботанике. Тот его восторг не оценил и поделился с теми с кем следует. И дали Математику 3 года. По статье 206, части второй. За хулиганство. Один мордастый свидетель на суде показал, что гражданин Потапов, находясь в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался и грозил побить. Его. Мордастого. Математик очень удивился и на суде:

— Я? Побить? Да я и ругаться-то не умею... И у меня язва, врачи запретили пить...

Вот и не считай, что не положено, мало тебе «...через одну трубу...»

Климанов. Отказчик. Отказчик от Союза и так далее... Да, есть от-важные люди, взял и написал письмо в Верховный Президиум и копии во все организации, куда следует, куда нужно, если хочешь, чтобы услышали. Приехали к нему на дом санитары из дурдома, он в окно выскочил и в посольство бежать, в американское. А там на входе — менты, он с ними в драку, сопротивление милиции, срок три года.

Остальные — серость. Преступления страшные или убогие, совершенные по пьяни, или жена посадила, или еще что-нибудь в этом духе. Как говорит тюремный фольклор, восемь ходок — и все за помидоры! Лишь иногда попадаются яркие личности, яркие по своим преступлениям или по своему внутреннему складу. Например, Консервбанка. Он уже с креста приехал, хозяин его в ПКТ сунул, досиживать. Но и там он авторитет непререкаемый. На воле — вор-домушник, квартиры обкрадывал, из потомственной семьи преступников. Мог бы зону держать, я думаю, но тогда был бы на виду. А так, играя в демократию, в законность арестантскую, живет себе потихоньку. Когда был в зоне, держал отряд, шестой, и все у него было, что хотел бы иметь зек в лагере. Все у него есть, про всех все знает. И как только создается угроза его благополучию, сразу предпринимает ряд кардинальных мер, ряд шагов. И всегда чужими руками, и всегда с одним и тем же результатом. Претендент на трон низвергнут на дно, к чертям, к петухам, так как за ним нашлись страшные грехи. Консервбанка по-прежнему тих, незаметен, улыбчив. Даже внешне он отличается от блатяков и молодых жуликов. Неприметен, но ярок. Телажка не новая, но

целая, шапчонка кроличья, хоть не положняк, но обшита зековской шапкой... Яркий образец советского осужденного: неприметен, когда создается угроза — переходит в атаку. Не ищите сходства с животным, хищником или насекомым. Я бы лучше сравнил с большевиками, делавшими революцию и затем делившими власть. Впечатляющее зрелище! Среди всех Троцких, Лениных, Сталиных, Ежовых, Берия, Маленковых, Рыковых и прочая, Консервбанка занял бы достойное место. Пока и его бы не сожрали. Потому что коммунисты покруче будут, поопасней, поавторитетней.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На темно-синем небе ярко светила луна и мерцали звезды. В воздухе кружились крупные красивые снежинки. Они мягко падали на землю, устилая ее белым, пушистым ковром. Снег не скрипел под ногами, он был мягок и податлив, мы гуляли под темно-синим небом, освещаемые луной и звездами, гуляли и беседовали...

— Почему его никто не видел?

— Почему никто? Видели. Просто он облик принимает видимый, когда хочет какое-нибудь знамение человеку дать. И видеть его может не каждый, а лишь чистый душою и сердцем, любящий его и людей, верящий в него, во спасение, искренне, чисто, всем сердцем, как верят дети... Вы — мои чада, так он сказал.

— А почему тогда есть войны, смерти, ужасы, террор, убийства, издевательства, насилия? Почему? Почему он это терпит?

— Потому что творится это по прихоти самих людей и заставить их не творить этого он не хочет, так как это будет насилие, а он против насилия. Люди сами должны проникнуться мыслью об ужасах, творимых ими и со страхом за душу свою, отвергнуть их и обратить сердца свои к любви, к ненасилию, к нему.

— А что нужно сделать, чтобы помочь людям в этом?

— Ничего. Это тоже будет насилие. Только личным примером, только личным смирением и любовью можно показать людям, что есть другой путь, другая жизнь... Начни с себя. Ты знаешь какую-нибудь молитву?

— Да, «Отче наш».

— Начни сегодня. Прочитай ее перед сном, накройся одеялом, не надо напоказ, сокровенное надо прятать. Прочитай и все. Не нужно больше ничего... И тебе будет дано знамение. Какое — не знаю. Но обязательно будет! Вот увидишь! Я же вижу — сердце твое открыто, оно устало от ненависти, да и жизнь твоя раньше, до тюрьмы, была близка к нему. Помолись искренне и увидишь...

— Зона! Отбой! Зона! Отбой! — прерывает нашу беседу надоевший репродуктор, рев из ДПНК и мы, попрощавшись, отправляемся спать по своим баракам. Я — в шестой, Савченко — в двенадцатый.

Я залез на шконку, накрылся одеялом и, вкладывая всю душу, зашептал:

— Отче наш, — слезы навернулись на глаза, к горлу подступил ком.

— Еже еси на небеси, — слезы побежали ручьем, на душе стало спокойно-спокойно и легко, как будто с нее свалился камень и все, зона, Тюленев, террор, ушли в никуда. Я продолжил:

— Да крепится имя твое, да приидет царствие твое...

Заснул я так легко и безмятежно, как уже давно не засыпал.

Мне снилась воля... Горы Киргизии, усыпанные маками, яркими, красными, огромными, синее-синее озеро, кусты конопли выше головы. Ярко зеленые, с тяжелыми склоняющимися головками, налитыми сладостным дурманом — кайфом. Светило яркое-яркое солнце, на ярко-голубом небе не было ни единого облачка, в воздухе пахло пряно, было тепло-тепло, звенели какие-то насекомые, кружились яркие-яркие бабочки, заливались в трелях какие-то птицы и красивая девушка, с длинными-длинными волосами, с венком из цветов на голове, в тонкой, короткой, просвечивающей рубашке с вышивкой по вороту, манила меня сквозь листву, манила огромными глубокими глазами и загадочной улыбкой. Я шагнул, раздвигая ветки и потянулся к ней, как что-то ожгло мне спину.

Я, привстав на руку, резко обернулся. В полутьме барака, освещенного одной неяркой лампой, увидел незнакомое мне лицо, оскаленное рыло и занесенную руку с ножом. Рыло охнуло и бросилось по проходу бежать в сторону выхода. Я почувствовал, как спину заливают что-то горячее. Потрогал. Липко. Больно, но не сильно. Просто жжет. Поднеся руку к самым глазам, понял — кровь. Меня порезали... И как сильно, я не знаю.

Осторожно слез со шконки, набросил на плечи телогрейку и, надев очки, направился к выходу. Мне казалось, что из меня хлещет, как из крана, ноги становились все тяжелее и тяжелее, голова почему-то гудела и в ней что-то стучало. Спина отнималась, казалось, у меня есть все: ноги, руки, голова, живот, а спины нет, я ее не чувствовал. Я шел долго-долго по темному барaku, по проходу вдоль шконок, где храпели и смотрели зековские сны люди, и виноватые, и не виноватые. Я видел их сны, я видел их мысли, я знал, за что они сидят, я хотел взять их боль, их страдания, их вину. Я шел медленно-медленно, казалось, я иду вечность, этот проход, этот барак, никогда не кончатся и если б не яркая лампочка над дверью, светившая мне маяком, я никогда не дошел бы до двери, до конца барака...

Открыв дверь, вышел в яркий-яркий коридор, такой яркий, что внезапно заболела голова и закружилась, закружилась внезапно, закружилось все вокруг. Я схватился за косяк. Ночной дневальный, пидарас Малуянов, молодой татарчонок с истасканным лицом, подняв голову с

тумбочки, спросил с все больше и больше расширяющимися глазами, не отводя от моего лица взгляда:

— Ты че? Что тебе?.. Ты чего такой, ты че? Ты че?.. — и начал привставать, явно норовя рвать когти от моего странного вида и выражения лица.

— Меня убили, — просто сказал я и стал ждать, когда придет кто-нибудь за моим телом. Я стоял как истукан, как статуя и спокойно созерцал за суетой, возникшей после моих слов.

Вот Малуян сорвал трубку телефона и широко разезает рот, пытается что то кричать. Но у него не получается, он потерял голос и это так смешно, что я даже улыбнулся. Но мысленно... Вот он подбегает ко мне и что-то спрашивает, широко разевая рот. Но ничего не слышно, только разевает рот, широко-широко. Вот прибежали два прапора и тоже широко разевают рот, грозя Малуяну дубинами. Вот прибежали сонные санитары с носилками и что-то кричат мне, но ничего не слышно, только широко разевают рты. Широко-широко, но ничего не слышно. Я вновь улыбнулся. Мысленно.

Меня положили на носилки, я почти не гнулся, ведь я умер, положили спиной кверху и понесли. На лестнице качнули, чуть не уронив и ко мне вернулся слух.

— Ты че, козел, руки из жопы растут!

— Сам ты козел, уронимся — убьется очкарик.

— Вот черт, за че его, интересно?..

— Выживет — узнаем...

В медсанчасти санитары посмотрели на мою рану и начали орать на меня:

— Ну, паскуда, ну, тварь, с такой царапиной и носи его!

— Надо было на лестнице грохнуть его, вниз чайником, сразу бы ожил!

Я лежал молча и не слушал их. Я был жив...

Через три дня меня выписали. Даже не зашивали. Обработали, заклеили пластырем — и как новый. Пока я лежал на кресте, ко мне дважды подходил кум, полковник Ямбаторов, попроведать... Его интересовали мои отношения с зеком, что порезал меня. Я честно сказал:

— Я его не знаю. За что он меня — не знаю. Зла на него не держу, конфликтовать не буду, мстить не буду.

Взяв с меня об этом расписку, Ямбатор удалился. На этом все и закончилось, в принципе. Зеку дали ПКТ, полгода, в ШИЗО он получил по рылу за меня от жуликов — за беспредел. Оказывается, он шел резать не меня, а блатяка Китайца, за что — не знаю. И просто перепутал проход между шконками...

Но меня волновало другое, не это для меня было главным. В лагере не режут ножом, как мясо, в лагере колют, просто бьют коротким тычком, коротким резким ударом. А этот начал меня пилить как сало...

Савченко получил ПКТ за провокацию. С точки зрения ментов. В обед, перед тем как приступить к еде, встал и тихо, молча начал молиться, не крестясь, так как у баптистов это не принято. Прапор, дежуривший в столовой, вызвал дополнительно прапоров и Савченко уволокли в ДПНК. ШИЗО, а следом ПКТ.

К этому времени я прочитал уже всю литературу в библиотеке и в комнате ПВР типа «Библиотечка атеиста», «Научный атеизм в бою», «Адвентисты седьмого дня на службе у империализма». Как раз эта литература и натолкнула меня на мысль, не дававшую мне покоя, толкнула на знакомство с Савченко, на ряд бесед с ним. Когда Савченко посадили в ПКТ, через несколько дней я легко встал в обед, прикрыв глаза и просто сказал:

— Спасибо тебе, господи, за то, что ты есть. Если б тебя не было, было б тяжко. Я люблю тебя.

И сев, начал есть. На душе было спокойно и легко, светло и радостно. Никто из зеков не подал виду, что удивлен моим поведением. А прапор у двери просто охренел, открыв рот, он тупо смотрел на зеков, жующих за столами. В эту минуту я даже его почти любил...

Мне дали пятнадцать суток. Пятнашку. Но без молотков. Хорошо. И сразу посадили в одиночку. Хожу, думаю, сочиняю, пытаюсь разобраться в собственной душе, почему террор вроде как ослаб, может, передыхает, перед всплеском новым?

В последний день трюма меня дернули к куму. Полковник Ямбатов усадил меня на стул рядом со столом и сочувственно глядя на меня, начал говорить о вредных сектантах, не оставляющих своей вредной деятельности и в местах лишения свободы. Я молчал. Кум, устав говорить газетные штампы, спросил мое мнение обо всем этом. Я ответил:

— Десятки, сотни миллионов людей в течение десятилетий верили в бога. А теперь оказывается, они заблуждались?

— Ну неужели ты не понимаешь, это же сказки, ты же молодой парень. Ты был в комсомоле?

— Нет.

— А почему ты не учишься, мразь, мразь, все должны учиться, иметь среднее образование, тогда и не будешь голову всякой ерундой забивать, мразь, мразь! Похлебаешь баланды — дурь пройдет!

Как будто я до этого баланды не хлебал. Добавили мне за уклонение от школы пятнашку. Вдумайтесь в логику маразма — постановление о добавлении карцера за уклонение от занятий в школе, зеку, сидящему в карцере. Абсурд! Как и все, что делают коммунисты.

Только вышел из ШИЗО, как меня перевели. С шестого в тринадцатый. Новый отряд, построенный зеками в свободное от работы время. Добровольно-принудительно, с энтузиазмом прапоров и режимников... Естественно, без оплаты. Потолки зеленые от плесени, по стенам течет вода, конденсат. Зато в рекордные сроки и даром. А жить

все равно зекам. Хоть и почти поверил я в бога, но блядей этих ненавижу! В ад их...

Пришел, устроился, на следующий день перевели Булана Сашку. Тоже из другого отряда. Устроился недалеко, тоже наверху. Предложил ему по-новой хавать вместе. Все веселее, согласился. Так и зажили.

Работа все та же — сетки. Вяжем, травим, никуда не лезем, никого не трогаем. Заболела голова у Булана, скрутило его, пошли на крест, а санитар рычит. У Булана переклинило, бросился он на мента и почти порвал его. Все стенды сбил, — и «Алкоголь — яд», и «Случайные связи — распространитель сифилиса», и «Уничтожайте мух — разносчиков заразы». А напоследок выбил санитаром двери в душевой и вернувшись в барак, стал в трюм собираться... Я ошизел от такой ярости и задумался. Это ж сколько зла в Булане, если за рык такая ярость?

Снова я один, рож много, а лиц почти нет. Начал я в санчасть ходить, с зеками, что очень больны, разговаривать, да помогать чем мог. Правда, недолго я миссионерской деятельностью занимался — дед Воеводин у меня на руках от распада печени помер, Славку Потапова менты в трюме забили. Он полупарализованный был и, чтобы квартиру отнять, на воле, обвинили в изнасиловании. И посадили — за изнасилование в извращенной форме. А он еле-еле ходит, а руки вообще не двигаются. Вот Тюлень его за что-то невзлюбил, давай трюмовать, били-били и забили. Насмерть. Хотя у него уже и так саркома была. Последний трюм получил за то, что зажав гвоздь в зубах, на Безулова, начмедсанчасти напал... Полупарализованный, руки плетью висят, еле-еле ходит. Вот такие удалые в зоне встречаются.

Вообще-то, Тюлень уже восьмерых забил. Вся зона знает. Когда сам, когда подкумки перестараются, когда сердце у закатанного в рубашку смирительную, откажет. Всякое случается в этой жизни поганой, особенно, когда Тюлень с бандой свирепствует. Но все безнаказанно. Власть... Ненавижу...

Полковник Ямбаторов вызывал меня еще дважды. В течение недели и все по религиозному вопросу. Я занял нейтральную позицию: мое отношение к теории Дарвина об эволюции и возникновении жизни на земле — мое личное дело, и если я верю в кого-нибудь, то не куму быть моим духовником. После этого Ямбаторов отстал. А Савченко увезли на другую зону. В моей душе он посеял семена веры...

Пролетело с полмесяца. Сетки, разговоры, неинтересные фильмы, дебильные политинформации, почти поголовное стукачество, одним словом, повседневный быт зека и зоны. Ну еще мелкие радости — сходил отовариться в магазин, поговорил со Знаменским. И творчество... Плету сетки — сочиняю, придумываю, выстраиваю композиции, сюжеты, линии. Иду в строю в столовую — сочиняю диалоги, описания и прочее. Скажу честно, даже взаимоотношения с богом отошли на второй план. И родилось первое детище: небольшая повесть-пародия на советские шпионские романы

и фильмы. Причем сразу на многие. И так выписаны герои, что Знаменский прочитав и посмеявшись, сразу и безошибочно назвал их по именам, хотя они и были изменены. Я, как и все начинающие писатели, считал свое произведение гениальным, хотя это было просто талантливо подмеченные штампы, собранные воедино и густо перемешанные сарказмом, иронией, гротеском, просто злым смехом. Я хохотал и издевался над КГБ и над Союзом нерушимым, и над всем святым, что есть у советских людей.

Забрав у Знаменского свое детище, отдал переписать одному зеку-петуху с одиннадцатого. Этот гомосексуалист Дяба славился издательской деятельностью. Он зарабатывал на жизнь не только и не столько любовью, но и распространением лагерного самиздата. Да, да, в лагерях был самиздат. В основном это были блатные песни, низкопотребные порнографические рассказы, написанные бездарно людьми, ни разу в жизни не испытывшими оргазм, поэмы, написанные на классические темы, например, «Ромео и Джульета», но блатным, уголовным языком:

— Верона, право, лучший город в мире,

Там каждый жлоб живет в отдельнейшей квартире...

Также большую популярность в лагерном самиздате имели подделки под С. Есенина:

— ... И под окном кудрявую рябину,

Отец спилил по пьянке на дрова!..

Ну и конечно, воровские рассказы, где вор удачлив и смел, а менты олухи и душни.

Так что мое произведение выпадало по тематике, общепринятой в лагиздате. И я с тревогой ждал отзывов читателей на юге. Результат превзошел ожидания. Дяба переписал мой труд, двадцать четыре страницы убористого текста, я уничтожил оригинал, чтоб не ссориться с администрацией и...

Повстречав Дябу февральским вечером на плацу, получил полную информацию о судьбе моего произведения, моего детища:

— Я твою повесть затрахался переписывать. Я уже семнадцать раз переписывал ее. Я уже наизусть ее помню! Она мне уже снится — и по страницам, и по действию... Прервав педика-предпринимателя, я поинтересовался:

— А тебе платят?

Дяба мгновенно насторожился:

— А что, ты же подарил ее мне?

— Да, подарил, не ведись, мне не нужна плата, просто интересно, как оценивает читающая публика мой труд.

— По вышаку! Как порнушки — полплиты переписка!

Я шел в барак, переполненный гордости и тщеславия. Моя первая повесть оценена по первому разряду, как порнушки! Что еще надо писателю...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мне снился сон. Фантастический. Мне снился океан, которого я еще ни разу не видел. Огромные волны цвета морской воды, сине-зеленые, зелено-синие, огромные, с белыми шапками пены, набегали на ярко-желтый песок и с шумом обрушивались на него. Затем с шелестом убегали назад, чтобы все повторить сначала. Вдали зеленели пальмы и прочая тропическая зелень, летали разноцветные попугаи и огромные бабочки, большие и ярко-цветные. Светило огромное яркое солнце, небо было голубое-голубое и тоже огромное. Внезапно загредел гром и пошел крупный дождь. Я купался в океане, но не боялся молний, а тем более, грома. Я хохотал, выскакивая на гребень волн, я смеялся солнцу, просвечивающему сквозь фиолетовые тучи, небу, океану. Потом я нырнул, глубоко-глубоко. Вокруг была только тишина, темная вода, я еле-еле видел свои руки, я плыл глубоко, плыл глубже, еще глубже. Уже ничего не стало видно, совсем темно и я вспомнил, что у меня кончился воздух в легких. Я испугался и широко-широко разинул рот и закричал. Громко-громко, как смог. Но в воде голоса не было слышно, только тишина, полная тишина, абсолютная тишина, Я понял, что я умер.

Вокруг меня темная вода Темная вода вокруг меня стала плотной как камень и блестящей, но бархатисто-блестящей, как уголь. Впереди, далеко-далеко, вспыхнул свет, яркий-яркий свет, и я помчался к нему, понимая, что там мое спасение от смерти и избавление от всего, что меня страшит и гнетет. Я мчался все быстрее и быстрее, свет становился ярче, ослепительней, невыносимо ярче. И вдруг он вспыхнул, взорвался ярким светом, как тысяча, нет, десятки тысяч, сотни тысяч солнц одновременно! Свет был просто непередаваемо ярко, до невозможности! И одновременно со светом, осветившим меня насквозь, пронзившим меня, раздался тихий, спокойный голос. Что он сказал, это мое личное дело, мое и хозяина голоса. Смысл был один — возвращайся! И я, полный разочарования, но воодушевленный его словами, сказанными только мне, помчался назад, все далее и далее удаляясь от света. Вот он стал яркой точкой и...

Проснувшись, я с трудом открыл глаза. Веки были набрякшие и тяжелые, глаза почему-то видели плохо и болели, лицо, казалось, опухло и стало в два раза больше. Голова раскалывалась от боли, гудела и ныла, в висках бешено стучало... С трудом осмотревшись, я увидел, что лежу не на шконке, а на носилках, стоящих в коридоре медсанчасти. Видимо, сон продолжается, мелькнуло в голове. Вокруг были зеки-санитары, старший дневальный медсанчасти Деев, ДПНК Парамонов, прапора, еще кто-то. И у всех были испуганные лица, морды, рыла... Они все, почему-то с ужасом смотрели на меня, вглядываясь мне в лицо, как будто что-то в нем искали, выискивали и не могли найти... Видимо, я вынырнул из океана внезапно и напугал их всех. Голова страшно болела, Деев сделал

мне какой-то укол, я его почувствовал так явно, как будто не спал. Затем меня понесли в палату и положили на шконку. Закрыв глаза тяжелыми, набрякшими веками, я провалился в темноту.

Проснувшись утром, с удивлением огляделся. Я лежал в палате креста, а не в бараке, лицо было толстым, как будто не моим, в голове стучало, глаза болели и плохо видели, предметы раздваивались, не было резкости. Очков тоже нигде не было видно. Кое-как собравшись с силами, я отправился в туалет. В коридоре от меня шархнул санитар с испугом на рыле. «Интересно, чем я его так напугал и почему я на кресте?» — подумалось в больной раскалывающейся голове. Зайдя в сортир, я увидел в зеркало огромное, темно-синее лицо-рыло с красными вытаращенными глазами и запекшимися черными губами... Это был не я. Внезапно заболело горло, закружилась голова, ноги подкосились и я грохнулся. В обморок...

Очнулся на шконке в палате. Голова болела меньше, горло тоже не много, но ныли и слезились глаза, я ничего не понимал — неужели это последствия сна?

После обеда все разъяснилось. Оказывается все намного проще, чем я думал. Ночью два прапора, проходя по зоне обходом, услышали зверский крик из тринадцатого отряда. Прибежав туда, увидели, как в культкомнату нырнули двое. Прапора — следом, зажгли свет и под столом обнаружили двух пидаров — Малуяна (его выгнали после случая со мной из ночных дневальных) и Крысу, из седьмого отряда.

Спрашивают их:

— Что за крик?

— Никто не кричал, — в ответ те плетут.

— А вы что здесь делаете? Где ночной дневальный Марусь?

Пидарасы потупились и молчат. Один прапор остался их караулить, другой пошел в барак. Прошел, ничего подозрительного не заметил и вышел. А за спиной страшный крик, зверский, нечеловеческий прямо, полный ужаса. Это зек, спящий рядом со мною, от шума шагов прапора проснулся и мое лицо, оскаленное, в освещении луны, увидел...

Прапор ломанулся на крик, петухи убежали, а я уже не дышу. На горле полотенце мокрое, им меня они и душили. Прапора на телефон, санитары прибежали с носилками — и меня на крест. А я не только не дышу, но и вроде как будто уже остываю... Вот меня и положили в коридоре, все равно помер. Я же полежал и очнулся, напугав их всех до смерти. Минут двадцать, примерно, не дышал.

ДПНК майор Парамонов петухов в трюм да под молотки, Малуян и Крыса в крик. Сразу раскололись. Заплатил им по плите чая (по одной плите чая!) зек Прищеп, старший дневальный, завхоз отряда шесть. Парамонов Прищепу под молотки, тот в крик:

— Я буду только с Ямбаторовым разговаривать!

Утром пришел Ямбатор, Прищепу на этап стали оформлять, до этапа в трюм посадили, на общее положение, а не на баланду шизовскую, петухам — трюм, еще раз молотки и ПКТ. Полгода...

Половину мне сам Ямбатор рассказал, когда расписки брал, что не имею мол к осужденным Малуянову и Казаченко никаких претензий. И конфликтовать не буду.. Я написал, что с петухов возьмешь, животные они, этим все и сказано. За плиту чая человека убивать!

Прищепу вывезли очень скоро. Первым этапом. А меня, когда выписывался с креста, нач.медсанчасти на освидетельствование потянул. Загнул я, а он, майор советской армии, внутренних войск, мне в жопу стал смотреть, не трахнули ли меня, когда душили... Посмотрел и написал дословно следующее: «Потертостей и ссадин в заднепроходном отверстии не имеет, пассивным гомосексуалистом не является.» Да... Написал бы по злобе другое — и все. Или его резать пришлось бы, а за это — расстрел, или жить среди зверей с клеймом петуха... Суки, ненавижу!..

На следующий день после выписки, меня дернули к куму. Сидит, виски потирает, глазки щурит и внимательно в лицо заглядывает:

— Правда санитары болтают, что ты уже не дышал, не дышал, а потом и без укола, и без всего, раз и ожил? — помолчав и поперебивав какие-то бумажки на столе, продолжил:

— Почему это? Я и с майором Безугловым разговаривал, он врач, так он говорит, что это непонятно и с точки зрения науки невозможно... Говорят, ты пятнадцать минут минимум не дышал...

— Не знаю, я был без сознания, откуда я помню?

— Почему это? Как ты ожил?

— Меня спас бог, — пошутил я для атеиста-кума и сказал себе правду.

Через два месяца у этой истории было продолжение. Пришел этапом зек с тройки и среди разных новостей поведал следующее — к ним в зону пришел зек-мусорила и его сразу поставили на пост председателя СВП зоны, сняв прежнего. Фамилия зека Прищепов...

Через неделю после креста я угодил плотно в трюм. Как обычно сдал вечером дневную норму сеток бугру и отошел к верстаку. Два черта, глумливо усмехаясь, спросили меня:

— Это правда, что тебя только душили? Может ты понравился пидарсам?..

Я не кинулся, как они хотели, в драку. Здоровые рыла, с вольных харчей, не нюхавшие трюма, они надеялись на кулаки, на силу. Но здесь не спортзал, здесь зона. Я не спеша вышел из цеха (после случая с блатяком-ментом Савой цех перестали закрывать на замок) под хохот чертей. «Интересно, кто их научил» — мелькнуло и растворилось среди злобы. Бросившись сломя голову в механический цех, я выхватил из кучи обрезков подходящий, сунул его под телажку. Вернувшись, подошел под веселыми, двусмысленными взглядами почти всех зеков, к чертям и, улыбаясь, сказал:

— Вы мне оба нравитесь. Снимайте штаны! — и выхватив железку, начал рубить их по головам, рукам, плечам... Яростно, со злобой. Взвыв, черти ломанулись на выход, обливаясь кровью, я за ними, гнался аж до самой вахты, где уже начался сьем с работы. Зеки мгновенно расступились и черти чуть не затоптали прапоров, пронесаясь на вахту с воем и ревом... Я выбросил железку и пошел сдаваться.

ДПНК Масляк сразу поволок меня к Тюленю. Я понял — молотки будут на совесть, от всей души. Но то, что меня ожидало, превзошло все ожидания...

Сначала меня лупили в кабинете хозяина. Затем прапора в ДПНК, дубинками и сапогами. По-видимому, этого им показалось мало и в трюме все началось по новой. Я катался по полу и уже не мог орать, я устал чувствовать боль, я не могу передать, что со мною случилось. Наверно мой мозг устал воспринимать непрерывные сигналы о боли и, не видя возможности избавиться от раздражителя, просто отключился.

Я полетел в черное-черное небо и вся эта мразь, прапора, подкумки, режимники, ДПНК, шныри, черти, Тюлень, остались далеко-далеко, на грязной земле, полной насилия и страданий. Я летел все быстрее и быстрее, прямо в небо, в космос, в звезды...

Удар всем телом об холодный пол вернул меня в действительность. Все тело ломило и ныло, казалось меня промолотили в мельнице, в огромной мельнице, не было ни одной клетки тела, моего истерзанного тела, которая не кричала о боли. Но мой мозг, я, воспринимали эту боль тупо, как будто чувства притупились, притупилось восприятие... Я с трудом перевел дыхание и сплюнув кровью, огляделся, привстав на дрожащих руках. Камера как камера, большая, в два окна, но без нар. В окнах не было стекол и в камере кружил снег...»Заморозить решили» — подумал я и вновь куда-то провалился. Очнулся от жуткого холода, как показалось, через мгновение, от такого жуткого и страшного холода, что даже боль отступила. Вскочив, бросился на батарею отопления грудью. Холодный метал ожег, как раскаленный...

— Бляди! — я вспомнил, что уже слышал об этой хате — Африканка. Ну, юмористы хреновы, пидары... Бросился на дверь... Устав стучать, понял — не откроют. Значит смерть...

Первый вечер я просто махал руками, приседал до изнеможения и все равно чувствовал, как замерзаю. Истерзанное, избитое, окровавленное тело сдавалось перед холодом... Ничего не помогало! Ни отжимания, ни имитация бокса... Ночь принесла новые муки — страшно хотелось спать. Но кругом бетон и железо, пронизанные ледяным холодом, космическим, неземным...

Я пытался заснуть стоя, прижавшись к двери или батарее, холод обжигал и я не мог, не смотря на страшное желание спать. Глаза за-

крывались сами, мозг бодрствовал и все вместе приносило страшные мучения, несравнимые даже с побоями.

Наконец устав бороться с самим собою, с раздвоением, я несколько раз глубоко-глубоко вздохнул, инстинктивно, непроизвольно. Глубоко-глубоко, до звона в голове и затаив дыхание, совершенно перестал дышать. Абсолютно... Горячая волна долгожданного тепла залила меня, все мое изможденное, избитое тело и я буквально рухнул на ледяной бетонный пол, исчерканный металлическим уголком в клетку. Сделав вздох, я провалился в темноту...

Проснулся самое большее через двадцать минут. От жуткого холода, пронзившего меня насквозь, полностью, заполнившего меня всего. Вскочив, я бросился к параше, страшно хотелось мочиться, но резкая резь в канале скрутила меня... Позыв был, но срать я не мог. Спасаясь от жуткого холода, по привычке начал было махать руками, но уже приобретенный инстинкт, инстинктивный опыт проявил себя. Несколько раз глубоко-глубоко вздохнул, затаил дыхание до звона, меня окатило теплом и я рухнул на бетонный ледяной пол. В куртке и штанах из тонкой, застиранной до дыр, хлопчатобумажной ткани, ситцевых трусах и тапочках на босу ногу, тонкая резина, прилипающая к ногам от холода...

Так и провел первую ночь, самую ужасную в моей жизни. Несколько глубоких вдохов-выдохов, задержка дыхания, долгожданное тепло, падение на ледяной бетонный пол, сон, похожий на обморок, глубочайший, без каких-либо сновидений или тревог, пробуждение от ледяного холода, пронзившего насквозь. И снова полный цикл.

Утро встретил даже выпавшийся и несколько поспевающий. Тело болело меньше, только беспокоило частое мочеиспускание с резью в канале, болезненное, с кровью. Видимо, слегка отбили мочевой пузырь или почки...

Лязгнула кормушка, это были первые звуки, услышанные мною в этой хате, дали кипяток, настоящий обжигающий кипяток и пайку хлеба на день. Я вспомнил, что вчера вообще не кормили, но чувство голода отсутствовало полностью, меня волновал больше я сам. Правильнее сказать, мои новые возможности и ощущения. «Может, я совсем мерзнуть перестану, как пингвин» — пошутил мысленно.

Я пружинисто, легко, гуляю по хате, в которой кружатся снежинки, в окна, сквозь решетки, врывается морозный, бодрящий ветер. Он пронизывает меня насквозь, но я не мерзну.

Мое тело, мой мозг захлестывали огромные волны, то холодные, то раскаленные. И это было необычно, ощущения были странные, непривычные, но приятные. Меня распирало от возбуждения, казалось, если я подпрыгну, то взлечу. Каждая клетка моего тела была переполнена внутренней энергией, неизвестно откуда взявшейся, силы не физической, не физической энергии, а какой-то новой, необычной.

Гуляя по камере, периодически делая непроизвольно глубокие вздохи-вдохи и задержку дыхания, я не заметил, как наступил обед.

Лязгнула кормушка, я получил миску обжигающего кипятка. Миска была обыкновенная, алюминиевая, с выщербинками по краю... Я посмотрел на кипятилок, на струи тонкие прозрачного пара, тающие в морозном воздухе камеры и вылил его в парашу. Он мне был не нужен... Я не мерз! Только лицо стягивало и руки были серо-синего цвета. Цвета отоженной стали...

После обеда я вновь принялся гулять по камере. Сверху бетонного пола Тюлень приказал наварить уголок, металл, он исчиркал весь пол, получились квадраты со сторонами примерно сорок на сорок сантиметров. Я шагал то по пластинам уголка, то, перешагивая через них, видя сквозь стены заснеженную, замороженную насквозь землю, съевшихся от холода людей, уснувшие в снегу сосны, ели, березы... Дома звенели от стужи, казалось воздух разломится на миллиарды кусков, если по нему ударить... Куски разлетятся по вселенной, по галактикам, разнесся на миллиарды миллиардов километров цивилизацию на Земле...

Я видел сквозь стены черные блестящие мысли майора Тюленева, он строил зловещие планы по исправлению не только осужденных, нет он замахивался на большее, ему не давала покоя слава Наполеона, Гитлера, Сталина... Диктатор Тюленев! Статуи, бюсты, портреты, по всей стене осел иней, сложился в узор, напоминает сказочный лес... По всей стране портреты, бюсты, памятники, все офицеры носят усы аля-Тюленев, вся страна ходит строем, все мужчины старше двадцати лет носят усы аля-Тюленев и ходят строем, вся страна — в столовую, в баню, на работу, в клуб... Посередине страны стоит памятник высотой до неба — диктатор Тюленев, широко расставив ноги, грозит дубинкой западу...

Я видел мысли, седенькие, незаметные мысли полковника Ямбаторова, собирающего досье на каждого не только в зоне — осужденного или офицера, ему все равно, но и на каждого человека в стране... Толстое подробное досье, каждый день двадцать-тридцать докладных от стукачей... А на стукачей другие стукачи строчат докладные... Вся страна опутана паутиной, а нити в пухлом кулаке якута Ямбаторова, высоко взлетевшего в своих мечтах...

Я видел мысли каждого осужденного в зоне, в Омске, в стране... Я только плохо видел мысли свободных людей, неотчетливо, неясно, они были туманны, серы, неясны... Непонятно, то ли он жрать хочет, то ли гулять... То ли дело мысли зеков — они кристальные, чисты, точно сформулированы, отлиты в холодные искристые льдины-айсберги... Я хочу жрать! Я хочу спать! Я хочу свободы! Я хочу свободы!!! Я ХОЧУ СВОБОДЫ...

Я гулял по камере, переполненный возбуждения, необычных чувств и открывшихся мне возможностей... Я видел новые цвета, краски, не имеющие названия и определения, я слышал звуки кристально чистые, необычные, в необычной тональности, недоступной мне раньше...

Незаметно наступил вечер, за окном стало сине от сумерек, снежинки кружились надо мною, кипиток я вылил, не задумываясь, в парашу... И продолжал гулять... Я начал изобретать маршруты, я ходил зигзагом, восьмерками, необычными извилистыми траекториями, каждую секунду меня направление... Со стороны это наверно выглядело бессмысленно, но это я наслаждался свободой! Я был свободен!! Свободен!!!

Я подолгу рассматривал свои худые руки, они были красивого цвета — ногти на пальцах стали белоснежны и блестящи, как будто из серебра, пальцы удлинились и были сиренево-фиолетово-стальные... Все жилки, сосуды были таково же цвета, только темнее и выпуклые, резко выделяясь на натянутой коже...

Наступила ночь... Я сделал несколько глубоких вдохов и задержал дыхание... Внезапно подумал, что я настолько свободен, что могу не начать дышать, все в моих силах, в моей воле... Затем я непроизвольно для себя весь сжался и изо всех сил напрягся... Меня поразила такая сила, пронзила такая волна огня, что я испугался — вдруг растаю... Я не упал, как раньше, а спокойно улегся на металл уголка, удобно расположив тело между пластинами, один тапочек подложив под костлявое бедро, другой под плечо и уснул... Напоследок сделав еще раз, лежа, новое упражнение — вдох глубочайший, задержка дыхания, общее, изо всех сил напряжение — и сон...

Мне снились замерзшие цветы. Они висели в темно-синем космосе, фиолетовые, синие, белые... Они были ледяными, они звенели даже от света звезд, падающего на них, они... Проснулся я не от холода, а от мысли, что нужно сделать упражнение... И снова сон...

Но этот раз мне снились замерзшие бабочки — синие, белые, фиолетовые... Они висели в лунном свете и мерцали ледяными крыльями в узоре инея...

...Снова спокойное пробуждение для выполнения упражнения... И снова сон...

На этот раз замерзший океан... Но не лед на поверхности, белый, непрозрачный, нет, нет, волны замерзли, застыли, в своем естестве, как они набегали на берег, так и застыли, переливаясь и искрясь в свете тусклого зимнего солнца... Они были зелено-синие, зелено-синие, и в них, сквозь них, были видны замерзшие рыбы, водоросли, камни... На берегу сидел я, худой-худой, с длинными волосами белоснежного цвета и без одежды, без очков... Я тоже был ледяной...

Проснулся я от жуткого холода... Вскочил, сделал быстро и первое, и второе упражнение, горячая волна залила меня с головы до ног, пронзила насквозь, вернулось с ног до головы, огромное возбуждение захлестнуло меня, я подпрыгнул и повис перед решеткой. За нею встало желто-синее, в морозной дымке, солнце...

Из-за забора, покрытого инеем... Узор инея был необычен и складывался в незнакомый рисунок... Приглядевшись, узнал — это были

волны из моего сна... Замерзшие океанские волны, колючая проволока стала серебристой, в сетке-рабице запутались лучи ушедшей в космос луны... Насмотревшись, я плавно опустился на пол...

Лязгнула, звеня, долго-долго, на высокой ноте кормушка... Дали пайку, я положил ее рядом с несъеденной вчерашней на батарею, баланду вылил в парашу... Я свободен в своих поступках, желаниях, мыслях... Даже бетонные стены в узорах изморози не являются для меня преградой...

Я снова гуляю по камере... Я гуляю и сочиняю роман... О том, как хиппи за листовки попал в зону, на шесть лет...

Обеденную и вечернюю баланду выливаю в парашу... Мне не нужна еда моих врагов! Я выше этого! И выше самой высокой горы в мире! Но не размером, не ростом! Нет! Мыслями, чувствами, возможностями!

Я стоял на огромной-огромной горе, на самой вершине... Из белоснежного льда, вокруг меня бушевали свирепые ледяные ветры и ураганы, из самых глубин космоса они ревели, бушевали, звенели, я же был спокоен и уверен, я даже немного улыбался, чуть-чуть, самую малость, я стоял непоколебимо, ветры меня не касались, даже кожи, ну, самую малость, обдавая кожу легким холодком... Я был гол и красив, я был эталон красоты, идеал, поэтому я и стоял на вершине... Чтобы не только люди Земли, но и из других миров могли меня рассмотреть и понять собственное несовершенство... Волосы мои развевались, как нимб, борода спускалась ниже колен, волосы и борода были белоснежны... Глубокий морщина мудрости взрезывали глыбу моего лба...

...Я проснулся, сделал упражнение и...

Я лежал на огромном, ледяном кресте, раскинув руки... Крест — то кружился, то замедлял свой плавный полет, он искрился и сиял, пускал лучи во все стороны, он удалялся от Земли, кружил в космосе и приближался к яркому, ярчайшему пятну... Оно разгораясь все сильнее и сильнее, казалось, притягивало мой крест...

Утром меня выдернули из хаты перепуганные прапора и ДПНК. Оказывается, в эту хату, по распоряжению Тюленя, можно кидать лишь на сутки... Каждая новая смена прапоров в ШИЗО, приходя на работу, искренне была уверена, что я только что посажен туда, так как я не стучал и не буянил... Ну, а Тюленю не до каждого зека...

Когда пришла смена, что била меня и засунула в эту хату по распоряжению Тюленя и увидев мою фамилию, написанную мелом на двери, ошизела и перепугалась...

Небывалое — меня поили чаем! Прапора сварили, а ДПНК поил. Меня трясло и колотило... Затем перевели в нормальную хату, с батареей и стеклами в окне. Тоже одиночка...

Когда я вышел из тюрма, то братва сказала, что когда я сидел в тепле в ШИЗО, то они мерзли на разводах и съемах. Так как несколько дней было минус 47. По Цельсию...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вот и пролетела очередная зима. Греет солнышко, менты-сэвэпэшники красят все подряд — первый признак весны в зоне. Хорошо на плацу, только зелени нет. Было одно дерево около здания ПТУ, так нет ни этого здания, ни дерева. ПТУ в другом месте расположилось, вместо дерева асфальт...

Третья зима, проведенная мною в неволе. Впереди еще три... Совсем немного осталось... Зеки шутят — первые пятнадцать лет тяжело, а потом привыкаешь.

За трюмами, молотками, работой, незаметно зима пролетела. В зоне так — впереди вроде много, оглянешься, аж дух захватывает, сколько пролетело уже! Сколько лет в неволе...

Скоро двадцать шестое мая. Распечатаю четвертый год. Четвертую паску. В бога я верю крепко, но не христианин я всепрощающий, — вдарили по левой, не забудь правую подставить, — нет! Что-то другое. Что, не знаю, не читал о таком до зоны, может и нет такого, может я единственный и неповторимый последователь собственной религии, сам себе мессия, проповедник и паства... Философия моей религии укладывается в одно изречение: «На любовь отвечай любовью, а за зло по полной мере, по справедливости».

Сегодня приехала в зону машина рентгенустановки. Советская сильная и гуманная власть заботится о своих непутевых детях. О зеках. Вдруг чем-нибудь болеешь, так хоть знать будем, от чего подход. Вдруг поторопиться надо, трюмами или молотками.

Наш отряд идет после обеда. По графику. При Тюлене все стало по графику: баня, хавка, жизнь... Может у меня что-то есть, уж сильно я худой стал и покашливаю. Поеду я на крест областной, отдохну от работы нудной, повседневной, от ментов, стукачей... Отдохну от жизни.

Просветили рентгеном и гуляй. Результаты в санчасть сообщат. Майору Безуглову. Ему и решать — болен ты или нет.

Сижу возле отряда, солнце греет, зеки шныряют да тусуются. Дал послабку Тюлень, разрешил гулять. Ну, спасибо! Хорошо весной, только тяжело. Весна, солнышко, птички, кровь бродит, а воли нет! Нет воли, волюшки-воли, украли волю менты поганые, эх, украли...

Сижу, смотрю, думаю. Обо всем и ни о чем. О новой книге. Я уже написал одиннадцать штук! Плодовитый и гениальный писатель-сатирик. Письма издаека, письма из неволи, письма из-за колючки... Пишу или конспективно или только сюжет, герои, основные события. И прячу в конверт от письма мамы или брата. Выйду на волю, на свободу, напишу полностью, волю кровь, жизнь, солнце в сухие конспекты и изложения сюжетов. Итак, новая книга. Название: Русская Южная Республика. Сюжет: русская эмиграция сложилась и купила остров. Где-то в районе Канарских или Багамских островов. И создали на нем Русскую Южную Республику. РЮР...

— Иванов! К начальнику колонии! — прерывает мои гениальные мысли шнырь Тюленя, и я не спеша иду в штаб. А куда торопится, иду и думаю, что такого я сделал, что такого я натворил, если меня не к ДПНК, а лично к хозяину, пред круглые глаза Тюленя? Вроде ничего, месяц как с трюма, может, много я в зоне, может, мне в трюме положняк чалиться, сидеть в ШИЗО? Ничего не придумал, а уже пришел.

Стучусь, слышу незнакомый голос, что за чудеса:

— Да-да, войдите!

Вхожу и ошизеваю, но потихоньку. Вместо Тюленя прокурор сидит, а хозяин рядом, скромненько так. Прокурор в мундире, с петлицами, высок, толст, лыс. Красавец! За что же мне прокурора, я ж ничего не совершил!!!

Представляюсь и жду, а сердце екает, екает, е-ка-ла-ма-не, се-пе-ре-те-се! Все повторил про себя, что знал из великого русского языка. А прокурор тоже ждет, и хозяин тоже. Так молча и простоял минут десять. Наконец прокурору надоела такая игра, он и начал:

— Я попросил вызвать вас, осужденный Иванов, вот по какому поводу. В последнее время в прокуратуру по надзору за местами лишения свободы, то есть мне, стали часто приходиться жалобы от осужденных вашей колонии. От разных осужденных, но жалобы написаны одной рукой. Не одним почерком, но одной рукой! Выражаясь в переносном смысле! Оперативные работники колонии провели работу и выяснили, что жалобы пишет вы! Вам за это платят?

Глупый вопрос, если б платили, то опера знали бы, а меня Знаменский предупредил насчет платы... Из любви к справедливости помогаю зекам, из ненависти к властям. Но разве это можно сказать сытому рылу! Поэтому отвечаю туманно, хитро:

— Разве запрещено помогать осужденным в написании жалоб? Если они безграмотны, в правилах содержания осужденных нет такого запрета...

— А ты что, грамотей! Юрист хренов!.. У тебя незаконченное среднее, здесь учишься, в лагерной школе! Недоучка! А туда же! Ишь, в правилах не сказано! Мы устанавливаем правила, МЫ!!!! Мы устанавливаем, мы и отменяем! Узнаю, что берешь плату — возбудим дело по статье частное предпринимательство! Получишь три года в довесок, мразь, подонок, антисоветчик, гнусь!..

Долго еще голос прокурора гремел у меня в ушах. Уже и дверь камеры ШИЗО за мною захлопнулась, — как всегда пятнашка, а голос все гремел... Вот козел, за бумажки, опять за бумажки, ну что за власть такая, бумажек страшится, жутко ей при виде бумажек, что ли?

Братва встречает с радостью:

— Профессор! Братва, живем! Настроение будет — роман тиснет!

Нет у меня настроения говно пересказывать, я пишу гениальней, талантливей, круче, но настроения рассказывать, даже свое, нет. Постучал по двери, сообщил прапору, что он пидарас и мне не нравится, требую

бумагу для жалобы, так как посажен в нарушение и желаю в одиночку. Вызвал охреневший прапор ДПНК, выволокли меня на коридор, влили слегка, раз пять дубиной, Тюлень без молотков в трюм опустил, так тут влили. Влили — и назад в хату, ни одиночки, ни бумаги мне не обломилось... Загрустил я, запечалился и на следующий день аппетит потерял. Объявил голодовку. Меня в коридор, шланг принесли, резиновый, в палец толщиной и говорят, бляди:

— Жрать не будешь, паскуда, засунем через нос, тварь, до кишок, мразь, и будем заливать баланду, падла! Понял, дерьмо?

Понял, понял, фашисты — и в Африке фашисты, дали мне по боку и назад, в хату. Про шланг этот в зоне все наслышаны...

Вот я и передумал голодовкой баловаться, че я, революционер задроченный, что ли?

Дали обед, я пытаю братву:

— Будет кто?

Жулики отказываются, марку держат, мужики жуликов опасаются. Вылил я свою баланду в парашу, пайку на батарею холодную. И вечером также. С рыбьим супом. Ну, а на следующий день пролетный. Пайку на батарею, кипятки — братве. И из крана не пил. Ни грамма! Я вам, козлы, устрою!

На седьмой день, с утра, как Тюлень моду завел, в хату ДПНК зашел, майор Парамонов. Прапор в дверях ключами бренчит:

— Проверка! Встали к стене!

А я уже с вечера и встать не могу. Совсем нет сил. ДПНК глаза выпучил:

— Почему лежишь? Встать!

Жулики ему поясняют:

— Он шесть дней ничего не жрал и не пил. Помереть решил, видно.

— Как не жрал?! В хату жратву на него брали, заявление о голодовке не писал, не принимаю такую голодовку! Вставай!

Я же в ответ лишь хриплю, на полу лежа и рот разеваю. Знаю от зеков и сам чую, когда не жрешь да еще воду не пьешь, то во рту белый налет и ацетоном воняет. Организм сам себя жрет. Глянул майор Парамонов в мою пасть, глянул — не побрезговал. Глянул и прапору:

— Санитаров с носилками! Он сдохнет скоро!

Унесли меня на крест. Хорошо! Диету хаваю осторожно — яйца (яйца! мама родная, яйца в зоне!) сырые с молоком, повидло, сахар, чаек из столовой. Хлеб белый, супчик жиденький, но питательный, будешь худенький, но внимательный! Фольклор.

Полежал пять дней и выпи́сался. И не в ШИЗО досиживать, а в зону, в отряд! И с ментами можно бороться. Иногда. Если не убьют...

А через недельку меня снова шнырь зовет. Но не хозяйский шнырь, а с креста. Начальник медсанчасти майор Безуглов желает меня видеть!

Прихожу, сидит холеный боров, улыбается, он всегда улыбается, видно все у него в кайф! Представляюсь, а он меня радует:

— Поедешь со следующим этапом на областную лагерную больницу. Полежишь-полечишься.

За что же мне такие привилегии. Оказалось все просто:

— У тебя туберкулез. Две каверны. В каждом легком. И бронхит. И где это ты заболел?

И действительно — ну где же я мог в 1981 году, на шестьдесят четвертом году советской власти, такую несоветскую болезнь заработать? Это только большевики в царских казематах-тюрьмах кашляли и румянцем цвели...

А у нас в тринадцатом отряде, после зимы с зелеными от плесени потолками, 26 (двадцать шесть!) новых тубиков оказалось! Двадцать шесть человек заболело туберкулезом. И откуда — непонятно... У, гады!..

Месяц провел на областной больнице. Курорт! Отличная еда (даже подозрительно), проверки по шконкам, зелень, цветы! Трюмов нет, работы нет, молотков нет! Тюленя нет! Красота! Много ли зеку надо? Немного, самую малость...

Одним словом, оттянулся я в полную меру. Подлечил свой личный туберкулез — и на зону. Как всегда, через тюрьму, через транзит.

А на транзите плюнуть некуда от зечни. В Омской тюрьме камеры транзита все маленькие, человек на сорок от силы. Напихали же по сто-сто пятьдесят! Что такое?

На Кровавой восьмерке, на зоне общего режима, бунт был! Три дня бились одни жулики с другими, попутно выбивая ментов, личных врагов и всех, кто под нож попадал. Поэтому в транзите весь народ в бинтах, в гипсе... Как с войны. И огромная масса петухов, кого до бунта опустили, кого во время бунта трахнули. Кого после него, здесь, на тюрьме... И трупов было валом, братва рассказывает, кучами лежали трупы. Бились на совесть, делили самое дорогое — власть. И поделили. Победенных, кто живой остался, по разным зонам, по разным областям развезли. Победителей раскрутили, срок добавили и тоже по разным зонам раскидали... Зону отстроили заново, после пожара, после бунта, еще А. С. Пушкин метко подметил, мол, страшен народный бунт, ой страшен! Но сильна Советская власть и прошли, канули в лету, времена Пугачевых и Разиных, и хоть то там, то там, то здесь вспыхивают небольшие или большие бунты недовольных своим положением зеков, но результат всегда один и тот же — плачевный! Солдаты с дубинками, и справедливость советская торжествует! Горе побежденным, еще хуже условия, еще жестче террор!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Незаметно кончилось лето. Как будто его и не было. Снова нудные холодные дожди, телогрейка и вся остальная одежда постоянно отсыревшая. Разводы на работы и съемы идут не спеша, прапора и ДПНК стоят под козырьком и в плащах, рядом, сбоку, жметяся нарядчик со своим ящиком, куда им торопиться, над ними не каплет. Зеки в телажках и зимних шапках, по рылу течет... Бр-р!

За целое лето отпечаталось в памяти лишь три события. Все остальное слилось в одну серую, нудную повседневность: сетки, разводы, отбои, подъемы да отбои, неинтересные рожи, скудная жратва, скучные разговоры...

Первое событие: посередине лета пришел новый замполит зоны. Старлей Константинов. Загнали всех в клуб, знакомиться. В зоне не спрашивают — хочешь знакомиться или нет. Отгрохали под руководством Тюленя новый клуб, огромный и вместительный. Вся зона, все тысяча двести человек с лишним входят. Тесно, правда, но смешно.

На сцене президиум, за столом с красной скатертью офицеры, Тюлень, кум Анатолий Иванович. За трибуной с гербом, все как у всех советских людей, клоун в форме офицера. Он до зоны мастером был, на заводе, его партия бросила, как тряпку, на самый нужный участок борьбы. Исправление преступников. Вот он и начал:

— Здравствуйте, товарищи!

Хохотали все, даже Тюлень. В зоне зеков гражданами называют, «товарищ» надо заслужить. А замполит не унимается:

— Ну, сейчас вы не товарищи, а граждане, но, выйдя на свободу, вы вновь станете полноправными товарищами! Это я, так сказать, вас авансом называю!

Кончилось знакомство массовым трюмом. Человек семьдесят из блатных уволокли в ШИЗО. Нельзя смеяться над замполитом, если ты зек...

Второе событие было повеселее первого — помер начальник областного УИТУ, в зоне шмон повальный и снова блатяков в трюм. Но весело...

Третий случай из области фантастики. В лагерном магазине стали продавать лук. Настоящий репчатый лук, по сорок пять копеек килограмм. И даже почти не гнилой... Вот и все примечательное за лето.

Дождь не перестает вот уже несколько дней. В зоне тоскливо и уныло. Навел порядок Тюлень. Нет водки, наркотиков, резни, драк, но и нет музыки, песен, веселья... Был бардак, стало кладбище.

Меня вновь перебросили. Вновь с тринадцатого в шестой. Зачем — спрашивать бесполезно. По режимно-оперативным соображениям. Мол, чтоб не приживался политик, не сколачивал вокруг себя подполье, группировку. Не любит Советская власть группировки, оппозицию. Ну а фактически, просто, чтоб жизнь малиной не казалась, чтоб помнил, где сидишь. Не курорт, а зона!

В шестом отряде новый начальник отряда. Капитан Добрый вечер. Это его так зеки прозвали. Внешне не отличается от остальных офицеров, а внутри... Раньше служил не в ВВ, а в строевой части. Ехал один раз в машине капитан, в кузове и бдительно глядел вперед, стоя у кабины. Дорога петляла по лесу, над дорогой сук был. Так капитан боднул его со всей скоростью и вылетел из кузова... Ну, его, конечно, подобрали, врачи его, конечно, собрали, но видать, некачественно. В стране советской все некачественно. Вот и получился вместо капитана Степанова, капитан Добрый вечер. И из строевой части его в зону перевели, с людьми работать, вот он и старается. В любое время подойдет к зеку и, доброжелательно улыбаясь, выдает то, что в него заложили:

— Добрый вечер! Норму выполняете? Нарушений режима содержания не имеете? Связь с родственниками поддерживаете? Все в порядке? Это хорошо.

Хоть стой, хоть падай! Видать, не много у Советской власти офицеров, если и такого убогого в армии держат. Но зеки к нему мгновенно привыкли и, только он подходит, как они ему вперед выдают:

— Добрый вечер! Норму выполняю, нарушений не имею, связь поддерживаю, все хорошо.

— Это хорошо! — с улыбкой отвечает придурок и отходит. Чтоб закончить об убогом, добавлю: прапора рассказывали, у него группа по голове, и два раза в год его кладут в госпиталь. Видимо, батарейки менять...

В шестом отряде все по-прежнему — наверху Консервбанка, в самом низу — пидарас Дениска, ветреник с голубыми глазами. Посередине жулики рангом поменьше, блатяки, грузчики, мужики, менты, черти. Каждой твари да не по паре... Правит Консервбанка мудро и вдумчиво, по жопе и голове лупит чужими руками, а хорошее раздает сам. Вот и слава о нем, как о справедливом жулике и живет. А справедливых жуликов не бывает в жизни, только в романах. Вы можете себе представить, справедливая акула или тигр? Я — нет. Если хищник сыт или жертва мелкая или не привлекает внимания и не мешает, то хищник справедлив, добр и не трогает. Если наоборот, Консервбанка перекусывает пополам. Сразу. Только хруст. И жертва падает на дно. К пидарасу Дениске...

Дениска гомосексуалист с воли. Его папа трахнул, папа тоже петух, в тринадцать лет трахнул родного сына и на путь правильный направил. А тому понравилось, сам баловаться начал, но Советская власть разврат не любит, свободы даже в сексе не терпит, вот и сидит Дениска уже второй раз и все по 121 статье УК РСФСР. Мужеложство.

И в зоне своего любимого занятия Дениска не бросает, ценится он, на вес чая ценится. Маленький, пухлый, голубоглазый... Невинно смотрит Дениска на этот грязный и пошлый мир.

Работа в шестом отряде новая. Прищепки собирать пластмассовые и Кубик-Рубик, игра такая, для того, чтобы дебилом стать. Пока все

цвета соберешь, с ума сойти можно. Вот и меня поставили прищепки на картонку одевать. Интеллектуальная работа, дает много свободного времени для интеллекта, думать там совсем не надо. Вот я и думаю о другом, а руки норму делают, иначе — трюм.

Сию, работаю, думаю. Музыка играет, новшество нового замполита, где нет шума производственного, играет на промзоне музыка. Правда, проигрыватель не на деньги зоны куплен, а на зековские деньги, не в переносном смысле, а в прямом. Часть из зарплаты вынули, не додали и купили музыку — радуйтесь! Повышает настроение заключенных и норму выработки. Придурок! Но приятно.

Думаю, думаю. Незаметно пролетает день, съем с работы под надоевшим дождем, ужин, чтение какого-нибудь журнала, отбой, подъем, развод на работу и снова — думаю, думаю. Или с ума сойду, или умным буду. А может, и первое, и второе вместе...

Консервбанка единовластный правитель населения шестого отряда. Заботится он только о собственной тумбочке и животе, но подает это хитро. У мужиков совсем перестал отнимать-собирать. Добровольно-принудительно-обманно. Чтоб с Тюленем не ссориться. У жуликов, блатяков, грузчиков берет только то, что те считают нужным дать. И все отправляет в ПКТ. Тюлень чуток гайки ослабил и снова все потекло в зону рекой. Но не водки, ни наркоты нет. Зато чая, вольной хавки завались, бери — не хоч. Хлеборез даже белый хлеб загоняет и продает. По пятерке две булки. Двадцатикопеечных! Большой бизнес — советская зоновская хлеборезка.

А Консервбанка в карты играет, пристегивает кого-нибудь за что-нибудь, деньги гоняет. Так и живет, почти не тужит.

Ниже — жулье, блатяки, грузчики-акулы, что-то крутят, мутят, с картами, с чертями. Но все это слезы. Отнял Тюленев у них почти все возможности, осталась самая малость. Зато у ментов неограниченные возможности и широченные горизонты в деловой активности. Делай деньги, делись с администрацией и все будет правильно.

Мужики только работают-пашут и как всегда никуда не лезут...

— Иванов! — прерывает мои мысли бригадир, бывший жулик Косой. Тюлень его в правильную жизнь загнал.

— Что надо?

— Тебя к директору производства!

Иду. Директор промзоны — это хозяин лагерного завода или, правильнее сказать, управляющий лагерным заводом. Хозяин один...

Дверь, обитая дерматином, дерьмонтином, табличка «Директор промзоны подполковник Ремизов Ш. Х.». Татарин. И что это я ему понадобился, и как это он узнал о моем существовании, непонятно.

Стучусь, захожу, представляюсь. Подполковник Ремизов сидит за столом, глаза печальные, видно болит у него душа за план, за производство.

— Вы почему вчера отказались идти красить цех?

Началось! И этот туда же, вслед за кумовьями и Тюленем. Хоть и вежливо начинает, но оконцовка заранее известна — трюм. Отвечаю грубо, теряя нечего, кроме цепей:

— Впадлу!

— Вы же интеллигентны, а так разговариваете...

— Я в лагерной школе учусь, институтов не кончал!

— Дело не в образовании, я же по лицу вижу...

Ну, это он загнул, насчет лица. Я, когда по плацу один гуляю, зеки, что недавно в зоне, шарахаются. Молчу.

— Я думаю, вам надо подумать и изменить свое отношение.

— К чему?

— Ко всему, к колонии, к СВП...

— На хрен мне козлота эта!

Ухожу в сопровождении вызванного прапорщика. Естественно, в трюм. Вот и поговорили вежливо, как интеллигентные люди...

Прихожу в трюм, ДПНК меня спрашивает:

— К Буланову пойдешь?

— Мне все равно...

Лязгает дверь, лязгает решетка, и я в хате. Маленький двойник. Булан в куртке с засохшими бурими пятнами. Кровь?

— Привет, Профессор! А я думал, опять какую-нибудь блядь садят! Тут бросили ко мне одного, гвоздем ударить хотел, так я его разорвал! — возбужденно рассказывает Сашка Булан о рядовом событии своей жизни. Наговорившись, внезапно замолкает и начинает тусоваться с угрюмым видом по камере. Туда-сюда, туда-сюда...

Так и пролетела моя очередная пятнашка. Без молотков, без добавки... Булану добавили и, когда я выходил в зону, он попросил:

— Слышь, Профессор, наверно меня этапируют. Зайти к черту одному, в третий отряд, Гаврила. Гаврилов Сергей. Он мне должен две пачки махорки. Забери себе...

Я вышел из хаты, слегка удивленный и тронутый вниманием Булана. А может, черту не захотел оставлять махру? Кто его знает. В третий отряд я не пошел. Пусть Гаврила курит. Ему нужней.

Через несколько дней вызвал кум. Анатолий Иванович Ямбаторов. Интересно, почему Анатолий Иванович? На двери, под стеклом золотом выведено «...Ямбаторов Т. А.», сухарится, что ли? Сажу на любезно предложенном стуле и смотрю на хитрого якута, переработавшего, по-моему, лет сорок лишних. А кум на меня, глаза припухли, щелками стали, голову назад откидывает и какие-то бумаги читает. Или картину гонит, кота за яйца тянет... Отложил, начал:

— Ну, давай знакомиться.

Охренел, точно забыл что ли, сколько раз меня видел и пакости мне делал?!

— Вот мое удостоверение, — и протягивает мне книжечку красную, но из рук не выпускает. Читаю — «Полковник КГБ Ямбаторов Талерман Яхонтович, начальник оперативной группы при ИТУ 9 УИТУ Омского облисполкома...». Да...

— Ознакомился? Ну так вот, — глазками узкими в меня стреляет, насквозь прострелить хочет.

— Ну так вот. Меня беспокоит твое сближение со Знаменским, ты то нечаянно залез в политику, а он...

Как ни странно, беседа для меня кончилась не трюмом. Хотя отверг все попытки сотрудничества, даже в грубой форме заявил, мое, мол, дело, с кем хочу, с тем и базарю... С миром отпустил кум, только напоследок погрозил:

— Гляди, Профессор, тебе здесь еще долго жить...

Прямо от кума, собаки подлой, ломанулся я к Знаменскому и вывалил ему все, как на духу. И только тогда перевел дыхание. Помолчал бывший референт ЦК, пошурился на меня и изрек:

— Никому больше не рассказывай, тем более, не вздумай жалобы писать...

— Да че, дурак я что ли!

— Ну а насчет дружбы, давай реже будем встречаться, и только на плацу. Больше не вызывай меня из отряда. Как будто между нами кошка пробежала.

— Понял...

И отправился я в клуб. Вместе с отрядом фильм-говно смотреть, а иначе — в трюм, распоряжение Тюлени. Сiju и над словами Знаменского думаю...

— Зона, подъем! Зона, подъем!

Что за черт, только уснул, и подъем, неужели так быстро пролетела ночь?

В барак врываются солдаты, в касках и бронежилетах, в руках зимние дубинки, восьмигранные, в руку толщиной, с метр длиной. И всех подряд — раз! Раз! Раз! Хлесь! Хлесь! Хлесь! Сбрасывают со шконок — и на выход! Даже одеться не дают... Натягиваю на ходу захваченную телажку, вылетаю на мороз... Что за черт, вроде осень была дождливая, промозглая, а тут снег, мороз? Я вспомнил, два дня назад снег выпал и мороз ударил.

Топчусь в одном белье тонком, без шапки, уши тру, лицо стянуло, хруст стоит, хруст от тысячи пар ног, под сапогами хрустит, все топчутся, холодно, ночь, свет прожекторов зону заливают, солдаты с прапорами мечутся, ДПНК туда-сюда бегают, подкумок дежурный шныряет... Ничего не понятно, побег, бунт, в стране переворот? Въехало в зону две пожарных машины с брандспойтами. Масса офицерни, много незнакомых, из управы что ли... А машины зачем, морозить будут,

как Карбышева фашисты?.. Что случилось, никто не знает. Топчемся на месте, пытаюсь согреться, мороз пробирается сквозь телажку тонкую, сквозь белье в простыню толщиной, шапки нет, уши скоро отпадут, что же, бляди, делают! Карточки не несут, проверки не будет, значит не побег. А что же тогда, ну, бляди, ну, твари, выгнали на мороз?..

Под утро, в полпятого, загнали по баракам. Спать осталось полтора часа, не ложусь, иду в комнату ПВР, почитаю что-нибудь. Что-то стучает в левый висок, изнутри, сильно, жестко, резко... Так больно, что не могу стоять на ногах, валюсь на стол со стоном и скрюченными пальцами пытаюсь разодрать висок, вырвать оттуда боль, о, о! Страшная боль, всю левую часть перекосило и ломит, корежит-ломает... Оооо!.. Через сколько времени — не знаю, но отпустило, ушла боль, из лап своих цепких отпустила. Только струйки пота по лицу, по телу бегут, да левая часть лица как будто не моя... Но потихоньку совсем прошло, я и не обратился на крест.

А ночной переполох вот по какому случаю приключился — ДПНК майору Маслякову бок пропороли, на промзоне, а кто, не знают. И Масляк не увидел, сильно быстро ломанулся на вахту, впереди двух прапоров так и убежал. Втроем от одного... Вместе с дубинами и баллончиками с газом, с «Черемухой». А потом решили найти, ну не знаю как, но в зоне террор устроили как надо.

В этот декабрьский хмурый день этим еще не кончилось. Главмента зоны, председателя СВП Ивана Жучко убили. Пидарас Сапог зашел к нему в кабинет, а он уже холодный и из груди электрод торчит, прямо из сердца... Точно так же, как Плотника замочили. Тюлень рассвирепел, зеков снова на плац. И жилую зону, и с промки всех сняли раньше на два часа. Мороз, ветер, солдаты с дубьем, в бронежилетах. Кто-то из блатяков крикнул из толпы:

— Бей блядей!

Тюлень налетел на отряд и махая дубиной, орать начал:

— Пока не найдем, кто крикнул, стоять будете, на улице мерзнуть! Я вам покажу как бунтовать, я вам покажу «блядей»!

Простояли до отбоя, семь с половиной часов... Мороз, ветер, прожектора. Концлагерь.

Ну, а на следующий день событие, вообще из ряда вон. Прапор один, Смирнов, любил за плату чаем, смотреть как трахаются, хлебом не корми, дай поглядеть как петуха дерут. Позвали его в колесный цех на сеанс порнофильма или эротического шоу, поймали на удавку-петлю и трахнули!..

На этот раз обошлось без солдат. Тюлень выстроил зону и без микрофона такое сказал, что мне жутко стало:

— Еще один случай нападения на администрацию или лиц, состоящих в СВП, против авторитетных осужденных, не вставших на путь исправления, по моему ходатайству прокуратурой будет возбуждено уголовное дело по статье 77 прим. — организация беспорядков, скола-

чивание группировок с целью противодействия администрации в проведении мероприятий по нормальной работе исправительно-трудовых учреждений! Уголовное дело будет возбуждено против следующих осужденных, — и зачитал длинный список, человек тридцать...

Зона расходилась подавленная. Вот тебе и правосудие, вот тебе и закон! Не надо улик, не надо вести следствия. Авторитетен? Получай! От пятнадцати лет и выше. Сильна Советская власть!

Первым же этапом Консервбанка снова на лагерную больницу свалил. Туберкулез лечить да новую волну террора пережить.

Зона притихла. Только мелкие драки и избиения. Но это не в счет.

Новый год я встретил как обычно, в трюме. Ни один праздник в зоне я не встречал, все время в трюме, все праздники. И не только я, жулики-блатяки, побегушники, склонные к дракам и употреблению алкоголя или наркотических средств... Одним словом, все, кто может омрачить праздник трудящимся, трудящимся за забором на благо — и так далее. Новый год тоже относится к праздникам трудящихся.

Нас не били, всем дали по десять суток, с одинаковой формулировкой в постановлении — «По режимно-оперативным соображениям». Седьмого января должны были выгнать...

Шестого был летный день, с утра дали кашу, пайку и по маленькому кусочку соленой рыбы. Спасибо, Родина, за заботу!

Похавали, в хате нас было девять рыл, мужиков двое, я и один еще, остальные — жулики да блатные. Чтоб не скучно было, тиснул роман. Под видом прочитанного свой. Приняли с удивлением — нет воров, нет ментов... Но от души порадовались, хорошо написал неизвестный нам писатель, хорошо, собака! Хожу по тесной хате гордый и счастливый, приятна похвала от такого разборчивого и пристрастного читателя... Лязг двери, решки, крик зверский:

— Выходи, бляди! Выходи по одному!

Меня выдернули первым, так как ближе всех к двери оказался... Вдоль коридора стояли с дубинками в две шеренги прапора, офицеры, кумовья да подкумки, режимники... Дальше солдаты, все возбужденные и пьяные. Началось, по-видимому, пришли с Рождеством поздравить...

Я плохо запомнил последовательность событий, запечатлелось кусками, урывками, периодически сознание отключалось, но я не терял сознания и слышал, и видел все, только мозг не фиксировал и не запоминал... Первый удар пришелся по голове, кожа лопнула, кровь залила голову, глаза, лицо... Помню только, что били старательно, от души, совершенно не заботясь ни о последствиях, ни об оставшихся следах, ни о такой мелочи, как кого-нибудь не забить... Им было все равно...

После офицерни отдали солдатам. Но эти были неопытны и только мешали друг другу... Мы выли, орали и катались по холодному бетонному полу, залитому кровью, мочой...

Затем запихнули в неотапливаемый коридор, ведущий на задний хоз. двор. Через него в ПКТ завозят комплектующие для работы... Так мы и провели весь день и всю ночь... На улице был мороз градусов двенадцать-пятнадцать, мы были избиты в кровь, обоссаны, одеты в разорванные хлопчатобумажные костюмы и все босиком, так как тапочки слетали сразу после первых ударов...

Ночь была длинная и полна раздумий, в этом коридоре нас было человек двести, но наше дыхание не могло согреть широкий и высокий коридор, куда спокойно могла заехать автомашина... Под воротами была щель шириной в ладонь, оттуда ветер задувал снег, мы грелись, сбиваясь в кучу, с краю пробирались в центр, как овцы, как пингвины, у всех были серо-сизые лица, ни у кого не было сил даже проклинать фашистов...

Утром нас вернули по камерам. Человек двадцать с лишним не могли идти, отморозили ноги, их унесли на крест, а один остался лежать без движения... Замерз или не выдержало сердце.

Зайдя в камеру, я поднял с пола очки, которые сбросил, выходя вчерночь назад из хаты. Одно стекло было пересечено трещинкой... Боли уже не было, я не чувствовал боли, как ни странно. Только ненависть... Надев очки, оглядел зеков, прильнувших, прижавшихся, притиснувшихся к чуть теплой батарее. Меня заливала огромная, холодная волна ненависти и злобы, она была серо-стального цвета, мутная, холодная, как осенняя грязь... Я потрогал языком осколки двух коренных зубов, торчащих из десен острыми, царапающими язык льдинами и сплюнул. Сплюнул прямо на пол... Хотя это делать не положник. Зеки промолчали, по-прежнему вдавливаясь в батарею и дрожа.

Повернувшись, я подошел к двери и постучал. Громко постучал. Очень громко, ногою. Я чувствовал спиною и затылком, заляпанным засохшей кровью, взгляды зеков, я чувствовал их недоумение, испуг...

Прапор брякнул глазком:

— Что тебе?

— К начальнику колонии, майору Тюленеву, по личному вопросу, срочно!

— Нет Тюленева. Вчера последний день был, теперь он в управе в УИТУ. Сиди тихо, иначе повторим вчерашнее!

Ненависть требовала выхода, Тюлень ускользнул от моего возмездия, от меня, от моей ненависти... Злоба захлестнула меня волной и я смачно плюнул на стекло глазка, за которым виднелся животный глаз прапора... Он охнул, отскочив, и умчался вдаль по коридору. Я обернулся, зеки замерли, на их рылах был страх, нет, ужас, животный ужас, они боялись, ужасались, страшились ночного повторения. Повторения ночного кошмара. Они сломались... С ними можно было делать, что угодно, их можно было трахать, заставлять жрать говно, унижать как угодно, что только может придумать больная фантазия...

В коридоре слышались торопливые шаги. Забрехали ключи, дверь распахнулась и за решеткой оказался майор Парамонов, ДПНК. Уставившись на меня, стоящего вплотную к решке, сжимающего кулаки и втянувшего голову в плечи, ДПНК громко сказал:

— Ты что это? Ушел Тюленев? Все, в управление ушел, сиди тихо и все будет в порядке, все будет нормально. Ты меня знаешь, Иванов, я не зверь...

Я почти не разжимая губ, прошипел в лицо майору:

— Ненавижу!

Дверь хлопнула, лязгнул замок, шаги затихли в глубине коридора... Я остался стоять сжав кулаки, перед решкой и захлопнутой дверью. Ушел...

Усталый и опустошенный, я прошел к стене и уселся под нею, отдаваясь и подчеркивая это, от зеков. Поглядев на них, жмущихся возле теплой батареи, сказал:

— Бляди! — и не один не принял вызов, не один не взвился и не потребовал уточнений: в чей адрес сделано такое емкое определение. Они не приняли вызов, сделав вид, что я говорю ментам.

Закрыв глаза, я затих. Тело ломило и болело, бока горели огнем, каждую секунду были позывы в туалет, мочиться, но по опыту я знал, что нечем... Шея плохо двигалась и немела спина. Внутри было пусто...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Новый хозяин был моим однофамильцем. Подполковник Иванов. Он тоже был ненормален, как и все в этом театре абсурда. Но его дурь по сравнению с дурью Тюленева была направлена в мирных целях. Она была мягче и забавней... Иван, как сразу окрестили зеки хозяина, любил заботиться об обиженных — гомосексуалистах, проигравшихся, побитых, обкраденных лагерными крысами. Откуда эта блажь у него, неизвестно, но в заботах своих он доходил до маразма. Ближе к весне, где то в конце февраля, началось великое переселение народов. Вся зона снялась с насиженного места и поехала хрен знает куда. Я вышел из очередного трюма, пятнашка за драку с блатяком, блатяк оказался по прошлому сроку ментом, он чалился в другой области. Мало того, что бывший мент, так еще и рычать вздумал. Подрались мы вничью, но пока я сидел, его разоблачили до конца, мне-то петух рассказал, а им жулики не сильно не верят... Вышел я из трюма, глянул по сторонам и охренел!

Первый отряд, как был хоз. обслугой, так им и остался. Зато второй и третий петушинные стали! Двести двадцать пидарасов! И мент, с кем я поцапался, тоже там... Четвертый отряд — фуфлыжники! Сто пятнадцать проигравшихся и не отдавших вовремя... Пятый, шестой, седь-

мой — отрицаловка, лица не вставшие на путь исправления! Жулики, блатяки, грузчики... Четыреста семьдесят человек! Девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый — пятьсот девять членов СВП, недавно переименованной в СПИ (секция профилактики правонарушений)...

Из управления приехал подполковник (!) Тюленев, наорал на Ивана и зона поехала назад. Кум Ямбатор бегал по зоне и всем встречным зекам орал:

— Мразь! Мразь! Он с ума сошел — я жуликов раскидываю-сортирую, а он их собирает в кучу! Он бунта хочет, он у меня вот где! — и показывал сжатый пухлый кулак. И несся дальше...

Новый хозяин принес еще одно новшество, которое прижилось. По-видимому, в управе одобрили. Каждое воскресенье, вместо дневного сеанса кино (всего три), стали проводить мероприятия. То бег в мешках, на приз — пачка чая (пятьдесят грамм!). То шахматный турнир. Ну, а потом совсем учудил — хор! И чтобы заманить шалапиных и карузо, пообещал каждому хористу лишний синий костюм. А зеку всего положено два на год — рабочий и повседневный, друг от друга они отличаются только названиями...

Записались все менты, черти, пидарасы, записались и некоторые мужики. Набралось около шестисот человек и начальник одиннадцатого отряда майор Новосельцев каждое воскресенье устраивал с ними спевку. Рев был слышен на промзоне. А в костюмах синих щеголяли жулики, скупив их за чай и сигареты. Весну зона встретила синими костюмами, ревом из клуба и рядом новых происшествий...

Пидарас Соринка заразил триппером начальника отряда, восьмого. Хохотали даже в управлении! Что поделаешь — весна... Соринка — гомосексуалист с огромным стажем — у него уже пятая судимость и все за одно и то же. Мужеложство. Морщинистый, истасканный до немогу, шестьдесят четыре года от рождения (!), чем прельстил капитана Скворцова, непонятно... Начальника уволили, Соринку на облбольницу, в зону расследование — откуда триппер.

Весна! Как много в этом слове! Сияют краски на свежепокрашенных полах во всех бараках, шконки и тумбочки вынесены на улицы, высохнут полы — наступит и их очередь, ночью 0 градусов, зеки мерзнут, процветает крысятничество, но... Все равно весна! Снова в зону пришла весна!

Ручьев нет — снег собран и вывезен, плац чист, птиц нет — деревья отсутствуют, а колючку даже птицы не любят, бегают по зоне полковник Ямбаторов, всех кумов кум, и, завидя нужного ему зека на другом конце плаца, снимает шапку, сует ее под мышку, папку зажимает коленями промеж ног, быстро-быстро гладит обеими руками волосы на висках и кричит, периодически указывая толстым коротким пальцем, кричит на весь плац:

— Мразь, мразь! Да не ты, мразь! Ты, ты, мразь, мразь! Иди ко мне, мразь! Иди, иди, мразь, мразь!

Весна! Фима Моисеевич Гинзбург, на воле директор магазина «Океан», а в зоне бессменный директор-зав.столовой, даже Тюлень свирепый не смог его побороть, из управы заступились, так даже Фима Моисеевич, имея за плечами пятьдесят восемь прожитых лет, не устоял перед ее чарами. Заманил Дениску сладкими посулами и щедрыми авансами, а двери забыл закрыть... ДПНК и спалил парочку в самый интересный момент. Дениске пятнашку трюма, зав.столовой легкое порицание — Фима, Фима, седина в бороду, бес в ребро, двери закрывать надо, мудака, сдали тебя!

Весна! Коля Демчук, расхититель народной собственности со второй судимостью, столп чайного бизнеса, Тюлень даже и не подступался к нему, взял молоденького зека грузчиком на склад. С этапа и сразу... на склад! Одел его Коля, обул, а зек этот, Паша, перестал в столовой хавать, видать за общий стол не хочет садиться, старается в отряде совсем не появляться да и глаза начал стеснительно опускать... Весна!.. Смеются зеки, смеется Коля Демчук, из тех он зеков, на ком лагерный бизнес держится, а бабки до управы доходят... А Паша не смеется, глаза опускает, ресницами поводит... Ух!.. Терпеливо ждут жулики, когда Коля наестся, тогда и можно будет предложить грузчику дружбу и чаек, уж очень хорош Паша!

Весна! Зав.пожарной частью Яшин Вася, на воле мелкий расхититель социалистической собственности, спалился со своим лучшим другом, Сашей Сахо, глав.ментом второго отряда. Спалили прапора в душе колесного цеха, но те в отказ, мол мылись только вдвоем, не видите что ли, все в мыле... Их на освидетельствование в санчасть. Майор Безуглов им — загибайтесь голубки и ягодицы раздвиньте. Заглянул туда, в жопу и охренел... У обоих потертости, да такие старые! Посадили голубков вдвоем в одну камеру, в ПКТ, по три месяца всего дали, продолжайте.

Весна! На пром.зоне подглядел я случайно картину, достойную кисти великого художника и пера великого поэта — стоит зечара, лет сорока с лишним, рослый, плечи широченные, рыло в шрамах, порезаться об рыло можно и держит за руку петушка молодого, пидараску Ванятку, держит, как девушку на воле ни разу не держал! Держит и что-то на ушко трет ему, а Ванятке лишь краснеет, застенчиво улыбается, ресницами поводит, с крыши капает, солнышко светит и нет им дела ни до кого! Весна! Весна!..

Жулик Блудня напился неизвестно где взятого одеколona и схватил за сраку прапора Валерку, маленького, худенького. Хохочут прапора, хохочет новый ДПНК майор Новоселов, самодур и дурак, хохочет зек Блудня, только Валерка верещит и вырваться пытается... Но плохо у него получается, зек рослый и сильный, хватка у него крепкая. Вырвался на силу прапор и не знает ДПНК с прапорами: смеяться дальше или Блудню в трюм тащить под молотки... Кончил зек, кончил прямо на брюки прапорщику, обмазал всего его сзади, и жопу, и ляжки!.. Уволокли Блудню с расстегнутыми штанами, а тот только кричит:

— Следующий раз точно трахну! Нравится он мне, паскуда! — и хохочет во всю смуглую рожу...

Да, Тюленья нет, пришла весна и ослабили гайки, закрученные им, ослаб террор и пошла зечня в разнос!

Кончилась весна, наступило жаркое лето и подсчитали результаты: пидарасов в зоне стало на двадцать семь человек больше, в том числе и пять блатных... С одним совсем смешное приключилось.

Пошел ночью побриться блатяк седьмого отряда, Кузьма. Бриться в умывальник, а там лампочка перегорела, но из коридора свет падает... Только бриться начал, кто-то свет выключил в коридоре, совсем темно стало, Пошел на ощупь, дали по голове табуретом и отодрали, как Сидорову козу! А кто — неизвестно, ночью все кошки серы... Был Кузьма, стал Кузьмихой, пошел с горя в штаб, в ДПНК, сдаваться, на другую зону проситься. А его в трюм, чтоб подумал да к петухам, аж к четырем... К утру он ломиться стал, мол тесно тут, его перевели, к жуликам... Утром, через часок, на проверке, он на коридор выломился и заявил, что надумал в зоне остаться. И широко расставляя ноги, побрел, морщась и охая, при каждом шаге, в зону, добриваться... Весна!

Завтра двадцать шестое мая. Я распечатаю еще один, предпоследний год. Останется два. Лежу на шконке, смотрю в потолок и думаю. Как дожить мне до воли, что-то совсем разболелся, с головой совсем непонятное творится. Приступы бешеной боли в левом виске, вся левая часть лица немеет, корежит меня, ломает, стоять не могу. Завтра на крест пойду, к Безуглу...

— Зона, отбой! Зона, отбой! — орет-надрывается репродуктор. Зеки расползаются по шконкам, не так быстро, как при Тюлене, хорошо, Тюленья нет, нет и террора, террор на нет пошел. Хорошо...

Засыпаю... Снится мне воля; знакомое место, где я ни разу не был — яркие цветы, изумрудная зелень, огромные разноцветные бабочки... На желтый-желтый песок набегают огромные-огромные волны — синие, зеленые, белые, разные... В голубом-голубом небе, до звона голубом, сияет яркое-яркое солнце, жаркое, огненное солнце, освещающая и зелень, и песок, и океан... Из глубины таинственного леса раздается дикий рев:

— Зона! Подъем! Зона, подъем! На зарядку выходи!

Сразу после физзарядки бегу на крест, на больничку, чувствую — не успеваю... Рывком распахиваю дверь и валюсь на пол. Началось! Как будто камнем ударило в висок. А левая часть лица мгновенно набрякла и онемела... Жгучая, нестерпимая боль пронзила висок, мозг, позвоночник, все тело! Скрюченными пальцами раздираю висок, пытаюсь растереть его, крупная дрожь сотрясает всего меня, пот льется ручьем, по лицу, телу...

— Ааааа! — вою я по-звериному, катаясь в коридоре медсанчасти.

— Ааааааа!! — не я кричу, боль, моя истерзанная душа, истстрадавшаяся в муках, битая-перебитая.

— Аааааааа!!! — выплескиваю в крике все, что накопило, наболело и замолкаю, чувствуя, как отпускает. Осторожно открываю глаза, боясь причинить себе боль... Висок ломит, вся левая часть лица саднит, но уже легче, немного легче. Санитар помогает встать и я бреду в кабинет начальника медсанчасти, еле-еле передвигая ватные ноги. Почти падаю на стул, держась за висок и тяжело дыша, глаза заливают холодный пот и режет их.

— Воспаление тройничного нерва. Надо греть. Ты голову полотенцем обвяжи или шарфом и так ходи. Ну, еще освобождение от работы, на сегодня и на завтра. А вообще-то беречься надо, не простужаться, — изрекает майор Безуглов, расспросив меня и полистав толстую книгу...

Заботливый козел, улыбчивый, гад!... Ухожу, бреду по зоне почти никого не замечая, придерживая чуть ноющий висок, боясь повторения приступа. Падаю на шконку и забытье...

Выхожу из него от крика завхоза:

— Выходи строиться на обед!

На следующий день в зону приехала машина рентгенустановки. Каждую весну приезжает. Чтоб точно знать, сколько тубиков в зоне.

Захожу раздетый по пояс. Сверху. Как приказал прапор. Раз, и следующий. Интересно, что у меня там? Кашлять я еще зимою перестал. Всю зиму лечился собственным способом, избрал который сам.

Через несколько дней зовет шнырь на крест. Прихожу. В кабинете растерянный Безугл.

— У тебя все зарубцевалось! Туберкулез вылечил, надо же! Что за препараты использовал, какие лекарства? И ты что ли нелегально их получал, мы на больницу не получали бандероль от твоих родственников...

Так в зоне и лечат. Напишешь — вышлют из дому лекарства на крест лагерный, обполовинят и лечись, экономия! Хитра Советская власть, ой, хитра!

Не сказал я правды Безуглову, все равно не поверит, все равно не поймет. Я лечился голодом... В зоне! На завтрак ел полпайки утренней и чай, кашу — чертям, полпайки в карман. В обед баланду или кашу, в зависимости от того, что съедобней. И полпайки утренней. А обеденную — за пазуху, поближе к сердцу. Ведь выносить из столовой собственный хлеб — нарушение режима содержания... Вечером вообще не иду ни за пайкой, ни за рыбным супом. Ну, а перед отбоем, если куплю за чаек с магазина или за сигареты, то миска кипятка, самозванно обозвавшаяся молоком. Ну, и иногда разгрузочные дни-посты делал себе, по субботам, ничего не жрал... Вот и вылечился. Но майору с толстым рылом, сытому и лоснящемуся, я не стал ничего этого рассказывать, не поймет.

Вот решил и воспаление хреново вылечить сам. Пришел приступ, вцепился я в шконку — не возьмешь падла, не дамся! И не дался, толь-

ко пот глаза залил. Боролся я как с настоящим врагом, на совесть бился, от души. Следующий приступ еще легче переборол, следующий — еще легче. А последний я взял и выкинул, легким щелчком. Только лоб увлажнился да глаз дернулся. Больше приступов не было.

А рыбкин суп хренов, Фима Моисеевич готовит оригинальнейшим образом — от завтрака в котлах остается каша, от обеда баланда да каша, кильки добавить, чуток крупы... и кушать подано, садитесь жрать пожалуйста! Ну и месиво...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Хожу по зоне в свободное время. Тусуюсь по плацу, внутри незамкнутой буквы «С». Хожу, как все ходят, тусуюсь, как все тусуются. Только, в отличие от других, не думы горькие думаю, не боль свою нянчу да лелею, не злобой пылаю и не коварные планы по улучшению своего лагерного благополучия составляю. Образы для будущих книг собираю, выбираю поколоритней, поярче, пооригинальней.

Вот Кораблев, например, кличка УЧИТЕЛЬ! Высокий, толстый, представительный. Четвертый раз в этих стенах, полных печали... И все время за чужой карман. Карманник. Пальцы толстые, руки большие, кисти лопатой, но — виртуоз. Любит шутить — тусуется по плацу с кем-нибудь из блатных, так как и сам в зоне жулик, базарит, достанет из кармана платок носовой, громко высморкается и отдает платок охреневшему собеседнику. На недоуменный взгляд, коротко и степенно басит:

— Твой, тренировка, заberi...

Это он уже вытащить успел. И когда!.. На свободе, под видом интеллектуала человека по пол-тролейбуса обкрадывал. И в зоне, во время съема с работы, любит Учитель у прапора-дурака часы с руки сбить, если не браслет, а ремешок. Бежит прапор прямо в пятый отряд, в проход к Учителю, а тот коротко и степенно вопрошает:

— Чай принес? — и обменивает часы на плитку чая, полезное с приятным совмещает. Ну так его в последнее время и обыскивать перестали, страшатся за свое имущество. Но Учителю от этого не холодно и не жарко.

Кириянова, кличка Мастер, тоже в коллекцию, тоже на карандаш возьмем. Лет ему под сорок, худой, длинный, постоянно веселый. Хотя, чего веселится, сроку пятнадцать лет отвалила ему советская власть... И до этого не баловала — в первый раз пятерик, за соучастие в краже сейфа из конторы какой-то, в во второй — десять за кражу из сейфа... Мастер редкой, вымирающей профессии — медвежатник. Взломщик сейфов. Этой судимостью даже уже на крытой дважды успел побывать, первый

раз суд трояк дал, прямо из зала суда, ну а второй раз — по ходатайству администрации зоны. Мастер сейф в зоне подломил... У полковника Ямбаторова! Украл весь чай, водку, гашиш, деньги, конфеты, шоколад.. Всю зарплату стукачей. Но вышел кум на него мгновенно — один в зоне специалист, руки золотые. Судить-добавлять не стали — стыдно, вот и отправили на крытую. Мастер отсидел трояк на крытой — и назад в зону. Ямбатор как увидит его, сразу кричит на весь плац:

— Мразь! Мразь! Не смей ко мне в кабинет приходить, не смей! Мразь! Мразь!

Мастер только зубы скалит, веселый он.

Капать начало, осень подкралась, как все смены сезонов в зоне, незаметно... Хмуро стало, сыро, пойти что ли в отряд, телевизор посмотреть.. В зоне новшество — в комнатах ПВР поставили телевизоры. С вырванными переключателями каналов. Из ДПНК будут включать именно тот канал, который следует. А установили телевизоры за несколько дней до кончины Л. И. Брежнева... Видимо Советская власть заранее знала об этой торжественной комедии и позаботилась установить в зонах телевизоры. Вот мы все и наблюдали торжественное кидание бывшего вождя в яму. Полное печали... Конечно, нашлись комментаторы, в нашем отряде человек семь, но представители оперчасти, стукачи, не дремали, плюс во всех отрядах дежурили режимники, отрядники, — подкумки и комментаторы были оторваны от масс. На пятнадцать суток. И хоть нет Тюленя, но влили им славно, как в былые времена. А не болтай языком!

Зеки сдурю стали об амнистии болтать, мол, важное событие в истории государства, мол, давно такого не было... Но тут к власти пришел Андропов, бывший председатель КГБ СССР... Того самого, которое посадило и меня, и моих друзей. Вот теперь и заживем! И не об амнистии болтать надо, а том, как дожить до свободы. Может, и выпускать перестанут?..

Дождь капает, нудно-нудно, как жизнь зековская, тянется-тянется, окончиться не может... Осень... Сыро, тоскливо... Душа просит и плачет... Лежу на шконке, хоть и не положняк, у меня депрессия, плевать мне на запреты, у меня душа болит... Только коллекция моя и отвлекает от грустных мыслей.

Куприянов Олег. Валютчик, кличка Мышь. Двадцать восемь лет, вторая судимость, срок пять лет. Маленький, худенький, с печальными глазами, в которых тоска всего еврейского народа отразилась... В зоне — мент, шнырь директора пром.зоны, Фима Моисеевич в нем души не чает, поговаривают злые зеки, что не только души, уж очень бывший директор рыбного магазина мальчишек любит... Но может быть, это и сплетни. Валютчиком Мышь был рядовым. С утра в один бар, один из многих на Невском, в Ленинграде. Не пить — деньги взять. Под проценты у знакомого бармена. Не отдашь — вынут с душой и кредит закроют. Получил деньги — и на панель, как проститутка. Только те

больше ночью работают, а Мышь днем. Финский, шведский, немецкий, английский, французский языки знает отлично. Прямо полиглот! В пределах своей профессии... Нашел клиента, уговорил его, обольстил повышенным курсом по сравнению с Внешбанком СССР и купил валюту. Незаконные валютные операции. На сумму до пятидесяти рублей по существующему курсу — административное наказание, штраф. Свыше — зона... Купил — и сразу продал, швейцару дяде Пете. И так весь день. Вечером рассчитался с филиалом частного банка в баре, выплатил проценты, успокоил нервишки дозой коньяка — и домой. Была у него квартирka однокомнатная в новом микрорайоне, кооперативная, машина «Жигули», было что одеть и пожрать, было на чем посидеть и девушек принять на чем было... И была у Мыши мечта — разбогатеть и свое дело открыть. Другого Мышь на панель, на Невский, а сам валюту в баре скупать... Но не вышло, хоть и платил исправно раз в месяц Мышь ментам из отдела по борьбе с валютными преступлениями, но пришло время одному менту звание очередное получать, а задержаний не густо, больше деньгами брал... Вот и погорел Мышь: в первый раз — два года, во второй — пять... Только конфисковывать было нечего — квартирка на брате, машина на маме, мебель на дяде... Гол как сокол!

Александров, кличка Маляр, лет сорок, тоже вторая судимость. И срок приличный, десять лет. Среднего роста, в речи культурен, вежлив, на носу очки. В зоне — мужик. И в первый раз, семерик сроку, и во второй, Маляр сидит за искусство... Документы на воле подделывает, заново рисует. Был на этот раз в компании интеллигентнейших людей, все с высшим образованием, в отличие от Маляра, имеющего шесть классов, Тюлень и его в школу загнал. Все на уважаемых работах: учитель, тренер, инженеров штук пять. А объединяло эту разношерстную публику одно — нехватка денег... Вот они и нашли заработок-приработок, благо руки у всех золотые. Угоняли «Волгу», перекрашивали, перебивали номера везде где надо, Маляр изготавливал полный комплект документов, а сверху еще и доверенность от нотариуса. И продавали усатым джигитам с Кавказа. Краденую автомашину по спекулятивной цене. Деньги лились рекою, фирма процветала. Но случилось пренеприятнейшее событие, украли у одного джигита усатого «Волгу». Он в милицию, те рады стараться — нашли авто. Нашли, не заподозрили что-то неладное и послали запрос, где она якобы раньше на учете состояла... В общем, следствие шло два года и всех посадили. Маляр и в зоне сумел отличиться. По памяти изготовил справку об освобождении, а данные поставил Ямбаторова. А в графе «рост» указал девяносто восемь сантиметров... Маленький якут-кум обиделся и дали Маляру шесть месяцев ПКТ. Вышел из трюма, работает Маляр в малярке (!), а Ямбатор помнит злую шутку и когда завидит умельца, пальцем ему грозит и орет. Как всегда — «мразь» и все остальное.

Ну а больше и нет интересных по-своему личностей, остальное — серая масса, совершившая что-либо по пьянке и в очередной раз получившая срок. Есть конечно и среди серости особенные монстры, не без этого. Например Яхович. Мужик лет пятидесяти, четвертая судимость, срок десять лет. Неосторожное убийство. Мол, хотел не убивать или даже не хотел, но получилось так... Работал Яхович на мясокомбинате грузчиком, украл ящик тушенки и, привязав его к веревке, раскрутил над головой. И со свистом отправил за двойной забор. Просвистел ящик и попал в голову старшему лейтенанту милиции... Он с дежурства домой торопился, через пустырь. Вышел Яхович с завода, честно отработав смену и отправился за ящичком. А на пустыре милиции видимо-невидимо. Свет горит, фотограф суетится и главный мент думает... Постоял Яхович и так жалко ему стало, нет, не мента, а тушенку, что спер он ящик окровавленный из ментовского микроавтобуса и пошел потихоньку, но заметили его и догнали. Четвертый срок...

Или Гаврилов. Огромный мужичище, силен как медведь, лет под шестьдесят, вторая судимость, срок пятнадцати лет, убийство. Жил Гаврилов в колхозе, работал кузнецом. Пошел раз в магазин, а его ночью обокрали, милиция приехала, магазин не работает. Постоял Гаврилов, посмотрел, понял, что похмелиться не удастся, подошел к машине ментовской и от души плюнул. Смачно так, прямо на стекло... Менты ошизели, капитана даже в краску бросило, что за дерзость! А Гаврилов пошел себе, пошел и пошел. Очнулись менты и послал капитан сержанта — ведем мерзавца сюда, мы его заставим языком слизывать. Пошел сержант, нет его и нет. С концами ушел. Менты следом и видят лежит сержант, руки-ноги раскинул, во лбу вмятина, а Гаврилов работает себе потихоньку, кует счастье для колхоза. Уволокли кузнеца, не бился он, а то бы всех ментов положил бы, молотом. Почему расстрела за мента не дали как обычно — неизвестно...

Да, не много серых, но ярких, в основном даже среди серости серость и встречается. Полежал я на шконочке и начал на работу собираться, на развод. Во вторую смену. Я уже в одиннадцатом отряде, кубик-рубик цветными пластинками обклеиваю и лихо у меня получается, на старости будет кусок хлеба. Специальность я приобрел.

Клею, а сам очередную книгу сочиняю. Про то, как генсека КПСС украли. На западе, западные анархисты. Чтоб мир установить и амнистию всем заключенным мира потребовать. На Западе согласны, а в Москве взвешивают: делать амнистию или нового генсека выбрать... Интересный роман получается. Поучительный.

После работы, после съема, на плацу Знаменского встретил. Рассказал ему вкратце сюжет. Посмеялся он и рецензию вынес:

— Подготовка антиправительственного заговора. Я думаю, расстреливать будет долго и мучительно.

И по баракам. Спать...

— Зона! Подъем! Зона! Подъем!

Я со второй смены, мне положняк на зарядку не ходить... Хорошо... Но через полчаса завтрак — и я в общем строю, вместе со всеми дружно иду и так далее.

После каши и чая — читать. В зоне можно выписывать все. Все, что не вычеркнул кум. А вычеркивает он иногда такие журналы, что не поддается логике. «Здоровье» нельзя. Ну это ясно — вдруг Безуглову в нос тыкать начнут. «Моделист-конструктор» нельзя — тоже понятно, вдруг смастеришь что-нибудь и убежишь как-нибудь. «Военно-исторический журнал» — непонятно, может, чтоб поменьше знали? «Куба» — хрен его знает, чем Фидель Кастро не угодил Ямбаторову? Может бородой... Но толстые журналы пожалуйста — «Дон», «Волга», «Красная звезда», «Москва», «Нева». И неплохие вещи стали печатать. Я сейчас роман Шефнера читаю, а Знаменский — Липатова. Потом махнемся.

Дни летят незаметно, распечатал предпоследний год, а уже осень поздняя, с воли мужики приходят, смешные вещи рассказывают. По распоряжению нового генсека, милиция в банях и кинотеатрах проверяет документы и ищет тех, кто в рабочее время яйца моет или за шпионом на белом экране следит... Маразм крепчал.

Хмурится небо, то ли дождик собирается, то ли снег просыпется. Конец ноября, настроение мрачно-унылое, но держусь. Сижу на промзоне в теплом цехе, возле окна, клею на кубик-рубик цветные квадратики. Чтоб советские дети мозги развивали, ни о чем интересном не думали. В цехе новшество, длинный худой мужик, с печальным рылом. Мастер ОТК. Без его печати продукцию на вольном заводе не принимают. Но зеки на то и зеки. И уже давно у бугра такая же печать есть, зек один, из третьего отряда, за две плиты чая в один присест из каблука резинового вылезал. Уходит мужик домой с трудового поста, уходит в пять, когда первая смена на сьем идет. А бугор Васильков сколько захочет, столько упаковок с кубиком-рубиком проштампует... Ну и что, что разваливаются кубики в руках, цвета по оттенкам не подобраны, а некоторые вообще не крутятся! На рабском труде зеков рай-коммунизм решили построить? Против исторической правды пойти? Ведь даже в школьных учебниках написано — невыгоден рабский труд, рабы работают плохо, ломают инструменты, крадут. Вот поэтому и пришел на смену рабовладельческому строю феодализм. Затем капитализм, революция и снова — рабовладельческий строй. Скорей бы феодализм наступил бы!

Насчет краж сырья и готовой продукции. На глазах у мужика с печальной рожей, зеки несут пустой ящик. Ставят и наполняют кубиками в проштампованных упаковках. Проверенными. Сверху крышку, заколотили, лентой металлической закрепили, бумажку наклеили. Мужик шлеп свою печать и идет к следующему ящику. Зеки ящик

заколоченный подняли и в сторону отнесли. И все кубики остались на полу, на дощатом дне лежать, оно, дно, маленькими гвоздиками прибито было... Потом зеки под руководством бугра наполнят кубиками ящики, но неплотно и дно прибьют. А иногда, когда план горит, бугор и пустые ящики отправляет. Чтоб больше выполненной продукции было.

Так что скоро мужика с печальным рылом убрали, чуть не посадили, а пришел молодой и хитрый Сережка, мастер ОТК. И не стало воровства, явного и большого, так, помаленьку, и качество наладилось, и бугор Васильков стал выпимши ходить да морда залоснилась. Откуда только Сережка деньги для бугра-зека берет, непонятно? Наверно на пару и крутят что-нибудь.

Поклеил, тут и обед. Сходили, похавали, и назад, в цех. Я с нормой в ладах, до обеда клею процентов на восемьдесят, так что можно и оттянуться. Сел около окна, имитирую кипучую деятельность, это чтоб прапора, если в цех зайдут, не докопались и слушаю музыку. Хорошая музыка, пластинка из нового кинофильма, я его, конечно, не видел, он на воле идет, «Мой ласковый и нежный зверь» называется. И к хмурой погоде, дождливой и тоскливой, подходит, прямо душу рвет:

— ... А цыганская дочь

За любимым в ночь!..

Аж даже слезу выбивает! Эх воля, волюшка! Воля золотая! Эх, жизнь поганая, ментами поломатая! Эх...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Мало у зека праздников. Ой, мало! Воскресенье отнимут — в связи с производственной необходимостью объявить воскресенье девятого декабря рабочим днем... Отпусков нет, не положено. Ну, заболеешь, на кресте оттянешься или, если повезет, в облбольницу съездишь... Ну, в кино сходишь, в клуб гулкий, половину слов сам додумываешь. Ну, что еще, свидание личное, с мамой или женой, если ты нужен им, сутки рядом с вольной жратвой...

Но главный праздник у советского зека — отоварка! Покупка продуктов и предметов первой необходимости по безналичному расчету в магазине ИТУ! О!

Опытный зек имеет мешочек для такого случая, специальный. Не в наволочку, как черт какой-нибудь. И банку под маргарин. И другую под повидло... Опытный зек никогда не побежит отовариваться в первый день, когда по графику его отряду положено. Ну, если только очень надо или завезли особый дефицит и есть подозрение, что на

второй день не хватит. А если все как обычно, то на второй день идет отовариваться опытный зек. Чтоб знать: что говно, что терпимо, что хорошего. Чтоб говно не покупать.

В первый день менты отрядные, завхоз, председатель СПП, бригады ломаются в магазин. С ними черти-кишки, что нажраться не могут, да блатяки мелкие, перхоть одна.

Опытный зек на второй день находит черта и, пообещав пачку сигарет, отправляет его к магазину, занимать да выстаивать очередь. Подошла очередь, черт подстраховался у переднего зека, у заднего, и бегом-бегом в отряд за опытным зеком. Тот берет специальный мешочек и солидно так идет, не спеша. Мент-дежурный запускает в магазин пятерками, заходишь и смотришь на товар, за стеклом и решеткой лежащий. А в голове уже все давно определилось и решилось, что нужно, что будешь брать. Смотришь ради любопытства, глаза есть — отчего не посмотреть. Подходит твоя очередь, говоришь в небольшое окошечко, в стекле и решетке оставленное:

— 542445, ИВАНОВ Владимир Николаевич, 70,198,209, срок шесть лет. Мама, давай быстрее — это я!

И пожилая женщина, умудренная опытом, не спеша ищет карточку твою и, найдя, долго сверяет непохожую фотографию четырехлетней давности с твоей мордой.

— Че-то ты на себя не похож, худой больно... — вопросительно тянет «мама» и просит:

— Еще раз повтори, — и ты скороговоркой, бравируя, повторяешь, выученное наизусть, как молитву:

— 542445, ИВАНОВ Владимир Николаевич...

Наконец, убедившись, что я — это я, а не дед с горы, мама всех зеков зоны дает расписаться. Расписываешься, заодно и глядишь, как у тебя на счету — густо, пусто. И чувствуешь себя миллионером со счетом в банке... Почти.

Шнырь подает продавщице то, что положено — чай, в кульке, пятьдесят граммов на месяц, сигареты «Прима», десять пачек. Ну, а дальше — ты сам:

— Маргарину килограмм, вот банка, в бумагу не надо, повидла килограмм, пряников два килограмма, порошок зубной, пару конвертов, стержни для ручки и на остальное — конфет «Дунькина радость», слипшихся, без обертки, карамель с повидлом... И все. Ведь положена зеку отоварка на пять рублей, ну если план на 105 процентов выполняешь, то еще два рубля. И если читатель считать умеет, то прикинет — ровно семерик.

Бывает конечно и разнообразие; вместо одного килограмма пряников — банка консервов — «Минтай обжаренный в масле», но это мелочи. Главное — в семерик уложиться.

И идет опытный зек не спеша из магазина, степенно, держа одну пачку сигарет в руке. Черту за очередь, а он тут вертится, родимый, в глаза заглядывает, боится, что кинут.

— На, благодарю.

— Не за что, если че — я всегда с удовольствием.

Это хорошо, когда с удовольствием. Подхожу к отряду и, увидев хорошую морду, угощавшую меня, останавливаюсь и раскрываю мешочек:

— Угощайся, Павлуха, бери-бери.

— Благодарю!

Не принято на строгаще «спасибо» говорить, больше «благодарю».

Захожу в отряд, снимаю сырую телажку и не спеша, смакуя предстоящее, выкладываю из мешочка на тумбочку купленное за кровные, потом заработанные, копейки...

Часть пряников, большую, в тумбочку, сигареты туда же пока, потом в каптерку, в сидор спрячу. Ну и что, что не курю, сигареты да чай валюта в зоне, конвертируемая. Мелочь туда же. Маргарин с повидлом аккуратно смешать в третьей банке, а ее и нет...

— Слышь, Булан! — окликаю однофамильца давно вывезенного Сашки Буланова, мужика с болезненным рылом.

— Да, Володя, — оживляется тот.

— Дай банку, пустую, конечно, — шучу я. Дает чисто вымытую банку и терпеливо ждет у себя в проходе. Не принято сильно, в зоне за банку, данную в прокат или чего подобного, просить что-нибудь. Можешь грубость в ответ услышать. Зона! Но опытный зек не жадничает, не жмот он, и не последний раз банку просит...

Смешав ингредиенты и изготавив зековское лакомство, зову Булана:

— Иди сюда.

Мигом прибегает и заглядывает в проход.

— Слышь, здесь по стенкам осталось да и на дне чуток, угостишься...

— Да, да, благодарю, Володя, спасибо, очень кстати, опять живот болит. У него, у черта, постоянно желудок болит, он порошок и соду пищевую, в огромных количествах жрет. А сидит за убийство — по-пьяни пырнул собутыльника, маленьким ножичком, но попал в артерию. Десать лет...

Ну а теперь, раз хаваю я один и семьянинов у меня нет, нужно выбрать, кто мне по душе, по нраву. Оглядываю полупустой барак, первая смена на пахотье, народу во вторую выходит поменьше. А вон и Гриша у себя в проходе журналчик листает, просвещается, но ушки на макушке держит, в мою сторону, мы с ним в неплохих.

— Гриша, дружок! Пыли сюда, родимый!

Сидит напротив, счастливо улыбается. Ласковое слово и скотине приятно. Русская пословица. А зеку тем более.

— Держи, Гриша, бумагу, я чайку сыпану. Не в службу, а в дружбу — сходи в чифирилку, свари купчика, мы с тобой и хапнем. Лады?

Попылил Гриша, по воле — мелкий воришка, по зоне — мужичок с чертячим уклоном. Но зачем рычать, сказал ласково, попросил душевно — умрет Гриша, но выполнит...

Принес купчика, хорошо заваренного чая, пайку из своей тумбочки приволок, щедро кладу зековского лакомства Грише на пайку, не жалко для хорошего человека:

— Ешь, Гришаня, толстым будешь.

Смеется Гриша, подобострастно смеется. Одного мы с ним возраста, но я и трюмы прошел, и молотки, и вообще я битый-тертый зек, а он — булка с маслом, и в менты еще его не загнали по какому-то недоразумению (через месяц это недоразумение отрядные менты исправили). И это Гриша осознает, и ведет себя соответственно. А в зоне и то главное!

Сидим, хаваем, попиваем купчик, каждый из своей кружки. Не чифир пьем, купец. Хорошо!

Главный празднику зека советского — отоварка! Ежемесячная отоварка... Но, бывает, лишают зека этого праздника! Начальник отряда, кумовья, режимники, ДПНК, все могут накатать докладную на тебя и хозяин вынесет постановление — лишить очередного отоваривания сроком на один месяц... И нет праздника, украли менты поганые, и волю украли, и праздник любимый, народный! И наливаются зек злобой, и страшен его гнев, и горе тому, на чью дурную голову он падет! Ой, страшен гнев! Опытный зек лучше в трюм очередной раз сядет, лишь бы праздник спасти...

И пусть не удивляет никого, как опытный зек говорит, почему из него мат не вылетает каждую секунду. Опытный зек на то и опытный, что он знает, где обложить так, что мороз по коже продерет, а где ласково, как не все на воле говорят, чирикнуть. На то он и опытный зек.

Но сегодня у всей зоны праздник! У всех зон Великого и Советского Союза! Щедрая гуманная советская власть увеличила своим рабам ежемесячную отоварку! Вместо основных пяти рублей — двенадцать! Ого! Живем, братва, от рубля и выше! Вместо двух за план — четыре!

И все опытные зеки находят разными путями сырье и изготавливают новые большие мешки! И я в их числе. Я шью большой, красивый меток из синей хлопчатобумажной ткани. И никто не знает, где я ее поднял, где она неправильно висела. А это в школе висел халат учителя по химии. Теперь он там не висит... А мешочек выходит отличный.

Сiju на уроке в школе, не слушаю учителя, представляю, как пойду с новым мешком на следующий месяц в магазин...

Иванов! — заглядывает в класс наглый шнырь кума. Иван Никифорович, учитель литературы, мгновенно вскипает:

— Стучаться надо, молодой человек, и вообще, у нас урок — новую программу объясняю!

— А мне это до лампочки! Полковник Ямбаторов требует осужденного Иванова к себе!

Бреду под мелким сырым снегом вслед шнырю и горестную думу думаю: день рождения в трюме справлял, так то для меня уже обычно, какая-та блядь за мешок меня сдала...

— Осужденный Иванов Николаевич, — тарабаню легенду, по привычке взяв руки назад и жду, уперев взгляд в окно.

Кум начинает, как обычно:

— Мразь! Мразь! Ты что пишешь, мразь, мразь! Это что! Мразь, мразь! Это как ты додумался, мразь, мразь!

И трясет тетрадкой. Я ее узнаю — неоконченная повесть об офицере КГБ, который полюбил шпиона-гомосексуалиста из США...

— Да я тебя, мразь, мразь! Мразь, мразь!

Но, слава богу, времена Тюленя вроде бы миновали, канули в лету и совершенно целый опускаюсь в трюм, в одиночку, дописывать в голове неоконченную повесть. Благо, времени у меня много, дали, как всегда, пятнашку. Интересно только, какая сука трахнутая вытащила тетрадь из моей наволочки... Но бить не буду и даже искать не буду. Устал, да и бог с ней. Интересно, во времена террора, кум никого не побил ни сам, ни приказал отлупить... Хотя косвенно и он в терроре замасан, но все равно, больше другие старались, вот бестия якутская... А я то думал — за мешок, дурак... Как бы продолжения не было б...

И продолжение было. Но совершенно неожиданное для меня. Через месяц после выхода с трюма за писанину, вызвал меня ДПНК майор Парамонов. Иду по морозцу и не знаю, за что и куда.

— Осужденный Иванов...

— Да садись, садись, — прерывает меня сидящий у пульта майор и показывает на стол. А на нем ручка шариковая и тетрадка.

— Слышь, Иванов, допиши окончание.

— Какое окончание?..

— Да брось ты, я не кум, окончание повести про кгебшника-петуха...

Ишь ты, не кум, все равно мент, администрация, вдруг ловушка на раскрутку...

Сижу, думаю, как отбрехаться. Парамон понял мое молчание по-своему:

— Ты наверно при мне не можешь писать, так что возьми тетрадь и ручку, да в отряде напишешь.

Я решаю обнаглеть, чтоб отбить охоту у майора:

— Во-первых, я сам писать не буду — это сроком новым пахнет, и поэтому, во-вторых, плита чая. Вперед...

Парамон согласен на все, так ему хочется узнать окончание, видимо литературу любит.

Забираю чай, тетрадь с ручкой и иду за Дябой. Усевшись в култомнате, диктую ему, а он как заправский секретарь-секретарша, строчит, ручкой конечно, так что только страницы шуршат.

— А он разберет твой почерк?

— Разберет, — успокаивает меня петух-стенографист. Диктую дальше. Через два часа несу тетрадь в ДПНК. Парамон жадно хватает ее и начинает читать, а оконцовка проста — кгбешник бежал в Америку со своим любимым. Так как там нет уголовной ответственности за гомосексуализм...

Плиту я поделил с Дябой пополам. Это был мой первый законный гонорар. Приятно быть читаемым писателем. Но не в зоне...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Падает снег. Хожу по плацу в одиночестве, снежинки ложатся на шапку, телогрейку, лицо. Стираю снег с озябшего лица и продолжаю ходить. Хорошо на плацу, не то что в бараке. Рожи зековские видеть уже не могу, аж мутит. Разговоры мелкие, неинтересные. На плацу много народу тусуется, но я хожу один... Хожу, думаю. Не очередной сарказм пополам с гротеском сочиняю. Думаю о духовном, возвышенном. Думаю о космосе, об идее единственности в этом мире... Это я статью прочитал в журнале «Наука и религия». Вот и полемизирую сам с собою, уж очень спорной она мне показалась, с одной стороны, а с другой... Может, действительно бог или некто иной высший, нас создал только, чтоб поглядеть, что получится. Создал, поглядел — и волосы дыбом встали! Вся история человечества — сплошная череда войн, убийств, истребление неподобных себе по религии, мыслям, цвету кожи, одежде... А сейчас! Прилетят инопланетяне, сядут рядом с зоной и ужаснутся. Убийства, насильствие мужчин мужчинами, доноительство, кражи продуктов и вещей, обман, приспособленчество, рабский труд... И холеные, сытые морды офицеров, хорошие, теплые полушубки на фоне серых, зековских, продуваемых ветром, телогреек, посмотрят инопланетяне и поймут, что остановилось развитие цивилизации на этой планете на самой низшей ступени. Только что не жрут друг друга. Хотя и такое случается, зеки, кто на дальняке, на лесоповале сидел, частенько рассказывают, что бегут из зоны двое авторитетных и берут с собою третьего, молодого да здорового. Уговаривают его, на блатное самолюбие дают, обещают в будущем, на воле, райское житье... Несет он продукты, сэкономленные в зоне, в основном сухари да сало с посылок. А когда кончаются продукты, то съедают его... Убивают

во сне и сжирают, неся с собою мясо... И именуется такой побег — побег с коровой. Вот бы инопланетяне опиздели бы! Дикари сказать, дикарей обидеть. Нелюди.. И сделала их такими власть поганая...

Хорошо, что бог создал только нас. Нет инопланетян, некому ужасаться. Хожу, думаю, скриплю сапогами по снегу. Из репродуктора гремит голос придурка ДННК майора Новоселова:

— Через десять минут по телевидению будет демонстрироваться фильм «Премия». Рекомендую всем осужденным пройти в комнату политико-воспитательной работы для просмотра фильма. Настоятельно рекомендую!

Быстро темнеет, загораются фонари, прожектора. Зона залита белым, синим, желтым светом. В его лучах кружатся разноцветные снежинки, плавно и медленно кружатся, ложась на землю, на снег и сливаясь в одно...

— Чего стоишь?

Спрашивает дурак-майор через репродуктор, ну, гад, во все лезет, как будто нельзя на плацу стоять, весь кайф поломал, скотина...

— Не стой, замерзнешь! — шутит придурок и сам смеется. Громко, на всю зону, на весь город, на всю страну, на весь земной шар!

— Ха- ха- ха-ха! — смеется сытый, довольный собою и жизнью, майор Новоселов. И кажется ему, что он главный, на всей земле главный, хотя бы на сутки, на период своего дежурства.

Я затакаю уши руками, чтоб не слышать идиотского смеха. Спускаю уши у шапки, крепко-крепко прижимаю их к ушам, к голове...

Я один. Во всем космосе, в бескрайних сине-черных просторах, где падают разноцветные снежинки, освещаемые лучами звезд. Я один. Я и мои мысли...

Иду в барак, ложусь на шконку, накрываюсь с головою. Нет меня, я улетел, осталось только тело, только моя оболочка, я свободен! Я улетел! Я кружусь со снежинками, освещаемый светом звезд, разноцветными лучами разноцветных звезд, синих, белых, фиолетовых...

На утро иду в общем плотном строю, плечом к плечу, локоть к локтю, рыло в затылок, иду в общем строю созидать, творить, заглаживать вину перед Родиной, вместе с такими же, больше или меньше виноватыми, желающими созидать, творить, дерзать. Не желающие сидят в трюме. На пониженке, даваемой через день. В холоде, сырости... Или созидай, или трюм! Логика Советской власти.

Сижу в цехе, собираю кубик-рубик, надоевший до чертиков. Гремит музыка:

— ... Прилетит, крыльями звеня

Птица счастья завтрашнего дня,

Выбери меня, выбери меня...

И власть поганая, и песни соответствующие. А впереди еще один год пять месяцев три дня. Но сил уже нет, на исходе силы, или прибыю кого-нибудь или сотворю чего-нибудь... Одно спасение — книги сочиняю, иначе давно б взвыл. Как волк.

Я решил выучить немецкий язык. Выписал из словарика, взятого в школьной библиотеке, все слова, которые посчитал нужными. Говно, типа «работа», «аборт», «социализм», «профсоюз» и тому подобное, выбросил. Только бытовые нужные слова. Язык мне нужно знать, я в этой стране поганой не думаю оставаться. Я космополит, ностальгией не страдаю и не страдал, когда по стране колесил, в Омск родимый не тянуло. И после лагеря в страну сраную тянуть не будет. Не люблю я ее. Мутит. Хочет народ ярмо коммунистическое на шее тащить, пусть тащит. Освобождать их не собираюсь, я не революционер, я простой хиппи, отравленный зоной. Советской зоной, Народ пусть тащит, я не буду, не хочу. Убегу далеко-далеко, туда, где нет зимы, где круглый год лето, океан набегаёт зелено-синими волнами на белый песок, на горах зелень изумрудная, бабочки разноцветные огромные и свобода! Я в журнале «Вокруг света» такие места-острова видел... да, фотографии. И свобода! Хочешь на голове стой, хочешь без трусов в океане купайся. Свобода — это когда ты никому не мешаешь. И тебе никто не мешает. Красота!

Выписал слова. Выписывал аж два месяца. Даже сочинять бросил-перестал. Но учить не смог. Начал и... Разговаривать не с кем да на островах в океане немецкий язык наверно никто не знает. Я когда до туда доберусь — туземный выучу. Главное — добраться...

Снегу насыпало валом, до окон первого этажа. Выгнали всю зону его убирать. Кому в падлу — в трюм. Но есть и те, кому положняк не убирать, кто освобождение имеет от санчасти. А такое освобождение имеет каждый тубик, как бывший, так и нынешний, кашляющий и цветущий чахоточным румянцем... Вот я и смотрю в окно, как гребут зеки, стараются, снег в машину записывают. Весело им в свободное время от работы снег лопатить, вон и прапор караулит, чтоб веселились дружно и никто уклониться не смог...

Летят дни, как снег летят. Просвистел Новый год мимо меня, в трюме, как обычно, встретил я всеми любимый праздник. Вместо Деда Мороза баландер заглядывал в кормушку и кипятик наливал...

После нового года перекинули меня в четырнадцатый отряд. На втором этаже. Оттуда и люблюсь весельем и энтузиазмом зеков. Любуюсь и вспоминаю, что в ШИЗО врагов нажил. Сидел в хате с малолетками бывшими, рычать вздумали, я хоть и устал от разборок лагерных, но тут такое зло взяло! Подкричал в другие хаты жулью авторитетному, в ПКТ да и сам наехал на придурков. Ошизели от такого малолетки, не привыкли еще к такому, жулье за мужика заступается, ну и дела, вот у нас на малолетке... А здесь не малолетка,

строгач, братки!.. Притихли малолетки бывшие, но зло затаили. Ну и хрен с ними...

Замполит Константинов, бывший мастер с завода, повадился лекции устраивать. В клубе. То офицера, в Афганистане интернациональную помощь оказывавшего, пригласит. А тот отмочил:

— Наши войска в Афганистане можно сравнить с фашистами во Второй мировой Великой отечественной войне...

Смех, гам, свист. ДПНК стучит кулаком по столу, застеленном красной скатертью, замполит открыв рот, смотрит на офицера, удивляясь, что нашелся больший придурок, чем он сам. Офицер-интернационалист, сообразив, что ляпнул не то, поясняет:

— Нет, нет, вы не поняли, я хотел сказать, что по отношению к населению: и язык другой, и культура...

Смех, гам, свист, ДПНК стучит кулаком (остальное читай выше).

То штангиста с показательными выступлениями. С криком, с охом, поднимал тот штангу над головой, приседая, корчась и выталкивая ее вверх... Вышел на сцену зек Парфенов, мужик лет пятидесяти. Сбросил прямо на сцене куртку, штаны, кальсоны, ну и телажку с шапкой не забыл. Остался в одних сапогах, трусах линиялых до колен и растянутой майке, застиранной до серого цвета. Роста под два метра, толстые покатые плечи густо покрыты синими разводами наколок, брюхо выпирает и свешивается... Поднял Парфенов штангу, поднял над головой, без крика и оха, приседаний и выталкиваний, без корчения гримас и морд. Поднял и удивленно смотрит то на веселящихся зеков, то на ошизевшего замполита, то на смущенного спортсмена.. Как же так, думал тяжелая, а тут...

Смех, гам, свист. ДПНК стучит и так далее.

Ну а сегодня особенный день, особенная лекция. Работник КГБ выступать будет. И что-нибудь расскажет. Даже я с интересом пошел послушать, что врать будет.

Расселись все, зеки в зале, ну, а офицеры, хозяин, ДПНК с кулаком наготове, замполит, уставший удивляться лекторам, на сцене, за столом с красной скатертью. На трибуне, или за трибуной, или в трибуне, кегебешник в сереньком костюме. Начали:

— Ну что вам рассказать о наших славных чекистах, доблестных последователей Дзержинского?

Голос из зала:

— Ежова, Ягоды, Берии, Абакумова...

Кегебешник улыбается:

— Кто-то неплохо знает историю наших органов, стоящих на страже народных интересов. Нет, мы не боимся смотреть правде в глаза! Это были перерожденцы, которые извращали чистое дело и генераль-

ную линию нашей партии. Органы разоблачили предателей дела партии и народа, они понесли заслуженное наказание.

— Ну-ну, свежо предание да верится с трудом, — тот же голос из зала.

— А вы бы лучше не кричали бы отсюда и не прятались бы за спины, а вышли бы сюда, мы бы с вами поподемизировали...

— И в трюм!..

Смех, гам, свист! ДПНК и так далее...

— Ну что вам рассказать? — продолжает свое гнуть лектор из КГБ.

— Расскажите какой-нибудь случай про шпионов.

— Об этом я рассказывать не буду, — мягко возражает любитель полемики.

— Ну что вам рассказать?..

— Расскажите...

— Об этом я тоже не буду...

Смех, гам, , свист, ДПНК и так далее.

Пришел я из клуба и на работу начал собираться, во вторую смену работаю снова. Воскресенье снова рабочим объявили. В связи с производственной необходимостью.

Идем строем, снег скрипит, мороз щеки прихватывает. Все как у классиков. Развод, и в цех. Тепло, светло, музыки бугор гоняет.

Новый у нас бугор. Ишутин Сергей. Был жулик, выдержал террор Тюленевский, не сломался, а тут в карты проиграл и отдать не смог — и к куму, к Ямбаторову, побег... А тот ему — не желаешь, мол, человеком стать, бригадиром да ментом. Горе-игруля и согласился.

Сладко ест, иногда попивает и не чаек, музычка. Золотое дно — цех кубик-рубиков. Большой бизнес — наш цех. А бугру мало, наладил связь с волей и чай гонит, в огромных количествах. Видать, кум у него в доле. И идут зеки в цех наш как в магазин. Валом валят. Цена-то уже не та, что раньше, не пятерик плита, а червонец. Не долго продержалась пятнадцать рублей за две, и червонец стала. То ли инфляция, то ли жадность, то ли просто есть спрос и деньги, почему цену не ломить. Не знаю, я в экономике профан. Но чаю снова в зоне море, пей — не хочу.

Посбирал я кубик-рубик, на ужин сходил, еще чуток пособирал-поработал. Хватит. Не хочу социализм-коммунизм строить, не хочу блядам помогать. От трюма отмазаться хватит, что еще надо.

Любят зеки труд подневольный, рабский. Много пословиц сочинили по этому поводу, насчет своей любви. «Работа — не волк, в лес не убежит». «Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем». «Работа не хер, постоять может». «Если хочешь поработать, ляг поспи — и все пройдет». «Круглое тащи, плоское кати, бери больше, кидай дальше, пока летит — перекуривай!» «Что нам стоит дом построить, нарисуем — будем жить». А песни! Песни! Чего только эта стоит:

— ... Воровка никогда не станет прачкой,
А урку не заставишь спину гнуть,
А грязной тачкой
Ты рук не пачкай,
Мы это дело перекурим как-нибудь!..

Но верхом лагерного фольклора на эту тему, шедевром, служит короткая басня:

— Ты верблюда видел? У него сколько горбов? Правильно — два. Так он всю жизнь работает!

Вот так-то! Любят зеки труд, но странной и непонятной любовью. Вроде песни, пословицы, басни сочиняют, а работать не хотят. Станный и загадочный народ — советские зеки. Темна у них душа. И непонятна...

Конец февраля, начало марта, хрен поймешь, метель, пурга метет, снег сыпет прямо сугробами, только «отбой» проорали, как:

— Зона! Подъем! Зона! Подъем!

Солдаты в бронежилетах, с дубинками, в касках поверх шапок, ротный, прапора, офицеры, ДПНК, подкумки, режимники... Все как обычно: или побег, или кому-то из администрации по голове дали... Но солдаты дубьем сильно не машут, никого не бьют, только подталкивают. Чудеса!

Всю ночь снег уминали, матерясь и проклиная всех. А солдаты что-то тщательно шмонали, обыскивали бараки и подсобки. Утром, в серый рассвет и за нас взялись.

Обыскал меня молоденький солдатик с узкими глазами. Обыскал и, ничего не найдя, в барак отпустил. Залез я на шконку, уф! Ноги гудят, голова кружится, глаза сами закрываются... А в окно зрелище неопишемое!

Ротный выстроил солдат и шмонает их... Авторучки, зубная паста, конверты, открытки, ложки деревянные, маkli разные, поделки зековские, все на снег бросает ротный. Ай да молодец! А у одного солдата из-за пазухи альбом вытащил для фотографий.. Ну, бляди, ну, защитнички, ну, пидарасы!..

Увел ротный мародеров за зону, режимники с сэвэпэшниками собрали все в охапку и унесли в штаб. Делить... Не одним блядям перепало, так другим.

Только глаза закрыл, крик — «Завтрак». И на работу.

Какая работа, голова сама падает и не только у меня одного. Весь цех носом клюет. Пришел откуда-то бугор и новости принес:

— Начальник управления снова сменился, а новый мудило приказал одновременно по всей области, во всех зонах, тюрьмах шмон устроить, провести, в одну ночь.

Ну, не тварь ли! Сам спал, да с женой в обнимку, а мы всю ночь снег топтали, ну, паскуда, ну, гад, ну, пидар!..

Лично я чуть не заплакал. Сдержался из последних сил. Сюда бы его, гада! Мы б на нем отоспались бы, прапора б не спасли, ну, сука!..

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Спит барак. Весь барак, все зеки. Кто наработался, кто так притомился, спят. Храп, вонь, свист. Горит тусклая лампочка, обмазанная чернилами, светит над дверью. Не положено зеку спать в темноте. А вдруг! Это привилегия свободных людей. За остекленной дверью виден пидарас Киса, ночной дневальный. Упал Киса, упал головой на тумбочку, на раскрытый журнал, куда положено записывать всех, идущих в сортир и время указывать. Когда вышел, когда вернулся. И если больше десяти минут отсутствует — звонить в ДПНК, бить в колокола, не сбежал ли зек! А ДПНК может зека на улице задержать и подождать, позвонишь ли или нет. Может прапоров послать проверить, записан зек или нет. Если нет, если не позвонит ночной дневальный в обязательные сроки, то загонит его ДПНК часа на два в прогулочный дворик ПКТ. А на улице март, днем солнце, серый снег тает, ну а ночью мороз, земля льдом покрывается... Телажку с шапкой сдерет ДПНК, чтоб жизнь малиной не казалась. Несладко. И за сон на тумбочке тоже туда же. Ну, что поделаешь, тяжек крест Кисы, тяжела его судьба — ночью, всю ночь напролет, дежурство, утром дневальному, шнырю, помочь пол помыть, не поможет — по боку получит от завхоза, затем сон короткий, обед, после обеда завхоз пошлет в наряд куда-нибудь мусор убирать, снег чистить, красить, еще чего-нибудь... Канули в лету времена, когда в ночные дневальные завхозы ставили любимых своих и всячески их от лишней работы берегли. Прошли те времена, ушли в никуда. Вечером зеки с работы придут, первая смена, надо заработать, постирать, подштопать, кому впадлу самому, а чай есть. Заварка там, пачка сигарет тут... Ну а перед отбоем в каптерку к завхозу, сексобслуживание... Выходит завхоз раскрасневшийся, подобревший, следом по одному жулики да блатяки. Сжимая в руке по заварке чая. Такса такая у Кисы. Кисин фамилия, петух с малолетки, нравится ему видно жизнь такая, только устает сильно, вот и спит на тумбочке.

Спят зеки, снятся им серые зековские сны. Вижу я их, чувствую. Как, не знаю. Наверно я с ума сошел или открылось мне что-то. Иногда мысленно как будто с кем-то разговариваю... О многом. Но не о зоне. О духовном, о месте моем под этим солнцем, о мире, о людях, о нелюдях... Или я с богом говорю, или шизофренией болею. Плевать. Знаю я — правильно говорим, хорошо беседуем. И знаю я, с кем говорю. И что иногда вслух что-нибудь выскажу и зеки косятся, то мне это до лампочки.

Спит барак, снится ему один серый большой сон. Один на всех, чтоб не отличались сны. Одежда одинаковая, еда, вот и сон одинаковый. Снится бараку, что сгорела промзона до тла! И целый год не было работы!.. Наивный сон. Сгорит промзона, зеки и будут отстраивать... Спит барак...

— Зона! Подъем! Зона! Подаем!

Да что ж такое, три дня назад шмон был, а теперь по-новой!

Быстро одеваюсь, пока солдат не видно, зеки толкнутся, одеваются, матерятся на власть поганую... А вон и они, защитнички серых зековских снов. Бронежилеты, дубье, каски. Знакомая картина...

Новшество! Гуманный хозяин загоняет всех в клуб. Это ж надо! Пурга, метель, снег, на плацу стояли всю ночь, а теперь погода терпимая, луна светит, но все в клуб. Все через жопу... Лекцию что ли решили прочитывать, ночью?

Вламываюсь в клуб в толпе зеков и сразу к сцене, по проходу. А там уже и плюнуть некуда. Сцена деревянная, а пол в клубе бетонный, на сиденье жестком сидеть срака отвалится, может, опять всю ночь придется. Вот кто пошустрей и на сцену да на бок, досыпать, примостился я сбоку, нашлось полместечка, в тесноте да в тепле. Лежу...

Не успел глаза закрыть, как снова рев:

— Выходи на проверку! Зона! На проверку!

Что же паскуды, то в клуб гоните, то на проверку?!

Стоим по отрядам, прапора по карточкам проверяют, ДПНК с ротным бегают. Что случилось?

А, вон мерзавца ведут. Репа, пидарас из одиннадцатого отряда. Маленький, с желтым, изможденным лицом, истасканным в смерть. Впереди двух прапоров бежит, а они его дубинками охаживают, подгоняют. И нет у зеков сочувствия, знают зеки — не на волю бежал Репа, а от жизни тяжелой, а это не одно и тоже. И кричат зеки, все что думают:

— У, сука, петушара драная!..

— Мерзни тут из-за пидара!..

— Врежь ему, командир, чтоб усрался!..

— У, пидарас, у, животное!..

А сами его по баракам таскают, сигаретами да чаем заманивают. Но одно другого не касается, почему из-за него, пидара, мерзнуть в ночи должны?

Расходимся по баракам, обсуждая глупость Репы. Под машиной, хлебозвозкой, проволокой привязавшись, выехать пытался, а в кармане его собака нашла и потрепала за истасканную жопу.

Падаю на шконку и мгновенно засыпаю. Утром на работу. Сквозь сон слышу:

— Зона, подъем! Зона, подъем!

Неужели по-новой? Оказалось, утро...

Вот и весна. Приказ по зоне: сдать телогрейки и шапки в каптерку зоны, получить, кому положено и у кого нет, пидарки.

Сдаю, получаю. Через несколько дней снова в каптерку идти пришлось. Новый приказ! Снять сапоги и выбросить... Получить ботинки и носить! Ну, самодур хозяин, ну какая ему разница — сапоги или ботин-

ки? Большая. Сапоги носят очень многие, а ботинки — единицы. Значит, все пойдут получать ботинки, а их не дают за красивые глаза, за них потом вытнут, выдерут из зарплаты. Хитро! И склад разгрузится, и деньги вернутся за ботинки рабочие, с заклепками по бокам. Советский лагерный бизнес! А слушаешься — в трюм. А сапоги порубят все равно...

Только сходил в каптерку, новый приказ! Наверно хозяину делать нечего, придурок хренов! Всем получать новые синие костюмы в дополнение к серым да черным. Не только хористам, ревущим в клубе. Всем. Но носить только по воскресеньям. Так сказать, парадно-выходная одежда... А повседневно старое таскать, что раньше получил или выкрутил.

Получил я синюю робу, расписался за нее, пришел бирку с фамилией, инициалами, номером отряда. Пришел. Повесил в каптерку и задумался.

В зоне тысяча двести восемьдесят два зека. Столько же синих костюмов выдали. И отказаться не смеешь. Ну, бизнесмены, ну, власть поганая, последнее отнимают, последние копейки у зеков.

Ведь зарплата у зека меньше, чем за аналогичную работу на воле. Это — раз. Половину вычитывают в пользу колонии. Это — два. Хозяйские, как их зеки называют. Затем налог, иски, алименты, за адвоката, у кого что есть. Это — три. Дальше — за баню, парикмахерскую, прачечную, школу. Это четыре. Ну а потом за жратву, за шмотки, за постельное белье. Это пять. И если осталось — на лицевой счет. Отовариваться. Конечно, за шмотки высчитывают не каждый месяц, но остальное выдирают регулярно.

Еще одно новшество ввел хозяин. Жировки, как старая зечня говорит. Попросту листки, где все перечислено — сколько заработал, сколько подрали, куда, сколько осталось... Кто на воле работал, говорят, такие на заводах дают.

Вот из листка этого, из жировки, я почерпнул эти знания. Но самое интересное было в графе вычета за еду. Тут уж смеялась-хохотала вся зона. Кормят зеков на строгом режиме на тридцать два рубля, в среднем... Это когда на воле зарплата на заводе или стройке сто восемьдесят-двести рублей и еле-еле хватает! Это когда хлеб стоит двадцать копеек, мясо три пятьдесят, водка пять двадцать...

Чем же нас кормят, падлы?

Получила вся зона синие костюмы и сразу макли начались. Черти, петухи да и просто мужики, кому чай потребен или сигареты, начали продавать костюмы блатным. А те рады, покупают да щеголяют в них ежедневно, по три, по пять приобрели. Кто поумней, Консервбанка, Блудня, Казино и прочие, те не хапают, не первый день в зоне, за все придется платить, за все.

А продавшие заявления пишут, мол, украли у меня, прошу выдать новый. Все равно, денег на лицевом счете нет, так что ж их экономить.

Гуляй! Заявление не напишешь — проблемы. Куда девал синий костюм? Почему в воскресенье в сером? Есть приказ! В трюм хочешь? А?

Надоело хозяину глядеть на безобразии с костюмами, как со склада без денег костюмы разбазариваются и дал команду режимникам навести порядок. В одно воскресенье загнали всех в клуб, нерабочее воскресенье было, думали, оттянемся, кино посмотрим, а тут... Загнали всех между обедом и сеансом, все в синем, все в клубе, а Шахназаров, режимник с прапорами, козлами сэвэпэшными, с режимниками своими по отрядам прошли и все синие костюмы изъяли... И в штаб. Ну, а потом по биркам вызывали хозяев и если хорист-Шалыпин-Карузо, то костюм возвращали. Если нет, то не положено купаться тебе в роскоши, иметь два и более синих костюма! И в трюм или лишение праздника зековского, отоварки.

Шуму было много, а результата никакого. Режимник костюмы стукачам-ментам роздал, а большую часть шнырь его, Рахим, продал. Тем же блатякам... И снова щеголяют жулики и блатные в синих элегантных костюмах, сшитыми зеками на наркомзоне, где наркоманов лечат уколами да шитьем костюмов. Костюмы те обыкновенные рабочие, без подкладки, из хлопчато-бумажной материи. А шуму, а страстей! Куда там Шекспиру... Одним словом — зона.

Подъем — отбой, подъем — отбой. В промежутке все то, что имеется здесь житуха. Врагу не пожелал бы ее, а коммунистам — с удовольствием.

Пролетела весна, распечатал последний год, думал в этот день всколыхнется моя многострадальная душа, трепетно отзовется на дату сию, но... Но день прошел и ничего не кольхнулось и не трепетнуло, день прошел, а я и не заметил его... Лишь на следующий день вспомнил — остался один лишь год. За плечами пять... И столько в этих годах было поганого и страшного, что жутко! Жутко мне, как гадов этих, коммунистов проклятых, земля носит. Был я хиппом, листовки печатал с кентами, потому что хотел восторгом своим щенячьим поделиться! Ведь Брежнев подписал, паскуда, ту хреновую Декларацию, смотрите люди, то можно, и то, и то..

И Советская власть подлая, из меня, хиппа с восторгом, врага выковала, сделала. Законченного, идейного. Пять лет старалась, от души, на совесть, всеми силами.

А впереди еще год... И добилась своего, нужного результата. Честно скажу, на баррикады не пойду и в спины стрелять не буду. Хиппарем я был, хиппарем остался. Но если Родина любимая будет в опасности, то и хрен с нею. Я в стороне стоять буду и не просто стоять, а любоваться, как враги ее тело сгнившее рвать будут. Убегу я далеко-далеко, куда глаза глядят. Не люблю я Родину, космополит я, земля вся моя Родина, все космополиты предатели, нам об этом в клубе замполит-клоун рассказывал... И я с ним согласен.

И понятна мне зековская пословица, понятна и близка: скорей бы война, сапоги получить да в плен сдаться. Часто ее зеки повторяют и неспроста.

Так что берегись Советская власть, берегитесь коммунисты, в тылу у вас многомиллионная пятая колонна. Все, кто сидит, все, кто сидел, дети, взрослые, многие из тех, кто сидел, в большинстве своем не горят защищать тебя, вас, дармоедов. И если, не дай бог, война, то результат заранее мне известен. Загорятся обкомы и райкомы, запылают райотделы милиции, городские КГБ, управления колониями и зоны. Затрещат склады и магазины, польется кровь рекой... Но это другая моя книга, я еще ее напишу. Берегись, власть самозваная!..

Идем строем по зоне в столовую, немного нас, вторая смена. А посередине плаца хозяин стоит, подполковник Иванов, Иван. Высокий, упитанный, улыбающийся. Ноги в хромовах сапогах широко расставил, руки за ремень заложил, любитесь нами, своими рабами. Нравимся мы ему, дружно отряд идет, весело. И решил хозяин поздороваться:

— Здравствуйте, граждане осужденные!

А в ответ тишина, затем завхоз да пяток ментов, кто поактивней, в ответ вразнобой проорали:

— Здравствуйте, гражданин начальник!

Нахмурился хозяин, не понравилось ему, недружно отвечали, не весело. Прошел отряд, а из последних рядов, где петухи да черти плетутся, до него долетело:

— Че хмуришься, че кислый, не трахнули с утра что ли?

Взвился хозяин под смех зечни и убежал в штаб. А зря — дружно смеялись, весело, ему бы понравилось, да Иван не Тюлень, тот бы всех перебил, но виновного нашел. Хорошо без садиста усатого, хорошо!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В зоне побег! И не пидар бежал, не черт, уставший от жизни тяжелой. Два жулика авторитетных с девятого отряда, Москва и Каин. Оба большесрочники, дерзкие, крутые и по воле, и по зоне. Москва из Омска, местный, под сорок ему, сроку двенадцать, отсидел два всего. Сел за разбойное нападение на старшего кассира в универмаге. Кассир сумку готовила, к инкассации, как вместо инкассатора Москва с ножом... Деньги забрал и ходу-деру, на выходе его дружок ждал с авто. Но подвернулся грузчик, повис на грабителе, мол, отдай деньги народные! Ударил Москва грузчика ножом в грудь, дружок испугался — и по газам... Так его и не нашли, а Москва не сдал. Побегал бегом-пешком, а люди кричат и пальцем показывают — туда побег, туда.. Вот и повинтили Москву, и врачи спасли грузчика от смерти, а Москву от расстрела. Вот и приехал в зону.

Каин из Красноярска. Тоже под сороковник, огромный, здоровенный. На воле с кентами обкрадывал магазины с золотом, мехами и прочая... Однажды ночью их накрыла в магазине опергруппа. Так Каин отстреливаться начал, двух оперов ранил и собаку убил. Но уйти не смогли... Дали Каину пятнадцать, из них три крытых. Оттуда он и прибыл на зону. В первый же день в столовой прапорщику Пограничнику за рык в рыло так треснул, что тот через окно вышел... Отсидел шесть месяцев в ПКТ, попал в девятый отряд, там и схлестнулся с Москвой.

Оба покупали работу у бугра, время свободного было много... Вот незаметно и рыли подкоп, быстро, сноровисто, как умеют только советские зеки. Когда припечет. Ведь советские зеки роют не лопатами, они изобретательны и хитроумны, ведь их гнет-ломает сильная Советская власть и чтоб выжить, нужно быть хитрым и коварным.

Додумались зеки до следующего изобретения. Берется круг металлический, из листовой стали, диаметром один метр. К середине приваривается стержень, с одетой на него металлической трубкой. Трубка свободно на стержне болтается, а стержень изогнут, как ручка у мясорубки. И в круге том делаются две прорези — от края к середине навстречу друг другу. Но не до конца, не совсем до центра. Отгибаются края у прорезей в противоположные стороны, получается гигантских размеров бур. Выкапывается яма-штольня, глубиной метра три, а из нее буром этим и бьется-ведется горизонтальная штольня. Один лежит на боку, бурит потихоньку, земля сыплется на подстеленную тряпку, другой вытаскивает землю... Если зеки не врут, то производительность у бура двадцать-двадцать пять метров за ночь, если грунт мягкий.

Вот так и убежали Москва и Каин! В зоне шмон, так всегда после происшествия администрация то ли бесится, то ли других на чем то поймать хочет, непонятно, но шмон обязательно. Шмон, стукачей кумовских, из девятого отряда перед маленькие разгневанные очи кума. Из штаба, из открытого окна доносится:

— Мразь! Мразь! Чай брал, конфеты брал, гашиш брал, а говно всякое говорил! Мразь, мразь! В трюм, мразь, мразь! В трюм, в трюм!

И удары пухлой ладонью по столу и крики. И смех, и грех. Кумовских в трюм! Прапора да подкумки по бокам дали стукачам и в трюм засунули их. Когда это видано было!

Весь трюм Ямбаторов забил стукачами. И плакали стукачи, и упирались, не хотели к жуликам в хаты идти... Ничего не помогло, запихнули стукачей, двери закрыли, а Ямбаторов еще долго в трюме кричал:

— Подумаешь, оттрахают тебя, невелика птица, петухом будешь, это тебе, мразь, мразь! Наука, мразь, тебе, вовремя сообщать будешь, а что петухом станешь, не велика потеря, мразь, мразь, я и петухов в кабинете принимаю, мразь, мразь!

К вечеру оттрахали всех.

Трюмовские расклады-подробности я от зеков узнал, сам-то я в то время в трюме не сидел. Решил воздержаться. Мне Знаменский рассказал-объяснил-предупредил, что если и последний год по трюмам чалиться, могут раскрутить, не сильно любит Советская власть со своими рабами расставаться, особенно кто за политику сидит. Понял я все, поблагодарил за совет и наметил себе программу. Как Ленин. Программа-минимум. Как соскочить с этого поезда и костей но поломать.

Программа проста и выполнима. Главное — во-первых: никуда не лезть, не нарушать режим содержания. Ну, это пустяки, я не жулик, мне не надо крутиться в общественной жизни подпольной. Во-вторых: меньше быть на глазах у администрации. Это легко и выполнимо. Работаю я во вторую смену, а в первую могу и в бараке сидеть, тихо-тихо. В-третьих: бог с ними, с принципами, мне ли их соблюдать, моральной брезгливостью поигрывать. И раньше с ментами делился, если нужно было. Надо из магазина завхозу подкидывать, он никуда и не засунет в наряды, меня санчасть от многого освободила, но кое-что осталось... Даже Казино, нет, нет да подкинет чаек или сигареты завхозу, а он жулик авторитетный, наш четырнадцатый отряд держит.

Наметил я эту программу и последовательно, как большевики, выполняю ее, пункт за пунктом. Работаю только во вторую смену, вошел в сговор с бугром, он меня в тайне от зеков закрывает на сто шестьдесят-сто семьдесят процентов. Вот и стал я передовиком производства, узнала бы мама — удивилась. Я лишние деньги, сверх ста процентов, отсылаю домой, брату. Это разрешено — близким родственникам, внесенным в личное дело, посылать деньги. А брат по другому адресу отсылает, я ему сообщил, минуя цензуру. Деньги те назад в зону, мастер ОТК заносит... И живет бугор, бывший жулик, повышается его зековское благосостояние. И мне хорошо. Выводят только во вторую смену, работаю я на самой легкой работе, на прицепке, на сборке. Легкая работа, дающая много времени для раздумий и гонки гусей. И работаю не напрягаясь, в общую кучу сыплю, не считает бугор, не требует с меня норму. Хорошо! Как коммунисты, живу за счет чужого труда.

Завхозу чаек подкидываю, меня, нет-нет, да заваркой угостит бугор. С барского плечика пожалует, а я ее — завхозу. Давно я чифир бросил пить, и сердце барахлить стало, пошаливать, и зубы крошатся под дубинками. Ну его, бросил я чифир пить, пусть завхоз травится, может сдохнет скорей. Второй пункт выполняю, в ладах живу с козлотой отрядной. А режим не нарушать, оказывается, совсем легко — никуда не лезть, ни с кем не ссориться, поменьше гулять, побольше спать или читать. При Тюлене днем спать можно было только тем, кто в третью смену работает и то — до обеда. При Иване гайки ослабили, террора нет, и если не поверх одеяла в одежде, а как положено, то спи себе, бог с тобою. Права зековская пословица, права как все пословицы зековские: чем больше спишь, тем меньше нарушений!

Вот и я, несмотря на то, что лето в разгаре, больше в бараке, на шконке. Или читаю или имитирую, что сплю. А сам думаю, сочиняю, пишу. Очень много я написал, плодovit я и гениален...

Так и живу тихонько-тихонько. Как в подполе мышь. Аж сам удивляюсь. И даже Ямбаторов, встретив меня, идущего из сортира в барак, сказал одобрительно:

— Исправляешься, мразь, мразь! Человеком становишься, мразь, мразь! Когда заявление в СПП принесешь, мразь, мразь?

— Подумаю, гражданин начальник, не сразу все делается...

— Это точно, это правильно, ну иди, иди, мразь, мразь!!

И уже не мне, а кому то другому:

— Ты, ты, мразь, мразь! Иди, иди, мразь, мразь!

И пухлым пальцем тычет и волосы поглаживает на висках, а фуражка под локтем, а папка между ног... Офицер, полковник, оплот советской власти! Тыфу на такой оплот, какова власть, таковы и защитнички.

Летят дни, летят месяца, вот и пролетело лето. Незаметно. За работой, мелкими делами зонovскими, суетой да трюмами.

Пришла осень. «Унылая пора, очей очарованье...» Пушкина бы этого, сюда, в унылую пору да смуглым рылом! Хорошо сидеть в собственном имении, обжирать крестьян и восклицать, мол, где же кружка, бухнем, старуха, и сразу сердцу будет веселей...

И его бы в тесный строй строителей будущего, оступившихся и поскользнувшихся, в сырую телогрейку и тряпичную пидарку натянуть, за шиворот дождя налить, а впереди еще год сроку распечатанного, и такая тоска, хоть волком вой! Вот тогда я бы посмотрел — «унылая очей очарованье» или другие стихи записал бы сразу... Листья падают за зоной, небо хмурится и сыплет из него всякая мерзость, стою сгорбившись, нахохлившись, как ворона. Скорей бы зима, холодно да не сыро. Зима, лето — год долой, шесть пасок и домой! Фольклор...

Долго тянется развод, долго. Наконец и до меня дошла очередь:

— Иванов!

— Здесь...

— На жопе шерсть! Обзываются надо, распустились бляди, оборзели суки!..

Не ведусь на ругань, проскакиваю в узкий коридор, вторые двери, бегу по промзоне, тороплюсь. Тороплюсь прищепки стране собирать да бугру Сережке на жизнь зарабатывать. Не было б мужиков, не было б бригады, кем бы командовал, кем бы бутрил? Не кем было б. То-то.

После работы идем в жилую зону. Пошмонали прапора чуток и — в зону. Бригада растусовалась, кто в сортир, кто в столовую — ДП жрать, дополнительное питание передовикам положено, кость от власти. А я не хочу, устал. И от жратвы зековской устал, и от жизни.

Иду потихоньку, на небе темно, лишь зона светом залита. Иду, звездочки пытаюсь усмотреть, сам с собою потихонечку говорю. О чем? Мое дело, я сам с собою говорю, не с вами. Пришел, на шконочку забрался и притих. Нет меня, умер я, и подъем для второй смены не касается. Ни подъем, ни физзарядка... При Иване не жизнь — малина! Его бы, козла, в эту малину...

Собрали всех зеков в клуб. Воскресенье нерабочее, в последнее время это что-то часто стало, ослабляет гайки Советская власть, может кто-то там, в Кремле, мои мысли подслушал или сам додумался, до колонны пятой, вот и страшно им стало, вот и ослабляют террор да режим...

Собрались зеки, ждут. Кто сегодня выступать будет, что за лектор, что за клоун? Хохочут зеки, Ямбаторов к трибуне вышел, а не видно его, только макушка виднеется. Сердится кум, смешно сердится — щеками толстыми трясет, глазки совсем узкие стали и руками пухлыми машет. Принес шнырь клубный подставочку специальную, запихнул в трибуну. Разошлись зеки, хохот, свист, гам. ДПНК рычать пробует, да микрофон не включен. Бардак в зоне, бардак в стране!

Навели порядок, особо голосистых в трюм увели, человек десять. Включили микрофон, Ямбаторов только говорить начал, а из динамиков как свистнет! Зеки так и легли от смеха! Кум по новой сердится, шнырь руками разводит. Успокоились все и Ямбатор начал:

— У нас в колонии происшествие! Я проглядел, проглядел, и Арсен Арсенович проглядел, проглядел, — и рукой на режимника показывает. А тот майором стал, в новых погонах красуется.

— Проглядели мы, проглядели, — убивается на трибуне кум, чуть не плачет. Ни разу такого не было, чтоб кум с трибуны в своих промахах признавался, что за происшествие такое, неужели из ряда вон, может убили кого из управы или изнасиловали хозяина, то-то его за столом не видать...

— Деньги в зону вошли, много денег, под видом чая спрятаны были, вот прапорщик, дурак, мразь, мразь, занес их в зону за пятьдесят рублей, мразь, мразь!! Шестнадцать тысяч занес!

Ого! Вот почему кум убивается, вот почему чуть не плачет!

— Мы зеков в трюм спрятали, а денег нет! Мразь, мразь, прапорщика уволили, все перешмонали, — точно, вчера я был на работе, а в зоне шмон был отменный. Кое-где даже полы вскрыли, да видно без толку.

— И ничего не нашли. Кто скажет администрации — где деньги, тому или УДО или «химия», что светит. Подумайте!

Расходились зеки, вытирая слезы. Такого цирка давно не было! Даже последний стукач, мусорила конченный, и то, если б такие деньги нашел бы — себе оставил. Никуда не понес бы.

И УДО — условно-досрочное освобождение — это не свобода, а суррогат. Вроде на воле, но если совершил преступление, то снова в зону и что не отсидел, добавят. Ну а «химия» — условно-досрочное освобождение с обязательным направлением на стройки народного хозяйства — это совсем та же зона. Вроде тоже на воле, но в общежитии живешь, внизу мент сидит, выход по пропускам, так же проверки. И если нарушения какие-нибудь, выпил там, опоздал к проверке или отказался дежурить — в зону, досиживать. Идут на «химию» и УДО или менты конченные или стукачи. А деньги и в зоне деньги... Посмеялись зеки и разошлись.

Ну, а на следующий день снова веселье, сухой осенний понедельник, солнышко пригревает, и такой цирк!

Фима Моисеевич Гинзбург освобождается. Всю ночь пил с прапорами, ментами, офицерами, подкумками, режимниками... Ведь это событие — зек на свободу выходит. Но не к каждому зеку сам хозяин с кумом ходят проститься... И выпить за грядущее освобождение. Не к каждому!

Фима Моисеевич и есть не каждый. Он не только бессменный зав. столовой, магнат подпольного зонового бизнеса, изобретатель новых возможностей по выкачиванию денег из зеков. Нет-нет, Фима Моисеевич отсидел день в день пятнадцать лет! А в зоне жил как хотел. А таких и в зоне уважают, даже жулики, по-своему, но уважают! Фима в зоне сидел, а с воли ему мешки со жратвой шли, с водкой да коньяком, с икрой черной да красной. И деньги. А если кто-то переставал посылать, то Фима коротенькое письмецо писал, а что в письме, он в зоне не скрывал. Только адресатов не называл, берег. Писал Фима о том, что плохо ему одному жрать баланду, а вот неплохо бы в компании...

Ведь когда хапнули Фиму Моисеевича по «рыбкиному делу», тогда взяли всех, от министра РСФСР рыбного хозяйства до всех продавцов магазинов «Океан», по всей стране, и никого Фима не сдал... Хотя и били его в прокуратуре, и сроку сулили немного, никого не сдал, хоть следы и вели из магазина, где директорствовал Фима, и в обком, и в горком, и куда только не вели... Один пошел, сам, и весь коллектив магазина. Нет, Фима Моисеевич не романтик блатной жизни, наоборот прагматик, — сдай всех и неизвестно — доживешь ли до суда... Да и после отсидки, кому ты нужен, расхитители предателей в свой ряды не берут. А так, жаль, конечно, пятнадцать лет жизни, ничего не скажешь, но пожил вроде неплохо, мальчонок трахал, коньяк пил, жрал дефицит.. На свободе большинство так не живет, как Фима Моисеевич в зоне жил. Ну а понятие свободы и несвободы относительно...

Но кончился срок и утром, после смены, ДПНК, идет Фима Моисеевич, пьяно покачиваясь, придерживает его под руку Анатолий Иванович, зам. начальника колонии по оперативно-режимной работе... Чтoб не упал Фима, не зашибся, не осерчал... И идут они такие похожие, ровесники, почти братья.

Вся зона высыпала посмотреть эту картину. И махали, и свистели, и кричали зеки. Хотя и обкрадывал Фима зечно, хоть и наживался, но... Не каждый в зоне живет как хочет, а не так, как диктуют.

Восхищенно крутят зеки головами и приговаривают:

— Ну и сука, Фима, ну и гад!

Так и ушел на вахту Фима Моисеевич в сопровождении кума.

А мне еще сидеть семь месяцев двадцать один день...

Когда-то давным-давно, еще при царе Сталине, рассказывают старые зеки, в зонах у уголовных не жизнь была, а... а... Слов нет, с чем сравнить. Особенно, после войны... Да, где-то до шестидесятых затянулось то золотое времечко...

Золотое время, с ностальгией и слезой в голосе вспоминают его старые, беззубые каторжане, отдавшие лагерям и тюрьмам не только лучшие, но и все годы своей жизни.

Носили тогда жулики и блатные в зонах вольную одежду, да не просто вольную, а с форсом, лучшую, какую на воле не все имели. Сапоги хромовые, сапожником по ноге сшитые, тужурки кожаные, плащ-реглан, пальто габардиновые. Брюки диагоналевые, шевиотовые, костюмы из ткани «бостон», кепки-джонки, с козырьком маленьким. Да что там одежда! В лагерях сталинских, не каторжного режима и не политических, можно было иметь, и имели, фотоаппараты и чаек, патефоны и собственные подушки с перинами, одеяла шерстяные и пуховые, вольничью посуду, велосипеды! Да что там велосипеды, если дед Воеводин не врал, так на одной Магаданской командировке-зоне, у вора авторитетного, был автомобиль «Паккард»! С личным шофером... У хозяина зоны государственной автомашины не было, а у зека! в зоне! была!

Курили больше «Казбек», жрали от пуза, так как в зонах было по две столовых! Есть деньги — милости просим в коммерческую! Нет — пройди, рыло, в обыкновенную... И деньги хранили в наволочках, их на руки выдавали. И было это райское житье только по одной причине — уголовные, в отличие от врагов народа — политических, именовались официально — **СОЦИАЛЬНО БЛИЗКИЕ**... Мол, друзья народа и только...

В 60-61 годах сильная Советская власть все отняла. Почему — не знаю. Почему дала, я нашел ответ, а вот почему отняла... Может завидно стало коммунистам, что блатные в лагерях живут, как не все они на свободе не живут? Как же так получается, а для чего же революцию делали деды наши? Чтоб ворье и коммунисты в одинаковых привилегиях были? И отняли все. А отнимая, дошли до маразма, как во всем, до абсурда.

Нельзя: домашних животных (ни корову, ни мышку), цветных вольничих вещей, все должно быть темным, черным. Можно цветные носки — ура!

Нельзя иметь музыкальные инструменты, часы, фотоаппараты, проигрыватели, магнитофоны. Можно электробритвы — ура!

Нельзя хранить в тумбочке более пяти экземпляров журналов или газет, выписывать можешь, а хранить — нет. Ни в тумбочке, ни где.. Нельзя, нельзя, нельзя...

Ничего нельзя. А что можно? И ответив на этот вопрос сам себе отрицательно, я нашел ответ: почему все отняли-отменили.

Да потому что кончилась эпоха заигрывания с уголовниками и угнетение политзаключенных. Окрепла Советская власть и не понадобились ей больше добровольные помощники в строительстве светлого будущего. Пришла новая эра — эра рабовладельческая. И время было не с бухты-барухты выбрано — все старые зеки подтверждают, что в эти годы на воле был караул и со жратвой, и со шмотками. Вот и решили коммунисты за счет перевода уголовных в рабы, вытянуть вновь рушащуюся экономику. Отняли все привилегии у зеков, отняли все, что они имели, и стали в зонах все равны. Экономически-привилегировано. Новая эра пришла в СССР — рабовладельческая, и стало советское общество классовым; коммунисты-аристократы, народ и зеки-рабы...

Зеков-рабов даже покупать можно! Любая организация может заключить договор с управлением, и перевести энную сумму денег, использовать их труд где посчитает нужным. Раб, он и в Африке раб. Бить его можно, убивать, эксплуатировать... Что исправно и делают.

Ведут нас, рабов, строем, ведут на промзону. Трудиться ведут, за пайку, мизерную зарплату, шконку в бараке. Идем мы делать нужную в народном хозяйстве вещь. Делать и производить то, в чем у Советской власти нехватка. А нехватка у Советской власти буквально во всем; детские игрушки, комплектующие к стиральным машинам, сеялки и запчасти к тракторам, телевизоры, рабочую одежду, мебель, садовый инвентарь... Много делают зеки-рабы, перечислять устанешь, книги не хватит, чтоб только перечислить, что производят зеки. Во всем нехватка у коммунистов! Часто зеки сидят по разным зонам, часто уголовники садятся в других областях и городах, поэтому и есть информация, что производят зеки, что делают. Есть зоны сельскохозяйственные, лесоповалы, карьеры, добыча драгоценных металлов и камней, добычи урана, заводы, фабрики, мастерские, строительные тресты и мостопоезда... И непонятно — почему главой считается главсек Андропов, а не начальник Главного Управления Исправительно-Трудовыми Учреждениями, бывший ГУЛАГ, почему? У него и экономики побольше, и внутренних войск, если посчитать, будет помногочисленней, и денег, и рабов? Сделал бы переворот в сраной стране, захватил бы власть и было бы все честно и открыто. Не закамуфлировано. Да, наша страна рабовладельческая! А что, вам не нравится? Посылаем ракету...

Сижу, собираю прищепки и пишу новый роман. «Записки беглого раба». Интересный роман, только никому нельзя говорить, ни с кем

нельзя делиться — вдруг до моего освобождения осуществят! Придуманное или подмеченное мною... А такого я себе никогда не прощу...

Съем с работы, сон в вонючем бараке, полном серых зековских снов, подъем, завтрак, чтение, тусование, раздумья, обед, чтение, писанина, раздумья, развод на работу, работа, работа, работа, съем с работы, сон...

Выпал первый снег. Быть мне еще в неволе шесть месяцев девять дней...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Сiju в трюме... Хотя и зарекся попадать в трюм, но от суммы да от тюрьмы сами знаете, не зарекайся. Пришел Новый год и, как обычно, меня вместе со всеми нарушителями спокойствия, в трюм. Спите спокойно, жители Мадрида! Но этот Новый год отличается от всех предыдущих, встреченных в зоне. Во-первых, это последний, дай бог, Новый год в зоне. Во-вторых, сильная и гуманная дала всем не как обычно десять, а восемь. Ура...

Сiju в трюме. Народу много, есть и знакомые рожи, есть и недавно с этапа. Есть и двое с малолетки, я уже с ними сидел в трюме и успел поцапаться. Но тут ведут себя тихо, незаметно, скромненько так. Сидит в хате нашей Казино, жулик, держащий четырнадцатый отряд. Где я живу. Когда в хату Казино пришел, он со мною с первым поздоровался. За руку... Был бы я с малолетки, загордился бы. А так ничего, нормально воспринял. Но для малолеток был шок. Хотя и бывшие малолетки, а дури валом.

Казино авторитетен не только в зоне, но и на воле. И кличку свою он получил давно и заслуженно. Был он молод, дерзок, известен в уголовных кругах города Москвы. Выследил подпольный игорный дом, по-западному казино, по-блатному катран. Выследил и один, с пистолетом, ограбил его... Поставил и крупье, и охрану мордастую под пушку и выгреб выручку, а катран тот держали известные деловые люди, солидные, и публика была соответственно. Два года выслеживали мерзавца, чтоб покарать, и нашли. Мерзавец отстреливался и завалил хозяина катрана, тот в машине сидел, результата дожидался... Ну, как в кино! Не знаю, правда-нет, но в зоне о Казино так рассказывают. — не только черти или пассажиры вроде меня, но такие люди, как Консервбанка.

Сроку у него сейчас пятнадцать, пять отсидел в крытой Тобольской и не сломался. Блатные говорят, кто Тобольск прошел и не сломался, того можно на Марс послать, и там выживет. Срок он получил за ограбления сберкасс. Грабил один, ну такой индивидуалист, небольшие сбер-

кассы, когда брали, отстреливаться начал, но закидали баллончиками со слезоточивым газом. Хотя страна поганая подписала Конвенцию о неприменении химического оружия. Одним словом, легендарная личность, прямо хоть книгу с него пиши из серии «Жизнь замечательных людей»!

Весело в хате, тесно, но весело. Сапог-пидарас смешные случаи из собственной гомосексуальной жизни травит, смеется хата, заливается смехом, захлебывается.

— Помню, позвали меня на чифир в седьмой отряд, ну, как водится — сначала нагнули в проходе. Я штаны снял, они стараются, трахают меня, сопят, а я не дурак, темно в бараке, темно в проходе, ну и раз в тумбочку! Жопа-то занята, а руки свободны! Достал сигарет пять пачек, бритву электрическую, и за пазуху. Кончили они свое дело, дали мне заварку большую и прогнали. Иду и радуюсь — хорошо сходил, недаром, не одной заваркой отделались блятки, подрезал я их неплохо!

Плюется братва, но смеется, что с него взять, петух, и в Африке петух!

Весело в хате, бывший малолетка духу набрался и про Нерчинский спец. травит, колонию для несовершеннолетних, во второй раз осужденных или совершивших преступление в исправительно-трудовой колонии.

— Там менты-бляди, коридоры бетонные стенами отстроили. По два метра коридор в ширину. Идешь по нему с отрядом, бугор сзади, а навстречу другой, отряд прется. Наш бугор орет — не сворачивать, так и их, блядва, тоже самое орет! И начинают биться два отряда, двести человек, бьются, бьются, пока не пробьются, пока один отряд другой не затопчет... И так весь день — в столовую три раза, на пахотьбу, с пахотьбы — два раза, в школу пару раз! Ну, бляди!..

Соглашаются с ним зеки-братва, действительно бляди!

Весело в хате, смеется братва, хохочет! А что унывать? Кончится Новый год, кончатся восемь суток, выпустят в зону, а там! У каждого кенты есть, и кое-что припрятано-приныкано от жадных кумовско-стукаческих глаз. Можно Новый год и не первого января встретить — восьмого! Кто сказал, что Новый год именно в этот день? Ведь это все условности, а зеки выше условностей, их такими жизнь сделала.

Сижу у стенки, смотрю на них всех. И такая меня самого жалость взяла, так мне себя жалко стало, что хоть караул кричи. И здесь, и на воле интересы ограниченные, разговоры примитивные. Ни о боже поговорить, ни об умном чем-нибудь... Водка, преступления, тюрьмы, зоны, бабы, жратва, петухи, менты, наколки и так далее — узок интерес у советских зеков, ой, узок!

Неинтересно мне такое слушать, закрыл я глаза и ушел в свой мир. Нет меня, это не я сижу на холодном бетонном полу, подложив под зад тапочек... Я далеко-далеко.

Сине-зеленые волны, огромные, но ласковые, с шумом набегают-накатываются на берег, на желтый-желтый песок. Вокруг горы, поросшие изумрудной зеленью, то там, то там, огромными башнями-мачтами возвышаются секвойи, летают разноцветные бабочки и яркие, оружие пронзительно, попугаи. Кругом экзотические фрукты, яркие цветы, мягкая зелень, пышная конопля... На небе голубое-голубое солнце, без единого облачка и огромный яркий шар ослепительного солнца. Нет ментов, нет трюма. Только я и она... Волосы распущены по обнаженным плечам, тело смугло и красиво, мы сидим недалеко от прибоя, перебирая песок и молчим. Наши пальцы переплетаются, но мы не торопимся, впереди долгая звездная ночь, огромная желтая луна, бескрайнее синее-темное небо, усыпанное звездной пылью. Океан и мы. Мы сидим молча, зачем слова, нужно слушать душу, а не слова. Душа поет о любви...

Лязгнула дверь, звук ударил по нервам, вернул в поганую реальность. За решкой — ДПНК, прапора, кум Ямбатор. Что случилось? Ночь на дворе, отбой был и в зоне, и в ШИЗО, а тут ментов столько...

— Сколько человек в камере? Девять? Еще шесть, для ровного счета.

Лязгает решка, запихивают еще шестерых. Жулики, отрицаловка, блатяки. Решка и дверь с лязгом захлопывается. Что случилось?

— Братва, что случилось, что за кипеж?

— Хрен их знает. Сыграли отбой, а через два-три часа стали хватать всех блатных, кто не в трюме. Человек двести приволокли...

Утром выгнали всех. И кого ночью приволокли, и кто уже раньше сидел. Мы не досидели по трое суток... Чудеса!

Но в отряде все прояснилось. Умер председатель обкома, областного коммунистического комитета, глав. коммунист области... И какая-то блядь перестраховочная, телефонировала во все зоны, из управы, блядь, конечно, что, во избежание массовых беспорядков, водворить в ШИЗО всех, кого еще не водворили, но от кого можно ожидать революции... О, господи, ну, дураки, неужели эти бляди в свою же брехню верят? Ну, дурдом, ну, маразм, это ж надо додуматься — во избежание массовых... Ну, сдох главный коммунист, так что, это повод для революции? Правда, когда подох Андропов, тоже четыре дня было усиление в зоне, но в трюмы не засовывали битком! Мама, роди меня обратно!

Но и в маразме есть плюсы — я на трое суток раньше справил Новый год...

Лежу на шконке, роман новый сочиняю. Простой, как решили коммунисты без народа жить... А на хрен он нужен, заботься, о нем, охраняй его, работать заставляй, а он, сука, все недоволен! Ну его на хрен, решил Кремль, без народа жить — не жизнь, малина! Обслуга с Запада, вышколена у капиталистов, место свое знает, красота! А деньги у Кремля от сдачи в эксплуатацию полезных ископаемых — золота, платины, неф-

ти... После нас — хоть потоп! А народ одичавший бродит по бескрайним просторам Родины, которая очередной жопой повернулась...

Цветет Москва, купается в роскоши западно-азиатской, и Ленинград цветет... И Ялта. За огромными бетонными стенами, под охраной современных электронных средств и усиленной охраной американских рейнджеров...

Утром на работу повели. Отдохнул чуток в трюме — и на пахотьбу. Одна радость, легкая у меня пахотьба, не утомишься, не устанешь. Прищепки стране собираю. Бугор Сережка рад. Искренне рад. Это ж надо — соскучился. И не поймешь, то ли по мне, то ли по деньгам, которые он мне начислил, а я еще не отослал. Отошлю, отошлю, не ведись, не фуфлыжник я и не портянка.

Сижу, работаю потихоньку, сочиняю. Так и летят дни. Как снег. Скорей бы весна, последняя весна в неволе...

Возвращаюсь с промки, встречаю Знаменского.

— Привет, Володя. В одиннадцатый отряд человек пришел, по сто тридцатой, антисоветчик. Сходи, познакомься, поговори, может, интересный человек.

Сразу после ужина бегу-скольжу по февральскому снежку. Мороз пощипывает щеки, под телажку забивается, тело мое щупает, худое, подморозить неоровит. Огни зону заливают, небо черное, зеки теньями шастают, бр-р! Ужас и только, кинофильм «Вий», вторая серия с продолжением. Ну и рыла, хорошо, что я не часто в зеркало гляжусь, а то бы жизнь совсем тяжелая стала, ну и морды, бр-р... Вот и одиннадцатый отряд. Тюленя нет, террора нет, по отрядам снова стало можно шастать. Втихаря, потихонечку, конечно. Оглянулся я — прапоров нет, ментов-стукачей явных не видать. Ныряю в барак.

— Слышь, браток, кто здесь за политику?

— Вон, наверху валяется, — отвечает мне незнакомый блатяк.

Захожу в указанный проход, на верхней шконке лежит интеллигентный, по крайней мере на вид, худой мужик лет сорока с небольшим, очки на носу, лежит поверх одеяла, книгу листает.

— Привет! Меня звать Володя, я по семидесятой, слазь — поговорить надо.

Мужик послушно слезает вниз и мы усаживаемся рядом.

— Ты зря валяешься поверх одеяла, прапора запалят, пойдешь гулять во дворик.

— Извините, я вас не совсем понимаю. Вы кто?

— Я ж тебе человеческим языком сказал, Володя я, по семидесятой...

— А что такое семидесятой?

Ухожу разочарованный. Этот штымп не только не знает, что такое семидесятая, он еще дальше от политики, чем я... Посадили его по

сто тридцатой, за клевету, анекдот рассказал, политический. Коллегам по работе. Работал мужик учителем. А коллеги быстренько стукнули. Срок три года. Как при Сталине...

Нужно быстро освободиться, а то не успею. Пока еще выпускают. Недавно вновь отоварку увеличили; с двенадцати основных до восемнадцати, а за план с четырех до восьми... Может, Советская власть условия смягчает, чтоб бунтов не было, чтоб рабам сидеть приятней было? Раз выпускать не будут... Уже за анекдоты хватать стали. Может, действительно к этому идет, что я в книге ненаписанной придумал? Страшно...

Летят дни, летят недели, вот и месяц пролетел. Еще один месяц моего последнего года в неволе, в рабстве, в заключении.

Снова по телевизору музыка классическая, снова в зоне шмон, снова блатных и возмутителей спокойствия в трюм: Тринадцатого февраля помер Держиморда, Андропов, и у штурвала встал и еле дышит задохлик какой-то...

Маразм... А прапора принесли с воли свежий анекдот — после долгой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, приступил к своим обязанностям Генеральный Секретарь КПСС тов. Черненко К. У. Метко и точно.

Встретился я со Знаменским на плацу, спрашиваю его:

— Слышь, что за херня? Что-то мрут часто...

А он в ответ:

— Знаешь, Володя, я думаю, кто-то серьезную игру затеял. Я-то давно от информации оторван, но даже из газет можно такой же вывод сделать — кто-то наверху большую игру затеял. И чем кончится эта игра — я не знаю. Но помяни мое слово, большие изменения наступят, вот увидишь, большие.

За анекдоты садят, а прапора не боятся — рассказывают. Все им, блядям, положено. Скорей бы на волю...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Сижу в библиотеке зоновской, листаю подшивку газет «Правда». Ироничное название. Просто так листаю, без цели. Вдруг что-нибудь интересное найду... Глянул в окно и ошизел! Солдаты строем бегут по плацу, уже по баракам разбегаются. В бронежилетах, касках, с дубьем. И больше чем обычно.

Не успел налюбоваться открывшейся моему взору картине, как с топотом ворвались в библиотеку двое защитничков.

— На плац, быстро!

Выпуливаемся с библиотекарем, на ходу натягивая телогрейки с шапками. Под ногами снег серый хрустит, начало марта, а морозец чувствуется.

Стою в толпе отряда, а в зоне шмон. Да жуткий, тотальный. Полы срывают почти везде, у тумбочек дно вышибают. В пятом отряде вырвали раковину в умывальнике. Наверно, сошел с ума начальник колонии или кум. Начали дергать отрицаловку и утаскивать в штаб, в ДПНК. Оттуда никто не возвращается, значит в трюм. Что случилось? Переворот в стране, война или еще что-нибудь подобное? Никто ничего не знает...

После тщательного шмона, с разуванием, с щупаньем везде, где и куда достали неумелые руки солдат, нас отпускают по баракам... Входим и медленно, но верно, охреневаем. Матрацы распороты, содержимое высыпано на пол, вата свалившаяся, подушки разорваны, у кое-кого пополам, верхние шконки сняты на пол, а некоторые вообще на боку валялись... У тумбочек дно выбито, у моей, совместно с мужиком Кириллом, совсем дверцу оторвали, вон под шконкой валяется, кое-где полы разобраны-сорваны, а в культкомнате даже один стол раскурочили, развалили... Такого даже при Тюлене не было, ни хера себе, приводим все в относительный порядок и обсуждаем, что же все таки произошло, как будто войны прошли. Только зеков не били, а в остальном просто жуть!

На следующий день в клуб. Всю зону. Между первой и второй сменами. По этому случаю первую сняли с промзоны, а вторую не вывели. Сидим друг у друга на голове, на трибуне сам хозяин, Иван, подполковник Иванов, морда сытая да гладкая. Он нам все и разъяснил.

На воле, в Омске, убили мента и сберкассу ограбили. Преступников нашли, а у них самодельные двухзарядные пистолеты... Видать, крепко побили бандитов, они и раскололись. В нашей зоне изготавливались те пистолеты. Ай, да умельцы, ай, да Левши! Нашли на промзоне и готовую продукцию, аж три пистолета, и комплектующие детали, еще на два с половиной, и инструмент... Но самое страшное для ментов, нашли патроны, в зоне патроны, видать, для пристрелки! И страшно стало ментам, оружие и патроны в зоне! Вот и устроили колоссальный шмон, тотальный, вдруг подготовка к революции, к восстанию идет! А это просто уголовники-руки золотые, на жизнь зарабатывали. Спрос удовлетворяли... Ведь в советских зонах отменные специалисты сидят, на все руки мастера. И украсть, и изготовить, и нарисовать.

— Иванов! — кричит прапор, надрывается. А я задумался, не слышу, лишь руки привычно прищепки собирают, механически.

— Да ты что, оглох? — толкает в плечо зек, рядом тоже обприщепивающий страну.

— А, что? — отвлекаюсь от своих мыслей, возвращаюсь в реальность, с недоумением смотрю на зека. А тот кивает на прапора.

— Иванов, в ДПНК!

Иду вместе с прапором, по привычке сложив руки назад и думаю — за что? За что меня в ДПНК, ничего я не совершил, ничего плохого я не сделал...

Идем по промзоне, гремит в колесном, гремит в ремонтно-механическом, воняет из гальваники, воняет из малярки, гремит из механического. И так по всей стране. И никому дела нет, куда меня ведут, зачем? Иду, волнуясь, солнышко пригревает, из-под серого снега ручьи неторопливо вытекают, весна на дворе, моя весна, мне осталось сидеть совсем мало, сорок девять дней... Волосы чуть торчат стали, за три месяца до освобождения можно у кума справку подписать, на отращивание волос...

Сорок девять дней, что-то в этом году весна не дружная, не быстрая, апрель месяц, а еще есть чему таять. Как дожить — не знаю. Хожу так, что зеки меня не замечают, а вот, надо же, в ДПНК вызывают. Зачем, бляди, я им понадобился, мне сорок девять дней осталось, зачем!

Проходим через вахту, с промки в жилую. А вон те решетки на волю ведут, два метра коридор и воля! Всего два метра!.. Близко воля, близко и далеко...

Идем по жилой зоне. По плацу. Слева клуб, справа бараки стеной сплошной, впереди штаб, скворечник ДПНК прилеплен к нему, остекленный, высоко сижу, далеко гляжу, все вижу! На скворечнике репродуктор и часы, стрелки замерли, время остановилось и показывает одиннадцать часов тридцать минут, прапор еле-еле ноги волочет-передвигает, зачем, зачем, зачем вызывают, что я им сделал, зачем, зачем, зачем?

Штаб, железные двери, на стене вывеска, красное с серебром, под стеклом, на первом этаже — железная дверь с глазком. Трюм. Не хочу! Лестница наверх, окрашенные в серое стены, коридор, слева открытый проем к ДПНК. Новосел-придурок опять с репродуктором балуется, орет что-то. Справа дверь, на ней табличка. «Комната отдыха прапорщиков», от чего отдыха, когда сделали, при моем последнем посещении не было этого, эй, куда идем? Коридор бесконечен, по обе стороны двери, на дверях таблички, кто за дверью спрятался, что от него ожидать можно, какой пакости... Много дверей, много табличек. «Заместитель начальника по оперативно-режимной работе», «Начальник оперативной части», «Начальник режимной части», «Инспектор оперативной части...», мимо, мимо. «Начальник колонии», мимо... Мимо! Идем, идем. Бесконечен коридор, длинен, странно длинен и пуст. Зловеще пуст. Ни одного стукача, ни одного зека с заявлением каким-либо, ни одного обиженного-проигравшегося, прибежавшего за защитой-помощью... Пусто... Я и прапор... Идем... Тишина...

Поворот влево, маленький коридор, совсем короткий, две двери всего, на левую не обратил внимания, прапор к правой подталкивает. Табличка.

«Начальник спец. части». Прапор без стука распахивает дверь и вталкивает меня вовнутрь. Я слабо сопротивляюсь... От судьбы не уйдешь... За что?!

Остаюсь один на один с веселым капитаном, возвышающимся за столом. Запинаюсь, как будто шесть лет почти, шесть лет, бляди! не тренировался, представляюсь, а он улыбается. Коварен, улыбается, а сам сейчас что-нибудь страшное скажет. Зачем, я не хочу, я не хочу! Нет, нет, нет!

— Садитесь, осужденный Иванов.

Осторожно присаживаюсь на край стула, пристально вглядываясь в улыбающееся лицо, пытаюсь угадать свою судьбу...

— Я вас вызвал вот по какому поводу. В связи с тем, что в течение вашего срока вам было вынесено постановлений на водворение вас в ШИЗО на общее количество триста шестьдесят пять суток, — ого, год в трюме, в холоде и...

— А кроме ШИЗО еще масса постановлений об лишении вас передач-посылок, личных и общих свиданий, выговоров, — не хочу, не хочу, не надо!..

— Администрация колонии направила на вас материал-предоставление в народный суд Октябрьского района города Омска о вменении вам, — нет, нет, нет, нетнетнетнетнетнет, н-е-т!

— Административного надзора сроком на один год. Суд удовлетворил предоставление, вменив вам административный надзор сроком на один год. О чем вам я и сообщаю, распишитесь с тем, что официально предупреждены. В связи с вменением вам административного надзора, вы обязаны встать на учет в отделение милиции, в течение суток со дня освобождения. Вам все ясно?

Иду по плацу на ватных ногах. По телу пробегает мелкая дрожь, по спине струйки пота... Свобода!.. Раз надзор, раз «... в течение суток со дня освобождения» — значит свобода! Свобода!.. Надзор... Какая чепуха, по сравнению с тем, чего я страшился. Арест, добавка, не знаю что?! Надзор. Иду по плацу и улыбаюсь. Всем: Солнцу, ментам, прапорам, петухам, жуликам, мужикам... Надзор. Это хорошо, это значит — меня выпустят, раз предупредили. Значит, еще сорок девять дней и свобода. Свобода! Свобода...

Надзор. Дважды в неделю отмечаться в милиции. После двадцати ноль ноль нельзя выходить из квартиры. В субботу и воскресенье, в праздничные дни нельзя появляться в общественных местах: кафе, ресторане, кинотеатре, сквере, магазине, улице. Даже во дворе... Обязан трудиться-работать и проживать по месту прописки. Выехать в отпуск, в гости имеешь право только по разрешению милиции. А могут и не разрешить... В течение суток на новом месте, в случае разрешения, обязан встать на временный учет в местной милиции. Выезжая указать, на какой срок едешь. Погостив, выезжая, взять справку в милиции. Менять постоянное место жительства имеешь право только с разрешения

милиции, до двадцати трех часов могут прийти на дом, для проверки, работники милиции или дружинники, вольные козлы... Проверить, дома ты или нет. Запрещено проживание лиц, имеющих надзор, в любимой столице любимой Родины, в столицах союзных республик, в пограничных и портовых городах.

За три любых нарушения, из перечисленных выше запретов и предписаний, возбуждение уголовного дела по статье 198 УК РСФСР. И соответствующих статей союзных уголовных кодексов, ежели ты, милоч, проживаешь на окраине большого и так далее... Нарушение административного надзора — один год лишения свободы... И снова зона. А потом снова надзор... Замкнутый круг... Я встречал в своем затянувшемся путешествии зека, три раза подряд осужденного за надзор!..

Много хитростей у Советской власти для того, чтоб не выпустить из своих лап рабов, хоть раз попавших в них. Много. И одна из них — надзор...

Солнце прогревает все сильней и сильней, весна в разгаре, дни летят все быстрее и быстрее, вот осталось всего двенадцать дней до свободы, до воли золотой. Как там, шесть лет не был там, что там...

Сижу в культкомнате, изучаю-листаю брошюру «Сектанты-изуверы» и, выкинув галиматью, придуманную коммунистами, черпаю крупницы информации.

Сижу, читаю. Шум. Поднял голову и рот раскрыл, от ошизения-охренения — влетает в культкомнату жулик Блудня, его недавно в наш, четырнадцатый, перевели, влетает, в руке нож окровавленный, а за ним следом, как волки, человек пять ломаются, в руках ножи сверкают, головы в плечи втянуты, ноздри раздуваются. Ни хрена себе! Такого сто лет уже не было! Блудня по столам летит, через головы зеков прыгает, хорошо, я в стороне сижу, у стенки... А волки за ним, да тоже по столам, глаза горят-сверкают, на лицах оскалы, дышат тяжело, ножи блестят. Только зубами не щелкают:, не воют, не рычат!

Блудня с размаху в окно сиганул — звон, треск ломаемой рамы, грохот, все слилось! Еще крик жуткий! Второй этаж! Двое следом с размаху, трое остальных назад, по столам и в двери. А там завхоз, хайло разинул, давно такого не видел:

— Вы че, бляди, тут скачете?

Оборзел мент, распустился. Раз ему в бочину ножом, хлесь другой нож в брюхо. Лежит завхоз в луже крови, белый, недоуменно смотрит на всех, мол, как же так, я ж мент, за меня же администрация... Закатил глаза и завыл, завыл как растерзанная собака. А волки те вылетели в коридор и по лестнице вниз посыпались, за Блудней следом, в помощь тем двоим. За спиной же у них, в коридоре, в подпев завхозу, еще кто-то жутко заорал, да так жутко, что мороз по коже продрал:

— Ааааааа! — жуткий крик, бьющий по ушам, по нервам...

Зеки ломанулись из культкомнаты, через завхоза перешагивают, а он воет и плачет, слезы крупные потоком льется:

— Ааа! Умираю, умираю, больно, больно, больно!

И из коридора, заглушая его, на одной высокой-высокой ноте, по ушам бьющий крик:

— Аа-а-а-а!

Волки уже на улице, на плацу, в коридоре так страшно орал мент молодой, Гаврюха...

Вскоре прибежали прапора, подкумки, кум, санитары с носилками. Завхоза увезли в облбольницу, стукач Гаврюха помер на кресте.

Весь скандал, сыр-бор, начался из-за Блудни. Кумовским оказался, стукач, и Казино его расколол. Расколол, предъявил и акулам приказал — на ножи! Но Блудня Казино пырнул, из барака выскочил и зная, что на лестнице догонят, в культкомнату нырнул. В окно и прямо в ДПНК. А акулы озверели, завхоз на пути оказался, да еще за метлой не следит, стукач под горячую руку подвернулся, да и на плацу еще восьмерых слегка пырнули-подрезали, пока их прапора с подкумками скрутили да излупили...

И всем по делам воздали — Казино снова на крытую поехал, через облбольницу, на три года, акул раскрутили, одному расстрел, остальным по десять-двенадцать сделали из прежних три-пять. А Блудню в другую область отправили, добывать секреты для оперчасти, для кума... Каждому свое...

Зона еще дней пять пообсуждала произошедшее, потрепалась, мол, давно такого не было, такой рубки! Пообсуждала и забыла. Подумаешь, порезали ментов, один помер. Вот, помним, до Тюленя, как загуляла раз братва со второго отряда, да прошлась с краю да до другого с прутьями арматурными да с ножами... Деятнадцать избитых-побитых-порубленных-порезанных! Ну и пяток кони двинули, померли, вот это да! Помнишь, браток, как одной зимней ночью семья Руслана на семью Ахмета, оказавшегося стукачом, а семья не поверила, войной пошла... Да, девять трупов, одиннадцать порезанных и человек тридцать, кому просто чуток перепало — менты, блатяки, кто впрягся... Да, славные времена были, жулики и блатяки ложились спать и не знали: утром проснутся от крика «Подъем!» или темной ночью от ножа острого. В историю ушли те славные и героические времена... И хорошо. Целее будем. Но поломал Тюлень те обычаи и времена те, нравы, такими же методами. И я это никогда не забуду.

Вышел я ночью в сортир, сходил, иду назад, потихонечку, не спеша, куда спешить, в бараке смрад, вонь, храп... Хорошо, май на дворе и осталось мне четыре дня. До воли... Четыре дня всего лишь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Вот и наступил долгожданный предпоследний день. Шесть лет к нему шел, шесть лет.

Обходной лист выкинул. Ну его... Сходил в санчасть — взвесился. Однако, сорок два килограмма, немного. Ну ладно, были б кости целы, мясо нарастет. Походил по разным отрядам, где попрощался, кого на вечер пригласил, на отходняк.

Вечером, после ужина, собралось человек восемь. С кем я не в плохих. Выпили чифирку, помолчали. На свободу завтра мне, а им еще сидеть и сидеть. Есть над чем подумать...

Выпили и разошлись потихоньку. Мы не жулики, не блатные, по полночи гулять, попрощались — и все. Руку мне пожали, а Знаменский в глаза глянул, но ничего не сказал...

Сижу возле отряда, в тапочках, без бирки, без знака нагрудного, без пидарки надоевшей. Можно. Не положено, но можно. При Тюлене в трюм уволок бы, да где там Тюлень. Был и весь вышел. В управе где-то...

Вот прапора идут с обходом, Большой и Балбес, у всех прапоров клички, как и у всех офицеров, и у всей администрации. Любят зеки давать клички: точные, емкие, прилипчивые. Дадут и навечно. Балбес недавно в зоне, всех не знает, вот и рванул ко мне, так нагло режим содержания нарушающего своим внешним видом. Рванул, но Большой придержал его за локоть и, заходя в подъезд барака, громко сказал-спросил:

— Завтра за забор, Профессор?

За забор, за забор, на волю. Ишь, поговорить захотелось... Помню я, как при Тюлене ты зверствовал, прапорщик по кличке Большой. Как бил, как в рубашки закатывал смирительные, как наручники на ноги одевал и подвешивал за крюк на решетку дверную в ШИЗО... Все помню, все.

Сижу, смотрю на зеков, по плацу тусующихся, думаю. Думаю да заминаю. Я ведь писатель, пусть не написано, пусть не опубликовано ничего... Не считая Дябиного издательства. Не беда. Опубликую. Выйду на волю и убегу. Гадом буду, но убегу из этой сраной страны, срано-странной. Я и раньше подозревал, что она не идеальна, ну уж после лагеря, после того, что я тут увидел да на собственной шкуре испытал-пережил! Не достоин я такой высокой чести — жить в этой стране...

Убегу и напечатаю свою книгу... Об этих шести годах. Всех вспомню, не забуду — и хороших, и плохих, и фашистов...

Сижу, смотрю... Небо потихоньку-потихоньку темнеет, май на дворе, конец мая...

Звезды не успели выглянуть, залило зону светом — белым, синим, желтым. Прожектора, фонари, окна. На асфальтовом плацу, залившим

все пространство, от бараков до клуба, от штаба до школы, зеков становится все меньше и меньше, разбегаются зеки по баракам, по шконкам.

— Зона! Отбой! Зона! Отбой!

Все разбежались. Один я сижу, никуда не тороплюсь, никуда торопиться, завтра на волю... Все сдал в каптерку, что положено сдать, остальное раздал-раздарил. Никого не обидел, всем, кому хотел сделать приятное, сделал подарок, раздал шмотки, вещички, мелочи разные, продукты с магазина. Немного у советского раба имущества накапливается, но все же. Раздал все, сижу в костюмчике старом, в тапочках и жду, жду, жду. Шесть лет ждал и дождался. Завтра я с этого поезда спрыгиваю...

— Не сиди, Иванов. Иди в барак, завтра выгоним, — раздается из гремящего репродуктора голос ДПНК, майора Парамонова.

Иду. Присаживаюсь в проходе, на нижнюю шконку. Блатяк Жора в трюме, на его месте и перекантуюсь. Пережду ночь. Последнюю... Думаю я устал, пытаюсь представить, какая она, воля... В голове обрывки, осколки, а в общую картину не складывается. Шесть лет. Было мне неполных двадцать, а сейчас двадцать пять с лишним... Юность украли, гады, не забуду никогда. У, власть, за бумажки шестериками бросается... Сурку пятнашка, где он, как он там, где друзья-хиппы?... Защемило сердце, видать, от вечернего чифира, давно я его пил, защипало в глазах, видно попало что-то... Навернулись слезы... Сами собою. Смахнул я их, сорвав очки. Жестко смахнул, кулаком, больно так вытер глаза. Пусть коммунисты плачут, когда люди с них спросят. Не верю я, что не спросят с них, не посадят на скамью подсудимых всех коммунистов, режим их проклятый, строго-особый, лагерный, на всю жизнь, на всю страну сделанный... А ежели не посадят, то не жалко мне люди-ше-к, аааа...

— Зона! Подъем! Зона! Подъем! — будит меня, в последний раз будит! репродуктор надоевший. Умываюсь, прощаюсь и, взяв мешок с бумагами, иду в сторону вахты. Ну и что, что еще три-четыре часа ждать. Здесь подожду, мне здесь хорошо. Сижу на корточках, мешок перед собой поставил, гляжу на зону и все запоминаю. Гадом буду распоследним, если книгу об этих шести годах не напишу. Все помню, и фамилии многих фашистов, и звания, и события. Мне сверху дано многое, многое... Мне открылось, значит мне и суждено к столбу позорному власть советскую пригвоздить.

Сижу, смотрю. Кум идет с вахты и прямо ко мне. Не встаю, не приветствую, как положено. Все, отприветствовался. Полковник Ямбатов хватать мой мешок:

— Мразь, мразь! Что это?

Даю ему почитать заявление, подписанное замполитом Константиновым. Мол, конспекты и письма родных, разрешаю вынести, а на душе тревожно. Кум мешок в охапку:

— Выйдешь за зону, отдам. Зайдешь ко мне в кабинет. Мразь, мразь!

И назад, на вахту. И унес мой мешок драгоценный. Тревожно мне, очень-очень. Как бы он, гад, что-нибудь с ним не сотворил напоследок. Вдруг, рыться начнет да почитать захочет. А если внимательно, то не понравятся ему мои конспекты и письма от родных, ой, не понравятся...

Солнышко припекать стало, все отряды пожрали и на развод потянулись, первая смена. Кое-кто мне машет, отвечаю. Кончился развод, сижу, жду. Ноги затекли, погулял по плацу. В тапочках, без бирки, без пидарки. И ничего, молчит репродуктор, не орет, не реагирует на мою маленькую демонстрацию. Последний часы топчу зону поганую, много горя и зла мне принесшую. Последний!

— Иванов! Зайди в ДПНК!

Загремел железный репродуктор. Иду. В ДПНК незнакомый капитан.

— Иванов? Распишись... — и сует мне какой-то бланк и справку об освобождении. С моей фотографией! Дней пять назад фотографировали! И моей фамилией... Буквы прыгают, глаза застилает, расписываюсь кое-как.

— Ну что? Идем, — буднично приглашает меня на свободу капитан. Как будто в трюм или на крест...

Иду с капитаном Свободой. Так зеки офицера спецчасти называют, на волю провожающего. Иду через плац, по привычке взяв руки назад и даже незнакомые зеки останавливаются поглядеть. По виду моему, по направлению, понимают зеки, куда я иду.

Я иду на свободу! Я иду на волю!

Капитан Свобода нажимает кнопку звонка. Электрозамок щелкает, дверь лязгает и мы входим на вахту, дверь закрывается, с лязгом распаивается решетка. Первая.

Я и капитан жмемся в тесном пространстве между двумя решетками. Старший сержант сменяет молоденького солдата-узбека и взяв через маленькое окошко в решетке справку о моем освобождении из рук капитана, начинает ее внимательно читать. Я рассматриваю вахту, хотя мне хочется скорей туда, за решки, на волю... На волю! За стеклом окна толстенная решка, пульт, солдат-узбек не сводит с меня узких глаз. Смотри-смотри, на волю иду из рабства.

Сержант откладывает мою справку в сторону и, придвинув к себе толстую папку, начинает неторопливо ее листать, да ты че, командир, уснул, давай быстрее, я это, я! Вижу свои фотографии, сделанные еще в Ростовской тюрьме, вечность назад... Вскинув на меня внимательные глаза, сержант спрашивает:

— Назовитесь полностью, гражданин освобождаемый.

Сладкой музыкой звучат в моих ушах его слова, тарабану в последний раз выученное наизусть за долгие-долгие года:

— Иванов Владимир Николаевич, 22.10.1958, 70, 198, 209, шесть лет, начало срока — 26 мая 1978 года, конец срока — 26 мая 1984 года!

Сержант не унимается:

— Девичья фамилия матери?

— Бахтина Фаина Андреевна.

Еще раз сверив меня с фотографией на справке, сержант внезапно широко улыбается и протягивает через окошечко справку. Справку об освобождении! Мне протягивает!

— Проходите, гражданин, желаю всего хорошего!

Лязгает вторая решетка, мы протискиваемся за нее. Она закрывается, открывается третья. Закрывается, открывается последняя, четвертая.

Маленький коридор, прямо дверь с окном. Капитан Свобода нажимает ручку и пропускает меня вперед. Выхожу на крыльцо — яркая зелень деревьев, разноцветная одежда людей, ослепительное солнце.

— Здравствуй, свобода...

1982–1994 гг.

о. Гран-Канария-Прага

